
В. Г. КОРОЛЕНКО

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

В. Г. КОРОЛЕНКО

Собрание сочинений в шести томах



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1971

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
К. Тюнькина

Иллюстрации художника
П. Н. Пинкисевича.

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ



Старый звонарь

Весенняя идиллия

Стемнело.

Небольшое селение, приютившееся над дальнею речкой, в бору, тонуло в том особенном сумраке, которым полны весенние звездные ночи, когда тонкий туман, подымаясь с земли, сгущает тени лесов и застилает открытые пространства серебристо-лазурною дымкой... Все тихо, задумчиво, грустно.

Село тихо дремлет.

Убогие хаты чуть выделяются темными очертаниями: кое-где мерцают огни; изредка скрипнут ворота; залает чуткая собака и смолкнет; порой из темной массы тихо шумящего леса выделяются фигуры пешеходов, проедет всадник, проскрипит телега. То жители одиноких лесных поселков собираются в свою церковь встречать весенний праздник.

Церковь стоит на холмике, в самой середине поселка. Окна ее светят огнями. Колокольня — старая, высокая, темная — тонет вершиной в лазури.

Скрипят ступени лестницы... Старый звонарь Михеич поднимается на колокольню, и скоро его фонарик, точно взлетевшая в воздухе звезда, виснет в пространстве.

Тяжело старику взбираться по крутой лестнице. Не служат уже старые ноги, поизносился он сам, плохо ви-

дят глаза... Пора уж, пора старику на покой, да бог не шлет смерти. Хоронил сыновей, хоронил внуков, провожал в домовину старых, провожал молодых, а сам все еще жив. Тяжело!.. Много уж раз встречал он весенний праздник, потерял счет и тому, сколько раз ждал урочного часа на той самой колокольне. И вот привел бог опять...

Старик подошел к пролету колокольни и облокотился на перила. Внизу вокруг церкви маячили в темноте могилы сельского кладбища; старые кресты как будто охраняли их распростертыми руками. Кое-где склонялись над ними березы, еще не покрытые листьями... Оттуда, снизу, несся к Михеичу ароматный запах молодых почек и веяло грустным спокойствием вечного сна...

Что-то будет с ним через год? Взберется ли он опять сюда, на вышку, под медный колокол, чтобы гулким ударом разбудить чутко дремлющую ночь, или будет лежать... вон там, в темном уголке кладбища, под крестом? Бог знает... Он готов, а пока привел бог еще раз встретить праздник. «Слава те, господи!» — шепчут старческие уста привычную формулу, и Михеич смотрит вверх на горящее миллионами огней звездное небо и крестится...

— Михеич, а Михеич! — зовет его снизу дребезжащий, тоже старческий голос. Древний годами дьячок смотрит вверх на колокольню, даже приставляет ладонь к моргающим и слезящимся глазам, но все же не видит Михеича.

— Что тебе? Здесь я! — отвечает звонарь, склоняясь с своей колокольни.— Аль не видишь?

— Не вижу... А не пора ли и вдарить? По-твоему как?

Оба смотрят на звезды. Тысячи божьих огней мигают на них с высоты. Пламенный «Воз» поднялся уже высоко... Михеич соображает.

— Нет еще, погоди мало... Знаю ведь...

Он знает. Ему не нужно часов: божьи звезды скажут ему, когда придет время... Земля и небо, и белое облако, тихо плывущее в лазури, и темный бор, невнятно

шепчущий внизу, и плеск невидной во мраке речки — все это ему знакомо, все это ему родное... Недаром здесь прожита целая жизнь...

Перед ним оживает далекое прошлое... Он вспоминает, как в первый раз он с тятькой взобрался на эту колокольню... Господи боже, как это давно и... как недавно!.. Он видит себя белокурым мальчонком; глаза его разгорелись; ветер,— но не тот, что подымает уличную пыль, а какой-то особенный, высоко над землей машущий своими бесшумными крыльями,— развевает его волосенки... Внизу далеко-далеко ходят какие-то маленькие люди, и домишки деревни тоже маленькие, лес отодвинулся вдаль, и круглая поляна, на которой стоит поселок, кажется такою громадною, почти безграничною.

— Ан вон она, вся тут! — улыбнулся седой старик, взглянув на небольшую полянку.

Так вот и жизнь... Смолоду конца ей не видишь и краю... Ан вот она вся, как на ладони, с начала и до самой вон той могилки, что облюбовал он себе в углу кладбища... И что ж,— слава те, господи! — пора на покой. Тяжелая дорога пройдена честно, а сырая земля — ему мать... Скоро, уж скоро!..

Однако пора. Взглянув еще раз на звезды, Михеич поднялся, снял шапку, перекрестился и стал подбирать веревки от колоколов... Через минуту ночной воздух дрогнул от гулкого удара... Другой, третий, четвертый... один за другим наполняя чутко дремавшую предпраздничную ночь, полились властные, тягучие, звонкие и певучие тоны...

Звон смолк. В церкви началась служба. В прежние годы Михеич всегда спускался по лестнице вниз и становился в углу, у дверей, чтобы молиться и слушать пение. Но теперь он остался на своей вышке. Трудно ему; притом же он чувствовал какую-то истому. Он присел на скамейку и, слушая стихающий гул расколыхавшейся меди, глубоко задумался. О чем? Он сам едва ли мог бы ответить на этот вопрос... Колокольная вышка слабо освещалась его фонарем. Глухо гудящие колокола

тонули во мраке; снизу, из церкви, по временам слабым рокотом доносилось пение, и ночной ветер шевелил веревки, привязанные к железным колокольным сердцам...

Старик опустил на грудь свою седую голову, в которой роились бессвязные представления. «Тропарь поют!» — думает он и видит себя тоже в церкви. На клиросе заливаются десятки детских голосов; старенький священник, покойный отец Наум, «возглашает» дрожащим голосом возгласы; сотни мужичьих голов, как спелые колосья от ветру, нагибаются и вновь подымаются... Мужики крестятся... Всё знакомые лица и всё-то покойники... Вот строгий облик отца; вот и старший брат истово крестится и вздыхает, стоя рядом с отцом. Вот и он сам, цветущий здоровьем и силой, полный бессознательной надежды на счастие, на радости жизни... Где оно, это счастие?.. Старческая мысль вспыхивает, как угасающее пламя, скользя ярким, быстрым лучом, освещающим все закоулки прожитой жизни... Непосильный труд, горе, забота... Где оно, это счастие? Тяжелая доля проведет морщины по молодому лицу, согнет могучую спину, научит вздыхать, как и старшего брата...

Но вот налево, среди деревенских баб, смиренно склонив голову, стоит его «молодица». Добрая была баба, царствие небесное! И много же приняла муки, сердешная... Нужда, да работа, да неисходное бабье горе иссушат красивую молодицу; потускнеют глаза и выражение вечного тупого испуга перед неожиданными ударами жизни заменит величавую красоту... Да, где ее счастье?.. Один остался у них сын, надежда и радость, и того осилила людская неправда...

А вот и он, богатый ворог, бьет земные поклоны, замаливая кровавые сиротские слезы; торопливо взмахивает он на себя крестное знамение и падает на колени, и стукает лбом... И кипит-разгорается у Михеича сердце, а темные лики икон сурово глядят со стены на людское горе и на людскую неправду...

Все это прошло, все это там, назади... А теперь весь мир для него — это темная вышка, где ветер гудит в темноте, шевеля колокольными веревками... «Бог вас суди, бог суди!» — шепчет старик и поникает седою головой, и слезы тихо льются по старым щекам звонаря...

— Михеич, а Михеич!.. Что ж ты, али заснул? — кричат ему снизу.

— Ась? — откликнулся старик и быстро вскочил на ноги.— Господи! Неужто и вправду заснул? Не было еще экого сраму!..

И Михеич быстро, привычною рукой хватает веревки. Внизу, точно муравейник, движется мужичья толпа: хоругви бьются в воздухе, поблескивая золотистою парчой... Вот обошли крестным ходом вокруг церкви, и до Михеича доносится радостный клич:

— Христо-о-с воскресе из мерт-вых...

И отдается этот клич волною в старческом сердце... И кажется Михеичу, что ярче вспыхнули в темноте огни восковых свечей, и сильней заволновалась толпа, и забились хоругви, и проснувшийся ветер подхватил волны звуков и широкими взмахами понес их ввысь, сливаясь с громким торжественным звоном...

Никогда еще так не звонил старый Михеич.

Казалось, его переполненное старческое сердце перешло в мертвую медь, и звуки точно пели, трепетали, смеялись и плакали и, сплетаясь чудною вереницей, неслись вверх, к самому звездному небу. И звезды вспыхивали ярче, разгорались, и звуки дрожали и лились, и вновь припадали к земле с любовною лаской...

Большой бас громко вскрикивал и кидал властные, могучие тоны, оглашавшие небо и землю: «Христос воскресе!»

И два тенора, вздрагивая от поочередных ударов железных сердец, подпевали ему радостно и звонко: «Христос воскресе!»

А два самые маленькие дисканта, точно торопясь, чтобы не отстать, вплетались между больших и радостно, точно малые ребята, пели вперегонку: «Христос воскресе!»

И казалось, старая колокольня дрожит и колеблется, и ветер, обвевающий лицо звонаря, трепещет могучими крыльями и вторит: «Христос воскресе!»

И старое сердце забыло про жизнь, полную забот и обиды... Забыл старый звонарь, что жизнь для него сомкнулась в угрюмую и тесную вышку, что он в мире

один, как старый пень, разбитый злою непогодой... Он слушает, как эти звуки поют и плачут, летят к горнему небу и припадают к бедной земле, и кажется ему, что он окружен сыновьями и внуками, что это их радостные голоса, голоса больших и малых, сливаются в один хор и поют ему про счастие и радость, которых он не видал в своей жизни... И дергает веревки старый звонарь, и слезы бегут по лицу, и сердце усиленно бьется иллюзией счастья...

А внизу люди слушали и говорили друг другу, что никогда еще не звонил так чудно старый Михеич...

Но вдруг большой колокол неуверенно дрогнул и смолк... Смущенные подголоски прозвенели неоконченною трелью и тоже оборвали ее, как будто вслушиваясь в печально гудящую долгую ноту, которая дрожит, и льется, и плачет, постепенно стихая в воздухе...

Старый звонарь изнеможенно опустился на скамейку, и две последние слезы тихо катятся по бледным щекам.

Эй, посылайте на смену! Старый звонарь отзвонил...

1885

За иконой

I

Несколько дней стояло ненастье. Еще в ночь на девятнадцатое июня выпал обильный дождь, а утром облака висели по небу серыми клочьями. Но к полудню свежим ветром их сбило в сплошную тучу и понесло на север. Небо расчищалось, синело, солнечные лучи играли в лужах, на освеженной зелени висели капли, срывались и сверкали в воздухе.

— Порадела владычица,— вёдро у бога выпросила,— говорили богомольцы, кучками расположившиеся на улицах и на площади у собора, откуда в двенадцать часов должна была выйти икона.

— Пожалела православных. Гляди, и народу поприбавится... О-ох-хо-хо... На дождик-то мы не больно усердны...

Было еще рано. Пройдя бойкими улицами, миновав затем овраги, я углубился в кривые, грязные переулки на окраине города и подошел к окну, на котором к стеклу было приклеено изображение сапога. Хозяин, Андрей Иванович, выражавший вчера желание идти за иконой вместе со мною, сидел один за своим верстаком и угрюмо стучал по сапогу.

— Андрей Иванович! — окликнул я в окно.— Что же вы не собираетесь? Пора!

Он встрепенулся, но тотчас же скрыл движение радости, отложил сапог, открыл раму и потянулся в окно

своим сухопарым туловищем. Внимательно вглядевшись в клочки чистого неба и в облака, уносимые ветром, как будто его решение зависит всецело от этого осмотра, а не от Матрены Степановны, которая начинает сильно ворчать в соседней комнате,— он решительным движением стаскивает со лба ремень, придерживающий волосы, и говорит:

— Иду!

Затем я присутствую при супружеском диалоге, для меня до известной степени одностороннем, так как ясно слышны мне только ответы Андрея Ивановича, а голос Матрены Степановны доносится лишь в виде бурного рокотания.

— Черт его бей! — говорит, во-первых, мой приятель, торопливо укладывая свои инструменты. Потом, надевая чистую рубашку, прибавляет: — Подождет! Что мне из-за него и богу не молиться!

— Нашла тоже благодетеля... Вон пару шью,— полтины за работу не очистится.

— Жйла он, да! А ты как думала? Жйла, сквалыга, скнипа!..

Голос Матрены Степановны подымается при этих кощунствах супруга против «давальцев» на самые высокие ноты, но Андрей Иванович упорствует.

— И никогда еще не приравняю,— говорит он уже другим тоном — тоном защиты, затягивая в то же время пояс.— Нашла к кому приравнять: по крайней мере, как бы то ни было, все-таки образованный человек, книги сочиняет... не им, живодерам, чета!

Так как в этой речи моего друга, хотя и снабженной столь многочисленными оговорками («по крайней мере», «как бы то ни было» и «все-таки»), дело, очевидно, идет обо мне, то, из понятного чувства скромности, я несколько удаляюсь от окна. Звуки супружеской перепалки усиливаются, но все же через минуту Андрей Иванович выбегает из калитки. Он несколько красен, несколько взволнован, но во всей его фигуре видно оживление и торжество. К сожалению, я должен сказать, что минуты подобного торжества в супружеской жизни Андрея Ивановича далеко не часты... Как бы то ни было, мы быстро шагаем по городским улицам. Андрей Иванович впереди, и мне видно, как у него нервно подергивается

спина, как будто на ней есть глаза, и эти глаза видят оставленный назади дом и у дверей фигуру Матрены Степановны, и как она стоит, упершись руками в бока и посылая нам вдогонку не христианские пожелания...

Между тем, по улицам двигались уже кучи разряженных обывателей и обывательниц. Деревенский люд, богомольцы и «поклонники», собравшиеся к проводам иконы из окрестностей, а иные из отдаленных сел и городов: из Балахны, Городца, Василя,— сидели на панелях, под стенами домов, разложив вокруг узлы, кошели и котомки. Многие тянулись уже к монастырю, где перед выходом из города служат молебен. Лавки на попутных улицах закрывались, торговля прекращалась, колокола гудели вдали, и звон разливался над городом, как море, захватывая одну за другой церкви, все ближе и ближе.

Когда мы вышли на улицу, ведущую к девичьему монастырю, пестрые передовые толпы уже заливали ее почти сплошными массами. Кое-где, ближе к концу города, у ворот и калиток стояли ведра или небольшие ушаты с квасом. Богомольцы подходили к ним, снимали шапки, крестились и испивали.

Спаси вас господи, царица небесная, радетели...

У монастырских ворот конные и пешие городовые сдерживают напор толпы. Они сортируют публику, пропуская одних, «которые почище», а «чернядь» отгоняя прочь. Нас пропустили, хотя с некоторым колебанием.

Против входа, на дворе, темным пятном среди пестро наряженных горожан выделяется отряд монастырских клирошанок. Впереди игуменья, среди рясофорных стариц, радушно раскланивается с именитыми горожанами. В задних рядах молодые послушницы, в конических шлыках, потупляют глаза перед любопытными взорами мирской толпы. По временам из-под шлыка сверкнет молодой взгляд, заиграет лукавая улыбка. И потом голова наклоняется, потупляются глаза, и черная тень надвигается на лицо, оставляя на виду только губы и подбородок... Становится как-то жутко. Чуется невольно в этой тени и трепетание молодой жизни, и быть может порыв, и быть может протест, и быть может глухая борьба...

Впрочем, стоит перевести взгляд на первые ряды, и тревожные фантазии рассеются: здесь, в тихой обители, годам к шестидесяти, приходит, вместе с телесною полнотою, душевный мир и то незлобивое спокойствие, с каким в ту самую минуту почтенная предводительница клира приветствовала старого, но очень любезного полицейского генерала.

Андрей Иванович дернул меня за рукав.

— Идем! Что нам здесь смотреть?.. Чернохвостые! — добавил он, кидая сердитый взгляд исподлобья.

Однако уходить уже было поздно. У входа образовалась давка, так как икона приближалась к монастырю. Черницы с трудом проталкиваются за ворота, и через минуту над гулом идущей суетливо толпы слышен хор женских голосов, поющих тропарь:

«Днесь светле красуется Нижний-Новград, яко зарю солнечную восприимше...»

Через несколько минут процессия появляется в воротах. Наклоняясь над густой толпой, проносятся хоругви, парча волнуется и сверкает, тонкое резное серебро дрожит в синем воздухе. Кресты, сияния, фонари, затем золоченая риза иконы с темными ликами богородицы и младенца — все это будто плывет над обнаженными головами народа. Еще минута — и железные ворота, точно по волшебству, разрезают живой поток, смыкаются и сдерживают толпу. Несколько пеших городовых, навалившись изо всех сил, подпирают ворота своими дюжими фигурами; сквозь решетки видно пять конных молодцов, тесно сомкнувшихся стремя у стремени. Лошади подтягивают морды, играют и топчутся на месте, отжимая толпу. Толпа ропщет, кто-то кричит, кто-то ругается, два клира наполняют воздух пением, вверху гудят колокола и шумят деревья... Икона вносится в церковь.

II

Через полчаса, после молебна, икону проносят из монастыря к лагерю. Войска отгородили широкий квадрат у подножия церкви. Музыка играет «Коль славен», раздается команда «на молитву», в ясном воздухе гудит и дребезжит бас диакона, чуть-чуть слышится пение хора, относимое ветром. После молебна икону, поставленную в

киот, на длинных дрогах подымают на плечи; трогаются вперед хоругви.

— Барин, вы, видно, до Оранок? — спрашивает, трогая меня за рукав, какая-то старушка.

— До Оранок, матушка.

— Владычице... свечку за меня грешную.— Морщинистая рука тянется ко мне с пятаком.

— И от меня возьми, барин.

— И от меня.

Я принимаю поручения и кладу набранную сумму особо.

Невдалеке, уже на тракту, служат прощальный молебен. Здесь толпа начинает разделяться. Зонтики, шляпки с цветами, щегольские мужские шляпы отделяются по направлению к городу. Рыжие мужицкие гречневики, котомки, лапти, красные сарафаны деревенских молодух, кое-где мещанский ситец, белые платочки — все это отливает по тракту вперед. Нищие стоят по сторонам, протягивая руки. Дурачок Митька выкрикивает, стоя на холме, командные слова, какой-то долговязый юродивый размахивает палкой, бормочет что-то и бежит за толпой. Позванивая колокольцами, с трудом пробираются меж народом три или четыре почтовые повозки, в которых сидят два толстых монаха с лоснящимися и довольными лицами.

— Казну везут в монастырь,— говорят около нас.

Через несколько минут, выбравшись на более просторное место, ямщики трогают вожжи, колокольцы заливаются, и повозки, минуя быстро идущую толпу, несутся на горку и исчезают из виду.

Впереди — пологий красивый подъем. Широкою лентой, окаймленная четырьмя рядами развесистых, старых берез, лежит дорога, вся пестрая, вся живая, усыпанная народом...

Но вот, в половине подъема, оказывается задержка. Торопливо пройдя полями, наперерез, из ближней деревни вышла на тракт кучка крестьян и стала в ряд, навстречу приближающейся иконе... И тотчас же около нее начинает как-то густеть и завиваться прегражденное течение людского потока.

Мы прибавляем шагу и слышим все яснее пронзительные причитания. Молодой женский голос, то исступ-

ленный, то жалобный, страдающий и молящий, разносится в воздухе, между тем как сзади, надвигаясь все ближе, растет торжественный напев тропаря.

— Кличет...— сказал Андрей Иванович.

— Кликуша... порченая... Под икону класть привели,— говорят кругом в толпе с живым интересом.

— Пока до Митина дойдем, штук десять выведут,— прибавил равнодушно какой-то немолодой мещанин.

— Баловство одно! — кидает Андрей Иванович.

— Баловство и есть... Поучить бы хорошенько.

— Поучи-ить? — язвительно и звонко подхватывает какая-то бабенка.— Чем она виновата? Иная от вас и закличет, от учения вашего...

— Да, говори!.. Стоят этакие же вот две сороки. Одна и спрашивает у другой: «Ты ноне, Аниська, станешь выкликать, что ли?» — «Нет, мол, не стану, сыро!» — «Ну так погляди у меня калачи, я покличу маленько...»

В толпе смех.

— А ты это сам слыхал, что ли? — заступаются опять обиженные бабы.

Между тем, около кликуши степенно и грустно стоят ее однодеревенцы, а родные держат молодую женщину под руки. Толпа все приливает... Резкий крик... по временам плавное причитание, сменяющееся стонами и неистовым, надрывающимся воплем... Легкое облако пыли, пронизанное солнцем, колеблется между рядами берез... Глухой шум, будто от прорвавшегося потока, мерный топот десятитысячной толпы и волны клирного пения, объединяющего весь этот нестройный гул в одно могучее, захватывающее движение,— все это близится, вырастает, охватывает и подымает за собой, между тем как впереди, споря с общею гармонией, бьется какое-то одно жалкое, страдающее и непокорное существо с этим испуганным, надрывающимся голосом...

Мне становится жутко. Андрей Иванович хмурится. Мы стоим в густой давке, на откосе тракта, а мимо нас, точно река, сжатая берегами, густо, величаво и плавно несется уже сплошная толпа, давно охватившая группу с кликушей, которая неистово вырывается из рук, мечется, кидается в стороны...

Икона близко... Резкий, нечеловеческий вопль покрывает и смешивает на мгновение пение хора.

Из толпы, головой выше всех, выделяется фигура странника с длинными волосами, опаленным лицом и мрачным взглядом. Огромный, сухой, странно равнодушный, он легко прокладывает себе дорогу в толпе, наклоняется, подымает на плечи «порченую», которая судорожно бьется у него в руках, и, раздвигая поток человеческих тел, несет ее навстречу иконе... Пронеся несколько саженей, он кидает свою ношу на землю, склоняется над нею, и живой поток смыкается, покрывая обоих...

Еще один подавленный крик... Ряды фонарей, крестов, хоругвей уже далеко впереди... Кругом только мерный топот и гул неудержимого, как стихия, человеческого потока. В клубах кадильного дыма, в волне торжественного пения, колыхаясь и сверкая на солнце, икона плывет в воздухе над этим океаном обнаженных голов,— над подавленным, строптивым воплем «одержимой»... Пение, все такое же стройное, все тише, все мягче расплывается в воздухе, и сквозь редеющий топот уже вновь пробивается ласковый шорох и шелест придорожных берез...

Молодая женщина лежит в пыли, на дороге. Она тихо вздрагивает и как-то по-детски плачет... Любопытные заглядывают через плечи родственников, сомкнувшихся вокруг «порченой», а странник, такой же равнодушный и мрачный, опять прокладывает себе путь вперед, ближе к иконе...

Жарко... Как-то сразу я чувствую и зной, и то, что котомка невыносимо отдавила мне плечи, и всю трудность пути за этою быстро уносящеюся толпой. Андрей Иванович остановился и смотрел вправо. Там, с крутого обрыва, виднеется гладкая излучина Оки. Река лежит среди сырых и пàрящих от зноя лугов, светлая, ровная. Оттуда, снизу, так и манит, так и веет свежестью и прохладой.

— Вот что,— решает Андрей Иванович,— надо купаться!

— Далеко, милые, отстанете,— дружелюбно говорит какая-то богомолка, торопливо пробегающая мимо нас, но мы решаемся и быстро спускаемся по обрыву, поросшему орешником.

Тихий берег. Гребень обрыва скрыл от нас толпу с ее говором и движением. По временам на этом гребне мелькают цветные фигуры, в одиночку и парами, все реже и

реже. Река плещет в каменистый берег. Вправо, верстах в десяти, из-за реющего тумана виднеются строения и церкви Канавина. На нашей стороне, дымя высокими трубами, бесшумно работает завод. После суетливого речного движения Волги, ее соседка Ока производит странное впечатление. Как здесь тихо! Далеко на той стороне, вдоль песков, скользит парусная лодка. Под горой («яром», как здесь называют) по берегу движется темное пятно. Это бурлаки, которых вы почти уже не встретите по Волге, ведут бичевой небольшую барку. Пятно будто стоит на месте, и только после долгих промежутков видно, что оно становится меньше, все удаляясь вверх по реке. Дрянной окский пароходишко пробегает из Нижнего, гулко шлепая колесами среди пустынных берегов. На палубе никого не видно, даже на трапе пусто. Только, затерявшись у штурвала, виднеется одинокая фигура лоцмана.

III

Когда, выкупавшись, мы опять поднялись на гору,— дорога совсем опустела. У «мызы», на свежем воздухе, семья хозяина благодушествовала за самоваром. Несколько переселенческих телег стояли тут же с подвязанными кверху оглоблями. По всей дороге, взбегающей на горку, не было видно никаких следов крестного хода. Кое-где только по сторонам шли нам навстречу увлеченные общим течением и теперь возвращавшиеся обратно горожане.

— Далеко икона?

— В Новой деревне молебен отслужили.

Прибавив шагу, мы быстро миновали Новую деревню. Тут попадались уже отсталые. Пьяный мужик плелся неверным шагом, грустно помахивая из стороны в сторону своею кудрявою головушкой.

— Н-не догнать будет, мил-лаи... Н-и-и. Она, владычица-те, чай, уж куда улетела. В Борисове теперь. А мы, по грехам-те нашим, отстали вот... Ах, мил-лаи!..

И мужик долго качал сзади нас победною головушкой, объятый глубокою скорбью. Наконец, вероятно изнемогая в неравной борьбе с своею греховностью, он присел у дорожной канавы. Оглянувшись, мы увидели бед-

ного человека с запрокинутою головой, и что-то вроде бутылки сверкало в его руках на солнце. Вскоре только красное пятнышко, лежавшее на зеленом фоне придорожной муравы, обозначало место победы греха над благочестивым стремлением...

Впрочем, кудрявый мужик не один испытал эту горькую участь. В тени березок, а иногда и в грязи канав, то и дело попадались нам тела других павших.

А вот на свалившемся и полусгнившем дереве отдыхает какая-то компания. Седой еврей в солдатской шинели, с громадною лохматою бородой и белыми кудрями да еще три-четыре мрачных субъекта, более или менее сомнительной наружности... Седой старик, очевидно, пристал к ним сейчас. Один из компании наклоняется к его уху и кричит:

— Ступай ты, служивый, от нас. Не рука нам, значит... Иди, иди!

— А-яй! Глухой я, ничего не слышу... А прежде на бубен играл... Ай-ай, как я играл на бубен...

Долговязый, черный золоторотец флегматично поднимается с бревна, берет старика за шиворот и ставит на дорогу. Порядочный толчок сильной руки показывает служивому, что от него требуют. Подхватив котомку и тревожно оглядываясь, старик суетливо бежит по тропинке. По-видимому, только теперь он сообразил, что имеет дело не с праздными дорожными зеваками, которым любопытно знать, как он играл на бубне, а с людьми, которые заняты делом. Рать богомольцев имеет своих отсталых и павших, а это мародеры. Они смотрят на нас, сидя на своем бревне, как коршуны, из-под насупленных бровей. Только один, с толстою физиономией, одетый в женскую кургузую кацавейку, глядит веселее и даже не без юмора.

— Что, отстали, господа? — спрашивает он.

— А вот,— угрюмо отвечает мой спутник, шагая мимо,— смотрим, не попадется ли где работишка...

— Какая?

— Грузчики мы, карманы выгружаем,— отвечает Андрей Иванович невозмутимо.

— Ишь, журавль долговязый!

— Что ты ругаешься?

Андрей Иванович мгновенно поворачивается. Его

странные, глубоко сидящие глаза сверкают из-под шапки рыжих волос (картуз у него спрятан в котомке). Он большой любитель кулачного боя и считает ниже своего достоинства справляться о числе противников. Несмотря на долговязость и сухощавость, его фигура обличает незаурядную силу. Длинные сухие руки заканчиваются громадными красными кулаками. Сомнительные субъекты мрачно оглядывают его, производя безмолвную оценку. Только кацавейка, по-видимому, готова принять вызов.

— Сиди ты, «машка»! — останавливают его.— А вы, господа, идите себе своей дорогой.

— И то идем. А ты не моги нам указывать...— горячится Андрей Иванович.

— А ты не горячись,— выскакивает кацавейка,— я, брат, и сам с усам. Ка-ак махну...

— Ты?

— Я.

— Меня?

Андрей Иванович, отставив кулак назад, подходит грудью к кацавейке, великодушно подставляя под удар незащищенную физиономию. Я знаю, что в эту минуту самое горячее желание Андрея Ивановича состоит в том, чтобы кацавейка осмелилась его ударить. В груди у него кипит и подымается что-то такое, что может получить естественный исход лишь в случае оплеухи со стороны противника. А уж тогда последуют со стороны Андрея Ивановича истинные чудеса неустрашимости.

Однако бой не состоялся. С одной стороны, я усиленно удерживаю Андрея Ивановича. Это очень трудно. Его железная рука легко отмахивается от меня.

— Уд-ди! Не трог! — кидает он в мою сторону довольно грубо. С другой стороны, черный золоторотец отталкивает кацавейку. Мрачный субъект, по-видимому, человек серьезный, и весь эпизод сердит его, как глупая шалость, мешающая «работе».

Как бы то ни было, поле остается бесспорно за Андреем Ивановичем. Отставив правую руку назад, приподняв левое плечо кверху и весь подавшись вперед, он гордо стоит на месте, между тем как противники, огрызаясь, уходят в том направлении, где на травке алеет кумачная рубаха скорбевшего о грехах мужика.

Через минуту, круто повернувшись и не говоря более ни слова о происшедшем, Андрей Иванович шагает по дороге как ни в чем не бывало.

IV

У небольшого поселка Ольгина дорога разделилась. По старому Московскому тракту, протянувшемуся на Горбатов и далее на Муром, рассыпаны пестрые кучки крестьян, которые выходили навстречу иконе из ближних деревень и теперь возвращаются обратно. Арзамасский тракт ушел влево.

Отсталых все больше и больше, но главной массы богомольцев не видно вовсе. Деревни, через которые приходится идти, точно вымело,— жители провожают икону до следующих деревень, а иные присоединяются к богомольцам до Оранок. Только квасники-лавочники еще не убрались и считают под навесами медяки, оставшиеся в выручках после только что отлившей людской волны.

— Кваску, господа, не угодно ли?

Мы пьем везде, где только возможно. «Для ходу человеку квас очень пользителен,— философствует Андрей Иванович.— А для отдыху, заметьте себе, квасу не кушайте, а более чай».

— Что, хорошо ли торговали? — спрашиваю я у торговца, отирающего платком потное, красное лицо.

— Ух, господин, чистая беда! Главное дело — безобразно очень: все деньги вперед надо спрашивать. Не доглядишь — *он* выпьет, потом идет себе, более ничего.

— Или теперь со сдачей...— меланхолически добавляет торговка.— Дает гривенник, а сдачи просит с пятиалтынного.

Андрея Ивановича почему-то оскорбляют эти обвинения.

— Не грех богомольцу и даром кваску поднести,— сообщает он свое решительное мнение.

— Наше дело торговое,— холодно отвечает лавочник.

— Живодеры вы, вот что! — говорит мой приятель уже на ходу, но его замечание, по-видимому, не доходит по назначению.

— Назад пойдете, может, ночевать к нам не зайдете ли! — звонко и приветливо кричит торговка вдогонку.

— Вот они, торгаши,— ты ему плюнь в глаза, а он говорит: «божья роса!» Ничтожный народ.

Андрей Иванович имеет обыкновение выражаться резко и определенно: его симпатии и антипатии, как и все поступки, отличаются быстротой, решительностью и некоторою парадоксальностью. Он — отличный работник и примерный семьянин. В молодости года три он сильно пьянствовал и даже валялся в лужах, но потом вдруг остепенился. Чтобы закрепить это обращение на путь истины, отец решил женить его на Матрене Степановне, немолодой и некрасивой девушке, обладавшей резким голосом и очень твердым характером. Андрей Иванович не вышел из родительской воли, и с тех пор жизнь его пошла ровно. Матрена Степановна держала его круто, но, впрочем, и сам он понимал свои обязанности. Работник он был примерный, пользовался нераздельно доверием заказчиков на Яриле и Новой Стройке (окраинных частях города), трудился с утра до вечера, с «давальцами» обращался очень почтительно. Только когда на время «снимал хомут», как сам он выражался, тогда сразу становился другим человеком. В нем проявлялся строптивый демократизм и наклонность к отрицанию. «Давальцев» он начинал рассматривать как своих личных врагов, духовенство обвинял в стяжательстве и в чревоугодии, полицию — в том, что она слишком величается над народом и, кроме того, у пьяных, ночующих в части, шарит по карманам (это он испытал горестным опытом во время своего запивойства). Но больше всего доставалось купцам.

— За что вы его обругали?—спросил я на этот раз.

— А вам жалко? — и он кинул на меня короткий взгляд исподлобья.— Я так об них полагаю, что будь я министр, всех бы их запретил.

— Как же тогда — город остался бы без лавок, без товару?.. Кто бы стал заказывать вам сапоги?..

— Как-нибудь иначе придумали бы. Мало ли способов!..

— Как же бы вы придумали? Интересно.

— Да что вы ко мне пристали: как да как? Ежели я сапожник, то, стало быть, это не мое дело. Что я

знаю? — шило да подметку, товар да колодку, больше ничего. А, может, дайте вы мне большие тысячи, чтобы мне книжки читать, да всякие там бумаги,— я бы придумал. Уж это верно, что придумал бы. А что вы насчет заказчиков говорили, на это я вам вполне могу ответить. Вы вот о чем рассудите: мой отец двенадцать работников держал, а я только двух, и тех еще по времю отпускаешь. Почему так?

— Может быть, сами работники в хозяева выходят?

— Не туда гнете: в хозяева! Вот недавно еще было дело: стал я пьянствовать, отец меня прогнал. И сейчас меня, пьяницу, три хозяина зовут. А теперь вон сколько подмастерьев шатается, из хлеба одного готовы работать,— никто не берет. Это вы можете понимать, стало быть, как они в хозяева выходят. Нет, что уж...

Андрей Иванович машет рукой и многозначительно замолкает. Вся его фигура в эту минуту показывает, что если дела так пойдут дальше, то за последствия он отвечать не возьмется.

В это время сзади нас нагоняет тарантас, запряженный тройкой. Мужик в кумачовой рубахе погоняет лошадей. В телеге сидит молодой, хорошо упитанный купеческий сынок с бутылкой в руке. Чьи-то ноги свесились из-за переплета. На купце надет рыжий картуз, возница щеголяет в касторовой шляпе. Вся компания, очевидно, сильно под хмельком. Купчик наклоняется с сиденья, чтоб ущипнуть одну из трех мимо идущих богомолок. Девушки визжат, компания хохочет, лошади, испуганные шумом, трогают быстрее. Андрей Иванович останавливается в негодовании.

— Вот вы их защищаете. Смотрите сами: тоже ведь на богомолье собрался! Мы вот с вами идем пешком, изустанем,— неужто нам это озорство пойдет на ум? А в нем сила играет, потому что легкие деньги, вот что! Легкий хлеб это играет... Н-ну, попадись мне этот богомолец где-нибудь, что я над ним сделаю!..

Андрей Иванович злобно сжимает кулаки, грозит вослед тарантасу, неистово раскачивающемуся на ухабах, и затем прибавляет с горечью:

— Дурак едет на скотине, умный век пешком идет!.. Стих так говорится... И верно!

V

Пройдя еще с полверсты, Андрей Иванович толкнул меня локтем и круто остановился.

— Гляди-ка, старушка-то... ай-ай-ай!

В стороне, по тропинке, опираясь на палку и сгорбившись, плелась какая-то старуха. Очевидно, каждый шаг давался ей очень трудно. Сгорбленная спина качалась, голова, опущенная вниз, дрожала, ноги передвигались с трудом. Она не поднимала глаз и сосредоточенно смотрела только под ноги, отмеривая шаг за шагом своего многотрудного пути.

— Матушка, а матушка! — окликнул ее Андрей Иванович.

— Что тебе, касатик?

В голосе старушки слышалось усилие. Она подняла сморщенное лицо с потускневшим взглядом и посмотрела на Андрея Ивановича, продолжая шагать по-прежнему.

— Ты как же это, а? — недоумевал мой впечатлительный спутник.— Чай, ведь трудно?

— Трудно, родимый, трудно! Главное дело — ноги вот, ноги не ходят,— стара.

Слеза выкатилась из моргающего глаза и упала на песок дорожки. Андрей Иванович делал какие-то нелепые движения, что у него служило признаком внутреннего волнения.

— Нешто этак возможно? Ведь тебе никак не дойти.

— Авось матушка владычица донесет. Порадеть хочется матушке... Стара... Помирать скоро,— порадеть хочется. А что, далеко ли еще до Каменки, до ночлегу?

— Верст еще двенадцать.

— Ох, батюшки, далеко!.. Иди, иди, касатик. Не смотри на меня, старую.. Негоже вам глядеть-то... Ноженьки-то у вас резвые, а я, вишь, измучилась... Не замай, проходите, родимые...

Мы двинулись дальше, и оба долго молчали. Наконец, остановившись, по обыкновению, неожиданно, Андрей Иванович посмотрел на меня долгим, укоризненным взглядом.

— Неужели это она напрасно?.. Думаете, не зачтется? Не может быть, враки!..

И хотя я и не думал даже возражать, Андрей Иванович крепко ударил палкой по стволу ближайшей березы и быстро пошел вперед.

Вскоре мы обогнали трех богомолок, которых недавно задевала пьяная компания. Одна была немолода, две—молодые девушки, по-видимому мещанки или горничные. Все они быстро шлепали босыми ногами. Когда мы поравнялись с ними, они прибавили шагу и шли вровень, хихикая и жеманясь. Андрей Иванович, не обращая внимания, шагал своею журавлиною походкой: я едва поспевал за ним. Это безмолвное состязание как будто сблизило нас с женщинами.

— И что это, право, какие кавалеры,— сказала старшая из них, запыхавшись и отирая пот ситцевым рукавом,— замучили вовсе...

— А вам какая надобность гоняться? — спросил Андрей Иванович. Я заметил, что его брови хмурятся и глаза будто уходят глубже. Но девушки приняли его ответ за вызов на дальнейший разговор.

— Да ведь, чай, в компании-то веселее,— бойко сказала ближайшая.— Мы видим, что вы кавалеры обходительные, не сиволапые мужики...

— Конечно, веселей,— кинула другая,— что в пути, что на ночлеге...

Все они засмеялись. Но Андрей Иванович, еще не освободившийся от впечатления, произведенного на нас обоих старухой, внезапно остановился, вперил на девушку свои колющие впалые глаза и спросил:

— Вы какое это слово сказали, а? Нет, вы какое слово сказали?

Озадаченные мещанки удивленно посмотрели на него и быстро бросились в сторону, так как Андрей Иванович вдруг впал в тон обличителя. Он поднял руку и, потрясая ладонью над головой, называл девушек сороками и срамницами, между тем как они быстро шлепали по тропинке босыми ногами. Догнав первую кучку богомольцев, они принялись что-то оживленно рассказывать им, указывая назад.

— Сороки короткохвостые, право, сороки! — говорил Андрей Иванович, довольный произведенным впечатлением.— Нету в этом народе никакого понятия...

— Это вы насчет горничных?

— Вопче, женщины.

— А Матрена Степановна?

— Ну, что такое Матрена Степановна? — та же баба! Недаром еще Пушкин сказал: все, говорит, одинаковы, и имя им ничтожество. А уж на что сочинитель был известный.

— Андрей Иванович! Пушкин этого не говорил.

— Ну, вот, не говорил!.. Когда бы не сам я читал... Конечно,— прибавил он через минуту, не без меланхолии,— в прежние года, когда я был холост, тогда и самому лестно было. А то, вишь, к женатому человеку...

— Да им почем знать, что вы женаты?

— Знают... А не знали, так теперь будут знать.

VI

Пройдя село Митино, мы увидели толпу у Вязовки. Только часть богомольцев вошла с иконой в деревню, другая сворачивала ближайшим путем, под высокими мельницами, выходя под углом на боковую дорогу, которая вела в Каменку. Оставалось пройти еще десять верст до ночлега.

Когда мы подошли к мельницам, процессия выходила из села. Лучи заката играли на серебре хоругвей. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе, жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами, смешиваясь с приближавшимся пением хора. Человеческие голоса звучали среди полей, под тихим дыханием угасающего дня, както особенно гормонично и мягко.

По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. Из Каменки, навстречу иконе, выходили крестьяне. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья: седой старик со старухой впереди, рядом сын большак, поодаль молодуха. Две или три детских головки чуть виднелись среди колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшеюся рожью.

— Насчет хлебушка прибегают к владычице. Мало ли что может случиться? — град, засуха, червяк...

— Благодать! — говорит Андрей Иванович.— И складно же поют, ах, братцы мои!

— Женщина там одна... тоже выводит.

Действительно, молодой женский голос, вырываясь высокими нотами, развевается с вечерним ветром над полями, сверкает, как лучи закатывающегося солнца, и гаснет где-то в ясной вышине вместе с этими лучами.

Однако идти трудно. «Богоносы», наклоняясь, будто готовые упасть под тяжестью хоругвей, несутся двумя рядами вперед, понукая передовую толпу.

— Пятки, пятки! — покрикивают они то и дело.

Высокая рожь мешает сойти в сторону, и мы почти бежим впереди. Урядник, выехавший навстречу, гарцует среди женщин и ребят, гордо красуясь на славной серой лошадке. На небе зарисовывается гребень холма, и черные крыши выступают на нем правильными очертаниями.

Тем не менее еще далеко. Вечер спустился на землю. Луна ярким серпом повисла над мглистою тучей: над полями залег синий, неопределенный, таинственный сумрак, наполненный сыростью и золотистым сиянием, которое так скрадывает все очертания. Оглянувшись назад, я вижу, что мы оставили процессию далеко позади. Огни фонарей тянутся искристою лентой в долине, вьются, изгибаются, вытягиваются и по временам освещают золотую ризу иконы, которая то выступает из мрака фосфорическим сиянием, то исчезает опять среди темноты.

Вот и первые избы селения. Мы сделали с четырех часов тридцать верст. Плечи отдавила котомка, ноги подкашиваются, я почти падаю от усталости.

— А что-то наша старушка? — сосредоточенно произносит Андрей Иванович, когда мы проходим по деревне, среди освещенных окон, где видны на столах самовары и отдыхающие богомольцы. В моем воображении рисуется старая, сгорбленная фигура, все так же бредущая среди темноты. Теперь никто уже не смутит непрошеным сожалением ее тяжелого добровольного подвига. Только рожь шепчет по сторонам, да луна смотрит с неба на выбивающегося из сил старого, отжившего человека...

VII

— Чай, что ли, пить? К нам заходите, к нам!

Андрей Иванович, не слушая этих зазываний, твердым шагом направляется к другому концу улицы, по-

дальше от церкви. Здесь также светятся окна, видны ярко вычищенные самовары на столах, но народу не так еще много.

— Дядя Иван!.. Эй, дядя Иван!..

Белая борода дяди Ивана наклоняется к окошку.

— Богомольцев пускаешь, что ли?

— Знакомых, друг, пускаем... Потому заняты места-те у нас.

— Что, ай не узнал?

— Богату быть, Андрей Иванович, богату быть... Ну-ну, полезай, полезай в избу-те.

За столом сидят уже несколько человек, все публика почище. Женщины в городских мещанских платьях, мужчины в пиджаках, по-видимому ремесленники. Хозяин только что убрал один самовар и поставил другой. Чай пили богомольцы свой; каждая компания получала в свое распоряжение чайник.

Я повалился на скамью, опершись спиной на стену. Не хотелось ни двигаться, ни развязывать котомку. Чувство особенного наслаждения, когда усталые члены мозжат и ноют, но зато все тело отдается ощущению отдыха и покоя, охватило меня всего. Андрей Иванович разделся, развязал котомку и даже снял сапоги.

— А ночевать куда положишь? — спросил он у хозяина.

Дядя Иван, благообразный старик с мягкими манерами и старчески лукавым лицом, озабоченно почесал затылок.

— Вот уж не знаю. На дворе разве. Крытый двор у нас.

— А в задней избе?

— Заднюю проезжающие заняли. Степан Ерофеича, из города, не знаете ли?

— Толстомордый?

— Ну-ну!

Андрей Иванович толкнул меня локтем.

— Это которых мы видели, безобразники-то... По шее их гнать, а ты в избу пущаешь!..

Старик озабоченно оглянулся и закашлял. Напившись чаю, богомолки и богомольцы выходили из-за стола и уходили из избы. Мы с Андреем Ивановичем, захватив большую охапку сена, расположились на дворе,

под навесом, у стены задней избы. Фонарь кидал колеблющийся свет, выпугивая воробьев из-под высокой соломенной крыши. Где-то в темных углах чавкали лошади, коровы жевали жвачку, похрюкивала свинья. Где-то еще слышались голоса богомольцев, улегшихся на соломе, кто-то копошился в кузове старого тарантаса. Свет луны прорывался сквозь щели плетеных стен. С улицы доносились шаги прибывающих странников. Они то и дело стучали в окна и усталыми голосами спрашивали:

— Ночевать, ночевать, родимые, не пустите ли?

Я не заметил, как заснул, и опять проснулся от странного шума. Казалось, что-то громадное, стуча, всхрапывая и шелестя, надвигалось на меня, заполняя неопределенную тьму. Понемногу, однако, я стал осваиваться с этим шумом: это, во-первых, Андрей Иванович жестоко храпел рядом. Во-вторых, петух, обеспокоенный необычными звуками, сошел с нашести и, осторожно шурша по соломе, пробирается у самого моего уха, почти касаясь головы своими крыльями. Вот он вышел на середину двора, и шуршание его легких шагов теперь принимает в моем сознании настоящие размеры... Я вижу, хотя и неясно, его небольшую фигурку, вижу, как он расправляет крылья и вытягивает шею.

— Ку-ка-ре-ку! — раздался вдруг резкий, будто слегка охрипший от ночной сырости голос.

Другой петух зашевелился и пробормотал что-то сонно и сердито. По-видимому, он находил, что еще рано.

Вслед за только что смолкшими переговорами петухов я услыхал в темноте двора еще какие-то звуки. В старом кузове тарантаса шептались два голоса — один мужской, другой женский. Из-за стены с некоторых пор несся какой-то топот, стукотня, песни и гул пьяных голосов. Влево от нас кто-то невидимый быстро зашевелился, и молодой сонный женский голос испуганно спросил:

— Кто тут? Ай, тетка Федосья, тетка Федосья!

— Что тебе? — говорит недовольно старуха.— Эй, ты, чего подкатился, озорник. Мало, что ль, места тебе? У меня живо откатишься...

Озорник громко и тенденциозно всхрапывает, очевидно, прикидываясь спящим. Однако встревоженное стрекотание проснувшихся деревенских девушек вскоре

заставляет озорника ретироваться. В это время Андрей Иванович, даже в сонном состоянии не теряющий порывистости движений, завозился на сене так внезапно и сильно, что даже у меня мелькнуло сомнение: неужели это он сейчас юркнул на свою постель... Впрочем, нет. Не говоря уже о непоколебимой добродетели моего спутника, я все время слышал около себя его храп.

— Что это вы расстрекотались, сороки? — проснувшись, спросил он, с обычным пренебрежением к женскому сословию.

— А-а, проснулся, небось... Озорник! — сказала тетка Федосья.

— Ишь где очутился! Туда же, храпит... Нешто сонный этак откатится?

— Да это кто такой? — спросил еще чей-то голос.

— Сапожник это из городу. В Ивановом доме живет.

— О? Да я и бабу его знаю.

— Ах, озорники эти сапожники! Супротив сапожников других таких и нету! Ох-хо-хо! Только ведь засыпать начала...

— К нам по дороге приставал! — бойко выносится из тарантаса звонкий и лукавый девичий голос. Я узнаю по этому голосу одну из мещанок, которым Андрей Иванович читал мораль.—И до такой степени приставал, то есть до такой степени, что и сказать невозможно...

— Мамынька! Я тятьке на него скажу,— плаксиво говорит испуганная девушка.

— Нишкни. Ужо мы евойной бабе все расскажем...

— О, ш-штоб вв-вас! — тихо и злобно шипит Андрей Иванович, видя, какой опасный оборот принимает дело. Упоминание о супруге при таком подавляющем стечении улик окончательно лишает его самоуверенности, и потому он делает самое худшее, что мог бы сделать в своем положении, а именно — вытягивается на постели и пускает притворное сопение, прикидываясь заснувшим.

— Храпит... здесь вот этак же храпел, притворщик... Ох-хо-хо! Грехи, грехи...

Вскоре под навесом водворяется тишина.

Притаившиеся на время голоса в кузове тарантаса опять возобновляют тихую и мирную беседу. Из-за стены слышатся визг и хохот. Андрей Иванович ворочается, бормочет что-то и по временам кого-то тихо ругает.

Я начинаю забываться. Мне опять видится одинокая старушка. Она все еще плетется по опустевшей дороге, между побелевшими от росы ржаными полями. Андрей Иванович идет впереди ее, размахивая руками, и кому-то угрожает: «Что-о... не зачтется ей?.. Нет, враки, не туда гнете!..»

— Не туда гнете! — слышу я уже наяву крик Андрея Ивановича.— Меня не испугаете! Нешто этакое озорство дозволяется? Спать не даете, гульбу завели, соблазн! Богомо-óльцы!.. Озорники, лодыри, гуляки!..

Я не сразу мог сообразить, в чем дело. Светает: снаружи первые, еще рассеянные лучи просверлили уже в нашем плетне круглые горящие отверстия. Свет расплывается в сыром воздухе, воробьи чирикают под застрехами; в углах темно и прохладно. Андрей Иванович, босой, со всклокоченными волосами, стоит у сеней, перед входом в заднюю избу, и, по-видимому, обличает ночных гуляк. Хозяин, тоже босой, унимает его.

— Ты вот что! Ты у меня в доме сам себя веди посмирнее.

— А ты что из своего дома сделал, а?

— Не твое дело. Тебя пустили, ты ночуй благородно, а беспокойства делать не моги.

— Что там опять? — просыпаются богомольцы.

— Сапожник из городу буянит.

— Сапожни-ик?

— Да, в Ивановом доме живет который. Такой озорник, беда! Ночью этто к девкам так шаром и катится, так и катится...

— К нам на дороге до такой степени приставал,— подымает румяное лицо из тарантаса мещаночка. Теперь она в тарантасе одна и имеет вид самого невинного простодушия.

— Бока намять! — категорически заключает хриплый и сонный бас.

— О, штоб вас! — стонет опять Андрей Иванович, ложась рядом со мной.— Н-ну, нар-род! Этакого народу в прочих государствах поискать... Ей-богу... Тьфу!

— Охота вам, Андрей Иваныч, во все вмешиваться...— говорю я, едва удерживаясь от смеха...

— Карахтер у меня такой. Не люблю озорства.

— Вот и расплачивайтесь. Вам же и достанется...

— А что вы думаете? Ей-богу, правда. И всегда я же в дураках остаюсь... Н-ну, однако, попадется мне еще этот купец. Я ему, погодите-ка, нос утру. Будет помнить...

И через минуту, наклоняясь к моему уху, он тихо прибавил:

— А уж вы, Галактионыч, в случае чего перед Матреной Степановной как-нибудь того, не выдавайте... Ах, народ же... то есть до чего наш народ несообразен, так это даже удивительно!

VIII

День разгорался жарко. Икона тронулась опять часов с десяти. Мы вышли немного вперед, но идти было не легко. Ноги двигались с трудом, все члены ныли. Однако понемногу усталость как будто проходила.

Кое-где небольшой лесок скрывал нас своею тенью от жаркого солнца, но большею частью по бокам волновалась поспевающая рожь. Иногда на нашу дорогу выбегал проселок от какой-нибудь ближней деревни, и на этом перекрестке стояли у маленьких «часовенок» деревенские иконки. Какой-нибудь седой старик с обнаженною головою сидел на припеке у блюда, покрытого чистым полотенцем. У каждой такой часовенки икона останавливалась, служился молебен. Тогда вокруг иконы делалась давка. Народ рвался к ней, стараясь приложиться к стеклу киота. Сгибаясь, проходили они под шесты, на которых икона была поставлена, давя друг друга и теснясь, и тянулись к иконе. Теперь, на просторе полей, у этих часовенок, среди раскинувшейся и поредевшей толпы, икона стала как будто ближе и доступнее. Тут, собственно, ее окружал тесный кружок настоящих богомольцев. Страждущий, болящий, немощный и скорбящий люд охватывал икону живою волной, которая вздымалась под влиянием какого-то особенного притяжения. Не глядя друг на друга, не обращая внимания на толчки, все они смотрели в одно место. Полупотухшие глаза, скорченные руки, изогнутые спины, лица, искаженные от боли и страдания,— все это обращалось к одному центру, туда, где из-за стекла и переплета рамы сияла золотая риза и голова богоматери склонялась тем-

ном к младенцу. Из глубины киота икона производила особенное впечатление. Солнечные лучи, проникая сквозь стекла, сверкали смягченными переливами на золоте ее венца; от движения толпы икона слегка колебалась, переливы света вспыхивали и угасали, перебегая с места на место, и склоненная голова, казалось, шевелилась над взволнованною толпою. Тогда потухшие глаза и искаженные лица оживлялись. По всем этим лицам проходило какое-то веяние, сглаживавшее все различные оттенки страдания, подводившее их под общее выражение умиления. Я смотрел на эту картину не без волнения... Такая волна человеческого горя, такая волна человеческого упования и надежды!.. И какая огромная масса однородного душевного движения, подхватывающего, уносящего, смывающего каждое отдельное страдание, каждое личное горе, как каплю, утопающую в океане!.. Не здесь ли, думалось мне, не в этом ли могучем потоке однородных человеческих упований, одной веры и одинаковых надежд — источник этой исцеляющей силы?..

Когда короткий молебен кончался и икононосцы принимались за шесты,— многие склонялись или даже ложились на землю. Но, опять, здесь это было как-то проще, более трогало и никого не пугало... Икона вздрагивала, подымалась и, плавно колыхаясь, проносилась над распростертыми людьми. Счастливцы, над которыми она проходила, вставали с умиленными лицами.

IX

Остановки здесь были очень часты, поэтому мы с Андреем Ивановичем далеко опередили ядро богомольцев.

Против одной деревеньки, живописно раскинувшейся в версте от дороги, на холмике, мы наткнулись на оживленную картину. Вдоль нашего пути в нескольких местах были выстроены зеленые шатры, в тени которых стояли столы и дымились самовары. На траве с одной стороны дороги сидели бабы с ведрами квасу и с хлебом, на другой — курились огоньки, над которыми жарились на сковородках грибы. Картина импровизированного базара была оживленная и шумная.

— Две копейки, две копейки всего! Грибов отведайте, почтенные! — весело зазывали красивые, нарядные молодицы.

Я уселся около одной из сковородок и позвал Андрея Ивановича.

— Не кушайте грибов! — сказал он мрачно и как будто намекая на что-то.

— А что?

— Раскольники! — крикнул он как-то в сторону и отвернулся.

Я засмеялся; но Андрей Иванович пошел, не останавливаясь, дальше. Действительно, среди этих красивых и по-праздничному разодетых баб я не заметил того благоговейного ожидания, с каким встречали икону в других местах. Они весело болтали, громко пересмеивались, зазывая проходящих. Среди них царило, повидимому, одно только желание поживиться от этой толпы.

Отведав невкусного яства, сильно отзывавшего плохим постным маслом, я тронулся в дальнейший путь и, спустившись с небольшого холма, наткнулся неожиданно на новую сцену. На дороге, среди кучки плутовато посмеивавшихся раскольничьих красавиц, Андрей Иванович являл новые примеры неустрашимости. В стороне стоял знакомый уже мне тарантас: распряженные лошади ели овес, а хозяева оживленно спорили с Андреем Ивановичем.

— А! на паре вы ездите! — кричал Андрей Иванович купеческому сынку, одетому, как вчера, в мужицкий картуз.— Я на тебя не посмотрю, что ты ездишь на паре... Много я вашего брата учил...

Он подвигался к противнику, так же, как вчера, подставляя щеку. Один из товарищей купчика, субъект в длиннейшем пиджаке и в картузе с огромным козырьком, еле стоявший на ногах, путаясь, заплетаясь и балансируя, то и дело подходил к Андрею Ивановичу с воинственным видом, но каждый раз отлетал далеко в сторону от легких толчков последнего. Мужичок-возница, в кумачной рубахе и касторовой шляпе, оказывал более деятельную помощь купцу, и потому Андрей Иванович по временам схватывал его за грудь и сильно сотрясал. Купец замахивался зонтиком, но ударить не

решался, несмотря на то, что Андрей Иванович всячески поощрял его к этому.

— Ну, что ж, ударь, ударь... Я и женку-то знаю, которую ты вчера приводил... Егорки Михалкинского баба, а?.. Н-на паре ездишь, форсишь!.. Безобразничать вам только... Богомольцы!..

Но молодой купчик, видимо оробевший, все только замахивался своим зонтиком. Тогда, потеряв терпение и предвидя мое вмешательство, в смысле примирения, Андрей Иванович вдруг дал совершенно неожиданный исход своей ярости. Кинувшись к мужику-вознице, он схватил его одною рукою за грудь, а другою потянулся к касторовой шляпе.

— Ты з-зачем евоную шляпу надел, зач-чем н-надел шляпу, а? — спрашивал он сдавленным от ярости голосом и, сорвав ненавистную шляпу, вдруг бросился к купцу, быстро сшиб с него картуз и сильным движением нахлобучил ее ему на голову.

Озадаченная мина купца вызвала всеобщий хохот; но так как после этого оскорбления он все-таки только взмахнул своим зонтиком, то терпение Андрея Ивановича окончательно истощилось. Не находя надлежащего исхода своему боевому чувству, он схватил купца своею дюжею рукой за нос и несколько раз потянул его из стороны в сторону, с выражением глубочайшего презрения...

— Н-на паре ездите вы, безобразники, н-на-а паре! — приговаривал он при этом.

В это время я подоспел на место действия и не без труда увел расходившегося героя. Он то и дело вырывался у меня, подбегал к своим противникам, швырял заплетавшегося обладателя пиджака на траву, сотрясал возницу за шиворот и тормошил купца. Наконец, все еще поворачиваясь, грозя кулаками и ругаясь, он решился все-таки сойти с холмика и расстаться с своими врагами.

— Ах, Андрей Иваныч, Андрей Иваныч, и что вам только за охота драться! — сказал я.

— За правду помереть готов во всякое время! — категорически заявил Андрей Иванович в ответ.

— Да ведь они вас не трогали, какая ж тут правда?

— Конечно, не трогали... Да уж у меня такой карах-

тер. Он тут перед гаринскими больно расфорсился, а я ему форсу поубавил. Потому — не безобразь!.. Купчишки! Награбленным форсят...

— Ну, хорошо,— сказал я, смеясь.— А шляпа-то вам чем помешала?

— Шляпа? Это которая на Емельке надета была, купецкая, что ли?

— Ну, да!

Глаза Андрея Ивановича еще горели от возбуждения.

— Не обязан Емелька эту шляпу надевать,— сказал он энергично и тоном бесповоротного убеждения.— Шляпа, шляпа!.. Он есть мужик, значит носи картуз... Пустяки вы, ей-богу, говорите!..— неожиданно рассердился Андрей Иванович на меня и зашагал быстрее.

X

Ближе к Оранкам местность становилась лесистее. Мы уже миновали строения монастырского хутора и опять колесим меж деревьями, следуя за прихотливыми изгибами лесной дорожки. Наконец молодые дубы и клены расступились, ржаное поле набежало вплоть к опушке, и перед нами открылась небольшая полянка, с трех сторон плотно охваченная лесом. За рожью мы увидели серые избы монастырской слободки, деревянную ограду, темные деревья монастырского сада и весело белеющие над зеленью верхушки церквей. Это и была цель наших благочестивых стремлений, «монастырь на Ораном поле», как его звали в старину.

Так как икона отстала и, кроме того, мы шли ближайшим проселком, то до встречи у нас было еще много времени. В конце «порядка» мы нашли не занятую еще избу и спросили самовар. Андрей Иванович, впрочем, исполняя обычай, прежде отправился в баню, а я, утолив жажду, растянулся в задней избе на рогожке, и мгновенно меня охватил тяжелый сон сильной усталости. До меня долетал поднявшийся навстречу иконе трезвон, я видел Андрея Ивановича, чисто вымытого и с красным лицом, слышал, что он обращался ко мне со словами укоризны, обвиняя в малодушии. Хозяйка, стоявшая тут же, уговаривала оставить меня в покое.

— Ну, нет, никак нельзя,— волновался мой спутник.— Эстолько места прошел, неужто теперича и владычицу не встретить?.. Не трог, я его подыму!

И он непременно поднял бы меня каким-нибудь более или менее жестоким способом, если бы в это время трезвон, клирное пение, гул и топот толпы не показали ему, что со мной он рискует не встретить икону и сам. Он бросил мою руку и ринулся из избы. В моих ушах еще некоторое время укоризненно звенели монастырские колокола, потом звон стал тише, и я услышал только ровный шум славного летнего дождя, ударявшего в легкую деревенскую постройку. Наконец несколько капель, упавших мне прямо в лицо с протекавшего потолка, разогнали мою тяжелую дремоту...

Дождь прошел. Солнце густыми золотыми лучами заглядывало в мои окна. Кругом было тихо, и мне казалось, что между трудным путем, дракой Андрея Ивановича на дороге, между всеми происшествиями этого дня и теперешнею минутой легли целые сутки. Не без усилия натянувши сапоги на натруженные ноги, я вышел.

На нашем «порядке» было тихо и спокойно. Кое-где устало слонялись богомольцы, бабы сидели на завалинках, в открытые окна виднелись компании за самоварами. Большинство отдыхали или были в церкви, так как всенощная еще не отошла. За оврагом, на другом «порядке», движения было больше. Здесь раскинулись палатки и навесы деревенской ярмарки. Напуганные дождем, торговцы и торговки теперь раскрывали опять свои несколько промокшие товары. Тут были калачницы с белым хлебом, квасницы с грушевым квасом, по копейке кружка, бакалейщики с пряниками. Нищие старушки проходили по рядам, подставляя кружки христа-ради. В кабаке было шумно; на площади кучи народа встречались, беседовали, сходились и расходились. Белые рубахи-шушпаны мордовок то и дело мелькали среди русских ситцев и кумачей.

Сквозь открытые монастырские ворота мне была видна паперть церкви с густою толпой народа. Вечерние тени сгущались вокруг монастыря на лесной полянке, очертания предметов в сыром воздухе смягчались, огни предиконных свечей мелькали в глубине храма, и пение

долетало по временам мягкими волнами звуков, примешиваясь к шуму деревенского торга.

Всенощная отходила. Когда я вошел в церковь, старый архиерей уже стоял у выхода, и два диакона разоблачали его, произнося установленный обряд. Через минуту архиерея увели под руки, и народ стал тоже расходиться.

На восточной стороне двора я увидел еще одни ворота. За ними, уходя куда-то вниз, виднелись в сумерках деревья сада и утопающий в зелени купол часовни. Я спустился к ней по каменным ступенькам, меня влекло уединение этого угла, тихий шепот деревьев и журчание воды, скрытой где-то в темноте. В часовне оказался бассейн с большою чашей над ним. Шаги гулко отдавались под его сводами. Капли воды срывались с чаши и звонко падали в водоем одна за другой. На восточной стене маячили очертания какой-то большой картины; фигуры слабо выступали из мрака, таинственно и неясно, как будто носясь в воздухе над святым ключом.

XI

Тихий сумеречный час, шорох деревьев и немолчный звон воды — все это настраивало особенным образом, и в моем воображении поднялись картины прошлого. Здесь, у этого ключа, с этого самого места, где я стою теперь, некогда основатель монастыря, болярин Глятков, увидел чудный огонь на Оранской горе...

«И егда идяше по полю, зовомому Оранскому, и вниде в непроходимый лес, и узре на горе огнь возгнещен. И прииде и никого же обрете близ огня того от человек, но токмо от него выспрь зрит столп вельми светел, досяжущ до небеси... День же бе той сумрачен, и тучи велия хождаху по воздуху, яко не токмо неба, но и солнца невозможно видети, и дождь исхождаше велий во весь той день».

Пораженный этим «видением», так простодушно и так поэтично описанным в старинной рукописи, болярин Глятков и решил здесь заложить монастырь, в 1634 году, среди лесов, населенных «поганою терюханскою мордвой». Поганая мордва, как и следовало ожидать, оказалась очень недовольна новым соседством. Монастырю

пришлось вынести много превратностей, начиная с волокиты по жалобам мордвы на отнятие у нее земель. Однако болярину удалось волокиту осилить, и государевою грамотой повелено было «пожаловать старца Гляткова с братией лесу вдоль на версту и поперек тож отмежевать; а буде им надобно монастырем для лесу и дров въезжать в мордовские леса, и им въезжать велеть для всякого лесу и дров опричь бортного дерева». Тогда поганая мордва решилась на другие средства. Много раз слышались вокруг обители грозные крики, много раз мордва с «дерзостным нечестием» восставала на нее, и даже сам основатель, бывший болярин Петр, а тогда уже схимонах Павел Глятков, пал жертвой в 1665 году. Ночью ворвалась мордва в монастырь. Старец кинулся на колокольню, но мордва нашла его там, и он был зверски убит. Его поволокли с колокольни за ноги по ступеням. «От ударов,— говорит составитель описания Оранской богородицкой пустыни,— голова была прошиблена, а от прошибу текла из нее кровь в таком множестве, что ею обагрена была вся лестница». Помощи подать было некому, так как иноков было всего восемь человек. А кругом только лес окружал пустынь,— дремучий лес, родственный и дружественный «поганой мордве», которая защищала его от вторжения чужой культуры... Так погиб основатель пустыни.

Терпела обитель и еще многие напасти. Кроме мордвы, приходили в пустынь и пограбляли ее «воровские люди», нередко из соседних деревень. Мордва теснила ее «относительно жалованной земли с лесом и угодьями», которые «поганые терюхана» привыкли, конечно, считать своими. Наконец и от своих жалованных крестьян терпела пустынь, по выражению иеромонаха Макария, «упорство в повиновении». Упорство это доходило до того, что в 1745 году монастырские крестьяне из Нижегородской губернии убежали, чтобы не платить положенного оброка, и поселились в Пензенской и Саратовской губерниях. Во всех этих напастях, кроме заступления богородицы, пустынь оберегалась также и благочестивым радением благодетелей. Так, перечислив во вкладной грамоте даруемые пустыни земли, один из этих благодетелей скромно говорит: «и на той земле тщанием моим многогрешным собраны из бегов и поселены те беглые крестьяне

оной пустыни: Петр Алексеев, у него сын Алексей, да Матфей Алексеев, да Федосий Алексеев, да Сидорка Тимофеев, с женами и детьми. Також прошу и молю,— заключает благочестивый комиссар-жертвователь,— аще наведением супостата нашего впредь от оной обители вкладные крестьяне пожелают на тое землю или в другие места бегать и жить, дабы их ловить и за такое скотское и несмысленное дерзновение жестоко наказывать кнутом, посылать на старое ко оной обители жилище, дабы то святое место паче прославлено было, а не пусто».

Несмотря на эти благочестивые мероприятия с ловлею людей и кнутами, пустынь существовала скудно и трудно. Видно, ни Петр Алексеев, ни Матфей, ни Федосий, ни Сидорка Тимофеев с женами и детьми, ни все жертвованные благочестивыми людьми «души» надлежащим образом к обители не прилежали. «В 1730 году,— как сказано в описи монастырского имущества за тот год,— 4 книги четьих миней заложены у дворянина у Ивана Дмитриева Ленивцева в семи рублях с полтиной... а заложил те книги бывший казначей Иларион, по братскому приговору, на время, ради хлебной нужды...»

В 1764 году, по объявлении монастырских штатов, Оранская пустынь, что на Словенской горе, оставлена за штатом, и крестьяне, а равно и угодья у нее были отобраны. Казалось, начинанию Петра Гляткова, видевшего в тонцем сне будущую славу монастыря на осиянной небесным светом Словенской горе, приходил конец. Но именно с этого времени, когда рабьи Сидоркины и Алешкины души были изъяты из-под монастырского ярма, и начинается период процветания пустыни. «Единственная надежда,— говорит иеромонах-описатель,— была на чудотворную икону божией матери, и надежда эта оправдалась. В 1771 году открылась моровая язва... В самом Нижнем-Новгороде целые сотни людей делались жертвами преждевременной смерти... Тогда, не довольствуясь молитвами перед святынею нижегородскою, вспомнили о чудотворной иконе Оранской богоматери, которая, по распоряжению епископа Феофана Чарнуцкого и градского начальства, была принесена в Нижний, в кафедральный собор. И вот, во время крестного хода,— повествует Макарий,— над Нижним-Новгородом заметили, что носившиеся в воздухе тонкие облака вдруг начали соби-

раться в одно место и сгустились в одно черное облако, понесшееся за Волгу. Вскоре после этого и язва прекратилась. В память этого события благодарные нижегородцы постановили приглашать икону к себе ежегодно и исполнять сей обет свой «в роды родов».

Вместе с тем и отношения к обители Сидорок и Алешек, равно как поганых терюхан, изменились. Бегать теперь от монастыря не приходилось, об угодьях споры прекратились за отобранием последних. Чудотворная икона, прежде обращавшая силу свою на посрамление воровских и разбойных поползновений окрестных жителей против старцев и являвшаяся как бы воюющею стороной, теперь изливала свои милости, исцеляла немощных, прогоняла грозовые тучи или призывала благодатные дожди на спаленные нивы.

«И процвела есть пустыня яко крин». Не слышно уже более в обители тревожного набата, дремучий лес не вторит ни жалобным стонам совлекаемого с колокольни старца, ни злобным крикам терюхан, ни святотатственным окрикам удалых воровских людей, ни стонам монастырских крепостных, насильственно собранных из бегов... Кругом монастыря в этот тихий вечерний час смолкает говор тысячной толпы богомольцев; таинственно шепчутся высокие деревья монастырского сада, и я стою, окруженный тенями старины, слушая немолчный звон воды над тем самым ключом, где некогда старец Глятков припадал в умилении у подножия дикой Словенской горы...

Темнело быстро. С востока опять надвигалась туча. Выйдя из часовни и поднявшись на холм, я увидел, что ворота, в которые я вошел, заперты. Задний двор монастыря был пуст, во дворе монастырской школы слышался стук колотушки караульщика.

— Вам выйти, что ли? — спросил у меня мужичок, возившийся около бани.

— Да, вот не знаю, как выйти.

Он провел меня в маленькую калитку. Пройдя вдоль старой мшистой монастырской стены, мы очутились на небольшом бугре, над оврагом. Место было пустое и тихое. Простой огромный восьмиконечный крест простирал над поляной свои плечи сурово и важно. Над крестом, затеняя полянку еще более и теряясь густолиственною

головой в вечернем небе, ровно и крепко шумело на ветру громадное дерево.

— Тут, под этим крестом, что миру лежит... и-и, без числа! — сказал мой провожатый.— Кладбища тут была крестьянская,— добавил он.— Потом, слышь, унистожили. Не понравилось архирею одному, что плачем мы шибко, когда короним своих... Теперь, стало быть, коронимся в другом месте.

Когда я вышел на площадь, торг прекратился. Торговки укладывались и покрывали на ночь товар. Из монастырского двора выходили последние запоздалые, быть может, по кельям, посетители. Какого-то странника выталкивают силой и запирают за ним ворота. Странник громит отцов и собирает около себя кучку раскольников-слушателей... Около кухни трапезный послушник равнодушно выслушивает укоры пришлых из города нищенок.

— Мало, что ли, принесла вам владычица из Нижнего? Нет у вас для богомолок куска хлеба!..

Послушник-хлебопек хладнокровно вытирал полой потное лицо.

— Вы должны просить со смирением, а вы дерзостно просите,— сказал он.

— Что я сказала? Только и сказала, что вам, дескать, мордовок своих, что ль, кормить нечем?

— Ну вот видишь: сама язвительные слова говоришь, а хочешь, чтоб тебе подали. Ступай, ступай...

На площади народ редеет. Только у харчевни Андрей Иванович громко спорил с приехавшими на базар окрестными раскольниками.

— Врешь, не туда гнете!..— разносился резкий голос неугомонного сапожника.

XII

На следующее утро я проснулся довольно поздно. Андрея Ивановича уже не было в избе.

Большинство богомольцев уже ушли, чтобы воспользоваться для пути утренним холодком. Зато из окрестных деревень народу прибывало все больше. Многие шли в церковь, чтобы повидать архиерея, но большинство, кажется, привлекала ярмарка, вступившая во второй

день (так называемое подторжье). Завтра, с «отвалом», она должна была кончиться. В числе прибывших было много раскольников из ближних к монастырю деревень, и потому кое-где в кружках кипели собеседования, переходившие по временам в страстные споры, а иногда и в ругательства.

— Вы почему сами себя, например, православными считаете? — спрашивает раззадоренный спорщик.

— А потому, — высокопарно отвечает вопрошаемый,— что наша церковь — Христова, на правильной славе стоит во веки веков.

— Никонова вера у вас.

— А у вас Дунькина!..

Я зашел в церковь. Там между народом я увидел двух крестьян, у которых длинные волосы были сбриты на макушках. Заметив, что я присматриваюсь к ним, старик, мой сосед, пояснил, наклоняясь ко мне:

— Раскольники это.

— Зачем же они бреются?

— А это у них поверье, что, значит, на них дух святой сходит. Так вот, чтобы легче ему взойти в человека... стало быть, волосы мешают... Называемое это гуменце...

Раскольники стояли истово и по временам крестились двуперстным сложением.

Икона, вынутая из киота, стояла у себя, дома, на южной стороне, невдалеке от архиерейского амвона. Над ней было развешено белое полотенце; народ, как всегда, толпился около нее, каждый, подходя, крестился, многие вытирали загрязненным уже полотенцем глаза, целовали икону и проходили дальше. Поставив перед иконой несколько свечей по поручению, данному незнакомыми старушками, я вышел.

На площади мне попался навстречу Андрей Иванович, быстро проходивший среди толпы. Он шел, размахивая руками, не замечая людей и, по-видимому, занятый какою-то мыслью, которая его сильно волновала. Губы его что-то бормотали, лицо было задумчиво, сердито.

— А-а, Галактионыч! Я вас ищу...

— Что такое?

— Подите-ка сюда.

Он отвел меня в сторону. Я заметил, что он как будто сконфужен, точно сейчас выдержал баталию и ос-

тался побежденным. Лицо его было в поту, глаза растерянно косили.

— Как оно будет правильнее,— спросил он, оглядываясь по сторонам, точно школьник, тайком расспрашивающий у товарища невыученный урок,— то есть как Христос сошел на землю: *вòплоти* или *воплотѝ*?..

— Ничего не понимаю.

— Ну, вот, какой вы, ей-богу! Видите: ежели *вò-плоти*,— стало быть, голос ударяет вначале, а ежели *воплотѝ* — следовательно, уже силу имеет в конце. Ведь это же разница.

— Да зачем вам?

— Стало быть, надо! Потому что я перед людьми оконфужен. Вот видите, какое дело. Стали мы тут говорить о вере... Ну, и я тоже выражал от себя... Да вы не думайте; ей-богу, все правильно говорил, как есть... А один тут из раскольников все мне напротив, все напротив... И вдруг этто он мне и говорит: да ты что, говорит, споришь, а сам еще и разговаривать с нами не можешь. Скажи, говорит, как господь наш Иисус Христос сошел на землю: *вóплоти* или *воплотѝ*? [1] Ну, я подумал и говорю: «стало быть, *воплотѝ*».— «Поэтому, говорит, ты есть невежа и повинен геенне огненной...» Ей-богу, правда. А я, признаться, и сам маленько сумневаюсь: правильно ли я сказал, потому что они — начётчики... Так вот вы мне объясните.

— Я думаю, что всего правильнее: во плòти.

— Во-пл-о-ó-ти? (Андрея Ивановича очень удивила возможность еще третьей комбинации.) А ведь, ей-богу, пожалуй, верно.

Он хлопнул себя по лбу и дернулся в сторону, намереваясь куда-то бежать.

— Да я не понимаю, Андрей Иваныч, зачем вы об этом спорите? Ведь в этом никакой важности нет, и дух учения вовсе не в ударениях.

— Как вы говорите: дух?

Андрей Иванович остановился, готовясь не проронить ни одного слова.

— Ну, да, дух христианского учения!.. А ведь это одно праздное словоизмышление, пустяки...

---

[1] Один из вопросов вульгарной раскольничьей диалектики.

— Так, так,— мотнул Андрей Иванович головой...— Дух — раз (он загнул один палец), словоизмышление — два (он опять загнул один палец). Еще, может, что-нибудь скажете?

— Будет с вас.

— Ладно! Теперь мне бы его найти; я его этим самым словом сейчас на месте ушибу, ей-богу!

Андрей Иванович возбужденно зашагал в толпе, разыскивая глазами своего антагониста, а я провожал сочувственным взглядом его не совсем-то складную фигуру. При всей его беспорядочной страстности, я знал, что в нем бродят, не находя исхода, искренние и глубокие запросы... Мне было досадно поэтому видеть его глубокое огорчение от своей беспомощности перед схоластической диалектикой.

Увы! мог ли я предвидеть в эту минуту, что для моего сожаления вскоре представятся гораздо более основательные поводы?..

XIII

Андрею Ивановичу нужно было зайти к знакомому мужику в одну из ближайших деревень, носящую многознаменательное название Сивухи. Он звал меня, но я чувствовал усталость и хотел сберечь силы для обратного пути. Поэтому мы условились, что он пойдет один, а я выйду спустя некоторое время и потихоньку пойду по дороге, Андрей Иванович меня догонит.

Я так и сделал. Пошатавшись еще по базару, напившись чаю и расплатившись с хозяевами, я надел свою котомку и тихонько поплелся прямою лесною дорогой.

Оказалось, однако, что Андрей Иванович опередил меня. Выйдя из лесу, я вдруг услышал его голос:

— Эй, Галактионыч, подите сюда!

Он лежал на траве, среди целого общества, у зеленого шалаша, построенного под лесом в стороне от дороги. Синий дымок вился тонкой струйкой над землей, теряясь в кустарнике. Над огоньком висел котелок, и какой-то мужик с мохнатою головой, без шапки и босой, мешал в котелке ложкой. Другой, тоже раздетый, лежал у огня, облокотившись подбородком на руки. Человека три в сапогах и шапках, видимо проезжие, остановились на вре-

мя. Невдалеке стояли нераспряженные телеги, а лошади щипали у кустов траву, обмахиваясь хвостами. Еще какой-то низенький мужичок, весь серый и белесый, со светлыми глазами и незначительными чертами лица, которые хранили выражение постоянной недоумелой улыбки, сидел в стороне от других в телеге, то и дело пожимаясь от комаров и почесываясь.

Поздоровавшись, я пожелал узнать, зачем здесь шалаш и что они делают в поле далеко от деревни.

— Бекетчики,— сказал лежавший на земле,— значит — гля бекету...

Видя, что я не совсем понял, другой, мешавший ложкой в котле, прибавил:

— Гля разбою, стало быть, гля грабежу мы поставлены.

Я догадался, что это сельский пикет. Сняв котомку и положив ее под голову, я с наслаждением растянулся на сыроватой траве. Над моею головой лапчатые листья клена, насквозь пронизанные лучами солнца, качались на длинных стебельках, купаясь в синем воздухе, и мне казалось, что они трепещут от такого же сознательного наслаждения, какое в эту минуту переполняло меня. Между тем в компании около огонька начался опять разговор, прерванный моим приходом. Первый начал Андрей Иванович.

— Ну, ну, говори дальше, не опасайся... Товарищ это мой, простяк!

— Ну вот, больше ничего. А что полагаю я: не может быть, значит, чтобы нам провалиться, потому как мы при отцах-дедах надаваны господами и живем, стало быть, на отцовском месте. Потому что господа, значит, об монастыре радели. Мало ли их, господ, и теперича на кладбище лежит. Вот была, слышь, война Севастопольска. Я мальчонкой был, и то помню: выбежали мы с ребятами за околицу, глядим, везут из лесу в черной телеге смоляной гроб, а в гробу, слышь, полковник убитый в монастырь едет корониться. Да не то что полковники, тут и генералы лежат...

— Не туда гнешь! — строго сказал Андрей Иванович.— Ты это что же на генералов свернул? Ты о кудеснике доскажи. Он, видишь, тебе какое слово сказал. Стало быть, ты ему и отвечай, а генералов оставь!

— Дэ-э!.. То-то вот...— подтвердил один из проезжих мужиков не без ехидства.

Я понял, что опять попал на словопрения, и мне стало ясно взаимное положение сторон. «Бекетчик» Иван Савин — мужик из подмонастырской слободки, быть может, прямой потомок какого-нибудь Петра Алексеева или Сидорки Тимофеева, которых в старые годы, как мы видели выше, сыскивали, имали, били за «несмысленное и скотское дерзновение» кнутом и водворяли на прежнее жилище, дабы «обитель паче прославлена была, а не пуста»... Потомки Сидорки Тимофеева, давно уже лежащего под старым крестом со всею «силой» похороненного здесь мира, примирились с обителью... Но кругом осталось много непримирившихся... Собеседники Савина — беспоповцы из окрестных деревень, возвращавшиеся на этот раз с базара. Предмет спора — будущая судьба «Ораного поля»... В старообрядческом населении, жадно подхватывающем все проявления человеческой слабости среди иноков обители, носится легенда, гласящая, что некогда всему этому месту суждено провалиться сквозь землю, как Содому... Люди старой веры угрожают этим также и слободке... Андрей Иванович на сей раз являлся в не совсем-то подходящей ему роли посредника или председателя на этом полевом диспуте у «бекетного» шалаша...

Иван Савин насчет кудесника ответил не сразу. Я не глядел на него, но ясно представлял себе его спокойное лицо, простодушный взгляд голубых глаз, мохнатую белокурую голову и неторопливые движения. Он продолжал помешивать в котелке, и когда заговорил опять, то в его голосе слышалась спокойная уверенность человека, не навязывающего своих взглядов другим, но зато твердо убежденного в том, что он говорил.

— А насчет кудесника так это верно... Была, слышь, у одного монаха черная книга, и по этой самой книге он до всего доходил... Всю ночь, бывало, огонек у него в келье: мастерит что-то либо эту книгу читает. И сделал он земное подобие, вроде бы сказать шар земной, и тут тебе солнце, и земля, и звезды. Заведет пружину — и пойдет это земля в ход, и солнце тебе выкатывается, и луна круг земли ходит, и, стало быть,— звезды тоже по своим местам... Как у бога, так и у него... в аккурат!

— Ну, в этом, я полагаю, греха нету,— сказал Андрей Иванович,— потому это называемый глобус.

Я повернул голову, чтобы видеть, какое впечатление произвели эти слова городского человека на собеседников. Услышав его приговор, снабженный таким мудреным словом, старообрядец глядел несколько секунд растерянным взглядом.

— Нету греха, говоришь? в этаком-то деле?..

— То-то, сказывают, в этом еще греха нету,— продолжал Савин,— потому что это подобие на славу божию, значит — для вразумления человеков... Ну, а вы послушайте дальше. Стало быть, сколько-то прожил он и помер скорою смертью, без покаяния. Пал у себя в келье и умер.

— Оно и видно, что уж бог не потерпел,— вставил раскольник

— Ну, значит, как помер он, надо было сундуки вскрывать. А замки у него так хитро прилажены: бились, бились — ничего не поделают. Вот и позвали, слышь, для этого дела нашего деревенского одного... Мастер тоже был на все руки. Он и отпер.

— Ну?

— Нехорошо, действительно... В одном, слышь, сундуке деньги так пачками и лежат, веревочками обвязаны. Он, значит, с иконой-то езжал не раз... А как другой открыли, так тут уж — тьфу!.. И сказать грешно: лежит в сундуке сделана девица, как быть живая...

Старообрядец, поднявшийся на локоть, с горящими глазами, не вытерпел и, перебив рассказчика, досказал сам:

— И, слышь, толкнуть эту девицу под ложечку,— сейчас она срамные слова может говорить...

— Слов-то мы, положим, что не слыхали,— сказал Савин.

Андрей Иванович молча и сосредоточенно покачал головой. Ободренный его видом, старообрядец заговорил с страстным возбуждением:

— Да ведь это, братец мой, что он говорит!.. Ведь уж въявь для всех знамение было от бога, что нельзя ему, батюшке, больше ихнего места терпеть. Насмерделo!

В котелке закипело. Савин отодвинул котелок от огня и затем сказал своим ровным голосом:

— Знамение, братец, понимать тоже надо, к чему оно дается. Видите — опять это верно он говорит, что было знамение. Стало быть, на «порядке» у нас — видели, может, часовенька махонькая стоит. Тут прежние годы вертеп был. Этто вот завтра, к отвалу ярмарки, мордва соберется, видимо-невидимо. Так вот в прежние года, не очень давно, у них в этом месте игрища была; девки, бывало, хороводы водют, песни поют, а парни на гармониях играют, в дуды дудят... И все, значит, у самого монастыря; конечно, нехорошо, само собой. Бывало тут всего... И пришла, знаешь, один раз к игрищу этому девица, сторонняя какая-то. Мордва-то вся белая, а девица эта в черном платье, только голова белым платком повязана. Вот пришла, стала средь игрища, стоит, этак руки вытянула, глазами в одно место смотрит. А чья девица, неизвестно. Вот разошлась мордва с игрища, а она стоит. Ночь пришла,— она все ни с места. Наконец того, поверите ли, на заре вышли наши бабы коров гнать... Что за диво: стоит девица середь полянки, ровно статуй, перепугала народ весь... Стали которые подходить, спрашивают: «Что, мол, девонька? По какой причине стоишь?» Ни слова. Ну, тут уж увидели, что дело это не простое. Приехал исправник Воронин, свели ту девицу силом с места, и стала она после того объяснять: «Вышла, говорит, на игрищу и вдруг этто вижу: все кругом провалилось... Я одна на малыим месте стою и ступить мне некуда... А икона, значит, на облаке в небо поднялась...»

— Ну, вот видите! — подхватил старообрядец.— Ведь уж это въяве обозначает, что ихнему месту не стоять...

Андрей Иванович сосредоточенно покачал головой и сказал, обращаясь к Ивану Савину:

— Поэтому, вижу я, ваше дело ай-ай плохо...

— А я так полагаю,— ответил Иван Савин,— не может быть, чтобы нам провалиться. Потому ты рассуди сам, милый человек: первое дело игрищу с этих самых пор унистожили, отслужили на том месте молебен с иконой и поставили часовенку...

— Да что игрища!.. Будто в одной игрище дело,— перебил возражатель,— насмердело ваше место перед господом, аки Содома!..

Иван Савин снял совсем котелок с огня, попробовал кашу и сказал другому «бекетчику»:

— Готово, дядя Силантий, пущай вот поостынет маленько.— Затем, обратясь к собеседнику, ответил: — Это, брат, ты сверх ума говоришь... Это неизвестно. Конечно, грешны и мы, а все за монахов, авось, господь с нас не взыщет. Они особо, мы особо... потому мы разве монахам молимся? Мы владычице молимся, вот кому... Тоже ведь и об вас было знамение...

— Мало ли! — угрюмо сказал старообрядец и затем поднялся.— Пора и запрягать нам.

Оба они с товарищем пошли к лошадям.

Белесый мужичок, сидевший в телеге и слушавший очень внимательно весь разговор, подошел к огню и, почесывая руками брюхо, сказал, лукаво подмигивая в сторону ушедших:

— Не любят... Как про них заговорили, им и запрягать надо...

И затем, постояв несколько секунд, он опять улыбнулся и сказал:

— А у нас, слышь, еще кака̀-то новая вера прискочила. Астрицка, что ли, сказывают. Часовню хотят строить...

— А какое же, говоришь, знамение об них? — обратился Андрей Иванович к Савину.

— Да-вот знамение тоже не малое. Ходит тут паренек ихний, безумный. Этто недавно целую деревню спалил, а прежде того у нас в монастыре не в урочное время на колокольню забился и давай звонить... Народ весь перебулгачил. Просто сказать — юродивый паренек этот. А отчего стал юродивый, так вот отчего. Был он у них за первеющего начетчика и на радениях ихних заместо попа читал. «Вот, говорит, однажды,— сам ведь и рассказывает это, когда в себя приходит,— много, говорит, читал, толковал от ума, в перстах божество разбирал... Устал. Выхожу, говорит, на крыльцо, стал, говорит, супротив ветру, прохлаждаюсь маленько. А дело вечернее. На небе звезды горят и луна стоит,— светло, как вот днем. Только, говорит, слышу вдруг трещит что-то над лесом. Оглянулся туда: летит поверх лесу змий крылатый, а-агромаднейший змий летит, весь пламенем пышет и трещит так, ровно бы в трещотку... Оглянуться,

говорит, не успел я,— уж он полнеба покрыл и прямо на нашу деревню, да ко мне, да пасть расставляет...» Вот ждут-пождут в избе, а парня все нету. Вышли за ним, а он лежит пластом, как неживой. С тех пор и ума решился. Когда и опомнится, так все-таки ненадолго...

— Галактионыч, вы не спите? — спросил у меня Андрей Иванович.

— Нет, Андрей Иваныч, не сплю.

— Слушаете?

— Слушаю.

Он помолчал, по-видимому ожидая от меня еще что-то, потом сказал (я представлял себе при этом его наморщенный лоб и сосредоточенный взгляд):

— Удивительное дело, право!.. Вот мы сколько лет в городах живем и никаких чудес не видали. А у вас кругом, куда ни повернись, чудеса... Или уж просты вы очень...

— Ах, милый! — сказал Иван Савин.— Нешто можно городского человека к мужику применить?.. Ты вот, скажем, сапожник. Купил ты товару, сшил сапог, несешь его к барину или, будем говорить, к купцу. Сейчас он смотрит: сапог форсистый, товар хороший, работу твою знает, и спрашивает он у тебя цену. Ты, к примеру, просишь пять рублей, он тебе — четыре. А уж оба верно знаете, что за четыре с полтиной сапог этот идет. Ежели, скажем, нужда тебе, ты опять у него же просишь. Так ли я говорю?

— Ну, ну!.. к чему только ты это применишь?

— А к тому, что, значит, ты в своей воле живешь и должон ты больше уважать давальцу. А мужик... он кругом как есть в божьей воле ходит. Сейчас вот па̀рит крепко, а из-за лесу вон уж туча глядит. Тебе это ни к чему, только что разве промокнешь. А мужик — уж он соображает, стало быть, к чему господь батюшка эту тучу приспособляет. Вот теперь для хлебов она пользительна, и мы должны бога благодарить. А иной раз бывает: хлеба налились, вдруг холодом пахнет, побежит-побежит градовое облако. Тут уж надо мужику ко владычице прибегать, икону мы подымаем, молимся: отвороти! И, стало быть, ежели может еще грехам нашим терпеть, то заступится, пронесет мимо. А ежели уж невозможно ей терпеть, мы должны бедствовать. Так-то...

— И видите вы себе от иконы заступление?

— И-и, как не видать! Явственно видим. Давно ли было, третьего или четвертого году, появился червь на хлебах... И нигде не было, только у нас... что на ржи, что на просах и даже лен жрал. Из себя небольшой, черный, мохнатенький, глаза у него востренькие, а ежели подразнишь его соломинкой, так он и вскидывается, ровно бы, сказать вам, змееныш. Злющий червь!.. Пошел я с мальчонкой, с племяшом, на ниву посмотреть. Хлыснули прутом по колосу,— поверишь ли, как дождь, вот как дождь этого червяка посыпалось. Ну, видим мы такое наслание, стало быть, не иначе — надо икону поднимать. Подняли, прошли с молебствием, и взялась тут туча — а-агромная туча — и ударила на поля ветром да грозой. Что же вы думаете: вышли наутро в поле — ни одного червя!..

— А насчет того, чтобы больных исцелять... бывало ли?

— В прежние года много бывало. А теперь не слышно. В книжках вот писано... Значит, про моровую язву и потом насчет болящих...

— А у нас так вот была же чуда от иконы,— вмешался белесый мужичонко,— и, слышь, не в давние года. Стало быть, жила в нашем городу купчиха одна, и дочь у той купчихи была хворая. Скрючило ее с тринадцатого году, ноги отняло и не стало ей росту. Все, бывало, на лежанке сидит и, ежели на нее стороннему человеку посмотреть, как есть малая девчонка, а уж в ту пору было ей по семнадцатому году. Много тоже молились они, что икон поднимали,— все не берет сила!.. Почаевска, слышь, и то не могла помочи ей... Только раз приснился той девице старичок седенький: «Сходи, говорит, ты, скорбная девица, к Николе в Н-ское село». Ну, они и поехали. И ведь что думаете вы: положили девицу наземь, принесли икону, и стала девица на ноги маленько подыматься. Сама после сказывала: как понесли икону, так будто от головы к ногам ее ветром опахнуло,— значит, сила изошла. И с тех пор выпрямилась девица вполне и такая стала красавица!.. Приехала через три года в то село с матерью,— священник ее и не узнал. «А где же, говорит, болящая?» — «А это, говорит, я самая». За хорошего жениха замуж вышла, право!.. Своя лавка у него в горо-

ду, и капитал хороший... Вот, братцы, удивительная чуда была у нас! — и белесый мужичонко посмотрел на нас довольными глазами.

— Конечно, бывает,— сказал Иван Савин.

— Галактионыч! — окликнул меня опять Андрей Иванович.— Слыхали вы это?

— Слышал.

— А как думаете, может ли это быть?

— Я думаю, что он не врет.

— Э, не туда гнете: не врет!.. С чего ему врать-то? Денег за это не дадут... А вы скажите, в чем сила́ самая? Скажем так: холере надо уже и самой прекратиться,— тоже ведь не вечно ей быть... К тому времени приносят икону. Холера, значит, прошла — чудо!.. Ну, хорошо, и насчет дождя то же самое: тучу ветром пригнало. А ежели девицу теперь, которая скрючивши три года, и вдруг выпрямляет и вполне, значит, делает из нее человека... Это как?

— Вера, Андрей Иванович...

Андрей Иванович опять выжидающе помолчал.

— Вера, вы говорите?.. То-то вот и есть. Э-эх, господа, господа!..

И Андрей Иванович недовольно махнул рукой.

XIV

Он был сильно не в духе, и хотя вообще очень трудно было уследить каждый раз причины той или другой перемены в его довольно причудливом настроении, но на этот раз мне казалось, что я его понимаю. Рассказы Ивана Савина, его спокойный голос, бесповоротная уверенность и очевидная правдивость — все это произвело на горожанина сильное впечатление. Он невольно поддавался настроению веры, чудес и непосредственного общения с таинственными силами природы. Между тем во мне он, с обычною чуткостью нервных людей, улавливал совершенно другое умственное настроение, не менее бесповоротное,— и это мешало цельности его впечатления. Формулировать ясно свои вопросы он не мог, я на его вызовы не поддавался, и потому Андрей Иванович ворчал что-то про себя и сердито укладывался возле шалаша.

— А что, Андрей Иванович, не пойдем ли?..

— Куда вам торопиться! — ответил он ворчливо.

Я не без удивления заметил, что, обыкновенно бодрый и неутомимый, он поворачивался теперь лениво, с некоторым трудом. Вследствие этого у меня невольно мелькнуло подозрение относительно какого-нибудь нового приключения во время посещения знакомого в Сивухе.

Я не возражал. Мне было приятно бродить среди этих полей, не рассуждая и не заботясь о том, дойдем ли в назначенное время до намеченного ранее ночлега, или будем путаться ночью где попало.

Вскоре Андрей Иванович захрапел. Белесый мужичонко, ехавший откуда-то издалека, запрягал лошадь, «бекетчики», перекрестясь, уселись за свой котелок, и до меня долетали слова тихого разговора. Сначала дело шло о каких-то двух с полтиной и о новых подшинах для купленной недавно телеги. Но через некоторое время, когда листья клена, на которые я смотрел, начали расплываться и слились в какой-то неопределенно зеленый навес, охвативший меня со всех сторон,— из этих двух голосов выделился грудной баритон Ивана Савина. Он говорил что-то неторопливо, долго, монотонно. Слов я не помню, помню только, что сначала мне было смешно, потом странно. Я чувствовал, что постепенно, по мере того, как даже зеленый навес исчезает от взгляда, я попадаю все более и более во власть Ивана Савина. И вдруг я увидел какое-то странное небо, совсем не то, какое видел недавно, и странные облака ходили по нем, точно туманное стадо, а Андрей Иванович гонял их с одного края на другой, размахивая гигантскими руками. В это время я помнил еще, что смотрю на все это чьими-то чужими глазами. Но потом все потемнело; где-то вдали мерцал одинокий огонек из кельи монаха-кудесника, потом полетел змий, трещавший, как трещит пожар в сухих постройках, и, наконец, появилась неизвестная девица в черном платье и белом платочке. Вслед за ее появлением земля дрогнула от какого-то глухого далекого удара. «Беда,— сказал я себе голосом Ивана Савина,— беспременно должны мы теперича провалиться». И тотчас же решил, уже сам от себя, что гораздо лучше... проснуться.

XV

И я проснулся. В первую минуту я не мог сообразить, где я и что со мною, и отчего мне трудно двигаться с места... Над моею головой тревожно бились листья клена, но теперь они не сверкали от лучей солнца в яркой синеве, а бледно рисовались на темно-свинцовом фоне. Громадная туча поднималась из-за лесу и все ширилась, тихо раскидывая по небу свои крылья. Из-под нее порывами налетал ветер, и вдали ворчал гром.

— Вставайте скорее, Андрей Иваныч, надо хоть до деревни дойти.

Огонь погас. «Бекетчики» спали в шалаше. Проезжие уехали. Было поздно, и надвигалась гроза. Андрей Иванович проснулся, протер глаза и в свою очередь стал будить какого-то мужика, лежащего у шалаша. Должно быть, он подошел к нам, когда мы уже спали.

Мужичок заворчал что-то и поднялся.

— Вставай, дядя, а то промокнешь... Э, да, кажись, знакомый. Видал я тебя где-то...

Мужичок как-то сморгнул и сконфуженно ответил:

— Да ведь уж нигде. как в Сивухе.

— То-то в Сивухе!.. А позвольте мне, почтенный, узнать, вы за что меня колотили, какая может быть причина?

— Господи! — удивился я.— Андрей Иванович, неужели опять?..

— Засаду сделали. Емелька, подлец, научил. Да еще вот этот почтенный ввязался.

— Да ведь мы,—конфузливо оправдывался мужик,— мы нешто от себя? За людьми... Как люди, так и мы... Сказывают: больно уж ты, милый, озорник большой...

— А ты видел, как я озорничал? — спросил Андрей Иванович с выражением сдержанной злобы в голосе.

— Не видал, милый, не совру... Потому выпитчи был.

— Посмотрите вы на этот народ: сами нажрутся, а потом других колотят... На-цы-я, нечего сказать! — неожиданно для меня прибавил Андрей Иванович с патриотическою горечью.

— Да ведь мы что? Мы действительно выпитчи,— смиренно говорил мужик,— у праздника были, у сродников. Ну, и... выпитчи, это верно... Так в этом беды нету,

потому что мы сами себя ведем смирно... спим. А ты, сказывают, на ночлеге никому спокою не дал... Мы, конечно, что, а бабы жаловались: так, слышь, всю ночь шаром и катается, все одно еж по избе...

— Тьфу! — сплюнул Андрей Иванович и, не говоря более ни слова, быстро надел котомку и пошел по дороге.

Я догнал его, и мы пошли молча. Андрей Иванович, видимо, злился и унывал. Нежданно приобретенная слава, которая могла достигнуть до ушей Матрены Степановны, беспокоила его всего более. Результаты сивухинского боя, о котором он не распространялся, тоже, вероятно, присоединили немало горечи к его настроению. Наконец туча покрыла большую половину неба и грозила ливнем, а до деревни было еще далеко.

— Ник-когда не пойду больше! — злобно сказал Андрей Иванович.— И не зовите! Грех один с этим народом.— И потом он меланхолически прибавил: — А перед хорошим человеком я вполне оказался обманщиком.

— Это вы о ком? — спросил я.

— О ком? — известно, об Иване Спиридоновиче, об давальце. Ведь сапогам-то срок сегодня, в аккурат... Чай, дожидается...

— С которых же пор он у вас хорошим человеком стал? Давно ли вы на него сердились?

— Сердился!.. Странно вы говорите: мало ли что мы сердимся!.. Мужик на царя три года серчал, а тот и не знал. Так и мы. А об Иване Спиридоновиче я так обязан понимать, что он мне первый благодетель. Когда ни приди: рупь-два со всяким удовольствием. Конечно, после того в цене понажмет...

— Ну, вот видите!

— Ничего тут не видно... Нашего брата ежели не нажимать, мы совсем бога забудем... А что: на лице у меня синяков нет?

Я внимательно осмотрел лицо Андрея Ивановича и дал успокоительный ответ.

— И на том спасибо! Семейному человеку это всего хуже,— докторально объяснил он.— Семейного человека лучше ты всего оглоблей исколоти, а лица и рукой не тронь.

— Ну, уж...

— Чего ну? Много вы понимаете!..

Я вспомнил про Матрену Степановну и потому не возражал более. К тому же Андрей Иванович, угнетаемый обстоятельствами и готовившийся к «хомуту», совершенно изменился. Со мной стал строптив и раздражителен, о «нацыи» говорил с презрением, зато о купечестве и давальцах отзывался в меланхолически почтительном тоне. Буйный демократизм первого дня нашего путешествия совсем с него схлынул.

Я отчасти приписывал это близкой грозе.

Туча заволокла уже небо и теперь все сгущалась и все падала книзу, опускаясь над полями, на которых побелевшие и поблекшие хлеба бились и припадали к земле. На темном фоне этой тучи несколько оторванных клочков тумана, прохваченных опаловыми отблесками, неслись куда-то тревожно и быстро, точно запоздалые всадники, убегающие вдоль тяжелого фронта атакующей колонны. Гром перекатывался сердитее и гулче, и по временам яркая молния, извиваясь зигзагами, бороздила набухшие грозою тучи.

Дорога казалась пуста. Мы обогнали на холме только глухого еврея солдата, которого встретили в первый день. Он начал рассказывать нам о том, как он потерял платок и вернулся за десять верст в надежде разыскать его. Кроме того, он проливал кровь за веру и отлично играл на бубне... Все это было когда-то, в далеком прошлом, а теперь он глух, и беден, и несчастен... Голос его звучал в напряженном воздухе как-то особенно резко и однотонно. Заметив, однако, что мы мало обращаем на него внимания, и, кроме того, несмотря на свою глухоту, расслышав сильный громовой раскат, он вдруг подобрал полы своей серой шинели и пустился бегом по дороге.

Рожь гнулась и качалась на нивах, лес, синевший впереди, побледнел, расплылся и исчез, по полям шумно стремились к нам навстречу колеблющиеся столбы ливня, соединявшего небо с землею...

— У праздника, нечего сказать! — произнес Андрей Иванович, окидывая безнадежным взглядом пространство, охваченное пеленой дождей и туманов.

Затем он принялся быстро укладывать в котомку новый картуз, между тем как первые капли гулко шлепались о дорожную пыль...

Июль 1887

Птицы небесные

Рассказ

I

...В этот день монастырщина праздновала встречу иконы. Долго, месяца два уже странствовала «владычица» по разным местам и теперь возвращалась домой.

Первыми приехали на троечных тарантасах, с колокольцами и бубенцами, сопровождавшие ее отцы, привезшие в монастырь собранную за время странствий казну. Вид у них был здоровый, сытый и довольный. Потом из лесу повалили пестрые кучи передовых богомольцев, все гуще и гуще, пока, наконец, не сверкнул над головами золоченый оклад иконы, переливаясь на солнце.

Звенели колокола, блестели и колыхались хоругви, пение хора и топот тысячной толпы, точно прибывающая река, заполнили тихую монастырскую слободку.

Монастырщина ожила. В церкви пели молебны, на площади выкрикивали под холщовыми навесами торговцы и торговки, из «заведения» слышались звуки гармоники и бубна, в избах слободки одна партия богомольцев сменяла другую за столами, на которых пыхтели огромные самовары.

Перед вечером вдруг пошел густой дождь, разогнавший с базара и толпу, и торговцев. На площади и на улицах стало тихо, только частые крупные капли пле-

скались в лужах, да ветер метался и хлопал промокшими навесами, да из церкви слышалось стройное пение, а в глубине храма мелькали желтые огоньки свечей.

Когда туча вдруг снялась и поплыла на восток, волоча за собой над полями и над лесом изорванную пелену туманов,— на западе выглянуло солнце и ласково тронуло своими последними лучами окна слободки и кресты монастыря. Но оживление уже не вернулось на базарную площадь: богомольцы внесли тихую жажду отдыха после трудного пути, и день угасал вместе с последними нотами отходящей церковной службы. Даже бубен за стеной «заведения» громыхал изнеможенно и глухо.

Служба кончилась. В глубине храма свечи гасли одна за другой. Богомольцы расходились. У монастырского странноприимного дома стояли кучки странников и богомолок, ожидавших, пока отец-гостиник разрешит вход просящим ночлега. На крыльцо вышел толстый монах и два послушника и принялись отделять овец от козлищ. Овцы входили в дверь, козлища изгонялись и, ворча, выходили в ворота. Когда эта процедура закончилась, у входа осталась кучка мордовок и фигура странника. По-видимому, их участь еще решалась отцом-гостиником, который ушел внутрь здания.

Через минуту вышли послушники и, сосчитав мордовок, пустили их в женское отделение. К одинокому страннику подошел старший послушник и, поклонившись, сказал:

— Прости, христа-ради, брат Варсонофий... Отец-гостиник не благословляет тебе остаться... Иди с миром.

По лицу молодого странника прошла болезненная улыбка, поразившая меня каким-то особенным драматизмом и значительностью. Лицо у него было тоже замечательное: очень горбоносое, худое, с горящими большими глазами. Острый шлык и чуть заметная заостренная бородка придавали этому лицу что-то необыкновенно характерное. Вся сухая фигура в старом подряснике, с тонкой шеей и выдающимся профилем, обращала невольное внимание. Впечатление было резкое, тревожащее и беспокойное.

Выслушав слова послушника, странник поклонился и сказал:

— Бог спасет и на том...

Он повернулся, чтобы уйти, и вдруг пошатнулся. Видно было, что он болен и смертельно устал. Добродушный послушник посмотрел ему вслед и заколебался.

— Постой мало, брат Варсонофий... Схожу еще.

Странник облокотился на палку и застыл в ожидании. Но через минуту послушник опять вышел из двери и, смущенно подойдя к нему, сказал с видимым сожаленьем:

— Нет, не благословляет... Отец Нифонт донес ему, якобы тут странник один... вроде тебя... глаголет неподобная... смущает народ.

В лице странника мелькнуло что-то... Глаза его блеснули, как будто он хотел возразить, но потом поклонился и сказал:

— Благодарствуйте, отцы...

И он устало побрел со двора.

Послушник вопросительно посмотрел на меня. Я понял, что он собирается закрывать ворота, и тоже вышел на передний двор. Здесь было уже пусто. Молодой продавец монастырских калачей стоял еще за ларем, к которому никто не подходил.

Вратарь закрыл за мною одну воротину, потом, тяжело упираясь ногами, стал закрывать и другую. В это время за воротами послышалась возня, затопталиcь несколько пар ног, щель опять раздвинулась, и в ней показалась невзрачная фигура в странницком костюме, рыжем и полинявшем. Ее невольными движениями управляла дюжая рука, державшая ее за шиворот. Крепкий толчок... Странник отлетел на несколько шагов и упал, а за ним вдогонку полетела котомка, потом другая... Небольшая книжечка в истрепанном кожаном переплете шлепнулась в грязь, шелестя по ветру листами.

— Вот эдак...— сказал за воротами жирный бас.— Не озоруйте...

— А что? — спросил голос вратаря.

— Как же,— ответил бас...— Из-за него вот отец-гостиник согрешил... человека прогнал... И человек-то хороший. Ох-хо... истинно грехи...

И говоривший удалился. Отец вратарь сомкнул ворота, но не вполне: в щелку любопытно выглянули его маленькие глазки, толстый нос и светлые усы. Он с види-

мым интересом следил за дальнейшими намерениями извергнутого странника.

Последний успел подняться, взял котомки, вскинул их одну на спину, другую через плечо и потом, подняв книгу, старательно стал очищать ее от грязи. Кинув быстрый взгляд по двору, он заметил меня и калашника. Из-за наружных ворот, с площади, маленькое происшествие наблюдала кучка мужиков. Как будто сообразив что-то, странник приосанился, с демонстративным благоговением поцеловал переплет книги и отвесил саркастический поклон по направлению к внутренним воротам...

— Спасибо, отцы святые... Яко странного мя приясте и алчущего накормисте...

И вдруг, заметив в щели ворот усы и нос вратаря, он сказал другим тоном:

— Что смотришь? Или признал?

— Что-то будто... того... признавательно,— сказал привратник.

— Как же, как же!.. Приятели! К свиридовским мордовкам вместе бегали... Узнал теперь?..

Привратник громко и с негодованьем плюнул, сдвинул ворота и задвинул засов. Но ноги его в грубых сапогах еще некоторое время виднелись из-под ворот...

— Феньку вспоминаешь ли, отче?..

Ноги стыдливо скрылись...

Странник поправил грязную мурмолку и опять оглянулся. Привлеченные пикантным разговором, человек шесть мужиков вошли в ворота. Это были ближайшие соседи монастыря, старообрядцы из ближних деревень, толкавшиеся по базару с видом равнодушного, пожалуй, несколько враждебного любопытства. Монастырь, далеко простирающий свое влияние, вблизи охвачен, точно кольцом, «самым злющим», по выражению монахов, расколом. Среди окрестных жителей сложилась определенная легенда, что в самом недалеком будущем монастырю грозит участь Содома и Гоморры... Но пока монастырь живет и привлекает в свои праздники тысячные толпы народа. В такие дни фигуры соседей-старообрядцев как-то угрюмо выделяются в ликующей толпе, и на их лицах виднеется отчужденность и досада. Подобно пророку Ионе, они ропщут, что господь медлит совершить предреченную судьбу обреченной Ниневии.

Теперь они с злорадным любопытством смотрели на сцену у ворот обители нечестивых.

— Что? Видно, не пущают...— сказал один насмешливо.— Самим тесно... с мордовками-то...

Странник повернулся и кинул на говорящего острый взгляд. Но вдруг лицо его приняло смиренное выражение, и, опять повернувшись к воротам, он трижды истово и широко перекрестился.

Мужики переглянулись с недоумением: странник крестился не щепотью, а старым двуперстным крестом.

— Господь, видящий всяческая, да воздаст мнихам по милосердию их,— сказал он со вздохом.— Мы же, братие, отрясши прах от ног своих, послушаем здесь, во храме нерукозданном (он указал красивым и спокойным движением на вечернее небо), поучительного слова о покаянии...

Мужики сомкнулись; на их лицах виднелось радостное и отчасти недоверчивое недоумение. Обращение было слишком уж неожиданно... Мысль устроить на чуждом празднике свое собеседование и у самых ворот монастыря послушать странствующего проповедника, знаменующегося старым крестом,— видимо, нравилась людям старой веры. Проповедник стоял у подножия колокольни. Ветер шевелил его запыленные светлые волосы.

Это был человек неопределенного возраста, но, очевидно, еще не старый. На лице у него лежал сильный загар, а волосы и глаза как будто выцвели от солнца и непогоды.

При каждом даже незначительном движении головы на шее у него резко выступали и шевелились сухожилия. Невольно чуялось в этом человеке что-то несчастное, чутко настороженное и, пожалуй, злое.

Он стал громко читать свою книгу. Читал хорошо, просто, убедительно и, по временам останавливаясь, вставлял собственные комментарии. Однажды он быстро взглянул на меня, но тотчас же отвел глаза. Казалось, мое присутствие было ему неприятно. После этого он обращался больше к одному из слушателей.

Это был широкоплечий приземистый мужик с фигурой, точно вырубленной двумя-тремя ударами топора. Несмотря на эту топорность фигуры, он оказался чрезвычайно экспансивным. За каждым словом проповед-

ника он следил с увлечением и снабжал их собственными репликами, в которых неизменно звучала какая-то почти детская радость.

— Ах, братия... милые мои,— говорил он, оглядываясь...— Ах, премудро это насчет покаяния... Стало быть, выходит лествица?.. Вот-вот... А мы грешные по ей... с приступочки да на приступочку?.. Так, так...

— И все, значит, кверху да кверху...— пробасил другой...

— Верно... Глядишь, и того... А?..

И он сияющими глазами окидывал собрание...

Однако его шумное вмешательство и его радость, по-видимому, не понравились проповеднику. Он вдруг остановился, слегка повернул голову, и сухожилия на его шее заходили, как веревки... Он как будто хотел сказать что-то, но сдержался и перевернул страницу.

Оказалось, что слушатели возрадовались преждевременно. В то самое время, когда они находятся на вершине ликования,— гордыня и излишнее упование отягчают лествицу. Она трещит, на лицах слушателей отражается испуг, лествица подламывается...

— Тепериче кончено! — говорит басистый мужик мрачно.

— Теперича ау, брат! — подхватывает первый. И странное дело: он опять оглядывает всех сияющими глазами, а в его голосе слышится та же радость...— Теперича нет нам ходу... И на первую приступочку не пустют.

Странник закрывает книгу и несколько секунд смотрит на говорящего упорным взглядом. Но мужик встречает этот взгляд с тем же радостным и доверчивым благодушием.

— Вы так... полагаете? — спрашивает проповедник.

— Полагаем,— отвечает спрошенный.— Сам посуди, милый человек... До кеих же пор терпеть на нас?..

— Вы так полагаете? — опять говорит проповедник с натиском, и в голосе его звучит что-то, вызывающее на лице спрошенного признаки беспокойства...

— То есть вы полагаете предел долготерпению всевышнего. А известно ли вам, братие, что есть православная кафолическая церковь?..

Он перевертывает несколько страниц и начинает читать о духовном могуществе православной церкви. Лица

слушателей темнеют. Проповедник останавливается и говорит:

— Православная кафолическая церковь... Не она ли сия спасительная лествица?.. Кто прибегает к ней — не может отчаяться. А вот... ежели...

На несколько секунд водворяется напряженное молчание. Странник стоит против кучки мужиков и, очевидно, держит в своих руках их настроение. Еще недавно они радостно следовали за ним, и не трудно было предвидеть последствия проповеди: люди старой веры готовы были пригласить к себе монастырского изгнанника. Теперь они смущены и не знают, что думать...

— А вот ежели,— продолжает странник, отчеканивая слова,— кто отвержеся единой матери церкви... кто полагает спастись в подпольях, с крысами... кто уповает на стриженые гуменца...

Басистый мужик резко повернулся и пошел прочь...

Его благодушный сотоварищ оглянулся с видом разочарованности и недоумения и кинул тоном полувопроса:

— Оканфузил?.. Ишь ты... Ай-ай-ай...

И последовал за другими. Раскольники угрюмо направились к воротам. Странник остался один. Его фигура резко выделялась на фоне колокольни, и в выцветших, когда-то синих глазах стояло странное выражение. Повидимому, он думал своей проповедью обеспечить себе ночлег, в котором ему отказали монахи. Почему же он вдруг изменил тон?

Теперь во дворе нас было только трое: странник, я и молодой парень под калашным навесом. Странник кинул быстрый взгляд в мою сторону, но тотчас отвернулся и подошел к калашнику. Лицо молодого парня сияло от удовольствия.

— А ловко ты их,— сказал он...— Уж именно что оканфузил. Вишь, у всех на макушках-те гуменца выстрижены... Черти горох молотили. Хо-хо-хо!

Парень залился веселым молодым смехом и принялся убирать с прилавка товар внутрь ларя.

Окончив это, он закрыл раздвижные дверцы и запер их на замок. Ларь был устроен удобно, в расчете на передвижение,— на колесиках и с нижним помещением. Парень, очевидно, намеревался ночевать тут же, у хозяйского добра...

— Одначе пора и на спокой,— сказал он, поглядев на небо.

На дворе и за воротами было тихо и пусто. На базаре тоже убирались с товаром. Парень покрестился на церковь и, открыв немного дверку, полез под ларь.

Вскоре оттуда показались его руки. Он старался изнутри приладить небольшую заслонку к отверстию.

Странник тоже оглянулся на небо, подумал несколько секунд и решительно подошел к ларю.

— Постой, Михайло! Я тебе, добрый человек, помогу.

Белец убрал руки и выглянул снизу вверх из своего убежища.

— Антон я,— сказал он простодушно.

— Ну, Антоша, давай помогу тебе.

— Ин помоги, спасибо скажу. Вишь, отседа трудно.

Простодушное лицо Антона скрылось.

— Убери-ко-сь ноги-то маленько.

Антон исполнил и это распоряжение. Тогда странник спокойно отставил дверку, проворно наклонился, и я с удивлением увидел, как он быстро юркнул в отверстие. Началась возня: Антон двинул ногами, и часть страннической фигуры показалась было на мгновение наружи, но тотчас же втянулась опять.

Заинтересованный этим неожиданным оборотом, я почти инстинктивно подошел к ларю.

— А я закричу, пра, закричу,— услышал я оттуда гнусаво-жалобный голос Антона.— Вот ужо́ отцы опять накладут тебе в загорбок!

— А ты не кричи, Миша, зачем кричать? — убеждал странник.

— Какой я тебе Миша... говорю, меня Антоном кстили...

— В монашестве наречен будешь Михаилом. Помяни тогда мое слово... Тс-с-с! Тише, Антоша, помолчи-ко-сь.

В ларе водворилось молчание.

— Чего? — спросил Антон.— Чего слухаешь?

— Слышь, стучит... Дождик ведь.

— Ну так что?.. Стучит... Закричать вот,— отцы тебе лучше того настукают.

— Ну, что ты все заладил одно: закричу да закричу. А ты лучше не кричи. Что я тебя съем, что ли? Я вот тебе еще про монашку сказку хорошую расскажу...

— Скрадешь, смотри, чего-нибудь.

— Грех тебе, Антоша, на странного человека клепать. Один-то калач и сам дашь. Не ел нынче,— веришь ты богу...

— На вот, кусай черствый... Сам не съел...— И Антон зевнул с таким аппетитом, что всякая мысль о дальнейшем противодействии устранилась.

— А и ловко ты их, кулугуров-то, оканфузил,— добавил он, доканчивая аппетитный зевок,— уж это именно, что обличил.

— А отцов?

— Отцы на тебя плевать хотели... Обещал сказку сказать... Что ж не сказываешь?

— В некоторыем царстве, в некоторыем государстве,— начал странник,— в монастыре за каменной стеной жила-проживала, братец ты мой Антошенька, монашка... Уж такая проживала монашка-а, охо-хо-о-о...

— Ну...

— Ну, жила-проживала, сохла-горевала...

Молчание.

— Ну?.. Сказывай, что ли.

Опять молчание.

— Ну! Да ты что же? О ком горевала-то?..— приставал заинтересованный Антон.

— Ступай ты ко псу, что пристал! Что я тебе за сказочник дался! Чай, за день-то я тридцать верст отмахал. Об тебе, дураке, и горевала, вот о ком. Не мешай спать!

Антон испустил какой-то звук, выразивший крайнее изумление.

— Н-ну, и жох ты, посмотрю я на тебя,— сказал он с упреком.

— Право, лукавый,— послышалось еще через минуту тише и как-то печально...— Н-ну-у, лукавец... Эдакого лукавца я и не видывал...

В ларе все смолкло. Дождь все чаще стучал по наклонной крышке, земля почернела, лужи исчезали в темноте; монастырский сад шептал что-то, а здания за стеной беззащитно стояли под дождем, который журчал, стекая по водосточным трубам. Сторож за оградой стучал в промокшую трещотку.

II

На следующий день я с Андреем Ивановичем, товарищем многих моих путешествий, вышли в обратный путь. Шли мы не без приключений, ночевали в селе и оттуда опять тронулись не рано. Дорога совсем уже опустела от богомольцев, и трудно было представить себе, что по ней так еще недавно двигались толпы народа. Деревни имели будничный вид, в полях изредка белели фигуры работающих. В воздухе было душно и знойно.

Мой спутник, человек длинный, сухопарый и нервный, был сегодня нарочито мрачен и раздражителен. Это случалось с ним нередко под конец наших общих экскурсий. Но сегодня он был особенно не в духе и выказывал недовольство мною лично.

После полудня, в жару, мы уже совершенно надоели друг другу. Андрей Иванович почему-то считал нужным отдыхать без всякой причины в самых неудобных местах или, наоборот, желал непременно идти дальше, когда я предлагал отдохнуть.

Так мы достигли мостика. Небольшая речка тихо струилась среди сырой зелени, шевеля по поверхности головками кувшинок. Речка вытекала изгибом и терялась за выступом берега, среди волнующихся нив.

— Отдохнем,— сказал я.

— Идти надо,— ответил Андрей Иванович.

Я сел на перила и закурил, а долговязая фигура Андрея Ивановича пронеслась дальше. Он поднялся на холмик и исчез.

Я наклонился к речке и задумался, считая себя совершенно одиноким, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и увидел на холме, под группою березок, двух человек. Лицо одного показалось мне совсем маленьким, почти детским. Оно тотчас же стыдливо скрылось за гребнем холмика, в траве. Другой был вчерашний проповедник. Лежа на земле, он спокойно смотрел на меня своими беззастенчивыми серыми глазами.

— Пожалуйте к нам, веселей вместе,— сказал он просто.

Я поднялся и с удивлением усмотрел ноги Андрея Ивановича из-за хлебов у дороги; он сидел невдалеке на

меже, и дым его цигарки поднимался над колосьями. Сделав вид, что не заметил его, я подошел к странникам.

Тот, которого я принял за ребенка,— представлял из себя маленькое, тщедушное существо в полосатой ряске, с жидкими косицами около узкого желтого лица, с вытянувшимся по-птичьи носом. Он все запахивал свою хламиду, беспокоился, ерзал на месте и, видимо, стыдился собственного существования.

— Садитесь, гости будете,— предложил мне проповедник, слегка подвигаясь; но в это время долговязая фигура Андрея Ивановича, как тень Банко, поднялась над хлебами.

— Идем, что ли! — произнес он не особенно ласково, далеко швыряя окурок.

— Я посижу,— ответил я.

— С дармоедами, видно, веселее...—И Андрей Иванович кинул на меня взгляд полный горечи, как будто желая вложить в мою душу сознание неуместности моего предпочтения.

— Веселее,— ответил я.

— Ну, и наплевать. Счастливо оставаться в хорошей канпании.

Он нахлобучил шапку и широко шагнул вперед, но, пройдя немного, остановился и, обернувшись, сказал с негодованием:

— Не зовите никогда! Подлый человек — не пойду с вами больше. И не смейте звать! Отказываю.

— Звать или не звать — это дело мое... а идти или не идти — ваше.

— Сурьезный господин! — мотнул странник головой в сторону удаляющегося.

— Не одобряют нас,— как-то горестно не то вздохнул, не то пискнул маленький человечек.

— Не за что и одобрять, пожалуй,— равнодушно заметил проповедник и обратился ко мне: — Нет ли папиросочки, господин?

— Пожалуйста.

Я протянул ему портсигар. Он взял оттуда две папироски, одну закурил, а другую положил рядом. Маленький странник истолковал это обстоятельство в смысле благоприятном для себя и не совсем решительно потянулся за свободной папироской. Но проповедник совершен-

но спокойно убрал папиросу у него из-под руки и переложил ее на другую сторону. Маленький человечек сконфузился, опять что-то стыдливо пискнул и запахнулся халатом.

Я подал ему другую папироску. Это сконфузило его еще более,— его худые прозрачные пальцы дрожали; он грустно и застенчиво улыбнулся.

— Не умею просить-с...— сказал он стыдливо,— Автономов и то меня началит, началит... Не могу-с...

— Кто это Автономов? — спросил я.

— Я это — Геннадий Автономов,— сказал проповедник, строго глядя на маленького сотоварища. Тот потупился под его взглядом и низко опустил желтое лицо. Жидкие косицы свесились и вздрагивали.

— По обещанию здоровья ходили, или так? — спросил у меня Автономов.

— Так, из любопытства... А вы куда путешествуете?

Он посмотрел в пространство и ответил:

— В Париж и поближе, в Италию и далее...— И, заметив мое недоумение, прибавил: — Избаловался... шатаюсь беспутно, куда глаза глядят. Одиннадцать лет...

Он сказал это с оттенком грусти, тихо выпуская табачный дым и следя глазами, как синие струйки таяли в воздухе. В лице его мелькнуло что-то новое, не замеченное мною прежде.

— Испорченная жизнь, синьор! Загубленное существование, достойное лучшей участи.

Грустная черта исчезла, и он докончил высокопарно, поводя в воздухе папиросой:

— И однако, милостивый государь, странник не согласится променять свою свободу на роскошные палаты.

В это время какая-то смелая маленькая пташка, пролетев над нашими головами, точно брошенный комок земли, уселась на нижней ветке березы и принялась чиликать, не обращая ни малейшего внимания на наше присутствие. Лицо маленького странника приподнялось и замерло в смешном умилении. Он шевелил в такт своими тонкими губами и при удачном окончании какого-нибудь колена поглядывал на нас торжествующими, смеющимися и слезящимися глазами.

— Ах, боже ты мой! — сказал он наконец, когда пташка, окончив песню, вспорхнула и улетела дальше.—

Творение божие... Воспела, сколько ей было надо, воздала хвалу и улетела восвояси. Ах ты, миляга!.. Ей-богу, право.

Он радостно посмотрел на нас, потом сконфузился, смолк и запахнул ряску, а Автономов сделал опять жест рукой и прибавил в поучительном тоне:

— Воззрите на птицы небесные. И мы, синьор,— те же птицы. Не сеем, не жнем и в житницы не собираем...

— Вы учились в семинарии? — спросил я.

— Учился. А впрочем, об этом, синьор, много говорить, а мало, как говорится, слушать. Между тем что-то, как видится, затягивает горизонт облаками. Ну, Иван Иванович, вставай, товарищ, подымайся! Жребий странника — путь-дорога, а не отдохновение. Позвольте пожелать всякого благополучия.

Он кивнул головой и быстро пошел по дороге. Шагал он размашисто и ровно, упираясь длинным посохом и откидывая его с каждым шагом назад. Ветер развевал полы его рясы, спина с котомкой выгнулась, бородка клином торчала вперед. Казалось, вся эта обожженная солнцем, высушенная и обветрелая фигура создана для бедного русского простора с темными деревушками вдали и задумчиво набирающимися на небе тучами.

— Ученый! — грустно махнул головой Иван Иванович, подвязывая дрожащими руками котомку.— Умнейшая голова! Но между тем пропадает ничтожным образом, как и я же. На одной степени... Мы и странники-то с ним, господи прости, самые последние...

— Почему это?

— Помилуйте! Как же можно. Настоящий странник — у него котомка хорошая, подрясничек или кафтан, сапоги, например... одним словом — окопировка наблюдается во всяком, позвольте сказать, сословии. А мы! Чай, уж видите сами. Иду, иду, Геннадий Сергеич, иду-с. Сию минуту!

Маленький человечек вскоре догнал на дороге своего товарища. Думая, что у них были свои причины не приглашать меня с собой, я посидел еще на холме, глядя, как из-за леса тихо, задумчиво и незаметно, точно крадучись, раскидывалось по небу большое облако, и затем поплелся один, с сожалением вспоминая об Андрее Ивановиче.

Было тихо, грустно. Колосья колыхались и сухо шуршали... Где-то очень далеко за лесами ворчал гром и по временам пролетала в воздухе крупная капля дождя.

Но угрозы были напрасны. Под вечер я подходил уже к деревне К., а дождя все еще не было, только туча все так же тихо надвигалась, нависала и ползла дальше, уменьшая дневной свет, и гром погромыхивал ближе.

III

К моему изумлению, на завалинке одной из крайних изб деревни я увидел Андрея Ивановича. Он сидел, протянув длинные ноги чуть не до середины улицы, и при моем приближении придал своему лицу выражение величавого пренебрежения.

— Что вы тут делаете, Андрей Иваныч?

— Чай пил. Думаете, вас дожидался? Не воображайте. Пройдет туча — отправлюсь дальше.

— И отлично.

— А хваленые-то ваши...

— Кто это мои хваленые?..

— Странники-то, божьи люди... Полюбуйтесь, чего делают вон в соседней избе! Нет, вы посмотрите, ничего, не стыдитесь, пожалуйста...

Я подошел к окну. Изба была полна. Мужики из этого села в это время все на промыслах, поэтому тут было одно женское население. Несколько молодок и девушек прошмыгнули еще мимо меня. Окна были открыты и освещены, и из них слышался ровный голос Автономова. Он поучал раскольниц.

— Пожалуйте к нам,— услышал я вдруг тихий голос Ивана Ивановича. Он стоял в темном углу у ворот.

— Что вы тут делаете?

— Народ обманывают. Чего делают,— резко отозвался Андрей Иванович.

Маленький странник закашлялся и, покосившись на Андрея Ивановича, сказал:

— Что делать-с, господин...

Он наклонился ко мне и зашептал:

— Раскольницы-бабы Геннадия Сергеича за попа считают, за беглого. Темнота-с. Что делать-с... Может,

не взыщется. А между прочим, нечего делать-с. Не войдете ли?

— Войдемте, Андрей Иванович.

— Чего я там не видал? — ответил он, отворачиваясь.— Идите — целуйтесь с ними. А я об себе так понимаю, что мне и быть-то там не для чего, потому что на мне крест.

— Чай, и мы не без крестов,— с тихим упреком сказал Иван Иванович.

Андрей Иванович презрительно свистнул и вдруг, сделав очень серьезное лицо, подозвал меня.

— Сонму нечестивую знаете?

И, загадочно посмотрев на меня, он добавил тише:

— Поняли?

— Нет, не понял. До свидания. Хотите,— дожидайтесь.

— Нечего нам дожидаться. Которые люди не понимают...

Я уже не слышал конца фразы, потому что входил вместе с Иваном Ивановичем в избу.

При нашем входе произошло легкое движение. Проповедник заметил меня и остановился.

— А! Милости просим,— сказал он, раздвигая баб.— Пожалуйте. Не чайку ли захотели испить? Здесь самоварчик найдется, даром что раскольничья деревня.

— Я вам помешал?

— Какая помеха. Хозяйка, ну-ко самоварчик! Живее!

— А ты нешто потребляешь чайную травку? — спросила стоявшая впереди полногрудая молодка с бойкими черными, как уголь, глазами.

— Если господин пожелает угостить,— с удовольствием... и другого чего выпью...— сказал, глядя на меня, Автономов.

— Пожалуйста,— сказал я.

— Позвольте папиросочку.

Я подал. Он закурил, насмешливо оглядывая удивленных женщин. В избе прошло негодующее шушуканье.

— А ты, видно, сосешь-таки? — язвительно спросила та же молодка.

— Сосу... по писанию. Разрешается.

— А в коем это писании,— научи-ко-сь.

Он докурил и через головы молодиц бросил папироску в лохань с водой.

— Еще кидатца,— с неудовольствием сказала хозяйка, возившаяся около самовара.

— Не кидай, озорной, пожару наделашь,— поддержала другая.

— Пожару? У вас поэтому из колодцев не выкидывало ли, огнем из печи не тушите ли?

— А ты што думашь? Ноне все быват. Ноне вон и попы табак жрут.

— Быват, быват. Ишь голос, что колокол. Тебе бы в певчие, в монастырь. Пойдем со мной.

Он потянулся к ней. Она ловко увернулась, изогнувшись красивым станом, между тем как другие бабы, смеясь и отплевываясь, выбегали из избы.

— Н-ну и поп! — с наивным ужасом сказала худая бабенка, с детски открытыми глазами.— Учи-и-тель!

— Он те научит.

— Научи-ко нас,— опять насмешливо сказала солдатка, выступая вперед и подпирая щеку полной рукой.— Научи такой заповеди, котора лёгка и милослива.

— Ну-ну! Мы за тебя до плеч воздохнем.

— И научу. А как тебя зовут, красавица?

— Зовут зовутицёй, величают серой утицёй. Тебе на што?

— А ты вот что, серая утица. Достань нам водочки, небось, вот они заплатят.

— Достать, что ли? Мы достанем.

Она вопросительно и лукаво посмотрела на меня.

— Пожалуй... немного,— сказал я.

Солдатка шмыгнула из избы. За ней, смеясь, хихикая и толкаясь, выбежало еще две-три женщины. Хозяйка с мрачным видом уставила на стол самовар и, не говоря ни слова, села на лавку и принялась за работу. С полатей, свесивши русые головы, глядели на нас любопытные детские лица.

Солдатка, смеясь и запыхавшись, поставила на стол бутылку с какой-то зеленоватой жидкостью и, отойдя от стола, насмешливо и вызывающе посмотрела на нас. Иван Иванович конфузливо кашлял, оставшиеся в избе безмужницы смотрели на нас с затаенным ожиданием. После первых рюмок недавний проповедник, подняв полы сво-

ей ряски, ходил, притопывая, вокруг серой утицы, которая змеей извивалась, уклоняясь от его любезностей.

— Поди ты! — отмахнулась она и, кинув на меня задорно-вызывающий взгляд, подошла к столу.

— А ты что же сам-то не пьешь? Гляди на них,— они, пожалуй, и все вылакают. Испей-ко-сь.

Улыбаясь и играя плечами, она налила рюмку и поднесла мне.

— Не пейте...— вдруг раздался совсем неожиданно зловещий голос из-за окна, и из темноты появилось скуластое лицо Андрея Ивановича.— Водки не пейте, я вам говорю! — проговорил он еще мрачнее и опять исчез в темноте.

Рюмка у солдатки дрогнула и расплескалась. Она глядела в окно испуганными глазами.

— С нами крестная сила,— это что такое?

Всем стало неловко. Водка приходила к концу, и вопрос состоял в том, потребуем ли мы еще и развернемся окончательно, или на этом кончим. Иван Иванович посмотрел на меня с робкой тоской, но у меня не было ни малейшего желания продолжать этот пир. Автономов сразу понял это.

— Действительно, не пора ли в путь,— сказал он, подходя к окну.

— Чать, на дворе-то дождик,— произнесла солдатка, глядя как-то в сторону.

— Нет. Облака порядочные... да, видно, сухие... Собирайся, Иван Иванович.

Мы стали собираться. Первым вышел Иван Иванович. Когда, за ним, я тоже спустился в темный крытый двор,— он тихо сказал, взяв меня за руку:

— А тот-то, долговязый. Вон у ворот дожидается.

Я действительно разглядел Андрея Ивановича у калитки. Автономов с котомкой и своим посохом вышел на крыльцо, держа за руку солдатку. Обе фигуры виднелись в освещенных дверях. Солдатка не отнимала руки.

— Только от вас и было? — говорила она разочарованно.— Мы думали — разгуляетесь.

— Погоди, в другой раз пойду,— разбогатею.

Она посмотрела на него и покачала головой.

— Где-поди! Не разбогатеть тебе. Так пропадешь, пусто...

— Ну, не каркай, ворона... Скажи лучше: дьячокИриней все на погосте живет?..

— Щуровской-то? Живет. Ноне на базар уехал. Тебе на што?

— Так. А... дочь у него была. Грунюшка.

— Взамуж она выдана.

— Далеко?

— В село в Воскресенское, за диаконом... Одна ноне старушка-те осталась.

— Ириней, говоришь, не возвращался?

— Не видали что-то.

— А живет богато?

— Ничего, ровненько живет.

— Ну прощай!.. Эх ты, Глаша-а!

— Ну-ну! Не звони... Видно, хороша Глаша, да не ваша. Ступай ужо́,— нечего тут понапрасну.

В голосе деревенской красавицы слышалось ласковое сожаление.

За воротами темная фигура Андрея Ивановича, отделившись от калитки, примкнула к нам, между тем как Автономов обогнал нас и пошел молча вперед.

— Вы бы до утра сидели,— угрюмо сказал Андрей Иванович.— А я тут дожидайся!

— Напрасно,— ответил я холодно.

— Это как понимать? В каком смысле?

— Да просто шли бы, если вам неприятно...

— Нет уж. Спасибо на добром слове,— я товарища покидать не согласен. Лучше сам пострадаю, а товарища не оставлю... Этак же в третьем годе Иван Анисимович. Ничего да ничего, выпивал да выпивал в хорошей канпании...

— Ну и что же?

— Жилетку сняли, вот что!.. Денег три рубля двадцать... портмонет новый...

— Ежели вы это насчет нас с Геннадием намек имеете,— заговорил Иван Иванович, торопясь и взволнованным голосом,— то это довольно подло. Это что же-с?.. Ежели у вас сомнение,— мы можем вперед или отстанем...

— Пожалуйста, не обращайте внимания,— сказал я, желая успокоить беднягу.

— Что̀ такое? — спросил вдруг Автономов, остановившийся на дороге. — Из-за чего разговор?

— Да вот они все... сомневаются. Господи помилуй! Неужто мы какие-нибудь, прости господи, разбойники.

Геннадий вгляделся в темноте в лицо Андрея Ивановича.

— А! долговязый господин!.. Ну что ж! — сказал он сухо. — «Блажен, кто никому не верит и всех своим аршином мерит»... Дорога широкая...

И он опять быстро пошел вперед, а за ним побежал трусцой маленький товарищ. Андрей Иванович несколько секунд стоял на месте, ошеломленный тем, что странник ответил ему в рифму. Он было двинулся вдогонку, но я остановил его за руку.

— Что это вам неймется, право! — сказал я с досадой.

— А вам хороших товарищей жалко? — сказал он язвительно... — Не беспокойтесь, пожалуйста. Сами далеко не уйдут...

И действительно, за последними избами на дороге зачернела фигура. Это был Иван Иванович, но один... Он стоял посередине дороги, тяжело дышал и кашлял, держась за грудь.

— Что это с вами? — спросил я с участием.

— Ох-хо! Смерть моя... Ушел... Геннадий-то... Не велит вместе идти... Велит с вами. Не поспеваю за ним.

— Сделайте одолжение. А дорогу вы знаете?

— Дорога пока большая. Да он где-нибудь догонит...

— Ну и отлично.

Мы пошли в темноту... Назади тявкнула собака; оглянувшись, я увидел два-три огня деревни, которая скоро скрылась из виду.

IV

Ночь была беззвездная, тихая. Горизонт еще выделялся где-то неясной чертой, блуждавшей под облаками, но ниже клубилась лишь густая мгла, бесконечная, неопределенная, без форм и очертаний...

Мы довольно долго шли молча. Странник то и дело робко вздыхал и старался подавить кашель.

— Автономова-то не видно...— говорил он по временам и беспомощно вглядывался в темную ночь...

— Мы-то его не видим... Он нас видит, небось,— сказал Андрей Иванович зловеще и значительно.

Дорога казалась какой-то смутной полоской, точно мост, кинутый через пропасть... Все кругом было черно и смутно. Была или нет светлая полоска на горизонте? Теперь от нее нет и следов. Неужели так еще недавно мы были в шумной избе, среди смеха и говора?.. Будет ли конец этой ночи, этому полю? Подвинулись мы вперед, или это только дорога уходит у нас из-под ног, точно бесконечная лента, а мы все толчемся на месте, в этом заколдованном клочке темноты? И невольная робкая радость зарождалась в душе, когда впереди начинал вдруг тихо журчать невидимый ручей, когда это журчание усиливалось и потом замирало сзади, за нами, или ветер, внезапно поднявшись, шевелил чуть заметные кусты ивняка в стороне от дороги и потом опадал, указывая, что мы их миновали...

— Ну, и ночка выдалась,— сказал Андрей Иванович, против своего обыкновения, тихо.— Дурак и тот, кого в этакие ночи нелегкая носит по дорогам. И чего, спрашивается, нужно нам? Поработал день, отдохнул, чаю попил, богу помолился,— спать. Нет, не нравится, вишь... давай по дорогам шататься. Это нам благоприятнее. Ноне вот уж чуть не полночи, а мы и лба не перекрестили. Молельщики!..

Я не ответил. В голове Андрея Ивановича, очевидно, продолжали тянуться покаянные мысли.

— А что, Автономова-то не видно? — раздался опять тоскливый голос маленького странника.

— Нет, не видать,— буркнул Андрей Иванович.

— Беда моя,— сказал странник в глубокой тоске.— Бросил меня мой покровитель...

В его голосе было столько отчаяния, что мы оба невольно стали глядеть вперед, стараясь разыскать потерянного Автономова. Вдруг, довольно далеко в стороне, что-то стукнуло,— точно доска на дырявом мостике под чьей-то ногой.

— Там он! — сказал Андрей Иванович.— Влево пошел. Надо полагать, дорога повернула.

Действительно, невдалеке дорога раздвоилась. Мы тоже пошли влево. Иван Иванович вздохнул с облегчением.

— Да что ты сокрушаешься? — спросил Андрей Иванович.— Что он тебе, брат, что ли? Вот невидаль, с позволения сказать...

— Пуще брата. Без него должен пропасть: потому, собственно, просить не умею. А в нашем состоянии без этого — прямо погибель...

— Зачем же таскаешься?

Странник помолчал, как будто ему трудно было ответить на вопрос.

— Приюту ищу. Куда-нибудь в монастырь... С младых лет приважен к монастырской жизни.

— Так и жил бы в монастыре.

— Слабость имею...— чуть слышно и застенчиво сказал Иван Иванович...

— Пьешь, небось, горькую...

— То-то вот. Испорчен с младых лет.

— Порча!.. Все, небось, бес виноват...

— Бес, говорите... Оно конечно... Прежде, когда в народе крепость была... *ему* много работы было: который, например, скажем, подвижник неослабного житья... Въяве с бесами состязались... А ныне слабость наша... Нынче такая в народе преклонность.

— Д-да...— согласился Андрей Иванович.— Нынче уж и нечистому много легче... Житье ему с нами, ей-богу. Лежи, миляга, на печке... Сами к тебе придем, друг друга приведем... Принимай только.

Странник глубоко вздохнул...

— Ах, как вы это верно говорите!..— сказал он печально.— Вот о себе скажу,— зашептал он, будто не желая, чтобы его слова слышал кто-то там, в темноте ночи, в стороне от дороги,— от кого погибаю? От родной матери да от отца-настоятеля.

— Ну-у? — изумился Андрей Иванович, тоже тихо.

— Верно!.. Грешно, конечно, родительницу-покойницу осуждать, царствие ей небесное (он снял шляпенку и перекрестился), а все думаю: отдай она меня в ремесло,— может, человек был бы, как и прочие... Нет. Легкого хлеба своему дитяти захотела, прости ее, господи...

— Ну, ну? — поощрил Андрей Иванович.

— Именно-с...— продолжал Иван Иванович печально,— в прежние времена, пишут вот в книгах, родители всячески противились, отроки тайно в кельи уходили для подвига... А моя родительница сама своими руками меня в монастырь предоставила: может, дескать, даже во дьячки произойти.

— Так, так!

— А прежде, надо вам сказать, подлинно было это, производили из монастырей во псаломщики и далее... Только к моему-то времени и отменили!

— Вот-те и чин!

— Да!.. Вот матушка опять: «Оставайся, когда так, в монастыре вовсе... Дескать, и то хлеб легкий. Притом и настоятель тебя любит...» Ну, это правда: возлюбил меня отец-настоятель, к себе в послушники взял. Но только ежели человеку незадача, то счастие на несчастие обернется. Воистину скажу: не от диавольского искушения-с... через ангела погибаю...

— Что ты говоришь! — удивился Андрей Иванович.

— Истинную правду... Настоятель у нас был добрейшей души человек, незлобивый, и притом строгой жизни... Ну, только имел тайную слабость: от времени до времени запивал. Тихо, благородно. Запрется от всех и пьет дня три и четыре. Не больше. И потом сразу бросит... Твердый был человек... Но, однако... в таком своем состоянии... скучал. И потому призовет меня и говорит: «Прискорбна душа моя... Возьми, Ваня, подвиг послушания. Побудь ты, младенец невинный, со мною, окаянным грешником». Ну, я, бывало, и сижу слушаю, как он, в слабости своей, говорит с кем-то и плачет... Дело мое, конечно, слабое: когда не возмогу и засну. Вот он раз и говорит: «Выпей, Ваня, для ободрения.— И налил рюмочку наливки...— Только, говорит, поклянись, что без меня никогда не станешь пить, ниже́ единой...»

— Вот оно что-о-о? — протянул Андрей Иванович многозначительно.

— Я, конечно, поклялся. И налил он мне рюмочку наливки... Так и пошло. Сначала понемножку, а потом... Отец-настоятель мощный был человек: сколько, бывало, ни пьет, все крепок. А я, известно... с трех-четырех рюмок — с ног долой... Спохватился он и запретил мне великим прещением. Ну, да уж поздно. При нем не пью,

а ключи-то от шкапа у меня. . Стал я тайным образом потягивать... Дальше да больше... Уж иной раз и на ногах не стою. Он сначала думал,— это я от прежнего похмелья, по слабости своей, маюсь. Но однажды посмотрел на меня проницательно и говорит: «Ванюша... хочешь рюмочку?..» Я так и затрёсся весь от вожделения. Догадался он. Взял посох, сгреб меня за волосы и поучил с рассуждением... Здоровый был, боялся изувечить... Ну, это не помогло. Дальше да больше... Видит он, что я от его слабости погибаю... Призывает меня и говорит: «Прости ты меня, Ванюшка, но нужно тебе искус пройти. Иначе погибнешь... Иди, постранствуй... Примешь горя, может исцелишься. Я тут о тебе буду молиться... А через год, говорит, в это самое число приходи обратно... Приму тя, яко блудного сына...» Благословил. Заплакал. Призвал руфального... Это значит заведующего монашеской одежей... Велел снарядить меня на дорогу... Сам напутственный молебен отслужил... И пошел я, раб божий, августа двадцать девятого, в день усекновения главы, на подвиг странствия...

Рассказчик опять замолчал, переводя дух и кашляя. Андрей Иванович участливо остановился, и мы втроем стояли на темной дороге. Наконец Иван Иванович отдышался, и мы опять тронулись дальше...

— Вот и ходил я лето и зиму. Тяжело было, горя принял — и-и! в разные монастыри толкался. Где я не ко двору, где и мне не по характеру. Наш монастырь — штатный, богатый, привык я к сладкой жизни. А после-то уж в штатный не принимали, а в общежительном, Кирилло-Новоезерском, и приняли, так и самому черно показалось: чаю мало, табачку и вовсе нет; монахи — одни мужики... Послушание тяжелое, работа черная...

— А ведь это не любо, после легкой жизни,— сказал Андрей Иванович

— Истинно говорю: не под силу вовсе,— смиренно вздохнул Иван Иванович.— Бремена неудобносимые . Притом и святость в черном виде. Благолепия нет... Народу много, а на клиросе петь некому... Истинно козлогласование одно...

— А тут-то вот святость и есть! — сказал Андрей Иванович с убеждением...

— Нет, позвольте вам сказать,— не менее убежденно возразил Иван Иванович,— это вы не так говорите... Монастырское благолепие не в том-с... Монах должен быть истонченный, головка у него, что былинка на стебельке... еле держится... Это есть украшение обители... Ну, таких малое число. А рядовой монах бывает гладкий, с лица чистый, голос бархатный. Таких и благодетели и женский пол уважают. А мужику, позвольте сказать, ни в коем звании почета нет...

— Ну, ладно... Что же дальше-то? — сказал Андрей Иванович, немного сбитый с толку уверенным заявлением компетентного человека.

— Да что дальше! — с грустью сказал странник...— Ходил я год. Отощал, обносился... Пуще всего страдаю от совести, просить не умею... Ждал, ждал этого сроку,— вот домой, вот домой, в свою келийку. Про отца-настоятеля уж именно как про отца родного вспоминал, за любовь за его. Наконец как раз августа двадцать девятого прихожу. Вхожу, знаете, во двор, и что-то у меня сердце смущается. Идут по двору служки наши монастырские... Узнали... «Что, мол, вернулся, странниче Иоанне?» — «Вернулся,— говорю.— Жив ли благодетель мой?..» — «Опоздал ты,— говорят,— благодетеля давно схоронили. Сподобился: с воскресным тропарем отыде. Вспоминал про тебя, плакал... хотел наградить... А теперь новый настоятель... Варвар. И не являйся». А что,— опять спохватился он тревожно.— Автономова-то не видно?

И в его голосе слышались испуг и тоска.

V

Андрей Иванович вгляделся в темноту и вдруг, схватив меня за руку, сказал:

— Постойте, не туда пошли мы ..

— Что такое?

— Да уж верно я говорю: не туда!.. Подождите меня... Я сбегаю, посмотрю...

И он быстро исчез в темноте. Мы с Иваном Ивановичем остались одни на дороге. Когда шаги сапожника стихли, слышался только тихий шорох ночи. Где-то шелестела трава, по временам коростель хрипло «дергал»,

тревожно перебегая с места на место. Где-то еще, очень далеко, мечтательно звенели и ухали в болоте лягушки. Тучи, чуть видные, тянулись в вышине.

— Вот...— любит мой товарищ ходить по ночам,— жалобно произнес Иван Иванович...— А что хорошего? То ли дело днем?

— А он тоже в монастыре был?

— Бывал,— ответил Иван Иванович и потом прибавил со вздохом...— Из хорошей семьи — отец диаконом был в городе N-м. Может, слыхали... Брат письмоводителем в полицейском правлении, невеста была сосватана...

— Отчего же не женился?

— Видите ли... Он уж в это время сбился с пути... был в бегах... Ну, только еще не на странницком положении. Одежонка была, не обносился... И выдал себя будто за жениха. Приняли; девица взирала благосклонно, отец дьячок тоже не препятствовал... Ох... хо... Грех, конечно... обманул... Как начнет иной раз рассказывать, заплачешь, а другой раз смешно-с...

С Иваном Ивановичем случилось что-то странное. Он прыснул и стал как-то захлебываться, закрывая рукою рот... Сначала трудно было разобрать, что это смех. Но это был действительно смех... истерический, застенчивый, какими-то взрывами, который перешел в приступ кашля... Успокоившись, Иван Иванович прибавил с полусожалением:

— Только рассказывает каждый раз по-иному-с... Не поймешь: не то правда... не то...

— Не то врет?

— Не то, чтобы... А только не вполне достоверно... Есть, видно, и правда...

— Что же именно он рассказывает?

— Видите ли... Дьячок-то, говорит, хитрый. Видит, что молодой человек проводит время, а между тем настоящего дела не предпринимает, он,— под видом базару,— поехал в город, а в дому старушку бабушку оставил, приказал строго-настрого с глаз не спускать. Автономов — не у них, конечно, жил... На селе у просвирни.. Ну, в гости захаживал. Каждодневно... На бережку сиживали... И бабушка тут... Да где же, конечно, уследить... Молодежь... Только раз, видит мой Автономов,

едут из города двое в телеге... и пьяные притом. Подъехали, глядь, а это дьячок да с братом с Автономовым старшим, с письмоводителем. Не успел он и оглянуться,— уж они на него навалились, давай тузить. Понятное дело: брат обижается за побег из семинарии, дьячок — за обманутие и бесчестие...

Иван Иванович вздохнул.

— Еле жив тогда остался, говорит... Потому что ожесточившись и притом пьяные... Бросился к просвирне, схватил котомку, да в лес... С тех пор, говорит, и пошел странствовать... Ну, другой раз действительно... иначе рассказывает...

Он подошел ко мне и, приподнявшись на цыпочки, хотел сказать что-то особенно конфиденциальное... Но вдруг около нас, прямо из темноты, вынырнула фигура Андрея Ивановича. Он подошел быстро с нарочито зловещим видом.

— Подите-ка сюда.— Он отвел меня в сторону и сказал тихо: — Попали мы с вами в дело!

— Что такое?

— Автономов-то этот... Монах... На воровство, кажется, пошел... Будет нам в чужом пиру похмелье...

— Полноте, Андрей Иванович.

— Вот вам и полно. Слыхали вы, как он в селе допрашивал? У солдатки-то? Про дьячка-то? Дескать, дьячок дома ли, или уехал?

— Ну, помню.

— А где этот дьячок-то живет, помните?

— На погосте, кажется.

— Самый погост! — сказал Андрей Иванович злорадно, махнув рукой вперед, в темноту.

— Ну, так что же?

— А то, что... Старуха, слыхали вы, одна осталась... А он уж тут, как тут... Ходит кругом двора, высматривает. Сами увидите... Вот вы на кого товарища давнего променять согласны... Кабы на мостике да не доска под ним скрипнула,— мы бы тогда и пошли дальше дорогой... А уж это я своротил... Пойдем, пойдем тихонько...

Сзади кто-то жалобно кашлянул. Андрей Иванович оглянулся и сказал:

— Ну, иди и ты с нами, настоятельский послушник... Что с тобой делать. Полюбуйся на товарища.

Пройдя через мостик, мы поднялись круто по дорожке и подошли к погосту. На пригорке из-за листвы ровно светил огонек... Я разглядел чуть белевшие стены небольшого домика, выдвинувшегося на край обрыва, и из-за его крыши грузно вырезались темные очертания колокольни. Вправо, внизу, скорее можно было угадать, чем увидеть речку.

— Вот он,— сказал Андрей Иванович.— Видите?

Невдалеке от нас, между палисадником и обрывом, около беседки, обвитой зеленью, мелькнула фигура. Человек точно прилипал и жался к забору, заглядывая через кусты. На фоне светлого окна, в глубине садика, я увидел острую мурмолку, вытянутую шею и характерный профиль Автономова. Свет рассыпался по листьям кустов и по цветам сирени. Подойдя несколько ближе, я разглядел в окне голову старухи, в чепце и роговых очках. Голова покачивалась, как у человека, работающего от бессонницы, и спицы проворно бегали в руках. Старуха, вероятно, ждала возвращения хозяина.

Вдруг она насторожилась... Из темноты послышался нерешительный оклик:

— Олимпиада Николаевна!

Старушка наклонилась к окну, но никого не было видно.

Прошла минута в молчании, и опять из темноты раздался тот же оклик:

— Олимпиада Николаевна!

Я не узнавал теперь голоса Автономова. Он звучал мягко и робко.

— Кто тут? — встрепенулась вдруг старуха...— Кто меня зовет?..

— Я это... Автономова не припомните ли?.. Когда-то были знакомы...

— Какого тебе, батюшка, Автономова... Нет у нас такого... Не знаю я... Я, батюшка, сейчас людей позову. Федосья, а Федосья!.. Беги сюда...

— Не зовите, матушка... я вас не побеспокою... Неужто Автономова забыли?.. Генашей звали когда-то...

Старуха поднялась с места и, взяв свечу, высунулась с нею из окна. Ветра не было. Пламя стояло ровно, освещая кусты, стены дома и морщинистое лицо старухи с очками, поднятыми на лоб...

— Голос-то будто знакомый... Да где ж ты это?.. Покажись, когда добрый человек...

Она подняла свечу над головой, и луч света упал на Автономова. Старуха сначала отшатнулась, но... В это время дверь открылась, и в комнату вошла другая женщина. Старуха ободрилась и опять осветила Автономова...

— Хорош,— сказала она безжалостно...— Женишок, нечего сказать... Зачем же это ты тут под окнами шатаешься?..

— Мимоходом, Олимпиада Николаевна...

— Мимоходом, так и шел бы мимо... Смотри, хозяин вернется, собак спустит.

Она захлопнула окно и опустила занавеску... Кусты сразу погасли... Фигура Автономова исчезла в темноте.

Нам тоже не мешало подумать об отступлении, и мы быстро спустились с пригорка... Через несколько минут с колокольни послышались удары... Кто-то, по-видимому, хотел показать, что на погосте есть люди...

Андрей Иванович шел молча и в раздумье. Иван Иванович бежал, задыхаясь, вприпрыжку и сдерживая приступы кашля... Когда мы удалились на порядочное расстояние, он остановился и опять произнес с невыразимой тоской:

— Автономова-то потеряли.

В его голосе слышалось такое отчаяние, что мы с Андреем Ивановичем приняли в нем невольное участие и, остановившись на дороге, стали тоже вглядываться в темноту.

— Идет,— сказал Андрей Иванович, обладавший чисто рысьими глазами...

И действительно, вскоре сзади на нас стала надвигаться странная фигура, точно движущийся куст. За поясом, на плечах и в руках у Автономова были целые пучки сирени, и даже мурмолка вся была утыкана цветами. Поравнявшись с нами, он не задержался и не выразил ни радости, ни удивления. Он шел дальше по дороге, и ветки странно качались кругом него на ходу.

— Хорошо идти ночью, синьор,— заговорил он напыщенно, точно актер.— Поля одеты мраком... А вот в сторонке и роща... Смотрите, что за покой за такой! И соловей заводит песню...

Он говорил, точно декламируя, но в его голосе все-таки слышались ноты растроганности...

— Не угодно ли, синьор, ветку из моего садика?..

И театральным жестом он протянул мне ветку сирени...

В стороне от дороги робко и нерешительно щелкнул соловей. Откуда-то издалека, в ответ на звон с погоста, медленно понесся ответный звон и звуки трещотки... Где-то на темной равнине лаяли собаки... Ночь сгущалась, начинало пахнуть дождем...

— Жаль,— развязно заговорил вдруг Автономов.— Я вот тут отлучался, к погосту... Знакомый у меня на этом погосте живет, приятель... Был бы дома,— всем нам был бы ночлег и угощение... Старуха звала ночевать... да что... без хозяина...

Иван Иванович поперхнулся. Сапожник иронически фыркнул...

Автономов, вероятно, догадался, что мы видели несколько больше, чем он думает, и, обратясь ко мне, сказал:

— Не судите, синьор, да не судимы будете... Чужая душа, синьор, потемки... Когда-нибудь,— прибавил он решительно,— поверьте, я все-таки побываю в этом месте... И буду принят... И тогда...

— Что же тогда?

— Ах... было бы только чем угостить... Напьемся мы тут до потери образа... И учиню я тогда над ним безобразие...

— А это зачем?

— Так! Сравнялось бы для меня это место с другими. А то все еще, синьор, за душу тянет... Прошлое-с...

И он пошел вперед быстрее...

Мы миновали стороной небольшую деревнюшку и поравнялись с последней избой. Маленькие окна слепо глядели в темное поле... В избе все спали...

Автономов вдруг направился к окну и резко постучал в раму... За стеклом неясно мелькнуло чье-то лицо.

— Кто там? — послышался глухой голос, и испуганное лицо прилипло изнутри к оконнице...— Кого по ночам носит?..

— Ши-ши-и-и-га,— крикнул Автономов протяжно, резко и зловеще и наклонил к окну голову, убранную вет-

ками... Лицо за окном испуганно исчезло... На деревне залаяли собаки, сторож застучал в трещотку, темный простор, казалось, робко насторожился... И опять где-то, невидимые во мгле, заговорили протяжными звонами спящие церкви, как будто защищая мирный простор от чего-то неведомого и зловещего. Точно зачуяв, что где-то над ними проносятся с угрозой чьи-то темные, чьи-то безнадежно испорченные жизни...

VI

Более часу мы шли опять темными полями. Усталость брала свое; не хотелось ни говорить, ни слушать. Вначале я еще думал и старался представить себе в этой тьме физиономии моих спутников. Это удавалось относительно Андрея Ивановича, которого я знал хорошо, и относительно маленького странника, но физиономию Автономова я забыл и, глядя теперь на его темную фигуру, не мог восстановить его лица... Автономов у дьячковой избы и вчерашний проповедник казались мне двумя различными людьми.

Потом мысли мои все более путались; несколько дней уже на ногах... глухая ночь, тишина, тяжелая перепаханная дорога, или, вернее, бездорожье,— все это сказалось сильной усталостью, и я стал забываться на ходу. Это было какое-то полусознание, допускавшее фантастические грезы, которые витали в бесформенной тьме, странно переплетаясь с действительностью. А действительность для меня вся была темная муть и три туманные фигуры, то остававшиеся позади, то обгонявшие меня на дороге... Я следовал за ними совершенно почти бессознательно.

Когда я как-то очнулся,— они стояли на дороге и о чем-то спорили.

— Разуй глаза-то,— говорил сапожник сердито, но вяло.

— Спасибо, что вразумили,— я бы и не догадался,— ответил странник.— Не знаете ли уж кстати, синьор, как отсюда выйти на дорогу?..

Я лениво вгляделся в темноту. Громадный черный ветряк поднял над нами крылья, терявшиеся где-то высоко в облаках; за ним по бокам, назади, виднелись дру-

гие. Казалось, все поле усеяно мельничными крыльями, поднятыми кверху с безмолвной угрозой...

— Всю ночь теперь проплутал из-за этого дьявола,— со злостью сказал Андрей Иванович.

— Ну-ко, помолчите маленько, долговязый синьор,— сказал Автономов.— Слышите?

— Толчея, что ли?..— сказал Андрей Иванович вопросительно...

— Верно,— ответил Автономов весело.— Колеса это работают. Эх, и речушка же резвая!

— Далеко это?..

— По дороге далеко. А мы прямиком.

— В болото, смотри, заведешь, дьявол...

Ноги опять несли меня куда-то в темноту за тремя темными фигурами. Я спотыкался на пашне или по кочкам, меня кидало то вперед, то в сторону... Если бы на пути встретился овраг или река,— я, вероятно, очнулся бы только на дне... По временам странные обрывки сновидений вспархивали и летали из головы в неопределенную мглу...

Наконец меня перестало кидать по кочкам. Под ногами чувствовалась ровная дорога, а в ушах ровный, приятный шум. Вода струилась, звенела, бежала куда-то, плескалась и бурлила, рассказывая о чем-то очень занимательном, но слишком смутном... потом шум остался позади, но вдруг он стал сильнее, как будто вода прорвала плотину... Я совсем очнулся и оглянулся с удивлением... Сзади меня догнал Андрей Иванович и, взяв за руку, потащил вперед...

— Проснитесь... будет вам спать-то на ходу... Вот связались мы с дьяволом, прости господи!.. Выскочат мужики, шеи нам наломают... Скорее, скорее... Вишь, Иван-то Иваныч дерет, ряску подобрал...

Действительно, маленький странник пробежал мимо нас с удивившей меня быстротой...

— Сюда... сюда...

Не отдавая себе еще полного отчета в происходящем, я очутился под прикрытием густых ветл на берегу речки. Рядом Иван Иванович тяжело переводил дух... Автономова не было. Невдалеке мельница точно взбесилась. Вода ревела и бурлила в открытые шлюзы. Одно колесо тяжело ворочалось по-прежнему, другое, вероятно, удер-

жанное запором, трещало и стонало под ударами воды. Цепная собака рвалась на цепи и выла от злости...

В мельнице вспыхнуло оконце, точно она проснулась и открыла глаз. Скрипнула дверь, и старый мельник, в белой рубахе и портах, вышел с фонарем на помост. За ним, почесываясь и зевая, показался другой.

— Плотину, что ли, прорвало? — сказал он.

— Где прорвало,— слышь, в шлюзах шумит, не сломало ли затворы... Неладно, гляди... Ах, батюшки...

— Гляди-ка: ведь поднято.

— Что ты! Кому подымать?

Мужики подошли к шлюзам. Вскоре шум затих: они опустили оба затвора, и мельница смолкла. Огонь фонаря тихо прополз назад по плотине и опять исчез. И вдруг резко загремела трещотка. Один мужик, очевидно, остался караулить...

Необычный шум на мельнице, разносясь по полям, опять будил спящие деревни. Казалось даже удивительным, сколько их засело в этой темноте. С разных сторон, спереди, сзади, даже откуда-то снизу, они отвечали на тревогу стуком досок и трещоток. Из дальнего села или с погоста опять несся медленный звон. Невдалеке крикнула какая-то ночная птица.

— Пойдем,— сказал Андрей Иванович, когда около мельницы все стихло...— Вот из-за одного подлеца сколько тревоги народу.

— Что это случилось? — спросил я.

— Спросите вот у него,— со злостью сказал сапожник, указывая на Ивана Ивановича.

— Что же-с,— грустно ответил странник.— Конечно, озорство... Я этого не похвалю...

— Да в чем дело? Где Автономов?

— Вот он — по-птичьи кричит, признак нам подает... Сюда, дескать, идите, милые мои товарищи... И как он, подлец, шлюзу успел открыть,— я и не заметил. А вы тоже!.. Идете за ним да спите. Поспали бы еще... Выскочили бы мужики раньше,— были бы у праздника. Н-ну! Догоню подлеца, уж вы и не заступайтесь. Наизнанку каналью выверну, ноги через глотку продену!..

И он решительно двинулся вперед.

VII

Однако Андрей Иванович не привел в исполнение своих свирепых намерений, и через полчаса мы опять молча шагали по дороге... Солнце еще не всходило, но белые молочные тоны все больше просачивались сверху, сквозь облака, а внизу под нашими ногами на далекое расстояние волновался беловатый туман, покрывший обширную равнину. Из этого тумана вынырнула лошадиная морда, потом обозначилась телега с мешками, на которых спал мужик, и за ней другая, порожняя.

— Дядя, а дядя...— сказал Андрей Иванович заднему мужику,— не подвезешь ли нас?

Мужик протер заспанные глаза и с удивлением оглядывал обступившую его компанию.

— Откеда бог несет?

— С богомолья.

— Ну, ну. Садитесь,— да ведь недалече подвезу я, мы ближние.

— Не с мельницы ли?

— Они вот были на мельнице, а я, вишь, порожнем. Садитесь, что ли.

Мы уселись по сторонам телеги, свесив ноги.

— А дозвольте спросить,— сказал наш возница, нахлестав лошаденку,— вы всю ночь, что ли, идете?

— Всю ночь.

— Ничего не слыхали ночью?

— Собаки что-то лаяли, да только далеко. А что?

— Так! На мельнице, слышь, затворы ночью подняло. Колеса чуть не поломало вовсе.

— Кто поднял?

— Понимай! Кто ночью-то у омутов озорует?.. У нас в деревнюшке по суседству, сказывают, на ночлег просился. Мужик выглянул, а *он* и говорит: шишига я, пусти.

— Бывает,— сказал Автономов, давно сбросивший свои украшения...

— Никогда этого не бывает... Не поверю ни в жизнь... И тебе не приказываю верить,— горячо и решительно сказал мужику Андрей Иванович,— обманывают вас, деревенских, прохвосты разные... Простота ваша...

— Бывают, которые и в бога и во святых не верют,— сказал Автономов в высшей степени поучительно и хладнокровно.

Андрей Иванович скрипнул зубами и незаметно для мужика показал Автономову кулак...

VIII

Около полудня на такой же случайно встреченной под самым городом мужицкой телеге мы подъехали к моей квартире. Телега остановилась у ворот. Наша живописная компания обратила внимание нескольких прохожих, что, видимо, стесняло Андрея Ивановича... Я пригласил своих товарищей отдохнуть у меня и напиться чаю.

— Спасибо, до дому недалече,— холодно ответил сапожник, вскидывая за плечо котомку, и потом спросил бесцеремонно, ткнув пальцем по направлению Автономова: — И этого тоже зовете?

— Да, прошу и Геннадия Сергеевича,— ответил я.

Андрей Иванович круто повернулся и, не прощаясь, зашагал по улице.

Иван Иванович имел отчаянно испуганный вид, точно мое приглашение захлопнуло его, как западня птицу. Он смотрел умоляющим взглядом на Автономова, и стыд собственного существования мучительно сказывался во всей фигуре. Автономов спросил просто:

— Куда идти-то?..

Пока ставили самовар, я попросил домашних собрать сколько было лишней одежды и белья и предложил моим спутникам переодеться. Автономов легко согласился, свернул все в один узел и сказал:

— Потому надо в баню...

Я, разумеется, не возражал. Из бани оба странника вернулись преображенными. Иван Иванович в слишком широком пиджаке и слишком длинных брюках, со своими жидкими косицами, удивительно походил на переодетую женщину. Что касается Автономова, то он не удовольствовался необходимым количеством одежды, а надел все, что было предложено для выбора. Таким образом на нем оказалась синяя косоворотка, блуза, два жилета и пиджак. Косоворотка виднелась над воротом блузы и внизу,

так как она была длиннее. Над нею выступали края блузы, а пиджак составлял как бы третий ярус... За чайным столом Иван Иванович страдал до такой степени, что из жалости мы разрешили ему удалиться со своей чашкой в кухню, где он уселся в уголку и немедленно приобрел жалостные симпатии нашей кухарки. Автономов держался развязно, называл мою мать синьорой и схватывался с места при всяком случае, чтобы чем-нибудь услужить...

После чаю он самодовольно огляделся с ног до головы в зеркало и сказал:

— В эдаком костюме зять мною не пренебрежет... Пойду навестить сестру... Она тут живет недалечко. Котомочку позвольте, синьора, оставить у вас в передней.

Когда он шел через двор к воротам, за ним испуганно выбежал Иван Иванович. После короткого разговора Автономов позволил бедняге следовать за ним на некотором расстоянии.

Через короткое время Иван Иванович вернулся один... Птичье лицо его сияло изумлением и восторгом.

— Приняли-с,— сказал он, радостно захлебываясь.— Истинная правда-с. Действительно-с... сестра, настоящая. И зять... Может, угодно вам самим пройти, будто ненарочно... Сами увидите-с... Истинный бог: в палисадничке сидят... Угощают... по-родственному. Сестра плачет от радости...

И из груди маленького странника понеслись странные звуки, похожие и на истерический смех и на плач.

Через час явился и Автономов, преображенный и торжественный. Подойдя ко мне, он горячо схватил мою руку и до боли сжал ее...

— Через вас я приобрел опять родных... Кажется... то есть вот! До гроба...

Он еще крепче сжал мою руку, потом судорожно отбросил ее и отвернулся. Оказалось, что, поверив преображению Автономова, зять, человек не без влияния в консистории, решил похлопотать о нем. Оставалось только добыть из Углича какие-то бумаги и...

— И сюда, обратно! Кончено странствие, синьор... И тебя, Ваня, не оставлю... Получишь у меня угол и пищу... Живи... Я в должность... Ты уберешь квартиру, то... другое...

Я слушал эти разговоры, и невольное сомнение закрадывалось в душу, тем более что Автономов опять вернулся к высокопарному стилю и все чаще употреблял слово синьор.

Перед вечером оба ушли «в Углич, за бумагами». Автономов дал торжественное обещание явиться через неделю «для начатия новой жизни»...

«Неужто для этого «чуда» нужно было так немного?» — с большим сомнением думал я...

IX

Погода круто изменилась... Чудесная ранняя весна, казалось, сменилась вдруг поздней холодной осенью... Дождь лил целые дни, и ветер метался среди ливня и туманов.

В одно такое холодное утро, проснувшись довольно поздно и стараясь сообразить время, я услышал легкую возню и странный писк в сенях у дверей. Открыв их, я увидел в темном углу что-то живое. Увы! это был Иван Иванович. Он весь издрог, посинел и смотрел на меня умоляющими, робкими глазами. Так смотрит только запуганное и близкое к гибели животное.

— Слабость опять? — спросил я кратко.

— Слабость,— ответил он покорно и кротко, стараясь запахнуться. На нем была опять невозможная хламида, голова была не покрыта, а на ногах лапти на босу ногу...

Вскоре явился и Автономов. Он был пьян и неприятно развязен. Говорил изысканными высокопарными оборотами, держался, как давний приятель, и по временам в воспоминания о наших похождениях вставлял пикантные намеки относительно некоей солдатки... В глазах проступало злое страдание, по которому я опять узнавал оратора монастырского двора, и готовность на злые дерзости. О визите к сестре не было и речи...

— Послушай... Любезная...— обратился он к прислуге...— Тот раз я тут у вас оставил хламидку... Хламидка еще годится... Несчастлив ваш подарок,— прибавил он, нагло глядя на меня...— Под Угличем ограбили нас... все как есть сняли. А валенками вас, видно,

надул торговец... Кислый товар, кислый... все развалились...

И он снисходительно потрепал меня по плечу...

Иван Иванович с жалобной укоризной смотрел на своего покровителя. Расстались мы довольно холодно и только на Ивана Ивановича все у нас смотрели с искренним сочувствием и жалостью...

После этого от времени до времени я получал известия о своих случайных спутниках. Приносили их по большей части люди в хламидах и подрясниках и с более или менее явственными признаками «слабости», передавали поклоны или записки и, получив малую мзду, выражали разочарование. Однажды во время ярмарки ввалился субъект, совершенно пьяный, очень зловещего вида, который подал записку с такой таинственной фамильярностью, точно она была от нашего общего друга и сообщника.

В записке было нацарапано очень нетвердым и неровным почерком:

«Милый друг. Прими сего подателя, яко меня лично. Он наш и может тебе все рассказать, а между прочим помоги деньгами и одежей. Наипаче бедствует брюками... Геннадий Автономов».

Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что посланный действительно брюками бедствовал очень сильно... Но, несмотря на опьянение, глаза его быстро и пытливо, очевидно, по профессиональной привычке, изучали обстановку моей квартиры...

При удалении его произошел некоторый неприятный шум, и пришлось прибегнуть к помощи добрых соседей...

X

Года через два я опять встретил моих бывших спутников.

В жаркий летний день я переехал на пароме через Волгу, и пара лошадей потащила нас береговыми песками к въезду на гору. Солнце садилось, но было еще невыносимо жарко. Казалось, даже от сверкающей реки неслись целые волны зноя. Оводы тучей носились над лошадьми, колокольчик бился неровно, колеса шуршали

в глубоком песке... Сверху, в полугоре, окруженный зеленью монастырь глядел на реку из-за реющего тумана и казался парящим в воздухе.

Вдруг ямщик остановил у самого подъема усталую тройку и побежал по берегу. В четверти версты от нас, на обрезе, усеянном галькой и камнями, грузно чернела, прямо на солнцепеке, группа людей.

— Происшествие какое-нибудь,— сказал мой товарищ.

Я вышел из телеги и пошел туда же.

На пустом берегу, в который лениво плескалась река, оказалось мертвое тело. Подойдя ближе, я узнал в нем моего знакомого: маленький странник лежал в своей ряске, грудью на песке, с раскинутыми руками и неестественно повернутой головой. Он был смертельно бледен, черные косицы слиплись на лбу и на висках, а рот полуоткрылся. Мне невольно вспомнилось это лицо, оживленное детским восторгом от пения пташки на холмике. Сам он, с своим длинным, заострившимся носом и раскрытым ртом, удивительно напоминал теперь замученную и раздавленную птицу.

Автономов сидел над ним, покачиваясь, и в его взгляде виднелся испуг. Явственный винный запах стоял в воздухе.

Окинув взглядом подошедших людей и не узнав меня, он вдруг затормошил лежащее тело.

— Вставай, товарищ, пора в путь... Участь странника — вечное странствование.

Он говорил опять напыщенным тоном и нетвердо поднялся...

— Не хочешь?.. Смотри, Ваня, брошу! Уйду один...

Староста, с медалью на груди, спешно подошедший к группе, положил ему руку на плечо.

— Погоди уходить... Протокол надо составить... Что за люди?..

Автономов с иронической покорностью снял свою мурмолку и отвесил поклон.

— Сделайте одолжение, ваше сельское превосходительство...

Сверху послышался удар колокола. В монастыре призывали к вечерней молитве. Удар прозвенел, всколых-

нул жаркий воздух, пронесся поверх кудрявых верхушек дубов и осокорей, лепившихся по склонам, и, замирая уже, коснулся сонной реки. На мгновение звук опять окреп, ложась на воду, и, казалось, чуткое ухо ловит его полет к другому берегу, к синеющим и подернутым мглою лугам.

Все сняли шапки. Только Автономов повернул голову на звон и погрозил кверху кулаком.

— Слышишь, Ваня,— сказал он,— зовет тебя отец-настоятель... Благодетель твой... Теперь, чай, примет...

Удар за ударом, густо и часто, звеня и колыхаясь, падал сверху на реку торжественно и спокойно...

1889



«ЗА ИКОНОЙ»



«ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ»

В пустынных местах

Из поездки по Ветлуге и Керженцу

I. ВЕТЛУГА

1

Часов в шесть утра пароход Зевеке причалил к своей пристани в Козьмодемьянске.

Три свистка последовали один за другим почти без промежутков; несколько человек сошли по трапу, и «Амазонка» красиво отошла от пристани. Оставив на реке широкий круг, она опять побежала вниз, унося спящих еще пассажиров. А я с двумя молодыми людьми, спутниками предпринятого мною путешествия, остался на пристани.

Козьмодемьянская лесная ярмарка кончалась вяло. Звенья плотов тянулись вдоль берега, у песков и под горами. И всюду стояла необычная тишина.

Небольшой пароходик, полубуксирного типа, слегка покачивался на чалках у соседней пристани. Это и был ветлужский пароход «Любимчик» [1], на котором нам предстояло подняться кверху по Ветлуге, впадающей в Волгу в семи верстах выше Козьмодемьянска.

— Скоро отчалит? — спрашиваю я на пристани.

---

[1] Собственные имена в этих очерках по большей части вымышленные.

— Через полчаса,— отвечает матрос с торопливой и подозрительной определенностью.

— Часа через четыре дай бог,— переводит этот ответ какой-то субъект, беспечно сидящий на барьере и сплевывающий в воду подсолнечные семечки.— Па-а-судина! — прибавляет он с выражением глубочайшего презрения...— Где вас повезет, а то,— так и сами пассажиры лямкой потащат.

Посудина покачивается от легкой зыби, все еще не улегшейся после грузного американского парохода. Что-то в ней скрипит, визжит и как будто охает. Я вхожу по трапу и сразу стукаюсь лбом в железный бимс, чем возбуждаю веселье в кучке матросов. От нечего делать они сидят на тюках товаров, болтают ногами и внимательно следят за тем, как каждый вновь приходящий неизменно стукается головой о железо.

— Где тут берут билеты?

— Ступай на ту сторону. Видишь,— стоит черненький мужчина в белом пинжаке,— сам хозяин, Никандр Иваныч.

— Никандр Иваныч, скоро отвалите?

— Через часик... Непременно.

— Мне бы вот в город сходить, часика на полтора .. Дело есть ..

— На полтора?

Он задумчиво смотрит на меня и потом говорит:

— Успеете.

— Да ведь вы через час уйдете?

— Идите с богом.

— Сколько стоят билеты второго класса до Воскресенского?

Он прищуривается и водит пальцем по расписанию на стене маленькой каюты. Я вижу, что в таблице стоит цена 1 р. 30 к. На пристани — печатная такса 1 р. 50 к.

— Рупь двадцать,— говорит он мне неожиданно.

— Вы не ошиблись? Ведь тут написано рубль тридцать.

— Для вас уважение... По рублю двадцати с троих.

— Поторговались бы,— негромко и отворачиваясь от меня, говорит грызущий семечки пассажир,— еще скостил бы копеек хоть тридцать.

— Когда же окончательно мы уйдем?

— Да они и сами не знают... Вишь, пары еще не разведёны... И не шуруют еще. Нагрудится народу более,— станут пары разводить.

Над трубой «Любимчика» еще не вьется даже дымок. В машинном отделении пусто. Мы спокойно отправляемся в город, раскинувшийся довольно широко, неоживленный и тихий. Лавки открыты, покупателей не видно. Проходят или сидят на улицах и на берегу партии бурлаков. Кой-где происходит ряда: подрядчики нанимают народ гнать плоты книзу.

— Семен Лексеич, а Семен Лексеич,— говорит здоровенный парень в красной запыленной рубахе, стоящий в беспечной позе на мостике.— Что ж ты меня обошел? Рядй, что ли... Чем я тебе не работник?..

Семен Алексеевич, юркий, подвижной, еще не отъевшийся мелкий подрядчик, оборачивается на зов, но тотчас же сплевывает...

— Даром не надо,— говорит он угрюмо...— Видали уж... Первый головорез по всему плесу,— говорит он, поворачиваясь доверчиво ко мне.— Всю артель, подлец, взбулгачит...

Бурлак смеется, скаля белые зубы, сверкающие на бронзовом, загорелом лице.

— Знаешь? — говорит он насмешливо.— Мы тоже знаем вашего брата. На пятак рублей ищете...

Возвратясь к берегу, мы застаем «Любимчика» отведенным от пристани. Два дюжих матроса тянут его корму за канат, точно за хвост, возбуждая этим вялое остроумие соскучившейся в ожидании публики. У пристани же стоит кашинский «Михаил», пыхтя отработанным паром.

Через час «Михаила» уже не видно за горами, а наш все так же покачивается, скрипит и охает.

— Скоро ли? — спрашиваем мы.

— Теперь, должно быть, петерсоновского парохода с Ветлуги дожидается.

— Это зачем?

— Конкуренцыя. Чтобы, значит, побольше народу обобрать, тому, петерсоновскому-то, поменьше останется.

— А тот тоже станет дожидаться, чтоб этому было поменьше?

— Ну-ну. Известное дело — конкуренцыя!

— Да вам,— подходит ко мне, как-то боком, все тот же грызущий семечки пассажир,— вам, ежели к спеху дело,— до завтра бы подождать.

— Это как же? К спеху и вдруг — подождать.

— Завтра петерсоновский «Николай» пойдет... А-а-ат-личнейший пароход.

— Да ведь завтра я буду уже в Воскресенском.

— Не будете,— говорит он зловеще.— «Николай» вас на дороге обгонит.

— Когда вы с ума сойдете — вот когда нас «Николай» обгонит,— резко обрывает его Никандр Иваныч, незаметно подошедший сзади.— «Николай»-то теперь еще у Варнавина, а у нас и свисток сейчас. Эй, подавай первый свисток... А вы — ежели ехать желаете, пожалуйте, берите билет... А то тут вам тереться, народ смущать, нечего. Шаромыжники вы, вот что!..

— Петерсоновский это.. Подосланный,— говорят между собой матросы.— Шею бы намять по-настоящему... Не отбивай потому что...

— Теперь скоро? — спрашиваю я.

— Как же не скоро,— когда уж и свисток дали.

— А на гору,— испытываю я опять,— сходить успею?

— На гору?.. На гору успеете. У нас ведь не как у других, что дадут три свистка, да и отчаливают. Мы еще после трех свистков тревожные подадим, чтобы наши пассажиры сходились.— И затем, помолчав, прибавляет: — Конечно, господин, по такой реке, такие и пароходы. А что у нашего ход не хуже, чем у «Николая», это я вам могу вполне утвердить...

Меня, впрочем, нисколько не пугают инсинуации тайного агента сопернической компании. Я никуда не тороплюсь. Я люблю проселочные дороги, тихо плетущуюся лошадку, наивный разговор ямщика под шум березок, захолустные, лесом поросшие речки. Еще с ранней юности остались у меня в памяти обрывки стихотворения какого-то неизвестного мне автора, который жаловался, что уже исчезла поэтическая езда на долгих... Теперь уже и по нашим дорогам:

...Летит французский дилижанец
По немецкому шоссе.

Ныне пробил уже и час дилижанса... Всюду бьет в уши свисток, грохочет машина,— и «немецкий дилижанец» тоже теряется позади, на пройденном пути, затягиваясь романтическим туманом прошлого... Все мы немного романтики... мы, русские, не менее, а быть может, и более других. Говорят, у нас нет прошлого!.. Так что же! Того, что от нас уходит, жаль еще более: туман еще таинственнее и гуще...

Как бы то ни было, мне, например, нравятся из железных дорог — узкоколейные, вроде Костромской, где кондуктора на полустанках бегают по лесу, собирая разбредшихся пассажиров, а из судоходных рек — такие, как Сухона, в которой по временам так и кажется, что пароход расплещет ее всю своими колесами, или милая красавица Ветлуга, с ее кудрявыми берегами и пароходиками, вроде «Любимчика». На остановках они тыкаются носом прямо в берег, точно сонная рыба, а в темные туманные ночи стоят и дремлют, зачалившись с кормы и носа за береговые ветви. Меня всегда тянет на уездные тракты и проселки, по которым так привольно, так мягко идти с котомочкой за спиной, или к мелким речкам с их тихой красой, с их лесами и неожиданностями. Но теперь, кроме этой общей, бескорыстной симпатии,— передо мной рисовалась и некоторая более определенная цель.

2

В дремучих лесах Семеновского уезда, по Керженцу и по другим лесным речкам тихо угасает старый «раскол», и доживают последние дни пустеющие древле-православные скиты. Разоренные умелой рукой литератора-чиновника П. И. Мельникова, который очень хорошо описывал их, но разрушал еще лучше,— они не имели уже силы возродиться в других местах и при других обстоятельствах. Ударил последний час скитской жизни. Бывали и прежде тяжелые времена. Описывали тогда мало, но разоряли гораздо основательнее: от скитов по временам оставались одни головешки, и, долго спустя по уходе никонианской силы, пробираясь по лесным тропкам, «верные» творили над пепелищами надгробное рыдание и отрывали под пеплом обугленные кости. И все-таки

те скиты не умирали, а возрождались вновь, унося в глубь лесов, в тихие пустыни новую страницу о благолепной смерти еже за веру скитских отцов и матерей. Кто-нибудь из уцелевших сооружал дальнюю келейку, около безмолвного «езера», «гору точию сожительницу и ручей соседа избравше». Проходили годы — и пустынное «езеро» оглашалось унылыми и скорбными напевами, а гора покрывалась кельями нового скита.

Не такова судьба семеновских скитов после мельниковского нашествия. Разоренные, так сказать, на самой заре русского обновления, в такое время, когда общее гонение «за веру», видимо, должно было потерять свою силу, они не имели уже опоры в общих условиях. Слабело гонение, слабела и ревность противления. Скитские здания стоят и до сих пор; но большинство скитниц разбрелись, повышли замуж, потонули «в миру», и только немногие ветхие старицы доживают последние дни среди запустения.

— Да что... ребятишков много подкидывали,— сказал мне как-то один из соседей бывших скитов на вопрос о том, жалеют ли они о прошлом...— Известно уж — в монастырях-те всего бывает...— И он равнодушно хлестнул свою лошаденку...

Тем не менее очень вероятно и даже наверное — есть не мало людей, с озлоблением и горечью вспоминающих о «разорении» скитов. Сами старицы уже сложили песни, в которых звучит трогательная тоска о невозвратимом прошлом.

У нас были здесь моленны, они подобны были раю...
У нас звон был удивленный, удивленный звон подобен грому...
В рощах птицы распевали, соловьи нас утешали...
О, прекрасный ты наш раю, прелюбезный драгой скит,
Нам в тебе уж не живати, святые службы не стояти.
Тихие радости не видати...[1]

Так вот мне и захотелось посетить эти тихие лесные пустыни, где над светлым озером дремлет мечта народа о взыскуемом невидимом граде, где вьется в дремучих лесах темный Керженец, с умершими и умирающими скитами...

---

[1] Записано А. С. Гациским со слов одной старицы в Семеновском уезде.

3

Наконец, часа в два, в самый жар, когда даже река, казалось, изнемогала и томилась под палящими лучами июльского солнца, наш «Любимчик» отчалил от пристани и тихо двинулся против течения Волги.

Верстах в семи, у Покровского, поворот в устье Ветлуги. «Любимчик» долго шлепает колесами и бьется на быстрине под яром, и по временам кажется, что вот-вот быстрое течение унесет его обратно в Волгу; но он все-таки справляется, выходит на ровный стрежень Ветлуги, и Козьмодемьянск, на Волжских горах, выплывает из-за синеватого тумана далеко справа, то скрываясь, то исчезая, по мере того как мы вьемся по «кривулям» Ветлуги.

Население нашего пароходика демократично. Первый класс почти совершенно пуст. По временам только из него появляется какой-то господин в синей сибирке тонкого сукна, в шелковой косоворотке и лакированных сапогах, с очками на носу. В каюте его угнетает почетное одиночество, но на палубе он напряженно ищет подходящей компании. Во втором классе заняты все места: кроме меня и двух моих племянников, здесь едут все мелкие лесные торговцы, и разговоры идут о неудавшемся сплаве и плохой лесной ярмарке:

— Ну что, как растоварились?

— Ничего! Осталось еще тысяч на пять. Так полагаю, что у меня разовьется. А у вас?

— Плохо.

«Разовьется» — это картинное выражение означает, что плоты, стоящие теперь на песках у Козьмодемьянска, будут куплены, и по сотне, по две бревен разойдутся по течению реки.

Вся эта публика очень быстро знакомится друг с другом. В жителях Приветлужья вообще очень много добродушия, и даже в этих лесных хищниках, не кладущих охулки на руку, я замечаю какую-то особенную, специфическую складку в лице, какую-то вялую мягкость и добродушие. Эту особенную складку я вижу и у старика торговца, с первых же слов предлагающего мне отведать его рыбы, и у его сына, и у молодого дьякона, едущего с женой в один из приходов по верхнему течению Ветлу-

ги, и у красавицы в голубой косынке и шитой узорами сорочке. Она пьет чай в компании с однодеревенцами-бурлаками и с добродушной улыбкой на красивых, полных губах отражает их простодушные и не особенно тонкие любезности.

Наверху, впереди расположилась партия бурлаков. Этим общим названием обозначают теперь плотовщиков, которые в течение всей навигации снуют взад и вперед, как тучи насекомых, вылетая из боковых речек — Унжи, Керженца, Ветлуги, Мологи — на своих плотах и затем подымаясь кверху для нового сплава. Нет на Волге людей, которых бы так много ругали и которые бы так много отругивались сами, как эти плотовщики. Ругают их капитаны в рупор, когда они загораживают плотами стрежень, ругают кассиры на обратной путине, на пристанях, где они торгуются самым невозможным образом, с божбой, с молениями, с проклятиями за каждую копейку; ругают на пароходах, куда их принимают, после торга — чохом, артелями и тычут куда попало, между товаром. Вообще бурлак — это наиболее многочисленное, более всех отягченное трудом и наименее ценимое детище, пасынок матушки-Волги.

Здесь, на родной Ветлуге, на своем собственном ветлужском пароходе, они чувствуют себя хозяевами. К «Любимчику» они относятся с насмешливым пренебрежением и нередко дают с своего места наставления команде.

— Не туды держишь... Вороти к яру.

— Эхма! За чужую заедешь...

— Не ваше дело там, молчать! — кричит капитан из отставных солдат, а сам тихо обращается к лоцману: — В сам-деле, вороти правей. Ай не видишь?

«Заехать за чужую» — это значит зайти в рукав вместо главного русла. Ничего не может быть позорнее для команды! С нашим «Любимчиком» — увы! — это случалось раза два,— и оба раза он конфузливо выбирался «из-за чужой» под градом острот своих пассажиров и с берега.

— Эй, капитан! — кричит широкоплечий бурлак-ветлугай,— у тебя, гли-ко-ся, там скрипит что-то в машине. Ожалось чего-нибудь.

— Учи! Плоше тебя, что ли!

— Да ведь скрипит, ровно не слажена соха.

Пароход действительно скрипит, как простуженный.

— Ты вон в телеге едешь, и то, небось, скрипит,— возражает капитан.

— В телеге? — хохочут бурлаки.— Да мы бы, твое степенство, в телеге бы теперь где уже были...

Капитан все-таки посылает в машину, и через некоторое время «Любимчик» подходит к яру, пассажиры выходят по доскам на берег, а команда облепляет со всех сторон бока, руль, крылья парохода, где-то стуча молотками, что-то прилаживая.

Трогаемся опять...

Солнце садится, река начинает темнеть, и «кривули» плавно, одна за другой, убегают назад. На нижней палубе спят, где кто сумел устроиться; у нас во втором классе — невыносимая жара, так как к нам идет весь жар от машины. Женщин у нас нет, и потому лесные торговцы, тяжело дыша, с раскрытыми ртами, спят почти без одежды.

Я выхожу на верхнюю палубу.

Тихий вечер бежит над Ветлугой. Приятно обдает прохлада. Звезды мерцают в легком тумане, луна чуть-чуть вырезывается тоненьким серпом над тучей, которая тяжело подымается из-за лесов. Каждый день где-нибудь служат молебны над иссыхающими от жары полями, и каждый вечер встает на безлунном небе такая же туча и стоит на нем обманчивым призраком; наутро она исчезает, не оставляя даже росы на траве. Сегодня она тяжелее; легкий туман чувствуется в воздухе; где-то горят леса, и дымная пелена, весь день клубившаяся на горизонте, стелется по небу, как бы отяжелев от сырости. Есть что-то раздражающее в этих намеках на дожди среди томительного удушья.

На передней мачте нашего парохода меланхолически вздрагивает на ходу фонарик. С берегов, сквозь пыхтение машины, доносятся временами то шелест леса под внезапными порывами ветра, то плеск осыпающегося яра, то ночные голоса птиц.

В передней части под фонарем не спит артель бурлаков. По временам вспыхивают «цигарки», слышится какой-то ровный голос, прерываемый замечаниями и смехом. Я подхожу туда.

— Можно к вам присесть?

— Садись, твое степенство, садись с бурлаками. Ничего. Не спится тебе?

— И вам вот тоже не спится.

— Наше дело такое. До Юркина нам спать нельзя. Нанимать хочет капитан — дровишки погрузить. Вот мы тут и балакаем покамест...

— Сказки у нас тут один сказывает... Ну, и мастер!..

— Начинай новую, Ефрем. Да, вишь, купец послухат... Ты уж того... получше какую... Не смеховую...

Ефрем, немолодой мужик с верховьев Ветлуги, с выдавшимися скулами, вздернутым носом и смешно торчащей бородкой, задумывается и начинает:

— Не в которым царстве, не в которым государстве, а именно в том, в котором мы живем... Ох-хо-о... И дожились, грешные, до того, что нет у нас ничего...

Раскат здорового смеха выносится на реку и отдается от дремлющей стены берегового леса... Среди этого хора особенно выдается здоровенный бас какого-то оборванного человека, в старом городском картузе и полосатых, слишком узких брюках. На обоих коленках от бесчисленного множества заплат, пришивавшихся неумелыми, заскорузлыми руками, образовалось как будто по букету, и они странно выступают в полутьме. Голос у него сиплый, но необыкновенно гулкий. Даже бурлаки выражают удивление.

— Ну, и рявкнул,— говорит один из них,— даже по лесу пошло.

— Волк и есть,— говорит другой.

Я с любопытством взглядываю на обладателя затейных брюк и необыкновенного органа. Я слышал, что нижегородские статистики, работая в Семеновском уезде, где население преимущественно кормится лесными промыслами, открыли особый род занятий, называемый «волчьим». «Волк» — это человек, не имеющий ни хозяйства, ни постоянного ремесла... Зимой он перебивается в городе по ночлежным домам... С весной, когда вскроются реки, солнце отогреет землю и леса оденутся листвой,— волка потянет за Волгу, в леса. Здесь ему не с чем взяться за настоящую самостоятельную работу, а из чужих рук мешает и гордость, и привычка к дикой независимости. И вот он путается по родным лесам, охотит-

ся, или ловит рыбу, или просто хищничает по мелочи, где может.

— Какой я вам волк,— обижается субъект с букетами на коленках. И, обратясь ко мне доверчивым тоном городского жителя к сотоварищу, он пояснил: — Я, господин,— временно... Собственно для заработку... В артель вкупиться...

— В «золотую-те роту»...— насмешливо вставил один из бурлаков.— Ну, Ефрем, сказывай, а ты... Нечего тут.

— ...Значит... не в которым царстве,— подхватил опять сказочник,— жил был старик со старухой... Да и то же самое, как мы, ветлугаи, дожились до того, что ни хлеба, ни водочки, ни табаку... Потому, видишь ты, старик был охотничек, а у охотников, дело известное, что у киловязов да у коновалов, иной раз и поись нечего.

— Верно и это...

— Ну, хорошо... Говорит старику старуха. «Возьми, бат, ружьишко,— не устрелишь ли чего. Хлеба ни крохи, так хошь дичинкой полакомитьця...» Взял старик ружьишко, пошел с ружьишком в лес... Долго ли, коротко ли шел,— глядь пòтка (птица) порхает по кусту. Так потка небольшенькая, а пером необычная. Прицелился старичок, а она ему и говорит голосом: «Не убей ты меня, старичок, а лучше, говорит, возьми живую...» Послушался он. Ружьишко поставил к стволу,— к ней... А она от него... Он опять за ней, она от него... Ну, все-таки — поймал... Принес старухе... Потка принесла им яичко...

С появлением на свет этого яичка — сказка теряет всякую связь с действительностью. Ефрем оживляется .. Он сидит на какой-то снасти, над лежащими кругом слушателями и как-то странно разводит руками, точно делает заклинания. Лицо его разглядеть трудно — его закрывает тень от шляпенки... Но голос у него глубокий, грудной и гибкий... Речь льется плавно, готовыми складными оборотами... Он всецело владеет вниманием слушателей и развертывает перед ними ряд сказочно-утешительных событий. Пароход идет мимо спящих лесов, и кажется, что это оттуда, от шепчущей темно-зеленой стены, кто-то подсказывает Ефрему его фантазии. Разумеется, старик уже превратился в такого молодца, что ни в сказке сказать, ни пером описать... Чудная птица на-

делила его ценным свойством: «плюнет — серебро, харкнет — золото...» Баба как-то незаметно, за очевидной ненадобностью,— выпадает из рассказа... Вахлак женится на царской дочери, но и с ней тоже не очень церемонится. Собирается он навестить в деревне своего брата... Царь-тестюшка приказывает запречь золотую карету. «Не надо,— говорит,— пешком пойду! Жена, проводи меня за околицу!» Царевна не смеет ослушаться и покорно следует за мужем. Вышли за околицу... Вахлак хлопнул ее по бедру, сказал слово... И стала из царевны... кобыла.

Радостный смех опять отдается от берега, покрывая ленивое шлепанье парохода... Ефрем очевидно импровизирует и в готовые сказочные формы вливает собственное содержание... Слушатели восхищены тем, что царская дочь везет вахлака... И может быть, один я думаю о судьбе царской дочери: бедная царевна, бедная суженая героя народной сказки... Не сладко, должно быть, утешать удачливого вахлака Иванушку...

Сказка кончена, Иванушки падают опять на землю. Опять болят намозоленные руки, опять ноют намученные спины... А пароход все пыхтит, изворачиваясь на «кривулях» и будя странные отголоски... Лес подымается все выше, темнее, таинственнее... Артель смолкает, лица бурлаков задумчиво поворачиваются к берегам; темная струя, разбегаясь, уносит на своем гребне отблески фонаря, привешенного над самой водой...

Вдруг по лесу, заглушая шум пароходных колес, разносится громкий плеск и отдается в далеких изгибах. В нем замирает какой-то стон, от которого невольно сжимается сердце Звук повторяется еще где-то вдоль темных берегов с неясными чащами...

— Что это? — спрашиваю я с невольной тревогой...

— Обвалье [1] с яру свалилось,— говорит Ефрем.

— А что стонет?

— Нет... Какой стон?.. Чай, никого не было.

— Нет, верно,— подхватывают другие.— Вскричал кто-то.

— Кому быть .. Чай, птица... Может спужалась...

---

[1] Обвалье — деревья на берегу с подмытыми водой корнями.

— Да, птица, как же,— таинственно говорит субъект с букетами на коленках.

— Нет, верно птиця,— испугало ее,— подтверждает Ефрем.— Кому боле быть?

— Как кому?.. Сам знаешь, кто в лесу бывает.

На минуту водворяется молчание.

— А видали вы когда-нибудь?..— спрашиваю я.

— Нет, не видали, где его увидишь? — говорят бурлаки сдержанно.

— Я голос слышал,— говорит Семен, мужик лет под пятьдесят, грустно сидящий на скамье, свесив голову с черными, как смоль, волосами. Он гонял в Козьмодемьянск собственные плоты, которые рубил и сплачивал из половины с лесоторговцем. Ему не повезло. Плот из четырехсот бревен он продал по рублю за бревно; из-за этих двухсот рублей он работал всю зиму, вчетвером, на трех лошадях; теперь, расплатившись с рабочими-сплавщиками и отдав хозяину задаток, да еще лишку («за то, что вода живая и делянка недалече») — возвращался домой ни с чем... А дома — неизвестно, что ждет его. Всходы были хороши, да дождей нет долго. Если хлеб не уродится, «все станут сбирать, да подавать-то будет некому». Поэтому он сидел все время задумчивый и грустный, плохо слушал сказки Ефрема и теперь в первый раз еще принял участие в общем разговоре.

— Да, слыхал голос... В молодых моих летах. В ту пору женился я как раз, по двадцатому году, и поехали мы в лес бревна рубить, жили в лесу семь недель. И пала, братцы, на меня скука об Марье моей, большая скука на меня пала... Даже, что есть, ночи не спал. Вот раз мечусь этак в шалашике и говорю себе: хоть бы леший какой весточку принес.

— Т-с, ай-а-ай,—неодобрительно отозвался Ефрем.— Бедко это, что не в час такое слово сказать.

— То-то бедко. Сказывают, в шесть недель дадено *ему* две минуты. Кто в две те минуты зачем его позовет,— он тут как тут...

— Тут уж его воля ..

— Верно. У нас на деревне мать дитё прокляла,— сливки он у нее слизал: «Леший, бает, тебя унеси». Ну, и сказала, видно, в лихой час. Он его сейчас живым делом и цапнул, да в речушке и утопил.

— То-то вот, видишь, како дело.. Сказал я это слово и заснул. Много ли спал — не знаю, только прокинулся — слышу кличет кто-то по лесу. Кличет и кличет, и голос ровно бы Алексея-шабра... Пожня тут у него была недалече. Сейчас я на ноги поднялся, чижолко (зипун) накинул на плечи, айда в лес, за ним. Отошел в чащу гон [1], отошел другой,— все кличет, да все дальше, а ближе нету. Как прислушаюсь я,— так у меня волосики дыбком и стали. Гонов с пять уже отошел, а дело было эк же, как вот теперь, темно, да мугло́нно, да еще и дождик по листу шебаршит. И кличет звонко, а голосу настоящего, слов, стало быть, и нету; только ау-у́, ау-о, да го-го-го. Понял я тут, кто меня кличет, сел на землю, дрожу, зуб на зуб не попадает... А он как пойдет круг меня — да выть, да закликать, да с разных тебе сторон, да на разны тебе голоса: то батька кличет, то старуха, то опять молодая моя, Марьюшка, разливается, зовет. А я сижу на земле, зубом стучу да молитву творю. Как только и жив остался!

— А я так и видал,— подымается с места какой-то бурлак, лицо которого мне не видно...— Осене-сь лес мы рубили да вывозили и остались однова́дни у шалаша с Ефимкой — удалая головушка, парень бедовой. И взмыла тут, братцы, туча, пошел дождь, да и дождь, слышь, бойкой, да крупной, нас, что есть, в шалашике вымочило до ниточки. Прошла эта туча,— только послышим — идет кто-то по лесу, песни играет... Да звонко! Издаля́ слышно. Что, мол, такое за человек это? И выходит тут к нам незнакомой молодец: одет чисто, рубаха бела, уздечка накрест перепоясана. «Не видали, бает, ребята, воронова коня? Больно, бает, коня жалко, конь — как огонь. Кто бы со мной пошел того коня розыскать?!.» Ефимко у меня прыткой живет... Вскочил было идти, да я его за руку цап... «Нет, мол, добрый молодец, не рука нам с тобой идти. Ступай себе». Ушел он, а я Ефимке и баю: «Не видишь, с кем идти было похотел? Погляди: на нас рубахи-те мокрехоньки, даром что в шалашике сидели, а на нем капельки не кануто, весь сухой. Это что значит?» — Верно! — говорит Ефимко,— а мне, мол, и ни к чему...

[1] Гон — особая мера, равная, по объяснению бурлаков, двадцати семи саженям.

Ах ты, нечистая сила!.. Дай-ко, говорит, я его между плеч из оружья шарахну...

— Бесстрашной...

— Только стал он оружьё крестить, как тот парень из глаз пропал... Песни слышно,— самого не видать...

— Страсти какие... Я бы, кажись, тут бы и помер,— говорит из-за мачты молодой, почти ребячий голос.

— Да, лесное дело, известно... не на селе...

— Неужели,— спрашиваю я,— так вот Ефимко и выпалил бы, если бы не замешкался?

— Ефимко-то?.. Выпалил бы...

— Да чего на него глядеть?.. Дело видимое...

— Рубашка-то... она ведь указывает...

— Дело ясное...

Пароход приближается к крутому яру и идет вдоль темного бора... Бор стоит весь в тени... В нем ходят таинственные шорохи, и кажется, что где-то в чаще идет другой пароход и также часто шлепает колесами. И оба парохода — и наш и чужой — точно притаились и чутко сторожат друг друга.

4

Свисток, за ним другой вспугивают молчание ночи, и кажется, что от этого звука, такого заурядного на Волге, здесь вздрагивают даже берега.

Пароход делает легкий поворот, и на нас надвигается крутой яр левого берега. Над обрезом этого яра виднеется клок неба, еще не поглощенный разрастающейся тучей. На проплывающем облачке угасают последние, слабые отблески. Какие-то темные фигуры фантастически рисуются в вышине над косогором.

— Это черемисское Юркино. Пароход будет грузить дрова, а фигуры на берегу — черемиски из деревни, пришедшие по свистку с носилками для грузки. Таким образом услуги артели оказались излишними. На верхней и на нижней палубе слышно угрюмое ворчание бурлаков, которых напрасно поманили заработком.

Оказывается, еще не поздно. В деревне огни, хотя на реке казалось, что уже глубокая полночь. Небо все затянуло. Туча густеет, вдали неясно гудит гром, и над леса-

ми слабо вспыхивают бледные молнии. В воздухе чувствуется какое-то напряжение... Над обрывом курится огонек, и едкий дым сползает на реку.

Матросы нашего «Любимчика» большею частью пьяны... Некоторые пассажиры второго класса — тоже. Точно шмели, высыпавшие из гнезда, они мгновенно окружают черемисок, сидящих над обрывом плотною кучкой, очевидно приготовившейся дружно встретить всякий натиск. При слабом освещении пароходных огней мелькают молодые миловидные лица; голоса раздаются в полутьме мелодично и звонко. Одеты они в расшитые пестрыми узорами короткие рубахи и белые штаны. Нога выше колен обернута черным сукном, перевязанным белыми оборками...

— Что мало вас вышло, портошная команда?

— Эй, не видали ли собачку: сама бела, лапки черны?

— А, да вот она,— держи!

Визг, хохот, грубые заигрывания... Девки крепко отругиваются. Порой шлепают гулкие удары. За ними взрывы хохота На берег сходит тоже изрядно выпивший капитан, рядится с черемисками, и они принимаются таскать тяжелые носилки по крутой песчаной тропинке и узким дрожащим мосткам над водой . Пьяные озорники, пользуясь тем, что руки у девушек заняты, мешают им... Одна носильщица делает невольное движение. . Дрова с грохотом валятся вниз... Капитан появляется на кубрике и обстреливает весь берег такой отборной и громкой руганью, что матросы оставляют черемисок в покое... Зато на берегу завязывается драка. . Двое полупьяных боролись на песке...

— Не бери в перелом...— хрипит один.— В перелом не бери...

— А как тебя брать?

— Бери за гашник...

— Я беру, как хочу... Ты бери, как знаешь...

— Бери за гашник, свол-лочь... А то живого не оставлю...

— Да я тебя сам, как сухую воблу...

Взлетает рука, и вдруг уже не шуточный, а настоящий богатырский удар пронизывает воздух... Два тела спле-

таются, падают на песок и начинают кататься по земле. . К ним наваливаются другие... Клубок растет... Где-то далеко за лесом, как сердитая собака, ворчит гром... Есть что-то раздражающее в этом чадящем над яром огне, в этих взвизгиваньях обижаемых девушек, в ворчании грома и в зарницах, смутно освещающих даль лесных вершин... Кроме того, и вообще в эти знойные дни, среди напряженного ожидания дождя — в воздухе носится какое-то электричество... Бурлаки угрюмы и враждебно смотрят на беспечное и наглое озорство пьяной команды...

Вдруг, точно искра от пожара, свалка вспыхивает на пароходе... Молодой буфетный служащий заспорил с пассажиром... Друг у друга вырывали какие-то узлы... Дело происходило под навесом на нижней палубе, где было темно и тесно. Оказалось, на несчастие, что как-то бурлак улегся под лавкой, беспечно выставив из-под нее победную головушку. Среди возни и спора кто-то наступил ему сапогом на физиономию... Бурлак поднялся, разъяренный, окровавленный, страшный, дико поводя глазами. Через минуту из-под тента, слабо освещенного огарком, несся взволнованный гул...

— Человека испортили... Какое полное право!..

— А он пошто лежит на дороге!..

— Место давай!.. Где у вас места!.. Деньги плочены...

— Палубу всеё загрузили!..

— Люди вам, как скотина...

Кто-то потушил фонарик под тентом. Стало совсем темно, только отблески чадящего костра пробегали по спутанной массе взволнованных пассажиров...

— В воду побросам,— гремел чей-то зычный голос.— В воду их, ребята... Что на их глядеть, на пьяных чертей...

— Капитана сюда... Капитан! Огонь зажигай!..

— Чтобы сейчас... Сей минут огонь был!. — вырывается чей-то неистовый, визжащий голос...— Огонь . Огонь подавай... Ог-гонь...

— Капитана сюда!.. Огонь зажигай, капитан!

— Без огня не будем быть!..

— Не имем без огня сидеть! Посудину вашу по щепам разнесем!

— Э-о-о-й.. у-у-у!..

Под навесом настоящая буря: дикие крики, ругательства, вой — кажется, что все это закончится невозможной дикой свалкой...

— Я, я, капитан,— слышится торопливый голос.— Что такое?.. Почему бунтуете, господа пассажиры?.. Поштенные, не бунтуйте...

Капитан, по-видимому, протрезвился и энергично врезывается в толпу. Голос у него грубый, решительный, заметный в многоголосом смешанном реве...

— Что такое?.. Огонь?.. Кто смеет гасить огонь?.. Сейчас, господа... Сей секунт... Я сам, сам зажигаю огонь... Стой, расступись! Давай дорогу... Я сейчас... Вот... Я сам зажигаю...— заканчивает он торжественно.

Вспыхивает слабый огонек серной спички, прикрываемой ладонью от ветра. Сера загорается, начинает кипеть и потрескивать, синеватое пламя колеблется, и общее участие привлекает на себя судьба этого огонька... разгорится он или погаснет? Огонек разгорается, освещая загорелое лицо священнодействующего капитана и лица ближайших «бунтовщиков», на которых теперь видно лишь участливое любопытство. Еще несколько секунд — и все с такой же торжественностью капитан зажигает фонарь.

— Вот,— говорит он толпе.

— И ладно, молодчина капитан...

— То-то!.. А то бы мы...

Толпа смиряется так же быстро, как вспыхнула. Последняя причина ее неудовольствия закрыла собой все остальное; причина эта устранена — и толпа довольна, как будто все дело было именно в этом сальном огарке. Только бурлак с окровавленной и вспухшей губой долго еще суется в тесноте, с печальным недоумением спрашивая, кто же ответит за это безобразие и на каком основании он потерпел безвинно. Но теперь его несчастие вызывает лишь более или менее остроумные замечания.

Часа через полтора свисток несется над рекой... Лежа у открытого окна в нашей каюте, я вижу, как берег уплывает от нас, и скоро только длинные струйки с отблесками вьются и плещутся по бортам.

Туча раскинулась по всему небу, но дождя все нет. В каюте духота, бормотание и сопение лесоторговцев...

А наутро, с восходом солнца, бурлаки следят с палу-

бы с разочарованными лицами, как облака расплываются по небу и исчезают постепенно, как дым от погасшего курева. Во всю ночь от нее не капнуло ни одной капли, и день опять охватывает, как жерло раскаляющейся печи. Только дым на горизонте не исчез, а стал еще тяжелее и явственнее. Видно, как ходят, свиваясь и развиваясь, тяжелые клубы.

Часов в девять мы проходим мимо Никольского; церковь в купе зеленых деревьев да несколько домов причта над высоким обрывом... Это называют «погостом». В церкви звонят — должно быть опять собираются молить о дожде... С берега что-то кричат, указывая вперед, где виднеется дым, но слов разобрать невозможно.

Часов в одиннадцать бежит сверху «петерсоновский Николай»; пассажиров на нем много, и они тоже кричат что-то. На нашем пароходе становится известным место пожара: горит вверху город Ветлуга...

Больше мы уже не пристанем нигде до Воскресенского. Несколько деревень, Никольский погост да два села, Успенское и Богородское,— вот все населенные пункты, которые попадаются нам в течение полутора суток. Койгде проплывет дровяной плотишко, кой-где запоздавшая и обмелевшая с весны барка печально сидит на песке, дожидаясь будущего сплава... В одном месте небольшая «кладнушка» сидит на мели, и три человека, праздно ожидая помощи, развлекаются игрой на гармонии. Тиха Ветлуга после сплава, но в особенности тиха она теперь, в это знойное лето, когда жары выпивают воду и даже на Волге обнажились такие камни и перекаты, которых не видывали и опытные лоцмана.

К вечеру «Любимчик» пристает к Воскресенскому,— большое село на горе правого берега,— торговый центр Приветлужья... Мы прощаемся с «Любимчиком» и с Ветлугой...

Ночлег на постоялом дворе, на душистом сеновале... А на заре следующего дня восходящее солнце, подымавшееся, точно по лестнице, по гряде румяных перистых облаков, застало нас уже на дороге из Воскресенского во Владимирское.

Мы идем к озеру Светлояру, иначе называемому Святым озером, у села Владимирского на Люнде...

II. СВЕТЛОЯР[1]

1

Когда в первый проезд мимо Светлояра мой ямщик остановил лошадей на широкой Семеновской дороге, верстах в двух от большого села Владимирского, и указал кнутовищем на озеро,— я был разочарован.

Как? Это и есть Светлояр, над которым витает легенда о «невидимом граде», куда из дальних мест, из-за Перми, порой даже из-за Урала, стекаются люди разной веры, чтобы раскинуть под дубами свои божницы, молиться, слушать таинственные китежские звоны и крепко стоять в спорах за свою веру?.. По рассказам и даже по описанию Мельникова-Печерского я ждал увидеть непроходимые леса, узкие тропинки, места, укрытые и темные, с осторожными шепотами «пустыни».

А тут — видное с большой проезжей дороги в зеленых берегах, точно в чашке, лежало овальное озерко, окруженное венчиком березок. Взбегая на круглые холмики, деревья становятся выше, роскошнее. На вершинах березы перемешались уже с большими дубами, и сквозь густую зелень проглядывают бревенчатые стены и куполок простой часовни...

И только?..

Когда я пришел к озеру во второй раз, мое разочарование прошло. От Светлояра повеяло на меня своеобразным обаянием. В нем была какая-то странно-манящая, почти загадочная простота. Я вспоминал, где я мог видеть нечто подобное раньше. И вспомнил. Такие светленькие озерка, и такие круглые холмики, и такие березки попадаются на старинных иконках нехитрого письма. Инок стоит на коленях посреди круглой полянки. С одной стороны к нему подступила зеленая дубрава, точно прислушиваясь к словам человеческой молитвы; а на втором плане (если есть в этих картинах второй и первый планы) в зеленых берегах, как в чаше, такое же вот озерко. Неумелая рука благочестивого живописца знает

---

[1] Светлояр — вулканическое озеро на реке Люнде, близ села Владимирского, Макарьевского уезда, Нижегородской губернии. С ним связана легенда о невидимом граде Китеже...

только простые, наивно правильные формы: озеро овально, холмы круглы, деревца расставлены колечком, как дети в хороводе. И над всем веяние «матери-пустыни», то именно, чего и искали эти простодушные молители.

Недалеко, в двух-трех десятках верст, Керженец с его дебрями и разоренными скитами, о которых скитницы поют старыми голосами:

У нас были здесь моленны. Они подобны были раю.
У нас звон был удивленный; удивленный звон, подобен грому...

Был недоступный лес, была тишина, отдаленность от мира. Была тайна.

Теперь леса порубили, проложили в чащах дороги, скиты разорили, тайна выдыхается. К «святому озеру» тоже подошли разделанные поля, и по широкой дороге то и дело звенят колокольцы, и в повозках видны фигуры с кокардами. «Тайна» Китежа лежит обнаженная у большой дороги, прижимаясь к противоположному берегу, прячась в тень к высоким березам и дубам.

И тоже тихо выдыхается.

2

В окрестном населении во многих списках ходит «Летописец». Сухим, правду сказать, довольно-таки суконным языком, с безвкусной помесью старинного и более современного стиля в нем рассказывается следующая история.

Великий князь Георгий Всеволодович, спустившись по Волге из Ярославля, построил город Малый Китеж, на берегу Волги. Это нынешний Городец, приют старой веры «по тайному священству». Оттуда князь пошел сухим путем по луговой стороне и, переправившись через тихие и ржавые речки Узолу, Санду и Керженец, пришел к реке Люнде. «И виде то место зело прекрасно и многолюдно», почему, «по умолению жителей», решил построить тут город Китеж Большой. Предание устанавливает, очевидно, какое-то духовное родство между обоими Китежами: «оба города построены одной рукой и одним топором»,— говорили мне местные жители. Князь изукрасил город, обстроил церквами, монастырями, боярскими палатами. Потом обвел рвом и вывел сте-

ны с бойницами. Окончив дело, он вернулся к себе на Волгу.

Между тем над Русью уже нависала туча, шла «потруса́», монгольское нашествие. Двинулся поганый Батый: «Как темные тучи по небу», шли по Руси злые татарове и подошли к Китежу Меньшему (Городцу). Великий князь вышел навстречу и «много драся с Батыем», но не одолел его. Татары убили его брата, а сам князь ударился в леса и, перейдя реки, скрылся в новопостроенном своем граде, Большом Китеже. Батый потерял следы великого князя и стал «примучивать» пленных, добиваясь от них указаний. Один из этих пленников, Кутерьма, «не могий мук стерпети», указал Батыю лесные проходы к Светлояру, и татары облегли город Китеж.

Что было затем — в «Летописце» говорится глухо. Известно только, что князь успел скрыть в озере святые сосуды и церковную утварь, а затем погиб в битве. Город же изволением божиим стал невидим; на его месте стала видна вода и лес.

Так и стоит град Китеж поныне у кругленького и чистого, как слеза, озерка Светлояра. Скрылись от взора человеческого дома, улицы, боярские хоромы и стены с бойницами, церкви и монастыри, в коих «многое множество бысть святых отец, просиявших житием, яко звезд небесных или яко песка морского». И кажется нашему грешному, непросветленному взору один только лесок, да озеро, да холмы, да болотище. Но это только обман нашего грешного естества. В действительности же, «по-настоящему», здесь стоят во всей красе благолепные храмы, и золоченые палаты, и монастыри... А кто может хоть отчасти проникнуть взором через обманчивую завесу, для того в глубине озера мелькают огоньки крестных ходов и высокие золоченые хоругви, и сладкий звон несется над гладью кажущихся вод. А потом все стихает, и опять только шепчет дубрава.

Итак, над озером Светлояром стоят два мира: один — настоящий, но невидимый, другой — видимый, но ненастоящий. И сплетаются друг с другом, покрывают и проникают друг в друга. Ненастоящий, призрачный мир устойчивее истинного. Последний только изредка мелькнет для благочестивого взора сквозь водную пелену и

исчезнет. Прозвенит и смолкнет. И опять водворяется грубый обман телесных чувств...

Понятно, как это заманчиво. Ежегодно «под Владимирскую» из Нижегородской, Владимирской, Вологодской губерний, даже из-за Перми, из-за Урала сходятся на берега Светлояра толпы людей, стремящихся хоть на короткое время отряхнуть с себя обманчивую суету-сует и заглянуть за таинственные грани. Здесь, в тени деревьев, под открытым небом день и ночь слышно пение, звучит гнусавое чтение нараспев, кипят споры об истинной вере. А на закатных сумерках и в синей тьме летнего вечера мелькают огни между деревьями, по берегам и на воде. Благочестивые люди на коленях трижды ползут кругом озера, потом пускают на щепках остатки свечей на воду и припадают к земле и слушают. Усталые, в истоме между двумя мирами, при огнях на небе и на воде, они отдаются баюкающему колыханию берегов и невнятному дальнему звону... И порой замирают, ничего уже не видя и не слыша из окружающего. Глаза точно ослепли для нашего мира, но прозрели для мира нездешнего. Лицо прояснилось, на нем «блаженная» блуждающая улыбка и — слезы... А кругом стоят и смотрят с удивлением те, кто стремится, но не удостоился по маловерию... И со страхом качают головами. Значит, есть он, этот другой мир, невидимый, но настоящий. Сами не видели, но видели видящих...

Но это теперь бывает все реже и незаметнее.

Мелькнет где-нибудь махоньким островком и расплывается, как догорающая свечка, на таинственной поверхности озера. А кругом шумит обманчивый «видимый» мир...

3

Познакомившись с чудесным озерком, я после этого не раз приходил к нему с палкой в руках и котомкой за плечами, чтобы, смешавшись с толпой, смотреть, слушать и ловить живую струю народной поэзии среди пестрого мелькания и шума. Вечерняя заря угасала, когда я стоял на холме, близ бревенчатой часовни, в тесной и потной мужицкой толпе, следившей за прениями. И утренняя заря заставала нас всех на том же месте...

Много наивного чувства, мало живой мысли... Град взыскуемый, Великий Китеж — это город прошлого. Старинный град со стенами, башнями и бойницами,— наивные укрепления, которым не устоять против самой плохонькой мирской пушчонки! — с боярскими хоромами, с теремами купцов, с лачугами простого, «подлого» народа. Бояре в нем правят и емлют дани, купцы ставят перед иконами воску-яровые свечи и оделяют нищую братию, чернядь смиренно повинуется и приемлет милости с благодарными молитвами...

Есть что-то умилительное и для нас в этой легенде... Многие и из нас, давно покинувших тропы стародавнего Китежа, отошедших и от такой веры и от такой молитвы,— все-таки ищут так же страстно своего «града взыскуемого». И даже порой слышат призывные звоны. И, очнувшись, видят себя опять в глухом лесу, а кругом холмы, кочки да болота...

4

В этот раз я подходил к Светлояру не в праздник, а в будни, и был рад случаю посмотреть чудесное озеро в его обычном виде, в тишине его простого, будничного одиночества.

Солнце склонялось к «горам». Березы, ольхи и дубы на склонах холмов уже стояли в тени, между тем как молодые березки на плоском восточном берегу еще просвечивали насквозь яркою зеленью. В гладкой, как зеркало, воде тихо стоял опрокинутый берег, с холмами, деревнями и часовней, чуть зыблясь от прямых светлых полосок. Это перед закатом баловала мелкая рыбешка. Между стволами мелькали редкие фигуры Две странницы с котомками, должно быть отдыхавшие в жару на озере, тяжело подымались в дорогу. Часовня была заперта. В страннoприимном доме, построенном Владимирским сельским обществом на берегу, ставни забиты наглухо. Еще два года назад здесь жил старик лет девяноста, седой, как лунь, наивный, как ребенок, и глухой, как тетерев. В домике «общество» дозволяет жить, кому угодно, чтобы место свято не было пусто. Прежде не надо было и дома. Радетели, «труждающие люди», изрыли всю гору землянками и пещерами. Теперь это выве-

лось. Частью оттого, что и вообще «усердия» стало меньше, частью же оно как-то плохо уживается с паспортными правилами. Полиция, не находя входов, а только отверстия «для воздуху»,— выгоняла подвижников щупами и выкуривала дымом. Невидимые трудники разбрелись. Тогда-то благочестивые владимирские старики решили соорудить храмину и пустили в нее этого старца. Он пришелся ко двору и жил на озере много лет, радуя владимирцев своим благообразием. Весь седой, одетый в чистую рубаху и порты, в свежих лаптях, повязанных светлыми лычаными оборками, он служил истинным украшением этого места во время ежегодных сборищ. Опершись на свой подожок, с обнаженной головой, на которой ветер шевелил серебряные волосы, он стоял около своей избы и смотрел то младенчески чистыми, то старчески строгими глазами на шевелящийся народ, как будто следя, не появилась бы где какая нечисть. Его всегда окружала толпа, как человека, связанного невидимой нитью с заветною тайной озера.

А нитей этих, связующих два мира, становится все меньше. Много народу припадает к берегам, чтобы услышать из глубины святой звон невидимого града. И не слышат. А он слышит, несмотря на то, что совершенно глух.

— Кричи ему хоть в самое ухо — ничего не разберет.

— Значит, ему это не нужно.

— А китежский звон слышит. И не то что под Владимирскую, а бесперечь, во всякое время.

— Выйду этто на зорьке на ранней на кресты невидимые помолиться, а оно и гу-у́-у-дит и бу-у́-хает,— говорил он при мне, детски радостно улыбаясь, изумленной толпе.— И колоколо́-те, братцы, как наше, кузьмодемьянско. Давно я из дому, от Кузьмы-те Дамьяна ушел... Дитёй малыем. А колоколо́ наше помню. Этак же вот и здесь — ровно наше колоколо̀ бухает на зорьке...

И по лицу старого младенца бродит счастливая детская улыбка...

— Умные не разумеют и имеющие уши слышати — не слышат,— строго сказал при этом один из толпы.— А вот глухого старца господь умудряет. Горе слышащим слово и не внемлющим.

И он угрожающе окинул всех сухими, строгими и колющими глазами. «Чудо», явленное над глухим старцем, он, конечно, тотчас же присвоил себе и хотел видеть в нем подтверждение какой-то своей строгой веры, заключенной в старинной книге... Зри главы такие-то, стихи пятый и седьмый-на-десять. И так как не все мы, конечно, даже и знали, что именно гласят стихи пятый и седьмый-на-десять, то, во имя чуда, он уже обрек нас огненной геенне. А старик и ему улыбался своими синими глазами, чистыми, как светлоярские воды...

В этот раз старика уже не было. Раз утром его застали на лавочке, чистого, безмятежного и очевидно давно приготовившегося в дальний путь. Лицо было счастливое, как у младенца... Вероятно, в последний час он слышал опять бухание родного колокола не то из глубины святого озера, не то из такого же святого детства...

Так как место свято пусто не бывает, то в келью явились новые богадельщики. Даже двое. Сначала пришла келейница и поселилась в избе; потом приплелся солдат и попросил позволения построить земляночку. Старики позволили. Но как только сошли снега, из земли выбило травку и зазеленелись деревья,— пастухи, гонявшие «на горы» скот, принесли на село соблазнительные известия, которым старики дали веру не сразу: мало ли покажется глупым подросткам. Пожалуй, блазнит лукавый. Но однажды пастухи пригласили стариков на самое место: под древом на муравушке рядышком почивали келейник с келейницей, и тут же лежала пустая посудина.

Плюнули и прогнали обоих. А окна заколотили. Ждали, не придет ли опять «настоящий» какой-нибудь старец...

Не приходил.

5

Я обхожу с своими спутниками кругом озера, слушая смутный передзакатный шорох деревьев. По временам на озере выкинется рыба. Лягушка скрекочет у берега в нагретой за день колдобине. Беззаботно, как дети, чирикают воробьи... На том берегу деревенские девки мирно

купаются рядом с парнями. Смуглые тела парней выделяются издали от белых девичьих.

В укромном уголке берега, где лес переходит в мелкую поросль, стоит старик и удит рыбу. Он увидел нас раньше, чем мы его, и теперь, искоса поглядывая на поплавок, он не менее внимательно следит за нами. Он босой, без шапки. Во всей фигуре — солидное деревенское благообразие, какая-то черта, характерная для человека, уважающего себя и привыкшего к уважению.

— Здравствуйте, дедушка!

Умные глаза из-под шапки седых волос некоторое время продолжают изучать меня. Потом выражение их смягчается.

— Мир дорóгой,— отвечает он.— А вы кто такеи? Что за человеки?

— Нижегородские.

— Дело. На горы наши пришли? Так вам бы прийти под Владимирску владычицу. Вот тогда гоже у нас.

— Бывал и на Владимирскую... Что? Каково клюет?

— Плохо чтой-то. Вот дён десяток назад — успевай только закидывать. А ноне, вишь, и не дернет. Что есть — сарожник, и тот не хочет с червяком побаловаться...

Действительно, вода не шелохнет. Тонкие серебряные колечки охватили стебельки растений и держат их в блестящей неподвижной истоме. Поплавок трудно разыскать глазом среди редкого тонкого татарника...

— А рыбы здесь много?

— Вного [1]. Рыбно озеро-те наше. Окунь, лещ, щука, карась, елец, сарожник... Караси-те здоровущие живут. Жи-и-ирные, как, все одно, свиньи.

Поплавок дрогнул. Из глубины по воде тихо пошли два-три круга. Старик потянул. Крючок задел за траву. Он вытащил, внимательно осмотрел и надел нового червяка.

— Зарастать стало. За грехи-те,— сказал он, поплевывая на наживку.— В старые-те годы не было этого. Хоть бы тебе травиночка! Как слеза было озеро... Главное дело — слабость. Вот! Купаться — этто не возбраняют. А ведь у иного, милый, тело-то бывает нечистое.

---

[1] Особенность местного говора: в н о г о вместо много.

Бабы опять, девки... От женщинов-то еще более зарастает...

Он опять закинул удочку и обернулся ко мне с выражением гордости:

— А и теперь еще, слышь,— где ты эку воду-те найдешь? Погляди: земчуг! Иглу вот тут на дно урони — видно!

Действительно — вода кристально прозрачна: на дне, пока оно не ушло вглубь, видно все до последней гйлочки. Все оно усеяно «обломом»: веточки, ветви, коегде целые стволы слежались плотно друг с другом и лежат отчетливые, точно живые. Нигде признаков ила, разложения, гнили.

— А на середке,— говорит рыбак с наивным удивлением,— черно, что ночью. И чудное дело, братец мой, что за озеро это у нас. Этто годов, может, с пять выезжали мы тут в ботничке, лот спущали. Саженях на двадцати стала гиря, нейдет. Я ее взял этак, отряхнул. Что ж ты думаешь: пошла опять и пошла, и пошла. Веревка вся, а дна нет. Другую навязали. Семьдесят саженей, а дна все нету...

— А правду говорят: будто тут где-то есть течение?

— Кто знает. Весной этто в Люнду, правда, источина невеличка живет. А что сказывают, будто с Волгой имеет собчение, так нет. Не полагаю я этому быть. Потому, видишь ты: надо бы у нас тогда волжской рыбе водиться...

— А ты, милый, нашего летописця читал ли? — спросил он, помолчав

— Читал.

— Наплачешься! Правду я говорю?..

— А сами вы, дедушка, звон слышали?

Он постоял молча, как бы в нерешимости. Потом заговорил серьезно и вдумчиво:

— А насчет звона я тебе вот бывальщину расскажу, а ты слушай. Я тогда еще мальчиком был малыем, по семнадцатому году. А теперь мне семой десяток на исходе. Много ли время?.. И работал я вон тут за горой кирпичи на нашего князя, на господина Сибирского, помещика, с матерью. Прихаживал тогда на озеро старичок, Кирила Самойлов. Родом из села Ковернина. И был у него пчельничек свой, на пчельнике и жил; мед продавал

и воск тоже. Угодный был старичок. И все хотел спастися, не хотел так, чтобы на пчельнике помирать. И стал к нам прихаживать на «горы». Укутает пчелок-то на зиму и придет. И залезет в гору. Даже так, что по неделям живал, спасался.

— Значит, тут пещеры были?

— И-и... Много! Только, конечно, по тайности. Потому что на ту пору уже разгонять принимались. Да вот, поди ты, и разгоняли, а все больше нонешнего усердияте было... Я еще помню хорошо: гора вся была ископана. Идешь, бывало, зимнее дело: тянется из яминки пар или, сказать, дымок, и иней кругом обтаял. Скажи: «Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» И сейчас из яминки рука за милостиной протянется.

— Как же они туда проходили?

— Да как проходили. Вон там, у этого родничка, береза стояла. Потом свалилась не в давнее время, лет, может, десять назад. У той березки корень был развилистой, так под тот корень на моей памяте можно было пролезть на корячках. Мужик тут один, посмелее, не в давние еще года сажен десять полóз. Сказывал: дальше бы можно; кверху пошло, трубой! Да, говорит, страшно: духотина. Ты вон, погляди, этот берег-то какой... Подпрыгни-ка.

Действительно, мы стоим на пласте, вроде торфяного, который тянется далеко вдоль озера. Я подпрыгнул саженях в двух от воды,— и по ней тотчас пошли круги. Видно, что не берег уходит в воду, а, наоборот, вода идет под пластом корней и плотного травяного перегноя...

— Да вот тут гдей-то и проходили. Этто вот еще лет, может, пяток, объявился было один. Остатний, видно. Забрался было в гору-те. Жил.

— Ну, и что же?

— Да что! Не те времена, поштенный. Озорства вного стало. А ему этого ненадобно. Ему нужен спокой. Нонешний народ не стал этого понимать. Особенно ребята, молодяжник. Что ты с ними поделаешь. Разыскали отдушинку-те эту самую, сейчас — баловать! Он, миляга, может на стоянии, молитву творит — за весь мир, за все хрестьяны... а они, дураки, сверху-те на него... того... просто тебе сказать, озоруют... А то раз выполз он

на свет божий рыбы поудить.. Что ж. Это ничего. Дело апостольско. Положил кошель на берегу, отлучился малое время. А солдат у него кошель и уволоки. На вот! Живи ты тут с нами, дураками! Не достойны мы! Убрался, сердяга... Гора-те и опустела...

— Ну, а что же с Кирилом Самойловым?

— Да... Прихаживал, говорю, молился. А тут выгонка пошла, нельзя стало. Ну, он, бывало, придет, да к нам, схоронится в сарае: пережидает жестокое-те время... А то у матери моей в амбарушке поживет. Мы думаем себе: что ж, ничего. Старичок и старичок. Мало ли их. А он вот какой старичок: стал звон слышать. Утречком как-то спим мы, до свету еще. Он будит: «Вставайте, что вы спите. Тут чудеса. Послушайте-ко». Проснулись мы. «Слышите ли?» — «Нет, мол, Кирила Самойлович, ничего не слыхать. Только по листу ветер».— «Как это, говорит, не слышите. Припади, старуха, к земле». Мать к земле припала. «Так, говорит, вроде шум. Дерева сотрясаются, так гудят: бу-у, да бу-у...» — «Не древа, говорит, маловерная. Ухи у тебя заложило. Я вот слышу въяве: это *у них* к заутрене вдарили. Слава тебе, владычице, пресвятая богородице, святые угодники. Удостоился и я, грешный...» Ну, потом чаще да чаще... А там уже и видеть стал. Туман, говорит, на озере-те, а в тумане так обозначает, что город, и церквы, и княжецки палаты, и монастыри великолепные. Сам говорит, а сам плачет, бороденка трясется. Теперича, говорит, надобно мне туда попадать небеспременно. Оттеда уже известно дело: преставишься в экой благодати, прямо в рай... Никаких, говорит, денег не пожалею. Вклад им положу...

— Ну и что же?

— Пошел по народу говор: Кирила Самойлыч звоны слышит, неведимый град ему открывается. Ушел он к себе на пчельник. Потом, слышим, продает пчельник, продает избу, все имущество, одним словом, порешил. Пришел опять к нам. «Что ты, мол, Кирила Самойлович?»

— Молчите, говорит. Скоро за мною придут. Попрощаться пришел.

— Куда ж ты пойдешь? Мы бы поглядели.

— Нельзя вам видеть, как я с ними отправлюсь. Ваши, говорит, глаза грешные.

Глядим: чудной наш Кирила Самойлов стал. Хлеба не ест, квасу не пьет, извелся, а лик веселый. Раз этак утречком на ранней зоре прокинулся я, вышел из сараев вон на тот на узгорочек. Гляжу: сидит Кирила Самойлов на бережку, с ним двое, вроде монахи, в клобучках, и у одного бороденка оказывает будто седая, другой — черной. И беседуют. Черный на озеро рукой кажет. Страшно мне стало, так что даже в глазах замстило, темная вода пошла. Прокинулся. Нет никого, только Кирила Самойлов на горку здымается...

— Д-да... Вон какое дело,— продолжал он с глубоким раздумием.— После того не в долгом времени пропал старичок без вести. От нас же и скрылся. Оделся напоследок чистенько, причесался, умылся, попрощался, и нету стало. Как в воду канул. Нету нашего Кирила Самойлова и нету. Думали мы: не ушел ли как ранним делом к себе в Ковернино. Довелось в ту сторону побывать, я нарочно и завернул. «Где, мол, Кирила Самойлов у вас?» — «Нет Кирила Самойлова. Пропал без вести. И на пчельнике другой уж сидит». Вот, поштенный, каки дела-то. А?

— Так и не объявился после?

— Где объявиться! Сказывали, положим, всяко, да чего сам не видал, так что и говорить.

— Нет, вы все-таки, пожалуйста, скажите.

— Бабка тут одна была. Померла давно. Так на тую пору аккурат корова у ней потерялась. Думала, вот придет, а она — ночь-полночь — не идет домой. Стало у ней сердце неспокойно, поднялась ночью-те, пошла искать Нашла в лесу. Там вон, за горами, лес был большой. Погнала этто мимо озера и видит: лодочка будто от берега отпихнулась, и в лодочке трое. Тихим голосом стихиру поют. Отъехали на середину озера. Бултыхнуло будто что-то и скрикнуло. А темно, ночь-те весення, сумрачна. Испужалась она, погнала корову что есть духу... Говорили: не иначе это Кирила Самойлов в Китеж отправился.

— А может, на дно озера, дедушка?

— Ну, так что,— сказал он холодно, кинув на меня спокойно уверенный взгляд.— На дне тоже самое монастырь. И на самой середке главны ворота. . Этак же вот, как ты, и тогда говорили: утоп Кирила Самойлов, боль-

ше ничего. Начальство выезжало, на допросы таскали. Взяли будто двух каких-то в Семенове...

— И что ж?

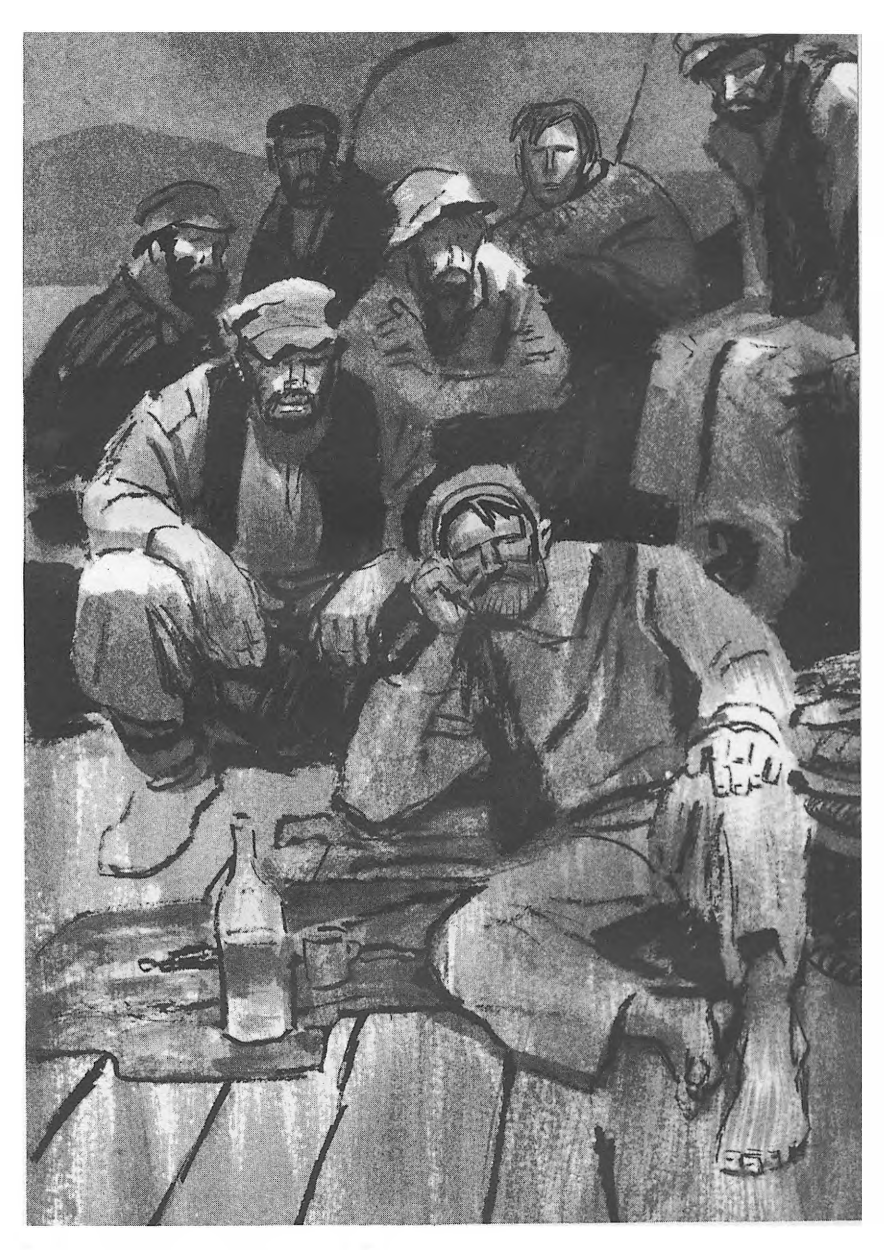
— Да что! Никто знать не знает, ведать не ведает. Следуй, пожалуй! Ищи! Городской народ, известно уж... До всего доходит.

Он смолк, и между нами пробежала как будто неуловимая тень отчуждения. Я был тоже городской и с дрожью негодования видел мрачное и грубое преступление там, где для него была умиляющая святая тайна. И он это чувствовал. Через некоторое время, однако, глаза его опять смягчились. У него явилась потребность досказать еще что-то.

— Опять же сам не видал, люди баяли. Ехали на двух подводах мужики из Семенова с базару. Запоздали... Дело ранней весной. Земля-те отпотела, туман. Лошади сошли с дороги, к озеру. Известно, скотина; может, пить захотели. Прокинулись мужики, глядят. Над озером туман столбами ходит, а солнце чуть за горами показывается. И вдруг, братец ты мой, видят они: едут из озера на большой подводе монахи не монахи, а вроде того. Диву дались наши мужики: что такое? Монахи незнакомые. Лошади у них большие, сытые, сами народ тоже гладкой, ликом светлые. И едут из воды прямо на них, все одно — по дороге... Подъехали, остановили их-них лошадей, давай хлеб на свою телегу перекидывать... Потом деньги отдали, честь честью, до копеечки, повернули подводу и опять в озеро. Только их и видели. И слышь ты, что еще. Ты вот человек городской... Ну, понимай это дело, как знаешь, а будто и Кирила Самойлова тут же видели с ними. А заговорить не посмели...

Мы оба помолчали, занятые своими мыслями. И мысли у нас были разные. У рассказчика они были, по-видимому, светлые и ровные. Лицо его опять приняло доброе, благожелательное выражение.

— Насказал я тебе, проходящий, вного чего. Ты думаешь, может: чего и не бывало. А наше, брат, место не простое. Не-ет... Не простое... Тебе вот кажет: озеро, болотина, горы... А существо тут совсем другое. На этих вот на горах (он указал рукой на холмы), сказывают, быть церквам... Этто вон, где часовня,— собор у них стоит пречистого Спаса. А рядом, на другом-те холме—



«В ПУСТЫННЫХ МЕСТАХ»



«В ПУСТЫННЫХ МЕСТАХ»

Благовещение. Тут в стары годы береза стояла, так на са-áмой, выходит, на церковной главе.

— Откуда же это-то известно?

— А от бесноватых, от кликуш. Как, бывало, поведут которую мимо той березы, сейчас они и пойдут выкликать: «Ой, березка матушка! На церковной главе выросла. Помилуй нас». Ведь уж это явственное дело. Чего же более. А тут вот мочажником самым большая дорога у них прошла. Эвон, супротив овражка, промежду взгорьев, серединой озера. Тут другой раз сетями мы задеваем. Так это монастырски ворота. И сказывают: на столбах-те чепи, а на чепях сундук с золотом да золотая всякая сосуда запущена... Вот ты и думай себе. Мы, грешные, видим болотину, да лес, да озеро. А на самом-то деле взять: оно оказывает совсем другое... Ой, да что же это я!

По воде между татарником уже с полминуты ходили круги. Мой собеседник спохватился и торопливо, с сосредоточенным выражением стал «водить» клюнувшую на крючок большую рыбу.

— Н-ет... пог-годи! Не уйдешь, мил-лай,— говорил он, приседая и то натягивая лесу почти горизонтально, то опуская, то заводя ее из стороны в сторону. Потом выпрямился, дернул удилищем и выхватил очень бойкого порядочной величины окуня. Окунь мелькнул по воздуху и, изогнувшись дугой, попал в зеленую траву. Здесь он опять извивался и прыгал, очевидно не желая расставаться со своей призрачной жизнью.

Наконец рыбак снял его с крючка и положил в стоявшее рядом берестяное ведерко. Вид у старика был довольный.

Я невольно засмеялся. Он посмотрел на меня, тоже слегка улыбнулся и спросил:

— Чего ты?.. Не надо мной ли, дураком?

— Нет, дедушка. А только подумалось мне чудное...

— А что же, милай?

— Ведь озеро-то... Одна видимость?..

— Ну-ну...

— И воды тут нет, а есть дорога и главные ворота?

— Это верно.

— Так как же вот окунь-то? Выходит, и он только видимость.

— Поди ты вот... А? — сказал он с недоумевающей благодушной улыбкой. И потом прибавил: — А мы-те, дураки, жарим да кушаем.

Он опять вынул окуня, посмотрел на него, взвесил на руке и сказал:

— Порядочный, гляди. Еще бы парочку этаких,— уха!

6

Мы дружески распрощались.

Солнце уходило за горы все ниже, и по всему озеру протянулась прохладная тень. Вместе с нею, по-видимому, начался клев. Не успел я отойти несколько саженей, как у старика опять мелькнула в воздухе новая добыча: большой плоский лещ пролетел дугой и шлепнулся в траву.

Меня потянуло купаться. Отойдя подальше, чтобы не помешать доброму человеку таскать из кажущегося озера несуществующих рыб, я разделся недалеко от кладочки с привязанной лодкой и с наслаждением кинулся в воду. Надо мной спокойное высокое небо. Маленькое золотистое облако тает в румяных отблесках. Подо мной — загадочная глубина, бездонная и таинственная.

— Э-эй! Проходящий! — слышу я с берега чей-то голос. Молодой мужик, тоже с удочкой и кошелем, стоял у самой воды и смотрел на меня.

— А ну-ко, проплыви еще... Еще маленько... Ну вот, в аккурат. Теперь мырни-ко, мырни, да поглубже. Ну-ко-ся ..

Мне самому это соблазнительно, и, набрав воздуху, я опускаюсь вертикально в глубину. Холодно, вода очень плотная. Невольное ощущение жути и таинственности... Меня быстро выносит опять на поверхность...

Отряхнувшись и открыв глаза, я прежде всего вижу того же мужика. Уцепившись руками за ветку прибрежного дерева,— он весь повис над водой. Глаза его полны захватывающего, жадного любопытства...

— Ну-ко... еще раз... Еще разик...

Я делаю вторую попытку. На этот раз — удачнее и глубже. Вода еще холоднее и выжимает кверху, как пружина, но все же мне удается нащупать ногой какой-то

предмет. Ветка дерева. Она уходит из-под ноги, но тут же другая, третья. Как будто вершины потонувшего леса... Я вишу между ними на глубине, плотной и темной. Еще усилие. Звон в ушах. Меня быстро выносит на поверхность, и я глубоко вздыхаю полною грудью. Молодой рыбак опять встречает меня наивным, любопытным, немного испуганным взглядом.

— Долго же ты под водой-те был... Ну, брат,— говорит он дружески, когда я выхожу на берег,— насыпь ты мне вот эту ладью золота, чтобы я мырнул в нашем озере... ни за что не мырнул бы.

— А меня посылал?

— Дело твое,— говорит он стыдливо.

Солнце совсем село, и с дороги в село Владимирское я с трудом успел набросать в своем альбоме озерко, горы и венчик его деревьев. По равнине быстро разливалась тьма, поглощая очертания. Только тихая Люнда слабо мерцала, извиваясь по болотистой низинке, да клочок озера томно отсвечивал стальной синевой вечернего неба.

Прощай, Светлояр. Прощай, таинственное озеро чудес и темной веры в призрачное прошлое.

III. ПРИЕМЫШ

Ранним утром, почти на заре, когда белый туман покрывал еще Святое озеро сплошным мягким покровом, мы прошли мимо его берегов, направляясь к Керженцу.

В полдень мы были уже в большом селе Быдреевке и бродили по берегу Керженца, стараясь достать лодку, чтобы спуститься по течению реки к Волге.

Дело оказалось нелегкое. Какой-то белокурый мужик уверял меня, что у него есть чудесная лодка.

— Уж я, ваше степенство, знаю, что вам надо. Мой ботничок в час до неба сомчит... В сутки — к Макарью...

Но едва мы уселись в него и отпихнулись от берега,— ботник заслезился изо всех щелей, закряхтел и тихонько опустился на дно... К счастью, катастрофа случилась недалеко от берега...

— Недорого и взял бы,— с искрой исчезающей надежды сказал мужик.— Ботник легкой,— сухо закончил

он, пинком ноги придавая ветерану прежнее положение на песчаной косе.— Лучше этого ботника нигде не достанете...

В конце концов мы все-таки нашли то, что нам надо, но для этого пришлось спуститься вниз по реке, откуда уже не было видно ни Быдреевки, ни большого тракта, по которому звенят колокольцы, ни длинного моста с телеграфными столбами.

Времени прошло не мало, когда мы уселись в наш корабль, спустившись с берегового крутояра. Наша лодка тихо двинулась вниз по течению, и сразу Керженец охватил нас своей тихой, задумчивой и сумрачной красотой.

Река узка... Темная струя несет лодку меж высокими берегами, точно в глубокой щели. Лучи склоняющегося солнца золотят острые верхушки елей на левом берегу. На правом — ветлы мочат в воде свои бледно-зеленые ветви. Тихо качаются белые и желтые кувшинки, и дальний лай собак или одинокий крик петуха несется откуда-то из невидных с реки деревень...

Я бросил весла и только порой направляю лодку, когда она подплывает к ветлам, и ветки бьют меня по лицу... Я знаю, что стоит мне подняться на высокий берег, и я, может быть, опять увижу Быдреевку и ее длинный мост, по которому тянутся обозы и летают почтовые тройки из Семенова на Вятку...

Но здесь не видно телеграфных столбов, не слышно почтовых колокольчиков... Налево — в реку заглядывает с яра дремучий лес, направо — шелест идет по траве да мать-мачеха хлопает по ветру своими бледно-зелеными листьями... Снизу они белы, пушисты и мягки, как прикосновение материнской руки. Сверху зелены и холодны. Это — мачеха ..

Солнце сильно склонилось и совсем исчезло с реки, а лодка все плыла вниз, не встречая на берегу живого существа... Наконец — еще поворот, и она вышла на широкое плёсо. Песчаная коса сильно вдавалась в течение реки. На косе виднелся рыбацкий челнок, а у челнока босая девочка лет восьми возилась с тяжелым для нее веслом и рыбацкими снарядами.

Я шевельнул веслом, и наша лодка уткнулась в отмель с другой стороны...

Девочка повернулась. Ее синие глаза стали круглее, губы опустились книзу, и весло выпало из рук.

— Не бойся, умница,— сказал я помягче.— Мы тебе дурного не сделаем. Скажи, как поближе пройти в вашу деревню...

— Э-эвона... деревня-то...

Действительно, сделав несколько шагов, я увидел из-за кустов избушки деревни, сверкавшей окнами на вечернем солнце.

— А тебе кого? — спросила девочка смелее и с любопытством.

— Да нам бы вот чаю напиться, да, может, переночевать... Дело к вечеру, а плыть нам далеко.

— Переночевать? Ступай к Дарье Ивановне.

— А где она?

— Дарья Ивановна-то? Да ты Дарью Ивановну разве не знаешь?

— Да я здесь не бывал никогда...

— Ну, не бывал, так где тебе и знать. Погоди, мужик ейный, Дарьи Ивановнин, тут недалече. Тятька, ау! Степан Федора-а-ач! — крикнула она нараспев, повернувшись к реке.

— А-а-а-ау! — отозвался откуда-то издалека глухой мужичий голос.

— Подь, Степан Федора-а-ач, сюда-у!..

Через минуту на берегу показалась фигура мужика, без шапки, с лохматыми волосами, босого и с грудою сетей на спине. Он шел, опустив голову, покачиваясь, будто сонный, и несколько раз споткнулся на ходу. Девочка смотрела на него смеющимися глазами.

— Вишь, шатает его. Ты, может подумаешь — пьяный он! Нет, не пьяный, а ночи не спит,— все на реке, на сеже, сидит — рыбачит. Снял у мужиков воды в кортома, вот тут повыше омутов. Мамка, Дарья Ивановна, говорит: «Не снимай», а он не послушался: «Сниму»,— говорит. Пять рублей отдал. А рыба, слышь, и нейдет к нему. . Вот он и старается...

— Да он тебе тятька, что ли? — спросил я, удивляясь, что она зовет мужика то тятькой, то по имени и отчеству.

Девочка не ответила. В это время рыбак, немолодой, угрюмого вида, подошел уже к нам; не скидая сетей, он остановился, посмотрел на меня отяжелевшими от бессонницы глазами и спросил:

— Чьи будете?

— Нижегородский,— ответил я.— Мне бы переночевать.

— Можно. Ступай, когда так, за мной.

И он пошел вперед, все так же спотыкаясь на ходу, будто вот-вот свалится и заснет у тропинки.

— Опять ни одной рыбешки не поймал,— сказала девочка.— Мотри, свалишься еще...

Мужик промолчал. Мы вошли в улицу небольшой деревнюшки. Окна ее смотрели на реку, а задворки подходили вплоть к лесной опушке.

«Глухой, медвежий угол»,— подумал я невольно, взглядывая на своего сурового провожатого.

Хозяйка Дарья Ивановна встретила нас, впрочем, очень приветливо и радушно.

Это была совсем еще молодая на вид женщина, с ласковыми, спокойными приемами и добрыми красивыми глазами, в которых по временам, когда она взглядывала на дремотного мужика, искрилась лукавая усмешка, как и у девочки. Степан Федорыч как-то уныло уселся на лавке и клевал носом.

— Много ли наловил? — спросила хозяйка и переглянулась с девочкой; обе при этом улыбнулись.— Эх ты, горе-рыбак! Слушался бы меня, лучше бы было.

— Говори! — ответил Степан угрюмо.— Вот пойдет из омутов — поспевай только вынимать.

— Неужто опять сидеть станешь всю ночь?

— Пойти изготовить снасть.

Угрюмый мужик поднялся и сонно поплелся из избы, а хозяйка стала хлопотать около самовара. Девочка помогала матери.

— Дочка-то как на тебя похожа,— сказал я,— только глаза да волосы посветлее.

Женщина как-то странно улыбнулась и покраснела.

— А старик муж тебе?

Она покраснела еще больше, до самых ушей, и даже закрыла лицо широким узорно расшитым рукавом.

— Муж. Да он и не стар еще годами-те против меня. Работа да горе!.. Да теперь вот суется еще, как сонная муха,— почитай, неделю не спит: с рыбой связался... Забота! А пуще всего кручина извела его, как сынок у нас помер. Двадцатый год пойдет с филипповок, как в сыру землю Мишаньку уложили.

— Двадцатый год? — удивился я, глядя на зардевшееся румянцем моложавое лицо Дарьи Ивановны.

— Да мне ведь уже сорок два года... Никто не верит... И то еще горе извело. Сколь много слез мы пролили... Детей господь батюшка больше не дал.

— А девочка эта?

— То-то вот, говоришь ты: «похожа»! А она у меня богоданная, приемыш,— сказала Дарья Ивановна, ласково и как-то серьезно гладя рукой белокурую головку прильнувшей к ней девочки.— Да все меня, дурушка, мамкой зовет, а у нее ведь и родная-то мать жива... Так ту, слышь, долго все «чужой тетей» звала. Насилу я ее, дурочку, выучила. Грех ведь! Вот теперь две мамки у нее. Да и у меня она тоже за двух: за дочку богоданную, да за сыночка ро́дного, за Мишаньку...

Она вздохнула, и выражение глубокой грусти тихо легло на лицо, сменяя стыдливый румянец. Тонкими пальцами загорелой руки она перебирала сборки на рукаве прижимавшейся к ней девочки. Девочка затихла и смотрела ей в лицо снизу вверх, как будто ждала дальнейшего рассказа про умершего мальчика. Было что-то глубоко захватывающее в молчании матери, посвященном любимой тени.

— Уж и красавчик был, уж и умной,— сказала она, разведя самовар и присаживаясь к столу.— Не я одна скажу,— кто знал, все дивились на него. Разговор имел приятный да степенный, иному взрослому впору, да и то еще кто поумнее... Право. Бывало, сторонние люди зайдут, послушают, так только головами качали. Если, мол, бог этому младенцу дозволит в возраст взойти,— увидят от него родители себе утеху. Да, вишь, господь-то батюшка...

Она низко опустила голову и прижала девочку к груди, как будто в том месте у нее заболела старая рана.

— Ему, батюшке, сказывают, самому этакие нужны... Как во гробике-то лежал, уж мы плакали, плакали... По-

том в пустой-те избе — тоже... Ровно свет из дому навек ушел... Он (мужа она называла в третьем лице) — *он* у меня извелся с той поры,— постарел, глазами ослаб... все от слезы-те. Днем-то, знаешь, стыдно, крепится перед людьми, а ночью и не выдержит, и завоет... Я за ним... Так вот и шло у нас все,— плачем да тоскуем. Уж люди — и то говорили: «Спокою вы младенцу своему на том свету не даете; нешто можно этак?» Да что ты поделаешь,— нет сердцу укороту нисколько. Пять годов прошло, а легче нет... Только раз ночью,— вздремнула я маленько,— слышу кто-то по избе прошел... Дунуло на меня, повеяло чем-то, стала я ни жива ни мертва. «Миша, родной! Ты, что ли, это?..» А сердце-то бьется, что пташка подстрелена,— вот умру, вот умру...

— Я, говорит, мамонька. Пришел к тебе,— послушай ты меня, что я скажу: не избыть тебе грешной тоски, не укоротить сердца, не дашь ты и мне спокою-радости, поколь на сердце кого-нибудь не положишь...

— Мишанька, голубчик мой, кого ж мне на сердце положить, нет тебя, ненаглядного соколика... До конца веку не избыть мне горюшка...— Сама плачу, руками тянусь, а в избе никогошенько не вижу. Услышал тут *он* у меня.

— Дарья, с кем, мол, баешь? — Рассказала я ему: «Вот с кем я баяла, Степан Федорыч».

— Молись, говорит, богу... Видно, и впрямь грешно этак-то...

Наутро стали мы вспоминать да умом раскидывать. Видно, мол, надо приемыша взять,— к тому речь была Мишанькина, ни к чему боле. По первоначалу-то будто противно подумать, ровно чужому Мишанькино добро отдавать. Потом свыклась. Только все с *ним* согласу не было. *Он* говорит: «Мальчика взять», а я и думать не могу. Ему-то, вишь, лестно, что помощник будет, а мне как вспомнится Миша, так все парни опротивеют. Где же этакому другому быть, как он был! Только сквернословие да непочтение,— на это их возьми. Так и шло у нас все: все примериваем, да спорим, да тоскуем.

Да, вишь, привел бог, по-моему вышло. Видно, по Мишанькиному заступлению помиловал нас господь батюшка... Этто за рекой, в деревнюшке, принесла девка младенца... Согрешила, бедная, да уж и муки же приня-

ла: в семействе и прежде у них неладно было,— мачеха лютая и то со свету сживала, а тут — и-и, боже мой! — чего натерпелась девонька моя. Известно, мачехи-те редко хорошие живут. По-настоящему-то рассудить, так, может, и тот девкин грех мачехе замаливать надо. Потому что — первое дело: ейное несмотрение, второе дело: иная девка от невзгодья от одного, дома-то свету-радости не видя, на грех пойдет. Тоже ведь — живой человек, тоже ласки захочет. Ну, и поверит наша сестра другому подлецу. А там и плачь всю жизнь, проклинай свою девичью долю, непокрытую, а он, хахалишко, известно, другую дуру обманывает...

Так вот и с ней. Принесла ребеночка,— мачеха с глаз долой согнала. В чужих людях жить, сам знаешь, с ребенком-те маята, да еще все смеются, да ото всех бесчестье да попреки... Бьется, бедная, бьется, до того, говорит, добилась, что взять младенца на руки да в омут головой и с ребенком-те.

Только женщина попалась ей одна из нашего села и научила. «Вот что, говорит: Степан у нас Федоров с Дарьей Ивановной больно об сыне тоскуют. Попытай им отдать младенца. Ежели, говорит, судил ей бог судьбу, то не иначе, что у них судьба эта находится...»

Ну, вот уехал мой Степан Федоров в лес, одна я ноченьку ночевала, одна-одинешенька с тоской со своей... Лежу на полатях,— спать не сплю, все думаю. Только слышу — мимо избы прошел кто-то. Слушаю-послушаю, нет будто никого. Да вдруг кто-то в оконце стукнул раз и другой. Подошла я к окну,— ночь лунная, ясная, на траве каждая тебе росинка видна, а под окном никого...

Упало у меня сердце, отошла я от окна — к стенке прислонилась. Вдруг рука опять, да по стеклу, тихонечко стук-стук. Я к окну — гляжу: у стенки кто-то жмется, хоронится. Присела я на лавку,— господи, что такое? А сердце-то колотится... Ну вот, ровно в ту ночь, когда Мишанька приходил. Встала я, перекрестилась и говорю:

— Кто тут хоронится? Выходите, коли добрые люди!

Выходит тут перво-наперво наша деревенская старушка к окну. «Не бойся, говорит, Дарья, не с худым пришли». А та все жмется... И вижу я — у той полотен-

чиком на груди ребеночек подвязан... Господи батюшка! Потемнело у меня в глазах, ноженьки задрожали, руками за лавку держусь,— а то бы упала. Вспомнила свово Мишаньку... Думаю: «Вот она, судьба ко мне идет». Замуж шла,— где тебе: далеко этакого страху не было.

Подошла наша женщина к окну: «Пусти, говорит, Ивановна».

— Пошто, говорю, вас ночь-полночь в избу пускать?..— Ну, да сама все-таки дверь отворяю, огня не вздуваючи,— только месяц полный в окна светит. Переступили они порог, а я стою перед ней, перед девкой-то, ни жива ни мертва, ровно казнить-миловать она меня пришла. И стыдно-то мне, и страшно-то, и боюсь: ну, вдруг возьмет да уйдет она от меня? А младенец-то спит у ней в полотенчике — не слышит...

Ну, женщина наша и говорит ей: «Кланяйся, девка, в ноги!..»

Поклонилась она мне в ноги да у ног ребеночка положила, припала к нему, плачет. Подняла я ее, ребеночка принимаю; горит у меня в руках, не знаю — брать, не знаю — не брать... И она-то... сама отдает, сама держит... и обе мы плачем...

Ох, и помню я, добрые люди, ту ноченьку месячную, не забыть мне ее будет до конца моей жизни...

На заре ушли они; обмыла я дитю, обрядила. Свою рубаху тотчас перешила, уложила ребенка в корзиночку... Сижу, жду его, Степана-то моего Федоровича. И опять мне, молодой, стыд, да боязно, да заботушка. Ровно вот без мужа ребенка принесла, право. Вижу· приехал, идет ко крыльцу,— я не встречаю, не привечаю — сижу на лавке. Вошел он в избу,— ребенок как раз и скричи...

— Это, мол, что такое?

— Это, мальчика, говорю, бог тебе послал, Степан Федорыч...

Поди вот! И зачем солгала перед *ним* — не знаю, не ведаю. А уж где тут обмануть,— на минуту одну не обманешь: и рубашонка-то по-женски надвое сшита. Подошел он к корзине, поглядел...

— Какой это мальчик! Девочку взяла...

Больше ничего не сказал...

Она опять замолчала, тихо улыбаясь при воспомина-

нии о своем Степане Федоровиче, которого она переупрямила и хотела еще обмануть. Мне вспомнилось суровое лицо хозяина, и теперь оно показалось мне гораздо приятнее.

— Мамка,— тихо спросила девочка, отводя лицо от ее груди.

— Что, Марьюшка?

— Что ж ты не баешь. Это я была — девочка-то?

— Ты, ты и была, глупая. Уж который раз спрашивает... Никакой ты ей сказки не сказывай, а все одно... Не переслушает... А уж и горя-те, и маяты-те что я с тобой приняла! Просто не приведи создатель. Хворая была, да скверная, да вся в струпьях, да все криком кричит, бывало, от зари до зари. Сердце все, что есть, изболело у меня с нею. Ночь бьешься-бьешься, силушки нету. «Изведешься ты у меня, Дарья,— говорит, бывало, Степан-то Федорыч.— Не дозволяю тебе, говорит, этак-то изводиться. Завтра же неси ее к матери». Ну, тут уж я молчу, не поперечу. А день придет, я опять: «Подождем еще, что будет, что господь даст». Он у меня отходчив — Степан-от Федорыч — и махнет рукой...

Она помолчала, тихо улыбаясь.

— Сказывал мне после старичок один — умный старик: «Это, говорит, ты так понимай, что господь батюшка в болезнях младенца милость к тебе являл. Нешто чужая девочка стала бы тебе за родного сына, которого ты под сердцем носила, ежели бы не переболело у тебя из-за нее все сердечушко-то заново...»

Пожалуй, и правда это: я ее в утробе не носила, грудью не кормила, так зато слезой изошла да сердцем переболела. Оттого иная и мать не любит так, что я ее, приемыша свово, люблю. Этто хворь по детям ходила, ударило и ее у меня этой хворью. Уж я плакала-плакала... «Господи батюшка,— думаю себе,— и отколь у меня столь много слез за нее, откуда только льется их такая сила...»

Она смолкла... Девочка тянулась к ней с улыбкой баловницы-дочери. За окном чирикала какая-то вечерняя пташка, и, казалось, последний луч солнца медлил уходить из избы, золотя белокурую голову ребенка, заливая ярким багрянцем раскрасневшееся лицо поздней краса-

вицы, любовью и болью сердечной завоевавшей себе новое материнство...

В сенях послышались медлительные шаги Степана Федоровича. Он вошел в избу и остановился на пороге.

— Самовар-то, гляди, у тебя убежал. Эх вы,— хозяйки... Собирай, что ли, на стол...

Дарья вскочила и, все еще взволнованная своим рассказом, принялась накрывать на стол...

IV НА СЕЖЕ

Когда мы кончили ужинать, уже стемнело. Степан стал собираться на реку.

— Не возьмешь ли и меня с собой? — предложил я.

Степан остановился вполоборота и сказал:

— Скучишься, поди, над водой-то сидеть... Тоже и сыро... Ночи, пущай, теплые живут...

— Сходи, милый, ничего,— сказала Дарья.— А холодно станет, ты скажи: он тебя на берег доставит.. Надо, видно, тебе и сежи наши поглядеть... Я так вот и о сю пору не знаю, чего они там делают... Погляжу с берега: сидит на середине реки да носом клюет... А рыба по дну ходит себе...

Степан ничего не ответил на новый укол, и мы вышли...

Через несколько минут ботник доставил нас на середину реки, к сеже.

Река перегорожена от одного берега до другого. На середине оставлен единственный проход для рыбы, и над ним устроена сежа: на четырех высоких жердях мосток и на нем лавочка.

Мы взобрались на это седалище, и Степан тихо, чтобы не тревожить обитателей черной глубины, загораживает ворота широкой пастью сети в форме широкого длинного мешка. Края этой сети надеты на четыре шеста: два вертикальных закалываются по сторонам ворот; из двух горизонтальных один опускается на дно, другой остается на поверхности.

— Тише теперя... Не шевелись,— шепчет мне Степан.

Он собирает рукав сети, изловчается, взмахивает рукой... Сеть с шипящим звуком падает на темную реку. Сначала видно, как она, белея ячейками, уплывает по течению; потом будто чья-то невидимая рука схватила ее и потянула в глубину...

После этого Степан собрал в левую руку множество нитей, идущих от нижнего шеста, лежащего на дне реки. Эти нити тянутся со дна, загораживая все пространство ворот, и напоминают вожжи, взнуздавшие черную глубину. Когда Степан через некоторое время передал их мне, тщательно разложив их на кисти моей руки таким образом, что я чувствовал каждую нитку отдельно, то они тихо заиграли у меня в руке, как струны... Сразу установилась какая-то связь с глубиной. Нити трепетали, вздрагивали, подергивались, точно кто-то невидимый в глубине играл на них как на струнах... Нервы невольно напрягались... Хотелось не шевелиться, говорить как можно тише.

— Дергает,— сказал я... — Много... Точно идет стая...

— Не,— спокойно ответил Степан.— Это вода плывет, да еще сарожник балует... Мелкота. Крупная рыба, та тебе баловать не станет. Вот, когда услышишь — потянет боком легонько, ровно смычком по струне, ну, тогда лещ или щука прошла. Тогда тащим мы нижний шест кверху,— тут она... Лещ — он простяк; пойдет, так уж и идет. А вот щука или наипаче жерех — с тем мудрено: пойдет биться, пойдет путлять, сеть что есть изорвет... Эка громадина бултыхнулась, прости господи... Дай-ко сюда!

За нами что-то грузно, даже как будто со вздохом, шлепнулось в воду, и невидимые в темноте круги тихо закачали шесты с мостками. Степан оглянулся и покачал головой.

— Сними-ко, картуз, Владимир: вишь, даже в воде белеет, пожалуй, забоится он... Не жерех ли это, гляди, из омута пошел...

Я снимаю картуз, который действительно мерцал слабым пятном в таинственной обители простяков-лещей и хитрых жерехов. Сам Степан сидит несколько минут темный, незаметный и чутко дремлет с своими странными вожжами в руке.

— Не даст ли господь дождика? — говорит он вдруг радостно, подымая лицо навстречу проснувшемуся свежему ветру.

Две стены леса по обе стороны реки действительно зашептали о чем-то, осинки лопочут быстро и тревожно, между тем как ели только качают острыми верхушками, но шума от них еще не слышно. Степан наставил ухо, насторожился и смотрит с ожиданием на темное небо, где звезды неясно мерцают в сыром воздухе.

Легкое, светлое, даже как-то слишком светлое облачко остановилось в зените, над самой рекой. Целая рать таких же тучек толпится за гребнем, выглядывая из-за леса...

Этот ветер, заговоривший с дремавшими осинами, будит надежду, что наконец моления сельских церквей по всему лицу этой умирающей от жажды страны услышаны кем-то в далекой вышине, и светлый рой облачков, толпящихся за верхушками елей, кажется только авангардом, повинующимся таинственной команде.

И ночь оживает, вся проникаясь смыслом и волей от этого страстного человеческого ожидания...

Но река молчит... Жерех из омута не проявляет никаких определенных намерений.

— Послушай, Степан,— спрашиваю я, чтобы прогнать дремоту,— ты вот тут сидишь по ночам, над водой, близ омута. Неужто не видал ничего этакого?

— Не́жити? Не... бог миловал, не видал никогда.— Степан слегка зевает.— В прежние времена водилось их тут много... всяких. А теперь, видишь ты: жилья больше, церкви тоже понастроены,— в леса *он* подальше ушел, так мы считаем...

Он тихо смеется.

— Этто недели с две испужался я-таки... действительно что, порядком струсил... этак же вот на сеже сидел... На селе первые петухи еще не скричали. Только слышу,— по лесу на той стороне шум и сучья трещат; да шум, скажу тебе, бойкой, так и ломит... Что, думаю, за притча?.. Потом стихло. И вдруг, гляжу: ходит черное здоровенное по берегу, над омутом. Вижу — ходит, а что именно — не могу разглядеть, потому темно под лесомте. Вдруг — бултых в воду, в самую омутину. Глянул я на воду, на светлое-то место,— и обомлел: плывет тебе

по реке рогатой, да и рога-те каки-то страшные! С нами крестная сила! Перекстился, протер глаза-те. Что ты думаешь?.. Лось! Да еще не один, а два. Другой на берегу остался, повернулся ко мне, вытянул морду, да что-то скричал товарищу. Вот ведь скажу тебе, Владимир,— вовсе на речь похоже, только слов не поймешь. Ну, думаю, что будет... Так я понимаю, что обо мне это они. Тот выплыл на берег, на песок, подошел к сеже к самой, смотрит с берега на меня. Самец, видно: посмелее, а она боится. Говорил он ей, говорил: дескать, ничего, не бойся ты этого мужика. Вишь, он на сеже сидит. Потом ударил копытом — опять назад, к товарищу. Значит, она дура, все боится. Известно, баба. Заробела. Плывет он по реке, а я думаю: ну-ко, он подойдет под сежу-то да рогами и толканет. Жерди не больно чтоб крепкие,— чебурахнусь я в воду, стопчет он меня... Нет. Поговорили, посоветовались друг с дружкой... как ударят опять по лесу!.. Охо-хо... И ударили по лесу-те, братец мой .. и пошли они...

Пока он засыпающим голосом продолжает рассказ о своих ночных посетителях, дремота, качавшаяся на летучих крыльях над моей головой, спускается ниже... На сеже, над рекой, водворяется сон. Степан смолк и слушает только руками... До меня доносится таинственный шепот леса. Ему придает особенную важность то, что он один говорит среди общего молчания... Его шорох навевает какие-то сумрачно странные фантазии. Кто-то будто тихо плывет в глубине, подкрадываясь к нам... Шипя подымаются из воды чудовищные лапы... Качаются мостки. Вода закипает и вздымается кверху, доски подо мной качаются, опрокидываются, в голову что-то стучит, сердце колотится в груди,— и я лечу в темную бездну...

— Держи, держи!.. Вишь, подлец, вишь, подлец, чего делает... Ах ты, господи! Подержи шест, Владимир.. Шест подержи!

Я открываю глаза. Вода действительно кипит подо мной, мостки действительно качаются... Степан торопливо передает мне шест и быстро спускается в лодку. Сеть шипит, вьется в воде, и кто-то усиленно дергает шест из моих рук.

— Чего делает!.. Нет, чего делает, господи боже! —

говорит Степан почти с испугом.— Завьет сеть за корягу, всеё изорвет. Не-ет, погоди, не-ет, шалишь!..

Подо мной начинается суетливая возня. Степан уже в лодке, и его ботничок, узкий и востроносый, извивается над водой точно хвост водяного чудовища. Сам Степан говорит сдавленным голосом, кому-то грозит и кого-то ловит, суясь чуть не по самые плечи в воду.

— Ту-у-ут, — произносит он наконец окончательно умирающим голосом.— Волоки потихонечку сеть-то к себе, Владимир. Так... потише. Ну и боец, ну и боец!.. Настоящий Александра Маркидон, право, Александра Маркидон!

Из воды, поблескивая в темноте извивающимся туловищем, появляется сам Маркидон, огромный жерех, с выпученными глазами. Счастливый Степан продолжает беседовать с ним, но уже самым дружеским тоном.

— Ма-аладчина! Прямо тридцать фунтов считай... Маленько ты меня, братец, и самого-то в воду не утянул... Да нет,— ты боец, да и Степан молодец. Ну-ко, ну-ко, в мешок полезай...

Боец глупо взглядывает на свет божий своими стоячими глазами, еще раз взмахивает хвостом и исчезает в мешке.

Дремал я, должно быть, недолго: белое облачко, глядевшее с зенита, все еще заглядывает на нас, зацепившись за черную зубчатую линию берегового леса, между тем как за ним, толпясь и погоняя передних, ползут остальные.

— Будет ли дождик, даст ли господь? — говорит Степан, крестясь и опять усаживаясь на сеже... Эти слова остаются в моей памяти, как последнее впечатление первой ночи, проведенной мною на Керженце. Я укладываюсь кое-как на неудобных мостках... Подо мною плещет глубина, таинственная, черная, бездонная... А просыпаясь от чуткой дремоты, я вижу над собой фигуру Степана. Она огромна, высится над лесами и головой уходит в фосфорические облака, которые толпятся все гуще... В руках у Степана вожжи, на которых он держит реку...

Потом все смешивается, и я ничего не вижу и не слышу.

— Ну-ко, проснись, Владимир... Солнце, гляди-ко, здымается... Ну-ко-ся... А мне бог счастья послал...

Я просыпаюсь... Слегка хмурое утро... Лес стоит весь черный, грузный... Степан в ботнике тянется на цыпочки и дергает меня за ногу... На берегу Дарья Ивановна с девочкой развешивают сеть, и на отмели в большом мешке что-то трепыхается бойко и густо.

— Вставай, вставай, Владимир,— весело говорит Дарья Ивановна.— Ты вот спал на сеже, а бог на твое счастье вишь чего послал...

Степан вялой походкой идет к дому, неся на плече рыбу... Он великодушен и не выказывает торжества... Марьюшка бежит сзади, поддерживая конец мешка... Только дождя ночью все-таки не было...

V. ПО КЕРЖЕНЦУ.— «ГОРОДИНКА»

Из Покровского мы отправились рано в дальнейший путь.

Утро туманное, серенькое. В воздухе свежо и сыро; синеватая мгла стелется над водой, ютится в темной чаще леса. На реке кое-где расплываются круги от редких капель дождя, который лотошит также по широким листам елошника (ольхи) и осины. По временам вся поверхность реки закипает от частых капель, но ненадолго.

— Ну, прощайте-ко, дай бог в час добрый,— говорит Степан, сталкивая нашу лодку. Вся семья вышла провожать нас на берег.

— Вам дай бог дождя.

— Дай господи... Вишь ты, ветер и не дыхнет. Знать, недаром облачко сделал господь: может, будем с дождем. Этто вам в Меринове перетаскивать лодку придется, мельница там...

Через час мы плывем по пустой реке, и Покровское давно исчезло за первой излучиной. Небо все хмурится, лес начинает шуметь, ветер нет-нет и закачает его вершины. Порывы его все чаще. Видно, надеждам Степана все-таки не суждено сбыться.

Керженец вьется точно змея. Ни вчера, ни сегодня мне не попадалось еще ни одной прямой и длинной водной аллейки, какими мы любовались порой даже на изви-

листой Веглуге, когда река кажется улицей, а далекая встречная лодка точно висит в воздухе.

Здесь перед глазами небольшой клок воды. Впереди не улица, а водный тупик. Сзади тоже. И всюду сомкнулся лес, сурово тесня и взгляд и воображение. За мысом — новая излучина. За ней — новый мыс... В памяти остается впечатление какого-то сгущающегося сумрака, задумчивой суровости, непрошеных воспоминаний... Есть что-то аскетическое в пустынной лесной раскольничьей реке...

Шум мельницы. Впереди виднеются открытые шлюзы, с кипящим и бушующим порогом. Из-за стога сена, невдалеке от мельницы, появляется удивленная мужицкая фигура. На наши вопросы он рекомендует попробовать переправиться прямо через порог шлюзов и с разинутым ртом, с удивленными глазами следует за нами по берегу, глядя, как нас подхватывает быстрое течение. Мельница несется нам навстречу, лодка летит на гребне струи, стучит дном на пороге; нос виснет на воздухе, перевешивается, корма поднимается, лодка зачерпывает бортами, и в несколько секунд — мельница за нами.

Впереди Мериново, глухая деревушка на самом берегу. На песке какая-то баба бучит белье, для чего с помощью здоровенных коряг, наваленных в кучу, развела громадное огнище, дым от которого далеко тянется над лесом.

К нам она обращена спиною. Куча деревенских ребят уже заметили нас и отчаянно кричат ей что-то и машут руками. Баба оглядывается и остается с поднятым вальком в руке, точно окаменелая...

— Какая это деревня? — спрашиваю по возможности кротко, когда наша лодка поравнялась с нею.

— Ме... Мериново это,— выдавливает она из себя едва слышный ответ.

— А это у вас чей дом? — указываю я новую постройку.— Купецкой, что ли?

— Какй купцы у нас,— торопливо отвечает она...— Нету купцов... Бе-едный народ у нас, ваше благородие...

Она тревожно оживляется.

— Беднота все, просто непокрытая беднота... Какй у нас богачи! Нету... Да вам кого? Что́ вы за люди будете?

Она опасливо подходит к берегу, с тревожным вниманием оглядывая наши фигуры... Из-за плетней на нас смотрят широко открытые глаза деревенской детворы, готовой вспорхнуть всей стаей при первом нашем подозрительном движении. С косогора самые избы, кажется, пугливо щурятся, беспомощные и робкие... Едва мы отъехали несколько саженей, как баба приобрела способность движения и быстро пустилась в гору,— сообщить деревне о подозрительном нашествии. На одном из моих племянников — кадетская фуражка с красным околышем, и это, очевидно, еще усиливает тревогу... «Старая вера» подозрительна... Конечно, не без основания...

Обогнув мысок, мы плывем дальше, оставляя за собой на берегу целую группу из ребятишек и баб, тревожно следящих за нами.

Течение выровнялось. Перед нами один из редких на Керженце прямых плесов — узкий, длинный, с высокими берегами, поросшими лесом. В конце этой аллейки обращает внимание один холм, покрытый сильно разросшимся лесом. Дубы, сосны и ольхи, буйно поднявшись, переросли на полдерева растительность соседних холмов, точно косматый вихòр на плохо причесанной буйной головушке.

Чем ближе подвигается к холму наша лодка, тем он кажется страннее...

Я останавливаю лодку у противоположного берега и внимательно приглядываюсь.

Круглая вершина с короной могучих деревьев обведена плетнем, чуть мелькающим между кустами. На крутых боках холма я замечаю узкую тропочку. Она осторожно вьется по глинистым обрывам, робко скрываясь в зелени, так что отсюда, с реки, видны только небольшие кусочки этой тропинки. За оврагом, на ближайшем к нам обрыве, зияет в глине что-то вроде пещерки, над которой громадный пень протянул кверху скрюченные и, очевидно, недавно вырванные из земли чудовищные корни... Раскиданная земля, изрытое и обезображенное место указывают на то, что это гигантское корнище уступило не без долгой борьбы... Между его лапами видна темная дыра... Как будто вход в землянку...

Все это живейшим образом возбуждает мое любопытство, и я направляю лодку к берегу, у подножия дико-

го холма. Но берег — неприступная болотина. Мы долго ищем среди заросли устье тропинки, которая, очевидно, должна же где-нибудь спуститься к речке. Наконец я нахожу место, где она, по течению, осторожно сходит на воду, будто нарочно замаскированная осокой и кочкарником. С кочки на кочку выбираюсь я на сухое место и иду по тропинке. На полугоре она убегает вдруг под низко нависшие и густо переплетенные ветки нескольких молодых елок...

Я остановился озадаченный. Если бы не то, что на тропке виднелись недавние еще следы, можно было бы подумать, что дорожка только частями уцелела с давних лет и что с тех пор над ней успели вырасти эти елки. Но следы исчезали под их ветвями, и потому я храбро пустился дальше, насильно проталкиваясь сквозь гущу. Ветки уступали легче, чем можно было ожидать по их гущине.

Наконец я на круглой вершине... Перелезаю через плетень и раздвигаю за ним кусты.

Передо мною старинное, мрачное кладбище...

Теперь я понимаю, почему деревья на этом холме разрослись так буйно. Могилы стоят необыкновенно густо, почва удобрялась поколеньями...

Но к чему эти очевидные старания скрыть тропинку, замаскировать мертвых? Здесь я не видел ни ворот с крестом, ни подъездной дороги. Очевидно, новых жильцов сюда приносят по таким же неудобным тропкам, скрываясь, может быть, ночью?.. Или это кладбище давно уже закрыто и брошено?

Нет... Вот одна могила, очевидно, еще довольно свежая приютилась под лапами старой ели... Тихо.. Сумрачно... Солнце едва проникает сквозь густые ветви... Какой-то особый аромат — сухих листьев, смолы и еще чего-то томящего и загадочного — стоит в неподвижном воздухе... Ветер не может проникнуть под этот шатер... Порою только он протянется высоко по густым вершинам, сорвет с сосны отяжелевшую шишку... Или пожелтевший от засухи листок упадет на землю, тихо поворачиваясь на лету.

И опять ненарушимая тишь...

Большие, грузные, приземистые кресты дремлют, покосившись к земле. Все они старые, все осьмиконечные,

все покрыты лишаями и мохом до такой степени, что у некоторых самая форма креста исчезла под длинными, зеленовато-седыми лохмами.

В особенности один крест привлекает невольное внимание своим странным, суровым, почти страшным видом. В этом зеленом полусумраке, где редкие лучи, прорываясь сквозь темную зелень, только еще более скрадывают очертания предметов,— он напоминает гоголевского Вия... Так и чудится что-то притаившееся, мрачное... Так и кажется, что приподымутся сейчас чьи-то тяжело нависшие веки, выглянут откуда-то мертвые взгляды...

А среди крестов, в тесноте жмутся еще безвестные, скромные могилы, над которыми торчат только шесты с зарубками...

С тяжелым чувством пошел я назад... Очевидно, это раскольничье кладбище: страшный лохматый холмик и эти дикие деревья осенили могилы людей, которые некогда стремились в леса со своими темными, но страстными верованиями. Старые привычки живут долго... Нет уже прежних гонений, дома живых уже стоят на виду, на светлых полянах, давно расчищенных из-под леса, но жилища мертвых все еще ютятся в дикой чаще, ревниво скрывая свои следы...

Когда, раздумывая таким образом, я вступил опять на пугливую тропинку, передо мной, за далью речного плёса, открылся яр с расположенными на нем избушками Меринова. Оттуда заметили мои рыскания, и часть берега, видная отсюда, походила на растревоженный муравейник, с толпящимися на дальнем берегу фигурами баб и ребятишек.

Это обстоятельство заставило меня отказаться от новой экскурсии за овраг, к вывороченному пню и пещере. Я спустился в лодку и поплыл далее, надеясь у кого-нибудь найти объяснение тайны этого места...

Плывем опять между пустынными берегами.. Часа через два над нами проносятся избы деревни Взвоза. Тут нас провожают менее враждебными, но не менее удивленными взглядами, и вскоре опять — пустыня... Остроконечные ели рисуются темными зубчатыми вершинами, еще более омрачая берега... Русло реки темно, но плёсы теперь прямее. Керженец становится все красивее, но вместе и угрюмее, печальнее.

В одной из тихих заводей мы натыкаемся на человеческое существо. Под самым берегом приютился ботничок. В нем, вытянув босые ноги, сидит старик с удочкой. Он делает вид, что занят только поплавком, но в сущности его взгляд с тревожным неудовольствием следит за нашей лодкой. Лицо старика как-то болезненно красно; сквозь лохмотья сквозит голое тело. В ботнике на скамьях уложены какие-то короба и разное мелкое имущество: чайник, зазубренная чашка, котелок; в коробе под неплотно прикрытою крышкой виднеется какая-то рвань. Очевидно, этот оборванный старик весь тут, в этом ботничке, со всем своим имуществом.

— Здравствуйте...

Он усиленно вглядывается в свой поплавок, делая вид, что не слышит приветствия, но глаза его исподлобья, как чуткие зверьки, следят за нашими веслами. Видимо, он ожидает, что нас тотчас же пронесет мимо.

Но я решаю во что бы то ни стало узнать у него что-нибудь о таинственном кладбище. Мое весло вспенивает воду, и лодка причаливает к берегу рядом с его ботником.

— Здравствуйте,— повторяю я свое приветствие и, не ожидая ответа, спрашиваю: — Далеко ли тут поворот к Оленевскому скиту?

— Далече...

И старик закидывает свою удочку на другую сторону.

— А сами вы откуда? Не из Меринова?

— Из Звозу...

Однако через некоторое время разговор все-таки завязывается, а затем несколько кусков сахару окончательно смягчают его, и отношения становятся более откровенными...

— Вы, верно, из солдат? — спрашиваю я...

— Из них...— отвечает он опять не очень охотно.

— А зачем это у вас тут столько припасов... Звоз ведь совсем недалеко... А тут на неделю...

— Не из Звозу я... зря сказал вам. Бездомный я человек, бесприютный. Тут у меня весь пожиток, тут и дом, ваше степенство. Недели по три и дыму из трубы не вижу... все на реке, все на ей, матушке, нахожуся...

— И хорошо?

— Хорошо, ваше степенство...

Болезненное лицо озаряется детской улыбкой.

— Теперь-то вот, видишь ты... главное дело, соловья уже нету. А весной — вот когда хорошо здесь: всякая тебе птица поет. Которая зачинает с утра, которая в день, которая по зорям... Весной больно хорошо этто живет. Истинно благодать на реке, ваше степенство.

И на землистом лице пробивается что-то детское, почти счастливое...

— А зимой?

Слабый луч в его глазах угасает...

— Что ж... Зимой... Зимой кой-как в Семенове околачиваюсь... Не чаешь весны дождаться...

Он надевает на крючок нового червяка и говорит глухо:

— Простуженный я человек, ваше степенство. Хворый человек. Мне по миру ходить — тру-удно... Ну, река матушка кормит... И куском не попрекает... Сыт ли, голоден ли, все от нее... Ну, и опять — воздух вольный... Птица тебя утешает... Зори господни светят... Так и живу... Где причалил ботничок, тут и дом... Дождь пойдет,— выволок ладью на берег, прикрылся...

Он посмотрел вдоль плеса, и опять лицо его осветилось...

— Вся река моя... Подамся кверху,— спущуся книзу... Никто не препятствует... Тут меня знают... выеду весной — встречают: «Что, мол, дядя Ахрамей,— жив еще, не окачурился?..» Ну, мол, зиму прожил — лето мое...

— Скажите мне, дядя Вахрамей, что это тут пониже Меринова на горке?..

— Что такое? Чему тут быть?.. А, знаю, про что ты это... Это у них называемая Городинка... Кладбища ихняя...

Он опять шлепнул поплавком и сказал, поматывая головой и улыбаясь:

— Раскольники...

И, понизив голос, как будто кто нас может услышать, он наклонился ко мне с своей лодки.

— Злы-ы́-е... В пальца̀х божество разбирают... Ну, мое тут не дело. Мое дело сторона... Переночевал когда,

покормят — ладно, а нет, и на том спасибо. Помру — хороните, где схочете... Все одно лежать-то...

Он опять тихонько засмеялся...

— Недавно наезжали тут начальники... Поп тут у них был, беглый... Захватили его... Давно, мол, добирались... Ну, хоронился по скитам да по лесам... Теперь схвата́ли...

И, помолчав, он прибавил спокойно:

— Издаля на Городинку хорониться приезжают... С Волги, от Козьмы-Дамьяна, из Городца... Да, да... Городинка это у них... Кладбища... Прощайте-ко... Поплыву в деревню. Кум тут у меня, старичок... Червяков обещал накопать. Вишь, сухмень какая... Червяк весь в землю ушел.

Он тихо тронул послушную лодку, отплыл несколько саженей и вдруг повернулся ко мне.

— А в Оленевский скит — я вас научу, как попасть: увидите вы на реке старые столбы,— мельница была когда-то, еще до разорения. Тут, поблиз шуму,— тропочка в лес побежала. Ступайте этой тропочкой все, минуя дорог... Версты две до скита, не больше. Кочета̀ поют у них, у стариц-те.

Он улыбнулся, точно воспоминание о кочетах доставляло ему особенное удовольствие, и, опять отъехав несколько саженей, вновь повернул блаженно и глуповато улыбающееся лицо:

— Пониже Са̀нохты-реки. Не доезжая шуму... Кочета̀, кочета́ поют!..

Через несколько минут его лодка виснет темным пятнышком на синей полосе реки между отражением темных береговых лесов...

А навстречу попадается другая.

Мужик, по-видимому из Взвоза, перестает грести, отчего его лодочка идет некоторое время по течению рядом с нашей,— и с любопытством осматривает нас.

— С Ахрамеем нашим беседовали? — говорит он благодушно.

— А он разве ваш?

— Семеновской, а уж так, слово говорится... Да, пожалуй, наш и есть. С весны к нам все заявляется,— прибавляет он, снисходительно улыбаясь.— Поудит да полежит на песочке, опять поудит да опять полежит. Так все

время и провождает... иной раз, когда клеву нет,— до того доудится, что вовсе оголодает. Сутки по две не евши живал, ей-богу... А чтобы попросить,— это в редкость...

— А вреда не делает никакого?

— Ка-акой вред от него! Огонек когда разведет, так и то на песочке, от лесу-то подальше. Нет,— от других, может, бывало, а от этого старика мы не видали худого...

— А что это у вас тут на холме, пониже деревни? Кладбище старое?..

— Да, кладбища...— сухо отвечает он, и его весло опускается в воду. Через две-три минуты его лодочка тоже виснет в синем пространстве меж темными полосами берега...

VI. ПО КЕРЖЕНЦУ.— В ОЛЕНЕВСКОМ СКИТУ И У «ЕДИНОВЕРЦЕВ»

I

Мы плывем долго. Солнце давно перекочевало из-за лесов левого берега за леса правого. Какая-то река с правой стороны. Вероятно, Сàнохта... Еще речка Чернуха. А вот и «шум»... Керженец круто поворачивает под прямым углом влево, обмывая бурным течением старые, сгнившие столбы, напирая на поперечные коряги и наполняя это пустынное место таким шумом, грохотом и плеском, точно старая скитская мельница, давно исчезнувшая со света, все еще работает своими валами, колесами и жерновами. Опять нашу лодку взмывает, кидает бортами на столбы, ворочает, крутит, подымает и, наконец, выносит к крутой песчаной насыпи, белой, как снег, и покрытой по гребню широкими листами мать-мачехи. Высокие сосны с прямыми стволами, перехваченными огненно-красными просветами, спокойно отражают этот шум своими густыми вершинами...

Я смотрю на часы. Шесть. Солнце мигает довольно низко сквозь зелень леса, в воздухе чувствуется охлаждение, и брызги от «шума», переходя в легкий туман, тянутся холодною лентой под тенью обрывистых берегов. Перспектива ночевки на берегу, в наших более чем

легких одеждах, не представляется особенно приятной. Надо бы доплыть к ночи до деревни. Но я не могу отказать себе в желании кинуть хотя бы поверхностный взгляд на умирающий Оленевский скит. К тому же у меня мелькает надежда, что, быть может, оленевские старицы предложат странникам гостеприимство. Поэтому я оставляю мальчиков у лодки, где они тотчас же ложатся и почти мгновенно засыпают, а сам углубляюсь в бор...

Узкая, едва заметная тропинка. Иду долго меж прямых, как свечки, высоких сосен. «Шум» давно стих за мною, и лишь порою пробегает по лесу какое-то чуждое ему бормотание... Дорожки сходятся и расходятся, сплетаясь сеткой.

Видно, когда-то было здесь больше движения; тропы к скиту тоже отмирают постепенно и затягиваются молодою лесною порослью...

Я прислушиваюсь,— не услышу ли кочетов, о которых так настойчиво твердил Ахрамей. Но всюду тихо. Тонкие, прямые стволы уходят вдаль, мелькая одни за другими беспорядочной колоннадой. Заяц выскочил в нескольких шагах и уселся на дорожке, наставив уши и глядя своими удивленными круглыми глазами на неизвестного пришельца. При моем приближении он опять побежал, тихо, не торопясь, смешно подкидывая задом. Затем опять повернулся и опять встречает меня любопытным взглядом. Этот маневр повторялся несколько раз, и, наконец, оскорбленный моим настойчивым преследованием, он стрелой пустился в чащу.

Шуршание колес и легкое потрескивание телеги. Встречный мужик, не особенно охотно и, видимо, взвешивая слова, указал мне дорогу. Затем он долго смотрит мне вслед, пока я не скрываюсь между стволами.

Минут через двадцать я увидел огороженное ржаное поле, и затем передо мною открылась широкая поляна. Большие, но старые, печального вида избы жмутся кругом у леса, оставляя в середине широкий пустырь. Невдалеке, за городьбой, пахарь понукает свою лошадь, проводя борозду, быть может на месте прежних зданий.

Невдалеке купа печальных берез и осин осеняет убогое кладбище; кругом земля изрыта. Должно быть, на этом месте стояла когда-то моленная... Кладбище имеет вид запущенный и печальный. Лучший крест покосился

и грозит падением, надпись на нем окончательно стерлась, а другие могилы представляют беспорядочные кучки, наваленные из глины, изрытые и обезображенные дождями...

Когда я оглянулся кругом,— пахарь куда-то исчез, и скит казался действительно вымершим. Тень от леса легла по всей поляне, покрывая и как-то стушевывая скитские избы. Деревья кладбища тихо шептали мне какую-то непонятную повесть...

Осмотревшись внимательнее, я увидел, что за мной и моими движениями следят две пары глаз. С одной стороны, из-за дальнего плетня высунулась голова женщины в темном платке, надетом по-скитски в роспуск. Заметив, что я обратил на нее внимание, она тотчас же скрылась. С другой, поближе, торчала над плетнем голова мужика, с черной шапкой волос и с живыми маленькими глазами. Я прямо направился к нему и решительно взял его в плен, отрезав отступление.

Это был крепкий мужчина, лет сорока, черный, как жук, с выдавшимися мясистыми скулами, между которыми утопали в густой заросли маленький нос и красные губы. Глаза его, тоже маленькие, но очень блестящие, выражали какое-то особенное смирение, или, вернее, боязливость, смешанную с недоброжелательством и, пожалуй, презрением.

— Ну? — спросил он, вместо приветствия, неохотно выйдя из-за плетня.

— Здравствуйте.

— Ну? — повторил он так же неприветливо, почти враждебно.

— Это Оленевский скит?

— Это...— Он пронизал меня острым взглядом с головы до ног и прибавил: — Ноне скитов уже нет. Уничтожены. Крестьяне мы пишемся. А вы чьи будете? Нижегородской?.. Так. Вам к старцами-те, может быть, так вот дорога, пожалуйте. Верст будет пятнадцать.

«К старцами» — это значит в Керженский монастырь, изменивший древнему благочестию и приставший к единоверию.

— Нет, мне надо на реку, там у меня лодка ждет.

— Лодка-а... А в лодке-те кто?

— Товарищи.

— Так...

Маленькие глазки сверлят меня, стараясь насквозь проникнуть мои намерения.

— А здесь кого вам надо, в скиту-те?

— Просто зашел посмотреть.

— Насчет чего более? Чего у нас смотреть?.. Смотреть у нас нечего будто...

— Да так, любопытно... Вы не беспокойтесь. Ничего мне не нужно, и пришел я без всякого дела. Думал, может быть... переночевать старицы пустят... До ночлега плыть еще долго.

Он еще раз оглядывает меня и, по-видимому, становится несколько спокойнее... Но намек насчет ночлега остается без ответа.

— Много у вас стариц еще? — спрашиваю я опять.

— Стариц-то? Мало. Прежде много было, теперь примерли... А новых-те нет, не идут...

— Не дозволено?

— Чего не дозволено?.. Земля на нас писана... Можем мы дарить, кому похотим.

Он потупился и потом сказал угрюмо и печально:

— Усердия мало. Нет в нонешнем народе усердия. Старики помирают, молодые не идут... Не надо им...

Мы оба помолчали и, кажется, думали об одном и том же. «Усердия мало...» — этот мотив я часто слышал от многих людей старинного обряда на Волге.

И теперь, на скитском пепелище, он прозвучал както особенно выразительно... Умирает исконная, старая Русь... Русь древлего благочестия, Русь потемневших ликов, Русь старых неправленных книг, Русь скитов и пустынного жития, Русь старой буквы и старого обряда, Русь, полная отвращения к новшествам и басурманской науке... Умирает старая Русь, так стойко державшаяся своим фанатическим усердием против не менее фанатического утеснения... Теперь она умирает тихою смертью, под широким веянием иного духа... Гонения она выдержала Не может выдержать равнодушия...

Вероятно, мысли моего черного собеседника были недалеки от моих. Он тоже стоял, задумчиво глядя на поляну, на которой ветер колыхал сухую траву,— и эта молчаливая минута как будто несколько сблизила нас...

— Этто все,— сказал он, тряхнув шапкой черных волос,— этто все жилье было кругом. А ныне пустырь. Вон пашню я распахал... Тоже избы стояли. А мы помрем, может и пахать будет некому,— лес опять порастет...

— А вы «разорение» помните?

— Мальчонком был. Много лет делу-то этому.

— Мельников?

— Он.

И опять наши взгляды молчаливо скользят по рытвинам, поросшим травой, и веяние смерти особенно ясно чуется мне на этой поляне, с оголенным кладбищем в середине. Казалось, даже в тихом и протяжном звоне леса слышится похоронный напев: «Во блаженном успении вечный покой...»

Мой собеседник вывел меня из задумчивости:

— Пожалуйте,— сказал он.— Я укажу дорогу. Вам, говорите, к реке?

Я оставил мысли о ночлеге в скиту. Мне надо было приехать сюда с колокольцами или прийти с старой формулой древле-благочестивого привета... И в том, и в другом случае скит встретил бы меня радушно,— как сильного врага или как союзника... Но я не пришел ни с тем, ни с другим. Я принес с собой только наблюдательность, и скит холодно замыкался передо мной, быть может чувствуя во мне именно то новое, третье, которое идет на старую веру... И «быша последняя горше первых».

Очень может быть, что ничего подобного и не было в уме моего собеседника, но таково было мое ощущение. Указав мне дорогу, он вернулся опять к своей лошади и стал доканчивать борозду. А я остановился на краю полянки и залюбовался тихой печальной картиной. Если бы я был живописцем, я непременно изобразил бы эту поляну с сиротливыми избами, эти вечерние тени густого леса, эти последние лучи солнца, тихо умирающие на березках кладбища... И черный мужик, угрюмый и печальный, склонясь над сохой, проводил бы борозду за бороздой, заравнивая собственной рукой место, где некогда жила и процветала его вера...

Когда я выбрался, наконец, на песчаный холмик над Керженцем, река совсем похолодела и только по самым высоким вершинам бора еще скользили, уходя на покой, красноватые отблески солнца. Мальчики крепко спали на песке и долго не могли прийти в себя, глядя с удивлением на реку, на пороги старой мельницы, на тихо шумевшие сосны...

Я пустил лодку по течению и смотрел, как мимо меня уплывали назад спящие берега, леса, пески и отмели, как вверху загорались одна за другой звезды, и холодный туман тянулся поперек русла, играя фантастическими отблесками звездных лучей. Откуда-то издали и как будто сзади доносился лай собаки, заглушаемый шорохом леса. Это, вероятно, в большом селе Хахалах, которое было обозначено на моей карте. Еще далеко... Особенно для нашей лодки, связанной с причудливыми изгибами темного керженецкого русла...

Мои юноши устали за день и теперь спали на дне лодки, которая продолжала тихо нестись над черной глубиной реки... Вдруг лодка затрепетала, точно кто-то со дна подбросил ее кверху, и накренилась. Один из мальчиков проснулся, приподнялся и сказал сонным голосом:

— Благодарю вас. Я не хочу чаю. Дайте мне, пожалуйста, одеяло...

Но никто не предлагал бедному юноше ни чаю, ни одеяла... Целый лес ветвей, корней, стволов тянулся к нам со всех сторон, толкая и кидая лодку в разные стороны. Впереди, на повороте, сомкнулись темные елки, сзади слабо светился просвет пройденного плёса, белели береговые пески, а кругом, изломанные, корявые, кривые, виднелись, точно гигантские щупальца спрутов, ветки утопленников-деревьев. Река казалась особенно угрюмой и сознательно враждебной, вроде кошмарного сна. Чтобы опять вернуться к действительности, предлагавшей ему и чаю и одеяло,— юноша упал на дно лодки и захрапел, а я стал с трудом выбираться из каршей, чтобы вернуться к только что пройденным пескам. Плыть в такой темноте дальше не было никакой возможности...

В эту ночь, как я узнал впоследствии, термометр в первый еще раз в это лето упал до десяти градусов. Песок отсырел; туман, сгущаясь, быстро бежал по реке, как будто торопясь куда-то,— и мглистые, смутно вьющиеся

клубы его исчезали в темной кривуле, откуда я сейчас выбрался. Я устал, мне было холодно, скучно, тоскливо на пустой отмели, и зрелище этого бега туманных призраков еще усиливало эту тоску...

С помощью топора, которым я запасся еще в начале пути, я срубил две сухостойные осинки, вытащил их из чащи и не без труда развел на берегу порядочный костер... Кое-как, то и дело просыпаясь от холода и сырости, мы провели на берегу Керженца эту первую за лето холодную, почти осеннюю ночь...

Раннее утро... Туман, скрывавший даже близкий лес противоположного берега, совершенно поглотил солнце. На траве и кустах — белая роса, как иней... Наш костер погас, и только белая струйка дыма тянулась к реке. Мои спутники глядели хмуро, и у всех нас была одна мысль: ближайшее село, Хахалы, является последним пунктом, где еще можно нанять лошадей до Нижнего. А там — трудно сказать, сколько еще дней усталости и таких же приятных ночлегов ждут нас в самой пустынной части Керженца, пока мы доплывем до цивилизованной Волги. Я вспомнил свои недавние размышления о торных дорогах и о романтической прелести «пустынных мест» — и должен был согласиться, что торные пути имеют тоже свои преимущества...

В одиннадцать часов солнце сияло во всем блеске, река сверкала, и последняя сырость наиболее закрытых полянок курилась, исчезая в лучах яркого солнца, когда мы подплывали к Хахалам.

Большое село, растянувшееся длинной линией домов по высокому, дугой зачерченному берегу Керженца. Оно соединено прямой и удобной дорогой с Нижним. Здесь живет казенный лесничий, с которым мне советовал повидаться А. С. Гациский, и на берегу мы увидели дамский зонтик. Мы реставрировали свою ладью, несколько пострадавшую на каршах, отдохнули и уже не думали о прямой дороге на Нижний.

В три часа — мимо нашей лодочки потянулись опять пустынные берега, причудливые изгибы реки. Одни облака, проплывая в пространстве между гребнями леса, напоминают о том, что есть где-то широкий разнообразный мир, кроме этой узенькой щели, по которой мы несемся, слушая плеск воды и тихие шорохи леса...

2

Один за другим несколько ударов колокола, сорвавшись с пустого, как нам казалось, берега, пали неожиданно на реку и понеслись по лесам. В то же время верхушка колокольни показалась над обрывом, из-за поредевшей зелени...

Перед нами был керженский единоверческий монастырь.

Может быть, это объясняется неожиданностью, пустынностью обстановки, аккомпанементом лесного шороха, смутными образами минувшего раскольничьего жития, витавшими над этими местами, но только мне показалось, что никогда еще я не слыхал подобного звона. Чистый, высокий, он звенел как-то особенно тихо и будто осторожно. Точно пробираясь на склоне дня по лесам, по ветроломам и чащам, он бережно разыскивал кого-то, кого-то звал и вместе избегал чужого враждебного слуха. «Раскольничий колокол»,— подумал я невольно. Правда, колокольный звон был воспрещен в скитах и заменялся клепаньем. Клепали в малое древо, в большое древо, да в чугунное клепало... Но, очевидно, трудно было вовсе отказаться от медного звона, и действительно, по объяснению иноков керженской обители, колокол, прозвеневший нам навстречу над тихой рекой, висел когда-то на колокольне Кома́ровского скита и осторожно позванивал в глуши лесов даже во времена лютых гонений... «Старая вера» знала секрет укрощения всякой лютости...[1]

Пришли времена разорения, исчезли скиты, погиб первоначальный Ша̀рпан, родовитый Улангер,— и не осталось от них бревна на бревне; погибло Оле́нево, Чернуха, Кома̀рово. Стены раскатаны, расточено имущество, конфискованы святыни, верные разосланы и рассеялись...

А некоторые вняли призыву «новой прелести». Новое веяние терпимости к обрядовым различиям, как ветер, подхватывающий зерно на гумне, захватил и выделил из раскольничьей массы людей, склонившихся к

---

[1] Мельников, у которого в книге «В лесах» есть очень картинное описание деревянного скитского звона, ничего не говорит об этом колоколе.

«единоверию». Из этих-то представителей вероисповедного компромисса,— «храмцов на обе плесне», как называют их старообрядцы, образовалась обитель на берегу Керженца, и с ее колокольни звонит непокорный некогда раскольничий, а ныне «обращенный», или, вернее, пленный колокол.

И керженские леса безучастно внимают этому звону. Разве где-нибудь в чаще, пробираясь зарастающей скитской тропой, оставшаяся по-прежнему верной древлему благочестию, вздохнет чья-нибудь старая грудь, да сухая рука с двуперстным сложением подымется не то для молитвы, не то с угрозой.

Две бабы — жницы монастырского хлеба — мирно плескались в воде у парома. Увидев нашу лодку, выплывшую из-за песчаной отмели, они сначала несколько растерялись, но затем, очевидно, сочтя нужным отдать некоторую дань стыдливости, вышли обе на плот, где в это время какой-то белец в подряснике черпал ведерком воду. Но так как наша лодка пристала к тому же парому, то стыдливость вынуждена была ограничиться этой более чем скудною данью, и обе наяды спокойно приняли участие в наших переговорах с бельцом, одна — стоя по колени в воде, другая — сидя на корточках и высунув голову из-под наскоро надетой рубахи.

— Можно посмотреть монастырь и напиться где-нибудь чаю?

— Монастырь-от?.. Чаю-те?..

Он поставил ведерко, приподнял старую скуфейку и почесал голову.

— А вы чье́ будете?

— Нижегородские...

— Самовар у отца Евгения есть,— сказала одна из баб.

— Да он не по ягоды ли подрал? — усомнилась другая.

— Молчите вы, бабы!.. Подите, а вы, вон той тропочкой, мимо хлебов, к монастырю. А я вперед забегу. Самовар есть, как не быть самовару...

— Да вон и сам Евгений тащитця,— промолвила одна из купальщиц, успевших уже облачиться, между тем как мы доставали из лодки свои котомки.

Действительно, по берегу навстречу нам подвигалась высокая, сгорбленная фигура. Отец Евгений шел босиком, в белой длинной рубахе, ничем не подпоясанной, в белых коротких портах, оставлявших на виду босые, мозолистые ноги. На голове у него была старенькая скуфейка, на груди висел четырехугольный шелковый плат с надписью славянскими буквами: «Аз язвы господа моего ношу на теле моем». Без этих принадлежностей очень трудно было бы в этой простой мужицкой фигуре признать иеромонаха. Он оглядел нас своими старыми глазами и радушно пригласил следовать за собой к отцу Стахию [1], от которого, за отъездом настоятеля, зависело показать нам достопримечательности обители.

В небольшом домике, с липами у крыльца, мы застали отца Стахия в скуфье и полумантии, собиравшегося к вечерне. Лицо его было очень красно, воспаленные глаза как-то слезились и вообще выражали страдание...

— Хворь у нас,— сказал он после первых приветствий, охрипшим голосом,— всех переворочала; просто ни в живых, ни в мертвых. Я-то вот хоть на ногах нахожуся... А прочие старцы в лежку лежали. Беды́!.. Монастырь осмотреть?..

Он смущенно посмотрел на нас и на отца Евгения и сказал нерешительно:

— Можно, можно... Настоятеля-те нету, он бы вам все показал... Что ж, посмотрите, пожалуй... Небогата обитель наша... пожалуй, можно так сказать, что и смотреть-то нечего...

Мутные глаза отца Стахия уставились в меня как будто с надеждой: быть может я соглашусь, что смотреть в их обители нечего... Но я почтительно настаивал. Отец Стахий вздохнул, подумал о чем-то. Его быстрый взгляд еще раз скользнул по мне пытливо и тревожно.

— А вы... не осудите? — спросил он робко...

— Да за что же, батюшка? — спросил я сначала с искренним удивлением. Потом наши глаза встретились... Я посмотрел на равнодушно суровое лицо отца Евгения и понял, какая хворь перебрала чуть не всех этих немощных старцев в отсутствие недавно назначенного строгого настоятеля...

---

[1] Имена в этом очерке вымышлены.

Отец Стахий отвернулся и сказал тихо с робким смирением:

— Грех осуждать-то... Охо-хо-о... Немощь человеческая... А осуждать... тяжкий грех.

И мы стали осматривать обитель. Действительно, она представляла немного достопримечательного в общепринятом смысле. В ней не было ни богатства, ни того особого налета почтенной старины, который заметен порой на убогих монастырьках русских захолустий... Основанная в сороковых годах, в разгар борьбы с «расколом», она как будто еще не успела приобрести определенной физиономии. Небольшой двор, обнесенный стенами, убогие, хотя и чистенькие, кельи, скромная трапеза, две церкви — зимняя и летняя... да несколько могил...

Эти могилы, пожалуй, и были наибольшей достопримечательностью единоверческого монастыря. Особенно одна, стоящая отдельно, как будто чуждавшаяся общения с остальными. Она была выложена камнем и покрыта чугунной плитой...

Заметив, что я смотрю на нее с невольным интересом, отец Стахий пояснил:

— А это — старец тут покоится один. Друг был нашему Тарасию. Когда братия решила обратиться к единоверию,— он не пожелал, остался в старой вере...

— Почему же он здесь похоронен?

— Да он и жил в обители-то, по дружбе с настоятелем... упорный старец был, каменный... устоял даже и до смерти...

Отец Стахий потупился, и во всей его фигуре опять промелькнуло выражение, с каким он говорил о немощи и неосуждении.

Я тоже остановился в невольном раздумии перед могилой. В ней было что-то суровое и вместе значительное... Она стоит одиноко, на гладко утоптанном дворе, вдали от других гробниц и даже от могилы его друга, настоятеля Тарасия, который через малое время последовал за ним... Как будто и после смерти упрямый старец отстраняется и шлет немой протест в среду обратившихся...

Мне показалось, что эта гробница сосредоточила для меня неясные ощущения, которые веяли над этой единоверческой обителью. Какая драма улеглась и покрылась

этой плитой? Какую горечь сложил ты сюда, старец Пафнутий, видевший на склоне дней, как рушилось кругом то, за что ты боролся,— рушилось, исчезало, развеивалось, точно дым угасающего кадила,— и даже дружбу свою вынужденный искать в изменившем лагере? Какими упреками была отравлена эта дружба, о чем говорили старцы перед вечной разлукой?.. Да, если столетия спокойной, невозмутимой веры откладывали в ризницах и казнохранилищах других монастырей веками накоплявшиеся сокровища и святыни, то здесь, над скромными кельями и небогатыми церковками, веет еще трепещущая жизнью недавняя драма. Здесь все еще говорит о недавней борьбе убеждений, о страстных столкновениях, о тяжелых сомнениях и колебании смущенных совестей... Отголоски этой борьбы как будто не замерли еще и витают вокруг одинокой могилы среди двора, обнесенного оградой, с заглядывающими из-за нее верхушками керженского леса.

— Иконы у нас из скитских часовен больше,— спокойно говорил отец Стахий, показывая мне внутренность церкви.— Вот эта из Комàрова, эта из Улáнгера, а вот эта — особо чтимая, высокого старинного письма икона Казанския богоматери, прежде бывшая в Шáрпане.

— Та, что по преданию вышла из Соловецкого монастыря?

— Она...

Я с невольным уважением присматриваюсь к знаменитой иконе «старинного высокого письма». В этом письме не видно ни свободного вдохновения, ни творческого художественного полета; это не произведение искусства, а плод некоего аскетического, молитвенного подвига. Не фантазия, а благоговение и преклонение перед старинными преданиями водили рукой иконописца; но все-таки это сухое письмо не вполне безжизненно и не безмолвно. Краски здесь растирались с молитвою, каждая черта проводилась с благоговением, каждая складка получала определенное, чуть не символическое значение. Грустно это настроение, даже, пожалуй, мрачно и темно, как старый свод, освещенный тусклою лампадой,— но все же здесь чувствуется какое-то могучее сосредоточение, точно заколдованная дремота скованного гиганта...

Вот оно, бывшее знамя Керженца!..

Во времена соловецкого стояния поднялась эта икона из обители, накануне ее разорения, и повела за собой старца Арсения. Расступались перед иноком леса, просыхали реки, а икона неслась по воздуху все вперед, пока не достигла керженской лесной пустыни. Здесь она опустилась, и дремучий лес покрыл ее своею зеленою сенью... Невдалеке от этого места стал Ша́рпан — первый керженский скит.

Таково предание, приведенное у Мельникова. Вокруг Ша́рпана возникли другие обители, и пустыня лесная процвела, яко крин, древлим благочестием. И было в скитах поверие: доколе стоит икона, до тех пор стоять и скитам. Когда же склонится и падет в руки врагов скитское знамя — конец райскому житию: запустеют обители, а вскоре не укоснит господь положить предел и временам, и летам.

Наивная вера, но все-таки вера, темные, детские убеждения, но все-таки это были убеждения! Прочитайте у Мельникова те главы, где он рисует прелестный, истинно женственный и величавый образ матери Августы, игуменьи Шарпанской обители. Пошли уже по обители смутные, сполошные слухи; пишут Дрягины, пишут Громовы: быть беде. Матери совещаются, матери убирают скитское добро в безопасные места, матери соборуют о грядущей невзгоде. Идет гроза от столицы на керженские тихие пустыни... Идет, и уже слышны ее раскаты...

Но мать Августа не желает совещаться, отказывается принимать участие в соборах, а на соборное постановление — «изнести» икону в безопасное место — отвечает холодно и спокойно:

— Апричь воли господней ничьей над собою воли не знаю...

Среди раскатов надвигающейся грозы, среди всеобщего шатания и малодушия—ее спокойные глаза устремлены на порученную ее охране икону. В этом взгляде — безмятежная вера, ясное упование, вся пламенная любовь горячего женского сердца. Зачем ей предосторожности, зачем ей спасение и тихие пристанища? Пока стоит мир,— стоит и ее знамя. А как только владычица допустит ему склониться и пасть,— «не укоснит господь положить предел временам и летам»...

Так рисует Мельников,— злой разоритель, но вместе крупный художник,— мать Августу, шарпанскую настоятельницу. Вот какая любовь и какая вера покоились на иконе «высокого письма», которую показал мне отец Стахий! А ведь Мельников, как известно, писал с натуры...

И вот икона, вместе с другими обломками, уцелевшими от невзгоды,— в руках единоверцев... А времена и лета стоят, как стояли, мир остается на своих устоях, «падает усердие» и время бесстрастно стирает мертвящей рукой самую память о прошлом процветании благочестия...

Старицы, оставшиеся еще в живых, приезжают в единоверческую обитель и, выждав, когда монахи отправят свою службу, приходят к иконе, зажигают свои свечи, поют свои молитвы, вспоминают и плачут...

Да, пусть темны скитские взгляды, пусть их убеждения — не наши... Но чувства этих стариц, плачущих у плененной святыни, среди равнодушного мира, найдут отклик во всяком сердце, а их судьба — судьба многих убеждений, с тех пор, как люди борются за мнения, а мир стоит, храня безмолвно важнейшие тайны жизни и смерти...

Когда мы кончали осмотр, к отцу Стахию подошел молодой послушник. Это был почти еще юноша, худощавый, с глубокими черными глазами, как на византийской иконе.

— Благослови начинать, отче...— сказал он, остановившись и не глядя на нас.

— Бог благословит, начинайте,— сказал отец Стахий торопливо и с оттенком присущей ему стыдливой робости.

Послушник не двигался и как будто ждал чего-то... В тени дерева, у кельи отсутствующего настоятеля, на столе кипел хорошо вычищенный самовар, только что принесенный послушником. Лучи солнца, прорываясь сквозь листву, играли пятнами на самоваре, на стаканах, на скатерти, которая в тени казалась фиолетовой, на розовой бутылке наливки, которую мой племянник вынул из нашей дорожной сумки...

— Может быть, отец Стахий, откушаете с нами? — предложил я...

— Спасибо,— отвечал отец Стахий.— Ежели предложите... не откажусь... Ну, иди, иди! — сказал он послушнику, темная фигура которого рисовалась в стороне резким силуэтом... Молодой человек мгновение колебался, потом повернулся и пошел к открытой двери церкви...

Мы расположились под деревом, и у нас началась благодушная беседа. После первой же рюмки наливки отец Стахий оживился, с него сошли признаки угнетения и робости, и он оказался очень приятным собеседником... Благодушное настроение его омрачалось только от времени до времени появлением в нашем уголке темной фигуры послушника, который подходил, останавливался сумрачною тенью в стороне и произносил сурово:

— Отче... начали без вас.

В другой раз:

— Отче... Отчитали... Вам возглашать...

Отец Стахий досадливо отмахивался и говорил:

— Продолжайте... Ладно... Приду, возглашу.

Послушник стоял некоторое время, как будто ему было трудно оторвать ноги от земли, но потом уходил. И в его походке чувствовалась укоризна...

Мы продолжали мирную беседу под звуки нескладного столпового напева, доносившегося из открытых дверей храма. Пели два-три голоса в унисон и несколько гнусаво...

— Скажите, пожалуйста,— спросил я у отца Стахия,— монастырь ваш штатный или общежительный?

— Общежительный,— ответил он и вздохнул.— Хотели жалование положить от синода... Да вот видите... настоятель у нас человек строгий... Отказался.

— Отчего?

Отец Стахий налил на блюдечко чай, долго смотрел на него и потом ответил, тонко улыбнувшись:

— Видите... нецыи и без того утверждают, будто единоверие — ловушка, а мы, дескать, попались в нее по неразумию и... ох-хо-хо-о... прости господи, по немощи... Так вот... не очень это уважают, что единоверцам пользоваться еще и награждением... Поняли?

— А доброхотных пожертвований мало?

— Мало,— сказал он...

Я ждал обычного конца подобной фразы и дождался:

— Усердия мало в нонешнем народе,— добавил отец-казначей со вздохом и торопливо опрокинул свою чашку на блюдечко, положил наверх кусочек сахару и отодвинул от себя.

К нам вновь приближался суровый молодой послушник... На этот раз фигура его была вся — безмолвная укоризна. Остановившись опять в нескольких шагах, он сказал с особенной суровостью:

— Кончили, отец Стахий... Благословите запирать церковь?..

Отец Стахий с стыдливой поспешностью поднялся с места...

— Иду, иду... Не запирай...

Он торопливо попрощался с нами и пошел к паперти. Мрачный юноша следовал за ним.

Со стола убрали. Мои племянники стали укладывать котомку, а я зашел перед отъездом в церковь...

Она была пуста... Молящихся не было; вечерня отошла при пустом храме, и теперь немногие, участвовавшие в ней, уходили... Только мрачный послушник стоял неподвижно на клиросе, и отец Стахий возглашал, уходил в алтарь, появлялся оттуда, кадил перед иконами и опять возглашал один, предоставляя господу богу привести это в должный порядок... яко же ты, господи, веси.

Взглянув на меня, отец Стахий отвернул глаза и «завозглашал» торопливее.

Мы плыли уже по реке, а передо мною все носился образ сурового послушника, отдельная могила каменного старца и растерянно просящий прощения взгляд отца Стахия:

— Охо-хо-хо... Немощь человеческая .. Не осудите... Осуждать грех,— слышалось мне под суровый шепот темнеющих керженских лесов...

Но керженские леса, помнящие крепкое стояние древних подвижников, как будто осуждали...[1]

В свое время этот эпизод я не напечатал по весьма понятным причинам. Года через два, если не ошибаюсь, в монастыре была произведена строгая ревизия епархиальным начальством, и многие «немощи» единоверческой братии подверглись «осуждению», которого так боялся благодушный отец Стахий.

VII. НОЧНАЯ БУРЯ.— ЛЕСНЫЕ ЛЮДИ

— До Лыкова в час один сомчитесь,— говорил нам в монастыре отец Стахий.— Там найдете спокойный ночлег и самоварчик.

Но отец Евгений смотрел на низкое солнце и сомнительно качал головой.

— Навряд, что доехать. Пожалуй, ночевали бы лучше у нас... Солнце-то низко, да и облака туманятся,— не быть бы грозе...

Мы не послушались, и вот плывем долго, а Лыкова все не видать. На реке смеркается. Сначала темнеют отражения лесов, и под берегами трудно уже разглядеть изменнические карши, если только их не выдаст серебряная струйка течения. Потом одеваются густым сумраком самые леса, берега, мерцающая глубина реки .. На небе с одной стороны угасает зарево заката, с другой — из-за гребней леса медленно развертывается туча. Из-под нее дохнул ветер, и вместе с тенями пробежали по лесу пугливые шорохи, то замирая вдали, то кидаясь с одного берега на другой и провожая нашу лодку.

Потом и ветер стихает. Леса не шелохнут листом, и торопливые удары наших весел одни отдаются эхом от берегов. Лодка тяжело режет воду, вода кипит под килем, и кажется, будто даже наша кривобокая ладья торопливо рвется вперед из-под каждого взмаха весел...

Первая зарница еще неуверенно вспыхивает далеко за гребнем лесов и пробирается ввысь по грядам облаков... За ней другая, третья. Карши, торчащие из черной речной глубины, встают ясно все до одной...

Леса взглядывают на мгновение, бледные от испуга,— и все опять гаснет... Мы плывем наудачу, так как темнота кажется после зарниц еще гуще. Потом уже настоящие молнии вспыхивают где-то за лесами, пробивая в них пламенные просветы, и после этого островерхие ели смыкаются в таинственную, еще более темную массу...

Мы налегаем на весла,— авось за ближайшим мысом блеснут огни Никольского-Лыкова. Но лодка все вьется из кривули в кривулю, наудачу минуя карши, ломы, задевы, а перед нами только темные стены лесов да река, озаряемая синими вспышками. Туча развертывается все

шире... Ее движения не видно, но мне чудится какой-то особенный тихий шорох; светлые клочки неба исчезают одни за другими; мерцает еще одна яркая звезда на юго-западе, в той стороне, где, быть может, в эту минуту кто-нибудь вспоминает о нас, не подозревая, с какой лихорадочной торопливостью наша одинокая лодка мчится под вспышками синих зарниц... На реке черно, как в могиле. Глаз жадно ищет огонька, но каждый поворот обманывает наши надежды... Лапы затонувших деревьев бьют порой по лицу. Со дна глухо стукаются в лодку то опасный «кобел», задерживающий даже плоты в полую воду, то поперечный «задев», то песчаная мель.

Вдруг лодка натыкается на что-то. Молния освещает бревно, другое, целые плоты, разбросанные в беспорядке и загромождающие русло; я сворачиваю, но лодка продолжает стукаться носом в бревна, как муха, попавшая на стекло; при свете молнии я направляю ее в проток; минута,— и лодка наша с тихим шипящим вздохом садится на песчаную мель.

Очевидно, прохода нет, а буря близится. Сзади движется уже даже не туча, а какая-то бесформенная мглистая тьма, кипящая огнями...

В дальних лесах стоит глухой гул, какое-то неразборчивое бормотание...

Я отправляюсь на поиски прохода, выхожу на какие-то острова, пробираюсь сквозь кусты, всхожу на бревна плота, надеясь найти свободную дорогу нашей лодочке. Сгоряча, прыгая с бревна на бревно, пробегаю на середину плота и вдруг совершенно неожиданно погружаюсь в воду: ничем не связанные бревна разошлись под моими ногами, и кругом меня стоит тревожное движение... бревна колеблются, сдавливают, толкают, вертятся, ускользают из-под рук, мешают выбраться... Намокшая одежда тяжела, а под ногой не чувствуется дна... Кругом замолкший лес, вверху — тьма и угроза... Из какого-то дальнего уголка души ползут суеверные представления; мне кажется, что все это — и река, и бревна, и тучи, и черные ели насторожились и злорадно следят за мною...

К счастью, вода тепла. Через минуту я все-таки взбираюсь на бревна, осторожно переползаю к берегу и иду к лодке... Первый недальний гром с треском разрывает

мглистую тучу... За ним слышится дальний шум, точно лес сразу закричал тысячами голосов, и что-то гигантское катится к нам по его вершинам.

Это бежит по лесу ливень.

Мы торопливо встаскиваем нашу лодку на покатый берег, поворачиваем ее дном кверху, под ветер, потом подпираем досками от скамеек. Я разыскиваю спички — и первые капли дождя грузно шлепаются на песок, когда я под прикрытием лодки развожу костер.

Ливень идет пока еще стороной, и огонь успевает хорошо разгореться. Я выдвигаю костер из-под лодки, разрубаю и кидаю в него сломанное весло, заваливаю густо валежником; огонь шипит, трещит, вьется наружу, разгорается, и когда, наконец, ливень охватывает со всех сторон лес и реку, плещущую тысячами капель, и нашу отмель, и кусты, и дальние изгибы Керженца, и все кругом, — костер горит уже огромным пламенем... Так странно и так приятно смотреть, как он шипит, точно змей, от падающих капель, то припадает низко к земле, то опять рвется огненными языками навстречу дождю, молниям и тьме.

Больше ничего уже случиться не может, худшее позади. Наша верная ладья, защищающая от косого ливня, кажется мне самым уютным убежищем в мире. Я скинул с себя всю мокрую и грязную одежду, и теперь под лодкой от меня идет пар... А кругом шум и раскаты, и крик взволнованного леса,— и разрывающиеся тучи сыплют молниями далеко над лесами и полями, над болотами и непроходимыми чащами, над протоками, шишмарами, ло̀гами, над убогими лесными деревнями, над одинокими кордонами лесников, над умершими Ша̀рпаном и Ула́нгером, над умирающими Оленевым, Кома̀ровым, Чернухой, смиренно прислушивающимися к крикам божией грозы, над избушками Покровского, где Степан, быть может, мокнет на сеже и благословляет долгожданную благодать иссохших полей...

Теперь, когда я заношу эти строки в мою путевую книжку,— центр грозы уже промчался над нашими головами, и тучи тихо громоздятся, уходя дальше... Раскаты смолкают за лесами... и даже одинокая звездочка опять мигает мне с вышины,— точно разыскивает в чащах нашу затерянную лодочку...

Наутро солнце светило так ярко и весело, как будто и оно омылось вчерашней грозой; на листах дрожали капли и, срываясь то и дело, сверкали в воздухе новым дождем. Голоса птиц звенели кругом, как стеклышки, листья шептались без ветра, речная струя посинела, пески резали глаз яркой белизной,— всюду трепетала, веселилась, пела переполненная свежими силами, обновленная жизнь, и мы не узнавали тех самых мест, которые вчера казались нам такими угрожающими, враждебными, мрачными.

Принадлежности моего костюма, развешанные на кольях для просушки, длинный изрытый шагами след на песке от нашей лодки, да кусты, измятые и изломанные вчера, когда я карабкался из воды,— все эти признаки ночной трагедии теперь будили в нас лишь веселые воспоминания.

Часов в семь мы были в Лыкове-Никольском, небольшом селе, на левом берегу реки. Оно стоит на границе обитаемой части Керженца. Далее до самой Волги нам встретятся лишь избушки угольщиков да кордоны лесной стражи. Быть может, этот контраст с прилегающей пустыней придает скромному селу особенное значение в глазах местных жителей, но только вся волость носит, по его имени, название Лыковщины.

Отдохнув и напившись чаю, мы ровно в полдень опять уселись в лодку, и она понесла нас по длинному прямому плёсу. Домики Лыкова скрылись из вида. Теперь только одинокий кордон на речке Пугàе, да перевоз Красного Яра у самой Волги предстоят нам на всем протяжении трех дней и двух ночей нашего плавания до устья.

Опять пустыня, безлюдье и шорох леса по обеим сторонам реки...

Перед вечером, впрочем задолго еще до заката, сзади за нами небольшой точкой на дальнем плёсе мелькнула лодочка. То исчезая за мысами, то теряясь в заводях, под берегами, то опять качаясь на светлой струе, она каждый раз появляется все ближе и, наконец, неожиданно вылетает впереди нас из протока. В узком и замечательно легком ботничке сидит мужик в гречневике, из-под которого глядит несколько комичное лицо, с добродушно расплывшимися чертами, серыми глазами и вскло-

коченной небольшой бородой. Его ботник, точно нетерпеливый конь, рвется вперед из-под каждого удара широкого одиночного весла, но мужик с каждым взмахом несколько задерживает его бег и держится вровень с нашей тяжелой лодкой. На некотором расстоянии эта фигура производит такое впечатление, как будто гребец сидит прямо на воде, вытянув ноги, и его неуклюжие лапти торчат кверху над бортами.

Поравнявшись с нами, мужик окинул взглядом и наш неуклюжий ботник, и весь его груз. И потом, ничем не выразив удивления или особой любознательности, сказал благодушно:

— Мир доро̀гой...

— И вам,— ответил я.— Скажите: далеко еще до кордона?

Лицо незнакомца выразило крайнее огорчение.

— До кордона? — повторил он.— Ах мил-лые... Далече еще до кордона-те... Да-а̀-лече... А вы думали: близко? — спросил он с любопытством.

— В Лыкове нам говорили, что будем еще засветло.

Он укоризненно покачал головой...

— Не-ет... Завтра дай бог... Завтра — и то к вечеру... Вишь, у вас и лодья-те... Она ничего лодья .. Лодья-те гожая... Ну, не ранее: к вечеру на кордоне будете...

Он посмотрел на небо.

— Солнце, вишь, невысоко, а до Вишнѝ-реки еще не близко. А вечера-то темные, на реке карши... Ах, милые вы мое-е...

— А вы до кордона?

— До Вишнѝ я. Ботнички строим мы. Товарищ пешком ушел, лесом, а я, вишь, струмент везу. До Вишнѝ, милые... Ну, дай вам бог в час добрый!.. У Вишнѝ я вас сожду... Вишню́ не миновать вам .. Там я сожду...

— А до устья, как вы считаете,— спросил я,— далеко еще?

— До устья-то?

И опять он обдал меня взглядом ласкающего сожаления...

— До устья-те не доехать вам ни завтра, ни послезавтрева... в четыре дня дай бог, что доехать вам до устья-те... До-о-лго, милые, до устья.

Он пускает свою лодочку, и вскоре его гречневик, его лапти, его лохматая голова, вся добродушная фигура исчезает, мелькая и уменьшаясь, впереди, а мы грустно переглядываемся: четыре дня — перспектива невеселая.

Солнце действительно низко, ночлег на кордоне — разлетается туманом...

Вечер опустился теплый, тихий, ароматный; луна тонким золотым серпом повисла в мягких туманах над верхушками елей; в вышине ласково мигали звезды,— но света было мало, и плыть по темному руслу становилось все труднее. Мы стали уже подумывать о ночлеге ранее назначенного срока, как вдруг одному из нас показалось, что впереди слышен чей-то голос. Я приподнял весла, и, когда плеск утих, нам ясно послышался призыв.

— Кордон,— сказал один из мальчиков.

— Нет, это давешний мужик зовет нас,— догадался другой, и в его голосе послышалась радостная нота.

Впереди на одной излучине красный отблеск пал поперек реки. Между кустами забелел дымок, огонь замигал трепетными переливами. Одинокая темная фигура фантастически рисовалась на светлом фоне.

— Сюда-а... Сюда греби... А-у-у!..— кричал мужик и махал нам руками.

— Как он услыхал нас? — удивился один из мальчиков ..— Лодку совсем не видно...

— Ну, вот, слава те, господи,— говорил между тем мужик, принимая нос нашей лодки.— А уж я-то стосковался, на берегу сидя: где, мол, друзья мое́?.. Что долго нету?.. Ах, мил-лаи, что долго плыли вы? Уж не на каршу ли, мол, где сели?.. А то тут за̀водь еще больно велика живет... Лодка-те у вас грузна́, народ, думаю себе — нездешной, непривычной, а я вас покинул, старый дурак... Ну слава те, господи!

— Ах, милые вы мое́,— говорит он опять через минуту, подбросив в костер валежнику и вздыхая с таким облегчением, как будто в самом деле мы самые близкие ему люди, подвергавшиеся большой опасности.— А уж я давно причалил, вылез на берег, пождал-пождал, взял кусок... так нет — и кусок не лезет, что мое́ друзья не едут, что не едут... Думаю: уж не проехали ли мимо, а я, старый дурак, и спросить-то не догадался: чье вы будете? Вот грех-то! А? Право!..

— А ты как думаешь, дядя, чьи мы?

— А бог вас знает, милые, что вы за человеки. Не видали мы у себя этаких народов... Весной этто, когда вода велика́ живет, много же народу плавает по реке... Река, что улица в весеннюю-те пору. Так опять народ все приметной, руськой...

Он прищуривается, вглядываясь в смуглые лица моих юношей, и говорит:

— Так думал про себя, что не греки ли... Аль нет?

— Нет.

— Ну, извините, милые. А то грек, он ведь всюду проедет. Говорят, самой хитрой из всех людей — греческой человек живет. Вот я и думаю: не с товаром ли каким... Или, может, со святостью с Афону... Нет? Ну так... дело, дело... Лонись приезжал тоже такой-то — камни, слышь, все брал,— так тот прямо из Питербурху... А ты бы, милый, лодку-те на берег выволок или бы в заводь, а то ветром, бывает, отшибет...

Я сталкиваю лодку на воду и долго веду ее вдоль песчаного мыса, ища прохода в заводь. Когда, наконец, я подхожу опять к месту привала, у костра идет оживленная беседа. Мужик рассказывает что-то, молодые люди с удивлением слушают. Глядя из-за своего уголка, затененного ветлами, я вижу как будто трех ребят, быстро отыскавших какие-то общие интересы.

— Да разве в капканах труднее? — спрашивает один из слушателей. Мужик взмахивает руками.

— И-и... что ты, братец... В капканах уж он тут маху не даст, пря-ама на тебя!.. Да облапить норовит, да под себя, да сичас драть... И такая у него привычка, что драть непременно с затылка... Ка-ак можно! Оно хоть, скажем, капкан для медвежьего случаю делается чижолый... Да ведь иной, матёрый, уволокет и капкан.

— Знаете, кто это такой? — спрашивает старший племянник, когда я подхожу к костру.— Это — Аксен...

— Восемнадцать медведей убил,— прибавляет другой...

— Ты — Аксен Ефимов?..

— Верно,— говорит мужик и с некоторым удивлением спрашивает: — Нйшто про меня слыхали?

Мы слыхали об Аксене и в Лыкове, и от лесничего,

в Хахалах... но имя упоминалось с оттенком почтения, которое едва ли объяснялось только тем, что он убил восемнадцать медведей...

— Ну, верно,— подтверждает он просто: — счетом всех двадцать. Так и зовут меня Аксен-медвежатник.

В наружности керженской знаменитости нет ничего выдающегося. Фигура скорее невзрачная... Добродушное лицо с жидкой белокурой бородкой, серые ласковые глаза... Но во всех движениях разлиты какая-то особенная уверенность и спокойствие. Очевидно, что здесь, в лесу, среди этих бесчисленных суводей, заводей, мысов, омутов, песков и лесов — он у себя, дома, что со всем этим он сжился, что его собственный пульс бьется в такт со всеми этими плесками, шорохами, глубокими вздохами невольно пугающей нас ночи... Как прежде лодка, казалось, сама несет его над пучиной, так теперь огонь вспыхивает при одном приближении его руки к пламени, направляя свои языки именно туда, где ему нужно.

— Скипел,— говорит он, поднимая веточкой чайник, который пыхтит, шипит, фыркает, как живой.— Заваривай!

Я приготовляю чай и приглашаю Аксена. Но он спокойно и решительно отказывается.

— Кушайте,— говорит он доброжелательно.— Вы — люди дорожние, самим, смотри, не хватит. Ты вот хотел в день доплыть, а не доплыть тебе, милой, ах не доплыть и в два дни... Смотри, наголодаетесь еще.

Он нарезал мелких ракитовых веток, кинул их на песок, улегся на эту постель под своим опрокинутым легоньким ботничком и замолк...

Вскоре и мальчики заснули. Пламя костра, быстро уничтожившее мелкий хворост, теперь лениво вьется меж корявых толстых пней, приваленных друг к другу... Темное небо смотрит сверху и будто дышит своими огнями... По временам с яру свалится подмытый песок с медленным шуршанием, напоминающим вздох... Где-то за пределами освещенного пространства береговой лес бормочет и по временам шевелит беспокойно спящими ветвями...

Все эти ночи, которые мы проводим на берегу Керженца, мне не спится, несмотря на то, что дни проходят в довольно тяжелой работе, а по вечерам при свете

костров я заношу в книжку впечатления дня. Не спится мне потому, что этих впечатлений слишком много, что даже в тишине ночи они толпятся к костру, обступают меня, носясь смутными образами на пределах темноты и света, заманивая воображение, будя какие-то вопросы... Так все здесь таинственно и в этой таинственности — так полно и цельно. Вот и теперь мне кажется, что тревожные вздохи леса говорят мне что-то обо всех этих лесных людях, тогда как лесные люди говорили, с своей стороны, о лесах. И то, что днем проскальзывало, проплывало мимо сознания без общей связи, без значения, как эти однообразные берега мимо лодки,— теперь, при свете огня, на песчаной отмели встает в памяти, просит себе места, облекается и значением и связностью.

Почему-то мне вспоминается лесничий, с которым я познакомился в Хахалах. Лесничий — поляк, зовут его Казимир Казимирович, живет в Хахалах давно. Он устроил себе прелестное, уютное гнездышко в своем казенном домике... Домик этот стоит на конце села, на круче. Отсюда видна река, луга за рекой, за лугами леса и леса... Светло-зеленые, темные, синие, фиолетовые на дальнем горизонте — они стелются вдаль, скрывая в себе излучины Керженца... Кой-где уверенно прорезали их прямые просеки, правильные рубки легли ровными площадками, молодые поросли, точно подстриженные, плотно примкнули к высокому старому лесу... И когда с бельведера я смотрел на все это, домик лесничего казался мне центром, откуда исходит и куда стремится весь этот порядок, заметно проложивший свои следы среди первобытного хаоса лесов.

Внутренность этого дома приятно ласкала глаз, усталый от однообразия и пустынной дикости. Старинные картины по стенам, полки с книгами, какая-то особенная тишина, отпечаток уютности и порядка... Умный взгляд и снисходительно насмешливая улыбка во время разговора тоже очень понравилась мне в лесничем. Он рассказывал о том, как ему трудно было здесь сначала, как мужики не могли свыкнуться с разумными взглядами на лесную собственность, как его предшественнику и ему приходилось здесь бороться с их притязаниями, как, наконец, путем долгой борьбы, настойчивости и системы мало-помалу совершается настоящий переворот во всей

этой лесной местности... Какое-то особенное, немного презрительное сожаление слышалось в его голосе, когда он говорил о мужицких взглядах на государственную собственность... Из-за желудей мужику ничего не стоит рубить полувековые дубы... Из-за лыка он обдерет сотни деревьев, для расчистки палом лесной кулиги — сожжет сотни десятин леса. Вот и теперь с Ветлуги на Волгу тянет на десятки верст чадный па́дымок...

Казимир Казимирович поляк, и мне казалось, что поляки — отличные лесничие. Немец чиновник — порой высокомерен и жесток. Русский сам слишком близок к взглядам своего народа. Они легко находят отклик в его душе, он рефлектирует... Если он плут,— плутовство его размашисто и недисциплинированно. Если честный человек,— честность его порывиста и неспокойна. Поляк культурнее, выдержаннее, в нем крепче и устойчивее «цивилизованные» взгляды на земельную собственность... И я с некоторым удовольствием выделил среди своих впечатлений фигуру Казимира Казимировича...

Костер начал угасать... Потянуло с реки сырым холодком. Аксен поднялся из-под своей лодочки, повернул пни, и огонь ожил.

— Не спишь? — спросил он у меня, опять ложась на место...

— Не спится,— ответил я...

— Устал, верно, за день-то... Ты вот в Хахалах когда был? Вчера? Не знаешь ли, Казимирушка, лесничий там?

— Там...— ответил я, удивленный этим совпадением наших мыслей, как будто беспокойный шорох леса навеял их на нас обоих.— А что он — хороший человек?

— Казимир? Ничего, хороший. Простой он, даже и разговористой...

И вдруг, без всяких переходов, он прибавил:

— Мягко стелет, да жестко спать.

— Что так? — спросил я...

Аксен не ответил. Он прислушивался к чему-то в смутном лесном шорохе. Через некоторое время и я различил в неопределенных шумах более отчетливые звуки. Кто-то грузно пробирался сквозь чащу к реке... Тяжелый всплеск... Потом другой, третий...

Аксен покачал головой и сказал:

— Медведица это... Сам-третей с медвежатами... За реку перевалилась...

Мне уже ничего не было слышно, но Аксен еще долго прислушивался, выделяя шаги медведицы из лесных шумов.

Мне захотелось расспросить у него о глубинах лесов, в надежде, что тут скажется и глубина лесной души... Что он думает о боге, о мире?.. Слыхал ли о Святом озере? Встречал ли в лесах таинственную «нежилую силу»?.. Помнит ли рассказы о подвижниках?..

Но когда в лесу все окончательно стихло и Аксен круто повернулся ко мне, то в голове его бродили мысли все о том же Казимирушке.

— Ты, Владимир, как полагаешь,— спросил он,— можно нам теперь медведей бить?..

— Отчего же?

— Нельзя, брат... Хошь он тебе навстречу попадись... И будь ты, теперича, не то что с дробовиком... с ружьем, с настоящим... а тронуть его не моги. Сделайте милость, Михайло Иванович, проходите! Нас только не троньте, а нам не приказано, чтоб вашу милость беспокоить.

Он прислушался, ожидая от меня реплики, и продолжал:

— Ты думаешь, он этого не понимает? Нет, брат, поймет!.. У-умная тварь, только слов не знает. А и то в лесу слыхал я — медведь с медведицей баяли. Веришь совести, ну, вот ровно человеки, только не по-нашему... Понимает он всякую штуку. Вот в старые-то времена к избам, что есть, вплоть подходили. Мужик запрется, а он, что ты думаешь: дверь ломать!.. Потому ихняя была сила, а мир-от слаб еще был. Ноне мир окреп — ему надо в лесу, да в чапыге коронитьця. Теперича опять видит,— мир стеснен,— он опять прет из лесу-те. Даром, что животная тварь, а понятие у него есть... Ты не спишь?

— Нет, нет, Аксен Ефимыч! Говорите.

— Что́ и говорить нам,— обижены мы, стеснены. Не то медведя — птицу не устрель, зайца не тронь, лутоху что есть срежешь — сейчас к тебе лесничишко пришалывает...

Он сказал последние слова несколько тише и махнул головой в том направлении, где вниз по реке предполагался кордон лесника.

— Нет, ты послушай-ко, что еще безбожные-те люди выдумали. Ежели тебе сейчас о бортях рассказать... Пожалуй, еще и веры-те неймешь, скажешь — хвастат Аксен-от Ефимыч, зря бает...

Он придвинулся ко мне и поправил костер. Я тоже подвинулся и, опершись на руки, смотрел в простодушное лицо рассказчика, освещенное огнем.

— Этто плыли вы ныньче, не видали ли борти над рекой? Видели? Ну, мои — борти. Минуя этих, еще по лесам у меня не малое число есть, кои от родителя еще оставши, кои сам промыслил. Хорошо. Приезжает лонись левизор и созывает нас, стариков, к себе. И Казимирушко тут же. «Ну, старик, есть у тебя борти?» — Есть, мол.— «А что плотишь?» — Три рубля плачу,— ни за што, говорю, ваше благородие.— «Теперь, говорит, плати двенадцать! .» — Что, мол, такое? Я, ваше благородие, согласен, как прежде, по три рубля попенных платить, а двенадцать за что же? — «Нет, говорит, такой ноне закон: двенадцать рублей».— Хорошо, говорю, стало быть, это уже навек, что ли? — «Что ты, что ты, старик! На год, на один».— Тут уж я не вытерпел: — Как это, говорю, может быть? У нас не гари, не рáмени... На гарях — цвету много. В рáмени липа цветет... Понóс пчелы большой... А тут нешто можно экую махину денег со пчелы согнать... Не согласны мы.— «А не согласен, говорит, так вот что: плати три рубля за пень, да убирай его куда хочешь ..»

Последние слова ревизора Аксен Ефимыч передал с таким замиранием голоса, с таким детским ужасом в лице, точно ему пришлось повторить величайшее богохульство.

— «Слышал? Убирай, говорит, куда хочешь».— Ваше благородие,— я говорю,— не может этого быть. Разве вам от великого государя дозволяется это делать? Ведь она, пчела-те, божья тварь; теперича летит она поверх бору, поверх рáмени,— ведь ей не прикажешь, куда сесть; ежели она в каком месте села да сделала занос, то, значит, ей то место богом отведено. Так неужели же вам это дозволяется, что божью тварь зорить, да в другò

теперича место ссылать? Н-ну! Вот мое вам последнее слово будет: ежели уж вы от великого государя имеете такое дозволение, что божью тварь нарушить да переместить... Делайте! Делайте,— я им говорю,— а моя рука на это дело не подымется.— И ушел от них с тем словом. А за мной и другие ушли...

Он перевел дух и ткнул веткой в огонь. Послушная коряга дрогнула, повернулась, пламя ожило и забегало, приведя в движение массу трепетных теней кругом, и лес зароптал, точно из-за какой-то ограды. Казалось, Аксену нужно было это оживление, чтобы усмирить волнение собственной души.

— А Казимирушка-те,— заговорил он с усмешкой,— хи-й-трой... Стоит рядом тут же, а сам ни слова. Ни супроти начальства не может, ни опять супроти божией твари. Стало быть, есть еще сколько-нибудь совести, у Казимирушки-те. Ну, хорошо. Вышедчи я от них — ударился в город, к Семен Миколаичу... Вы Семен Миколаича знаете? Хозяин он по нашему-те уезду...

— Слыхал немного.

Семен Николаевич, о котором говорил Аксен,— был довольно известен в Нижнем. Старый крепостник, молчаливый и угрюмый, как Собакевич, он никогда не выступал ни в земских, ни в дворянских собраниях, но его охотно выбирали в предводители лесного уезда, и он тихо, без шума делал какие-то дела солидно стяжательного свойства.

— Харро-ший человек,— продолжал Аксен своим благосклонным голосом...— Простяк. Когда в городу случится быть, завсегда к нему имеем ход. Вот и на тот раз ударился я к нему: так, мол, и так, вот каки слова нам о бортях сказаны. Сейчас он дверь в другую избу открыл, а там у него такой сидит, пером поскрипывает... «Эй ты, перо за ухом!.. Иди сюда! Слушай, вот что мужик бает, да запиши все». Ну, я рассказал, как вот тебе же, а тот все слушает да на ус мотает. «Ну, что,— Семен-те Миколаич спрашивает,— слышал? Ступай напиши, да мотри, хорошенька-а! Чтобы добыть мужичкам закон!» Тот и написал, братец мой, да, видно, нацелился в самую точку, к министеру по крестьянским делам...

— Такого министера нет, Аксен Ефимыч.

— Ты слушай,— кабы не было, так и ответу бы нам не было... Пришла ведь бумага-те,— ты что думаешь!.. Казимирушка и объявил: плати, старики, три рубли по-старому. Вот то-то. Жив еще бог-те, да и великой государь этого не приказывает, что нарушить, например, весь порядок... Да мы-то, вишь, темные... Охо-хо... А ночи-те много ушло... Спать видно...

Но через минуту он опять заговорил из-под своей лодки:

— А, слышь, плут... Ну, и плут же...

— Кто? — спросил я.— Казимирушка, что ли?..

— Не-ет... Семен-те Николаич...— пояснил он неожиданно и, зевнув, продолжал засыпающим голосом: — Лонись кладнушку мы к Макарью согнали, и довелось мне на Волге на реке вот этак же, как с тобой, с мужиком одним у теплины ночевать. В губернию мужичок-от валился от обчествà с бумагой. Стало быть, надумали они обчеством у помещицы у соседней землицу укупить. И дерни нелегкая,— к хорошему человеку за советом пошли, к самому этому Семену Николаичу... У батюшки его крепостные они были... «Что ж, говорит, мужички! Хорошо, что ко мне заявились. Рад, говорит, я услужить вам. Дайте вы мне доверие, я вам без хлопот землю предоставлю». Мужики дали доверие, радуются, пождут... А барина-те бес-от под ребро и толкни: увидал, что земля гожа и недорога и что нельзя мужикам без таё земли быть,— да слышь ворським-те манером ту землицу за себя и купи! Теперича и завязалась волокита. Мужики-те на барина в один суд, а барин-те мужиков во другой волокёт. Не чают теперь, когда тот грех и прикончится... А хороший человек!.. как это, по-твоему, выходит?

— Плохо.

— То-то, не больно,— видишь, какая вещь,— хорошо. Времена ноне не простые: развесь уши — наплачешься и с хорошими-те людьми...

Он зевнул еще раз и смолк...

Где-то вдали послышался шорох. Спугнутая кем-то пара уток вылетела поверх леса и, начиная успокаиваться, беспечно спускалась на реку... но тут, поравнявшись с нашим притаившимся огоньком, вдруг шарахнулась в сторону, и долго стоял, замирая вдали, над рекой тревожный свист испуганных крыльев...

Я задремал и проснулся. Кто-то шел из лесу, неся что-то грузное на спине. Большой, мрачного вида мужик подошел к нашему огню, кинул сети, заметив нас, подошел к мальчикам, постоял в недоумелой позе, широко расставив ноги, и, как будто этого было совершенно достаточно для его любознательности, отошел и уже больше не обращал на нас ни малейшего внимания. Он подкинул в огонь валежнику, посидел около него, то поворачиваясь к пламени мокрой от сетей спиной, с которой тогда начинал валить пар, точно из трубы, то протягивая к огню ноги и руки. Потом он подошел к лодке и, без церемонии взяв Аксена за ноги, повернул его точно мертвую колоду.

— Ты, Парфен? — спросил тот, пробуждаясь.

— Я.

Аксен переменил положение таким образом, что они лежали теперь головами друг к другу; огонь одинаково освещал мужиков, лодка одинаково прикрывала от ветра. Пришедший буркнул что-то Аксену кратко и угрюмо; Аксен завозился, и под лодкой начался разговор; я слышал только отдельные слова: «из городу... в губернском правлении... бумага...». Потом мрачный мужик смолк, повернулся лицом к небу, причем его лохматая борода как будто загорелась сразу, освещенная костром, и, казалось, заснул. Более экспансивный Аксен сокрушенно вздохнул, подсел на корточках к огню и, кинув на меня косой взгляд, тихо спросил:

— Володимер,—мудрено по батюшке-те... Спишь ты?

— Не сплю.

— Почто не спишь, аль заботушка?

— Да ведь и ты вот не спишь: тоже, значит, забота?

— Забота и есть... судимся мы.

— Не опять ли о бортях?

— Нет! Дело-то наше теперь побольше бортей будет. Теперича, ежели нам не выстоять, так тут уж весь наш крещеной мир порушится.

— Как так?..

— Да вот так. Все Казимирушка... Ты, говоришь, сам нижегородской?

— Да.

— В коем месте проживаешь?

Я сказал свой адрес.

— Так. Доведется мне в Нижний побывать, по свому по хресьянскому делу...

— Заходи тогда ко мне.

Аксен, видимо, просветлел.

— Нешто зайти? Может, абвоката бы нам указал... Не знаешь ли вот этакого человека?

Он назвал одного из темных ходатаев, не имеющего даже права являться в суд.

— Нет, этот не годится.

— Пошто не годится?

— Да ему и в суд ходу нет.

— То-то, бают, нет ходу. Больно дошлый. Что ни возьмется за дело, то и выправит. Судьи, слышь, осерчали,— не берет их сила супротив того человека,— ну, и отказали ему, что и на глаза им не являться...

Я засмеялся.

— Так как же ему за ваше дело взяться, если в суд не ходить?..

— А он, стало быть, только сам не идет; а человека может поставить на самую, значит, линию... это ничего!

— Пустяки это, Аксен Ефимыч!

— Пустяки-й? — и мужик растерянно повернулся от огня.

— Вам надо настоящего, хорошего человека.

Аксен нахмурился.

— Чего лучше хорошего-те. Да, вишь, я тебе скажу,— чужая-те душа больно потемна, не влезешь в ее. Бес-от силен, горами качает, вот какая штука. Больно и от хороших-те людей нашему брату достается... Вон сказывал я тебе про Семена Миколаевича... Уж вот хороший человек... Медалей сколько... с царем говорил... А сам, вишь, великого-те государя омманывает... А иной раз от проходящего-те шатающего человека такое слово услышишь...

Он помолчал и потом сказал вкрадчиво:

— Послушай, Володимер, что я скажу... Был у нас в городу́, в Семенове, человек один; так себе человечина, не из больших, маленькой, а разум имел... Говорил он нам в тую пору: «Вот что, говорит, старички. Дело мое сторона,— а только послушайтесь вы моего совету: землю станут вам отдавать,— примайте, земля пойдет от великого государя; а удовольствия своего объявлять никак

не могите... А то наплачетесь». Нам бы,— видишь ты, какая вещь,— того человека послушаться, а мы ни к чему... уши и развесили. Как вычитали нам решенье: отдать землю, да по урочищам, да по межам обошли, мы и обрадовались.— Довольны, что ль, старики? — «Вполне, говорим, довольны! Можно сытым быть, есть из чего и податями платиться». А тут еще, видишь ты, мужик один с Казимирушкой разболтался, праздничное дело...— Что, мол,— Казимирушка говорит,— во много ль вы, мужики, теперича, тот лес цените? — Мужику бы, конечно, помолчать,— не всяко ведь слово на пользу сказывается, а он, слышь, с дуру-те, как с дубу, и брякни: «Этому мы теперича лесу, говорит, и вовсе цены не полагаем. Прямо считай во сто тыщ!» Видишь ты: единым словом опять весь мир в яму-те и убухал!

— Полноте, Аксен Ефимыч!

— Да уж так, не ко времю сказал! Всяко, брат, слово, и дурное, и хорошее, оно ко времю свою силу имеет. Обмолвился мужичишко глупым словом, а Казимирушка на лету его и подхвати...

Я уставал слушать... История принимала совершенно фантастические, почти волшебные формы, в которых играли роль какие-то «слова не ко времю» и такие же подписи. Казимирушка играл тоже какую-то фантастическую роль, и меня удивляла смесь чрезвычайного благодушия и сдержанного негодования, с которым Аксен отзывался о лесничем... Мне казалось, что это — отношение враждебных отрядов на аванпостах, благодушно разговаривающих в промежутках сражений: лично приятные собеседники, но они готовы вступить в смертный бой при первом сигнале...

— Ты, мол, Казимир Казимирович, кому служишь,— слышу я голос Аксена сквозь дремоту...— Ты, я ему говорю, служишь свому начальству... Так ли? — «Верно, говорит...» — А ты, я говорю, должен служить большому хозяину... А большой-те хозяин кто?..— «Большой хозяин — казна, говорит...» — Казна-а? Нет, не казна... Большой-те хозяин — великий государь, вот кто... Так неужто, по-твоему, великий государь это дозволяет?.. Ежели, например, пчелу не дозволяет зорить, так можно ли этому быть, чтобы весь мир порушить? Теперича в казенной нам лес ходу нету... так?

Я молчал, но мрачный мужик, которого я считал спавшим, буркнул со своего места мрачным басом:

— Само собой...

— И в мужицкой тоже не пускают... Куда податься миру-те? А мир от лесу только и жив... Ты что не баешь нам, Володимер? Ай заснул,— притомился?..

Я не спал, но мне не хотелось говорить. Я чувствовал, что, если начинать разговор, то он затянется до свету: мы заговорим на разных языках. Потому я не ответил.

— Дрыхнет! — презрительно сказал мрачный мужик.

— И то, слышь,— умаялись они. Не с привычки,— благодушно заступился Аксен.

— Что зá-люди? Чьи такие?

— Из городу.

— По каким более делам?

— Кто знает. Без дела, слышь... реку нашу посмотреть. Ученые, полагаю я.

— Подлецы какие-нибудь,— предположил мрачный мужик довольно-таки решительно.— Шатáтели.

— Полно тебе, Парфен, ругаться-то! Пошто зря ругаешься, ничего не видя?..

Я слышал, как оба опять полезли под лодку, но заснули не сразу. Под треск теплины и сонный шепот леса до меня еще некоторое время долетали их тихие разговоры.

Потом оба смолкли... Тихо плескалась струя Керженца. Шептал лес...

Мой сон улетел... Мне опять вспоминались разговоры на балконе лесничего и его рассказы о планах «рационального лесоустройства». Выходило так, что весь этот лесной мир, расстилавшийся под моими ногами, туманившийся и синевший по широкому горизонту, спокойно, величаво и закономерно поворачивается около центра, стройно двигаясь от хаоса к порядку и гармонии. Здесь же, на песчаной отмели, под страстные речи Аксена поворот казался мне уже не таким стройным... Под осями что-то стонало и билось, просеки прорубались по живой целине исконных народных понятий.

Вот летит поверх леса рой божией твари... Где она сядет?.. «Ей не укажешь»,— говорит лесной человек. Ей

отведено место чьей-то невидимой рукой, таинственным законом, царящим и над лесом, и над тварью.

Не так ли и лесной мир: как эта божия тварь, он оседал среди дебрей, без руководства и указки, основывался, роился, связанный с условиями своего быта тысячью невидимых нитей... Но вот по стволу борти стучит топор казенного полесовщика, и трудолюбивая тварь жужжит, тревожится, волнуется.. Над понятиями лесного мира тоже занесен топор, и дикая, стихийная, непосредственная лесная правда, родившаяся где-то в бессознательной древности, протестует во имя стихийных, правящих в лесном царстве законов... А так как лесным людям и весь божий мир представляется только лесом, где всякая божия тварь должна роиться по простейшим законам, одинаковым и для лесной борти и для лесной общины, то теперь лесному человеку кажется, что «Казимирушка» посягает на целый мировой порядок...

Лесной мир выдвигает против преступного нашествия идею «великого государя»... Это его понятие, обвеянное мечтательным обаянием, неопределенно, романтично, смутно и в значительной степени анархично. «Великий государь» этой лесной легенды — прежде всего враг наличного, конкретного государства, враг всего чиновничества и находится с ним в постоянной борьбе... Победа пока не за ним, но все же это таинственная безличная сила, которая в любой момент и по любому поводу может быть приведена в движение и заступиться за мужиков. Дойти до нее трудно, но есть какие-то особенные «слова», которые ее приводят в действие. И те «слова», как волшебные заклинания, не всегда знают мудрейшие и ученейшие. Отставной солдат, бредущий на родину из Питербурху, порой просто неведомый «проходящий человек» кинут порой такое вещее «слово»,— и пойдет оно перекатываться от деревни к деревне, от мира к миру, пробираясь, как лесное эхо, в самые глухие уголки русской земли, где всего живее полумистические суеверные понятия... И по дорогам к Питербурху потянутся мирские ходоки, уверенные, что от проходящего человека они получили самую настоящую формулу заклинания...

Теперь, при тусклом свете костра на пустынной отмели, лесные люди,— я знал это,— предполагают и во мне такого «проходящего», владеющего, быть может,

тайной вещего слова... И я знал также, что разговор наш должен перейти неизбежно в столкновение двух мировоззрений...

Еще пара уток со свистом вылетела из-за леса, но теперь они уже не испугались: костер чуть дымился, мы все лежали неподвижно. Птицы грузно шлепнулись на воду, и вскоре их довольное крякание присоединилось к многочисленному хору утиных голосов, с некоторых пор раздававшемуся на темной реке. Тут было и тихое воркование, и удалые посвисты, и хрюкание, и будто даже собачий лай... Шла какая-то оргия птичьей породы... А около костра слышалось дыхание четырех спящих. Я с невольной улыбкой смотрел на них, и мне казалось, что это четыре ребенка спят у огонька на отмели. Самый наивный из них был, на мой взгляд, знаменитый медвежатник и ходатель за мирское дело — Аксен...

VIII. НА КОРДОНЕ — ЛЕСНАЯ ПУСТЫНЯ — ВОЛГА!

Я проснулся от холода перед самой зарей... На деревьях висела и качалась туманная пелена; разрывалась клочками, уходила в чащу и все двигалась вдоль узкого русла вниз по течению. Слышался треск. Это угрюмый Парфен удалялся на озеро, нагруженный ворохом сетей. Аксен бродил по берегу, подбирая на белом песке черные коряги для потухшего костра.

— Спи-лежи,— сказал он, подойдя к теплине и разворачивая голыми руками притаившийся под золою огонь...— Рано еще, вишь, не вовсе и ободняло.

— А вы куда, Аксен Ефимыч? — спросил я, видя, что он натягивает зипун, которым был накрыт ночью.

— На озеро... Рыбки наловить на уху.. потом за работу...

— Ну, значит, прощайте... В городе будете — заходите.

— Ну? — обрадованно спросил Аксен. — Нешто зайти?

— Конечно... Я помогу вам найти верного человека.

— Спаси бог, добрый человек... А где ж нам тебя разыскать будет?

Я записал на листке адрес. Аксен тщательно свернул бумажку и сунул ее в пехтерь. Затем он догнал своего мрачного товарища, который, обогнув отмель, мелькал между стволами сосен. Оба они остановились, и я догадался, что благодушный Аксен опять старается восстановить мою репутацию. Потом оба исчезли в чаще...

Часа через три мы подплывали к кордону на речке Пуга́е. В этой части Керженца все чаще темная островерхая ель сменяется стройной сосной. Кордон стоял на опушке прекрасного задумчивого бора. Просторные новые избы с пристройкой весело отражались в реке... Две сильно рассохшиеся шестивесельные лодки, в которых в большую воду лесничие совершают свои объезды по Керженцу, теперь сиротливо лежали на песке. Старая дворняга встретила нас хриплым лаем, который гулко отдавался и перекатывался под густыми вершинами сосен, и на эти звуки из окна выглянуло лицо старухи.

Спокойно, должно быть, протекает жизнь в этих лесных избушках, среди тишины, нарушаемой разве стрекотанием на разные лады нестройного хора лесных жителей, которому могучий камертон звенящего бора придает смысл и общую гармонию... Спокойно и скучно!

Старуха, жена лесника, встретила нас с спокойной приветливостью. Мне показалось что-то знакомое в красивом лице, в светящейся улыбке, в лучистых глазах, глядевших с печальною лаской. «Такова, вероятно, будет Марья из Покровского, когда состарится»,— подумал я.

Старуха захлопотала у самовара, а я сел у окна в чистой горнице и стал смотреть в лес. Узкая тропка шла между стволов и терялась в бору. По ней приближалась к кордону корова, помахивавшая головой и лениво останавливавшаяся, чтобы отогнать оводов. За ней так же вяло шла молодая девушка, по временам похлестывая ее хворостиной... Она была недурна собой, но во всей фигуре виднелась какая-то унылая опущенность и апатия. Взгляд ее бессознательно и лениво скользил по давно знакомым стволам и по просветам, которые золотыми пятнами тлели на густом пологе сосновой хвои...

Но вдруг девушка увидела нашу лодочку, меня в окне и незнакомую фигуру одного из моих юношей.

Мгновенно что-то пробежало искрой по всей фигуре молодой девушки. Апатичные, будто заплывшие от вечной скуки черты оживились... Она обернулась, запахнула расстегнутый ворот и стыдливо окинула взглядом изорванное и засаленное на груди ситцевое платье городского покроя. Я увидел, что в сущности она хороша, почти как мать... Только дочери лес не дает, очевидно, того, что он дал матери: красоты спокойствия, гармонии душевного строя с этой лесной тишью...

Принарядившись в боковушке, девушка вошла в избу и, искоса стреляя красивыми глазами, сменила старуху у самовара. Последняя присела на лавку и с словоохотливостью отшельницы, редко видящей чужих людей, стала рассказывать о своей жизни в лесу, отвечая на мои вопросы...

.. Медведи?.. Нет, медведи ничего. Правда, в других местах, бывает, заходят даже в деревни, особливо по зимам. А на кордоне не бывали еще... Звери не беспокоят... А вот когда темною ночью или особливо зимой, в метель и выогу, услышишь, как в лесу тюкают топоры... И лесник выходит, вскинув ружье на плечи... Вот когда жуть берет . Лесные миряна — страшнее кордонным жителям, чем лесной зверь.

Она печально покачала своей красивой головой и сказала с какой-то особенной грустью:

— И то надо сказать, батюшка... Мир-от теснен... Тоже и людям податься-те не́куда... А леснику что делать... Служба... Нанялся, продался...

Этот мотив об утеснении лесного мира сменил для меня в пустынных низовьях Керженца обычный припев скитских и монастырских разговоров о том, что в нынешнем мире «мало усердия»... Здесь выступала другая, тоже глубокая драма...

По лесенке послышались шаги. Высокий пожилой лесник, с ружьем на перевязи, вошел в избу. Старуха смущенно замолчала. Мужик, вешая ружье на колышек и кланяясь нам, пытливо посмотрел на нее. Вероятно, он слышал конец разговора... Должно быть, такие разговоры были нередки у него с женой, сохранившей на кордоне живые мирские симпатии... Мне невольно вспомнился тургеневский «Бирюк», и я с сожалением взглянул на печально примолкшую женщину...

Да, есть свои проклятые вопросы и в глубине этих лесов... Мир знает свое. Лесник знает службу и исполняет приказы Казимирушки... Дело, на взгляд женщины, не без греха... А впрочем, господь разберет все...

Прощаясь, я дал старухе пятиалтынный. Она с недоумением посмотрела на монету и сказала:

— Сдачи-те у меня нету...

— Да что ты, матушка!.. Какая сдача!..

Но старуха так же просто сказала:

— Вного будет... Молоко-те,— что оно стоит?.. Труды,— какие же труды поставить самовар...— Деньги, оказалось, можно взять только за десяток яиц... Яйца и им случается продавать на Волге...

И она взяла пять копеек.

— Далеко еще до Волги, матушка?

— Далече. Весной, в большую воду, одним днем сплываем. А теперь... Никто, вишь, и не плавает об эту пору.

— А жилья так и не будет?.. Вот тут у меня на карте показана деревня.

Старуха с любопытством посмотрела на карту.

— И, батюшка... Какая тут деревня. Сроду не бывало.

— Называется «Красный Яр»...

— А! Красный Яришко! — сказала она с пренебрежением...— Так это уже у самого устья... Да он, Яришко-то, в стороне,— и не увидите... Перевоз тут живет. Дорога пролегла... Вишь, и Яришко прописали... Чудно́е дело.

В час дня мы опять сели в свою лодку. И пока она тихо сплывала прямым плесом,— на берегу виднелась на взгорке фигура молодой девушки, провожавшей нас долгим взглядом. Потом кордон скрылся за поворотом, и только протяжный редкий лай кордонной собаки еще долетал к нам из-за мыса.

Шум, глубокий и почти музыкальный, предупредил нас о близости порогов, носящих странное название «Кремянские Ко́чи». Впереди показались черные, обнажившиеся из-под воды камни, между которыми вода бьется, пенится, бурлит и бушует... Шум несется далеко по глубокому руслу, и высокие берега, покрытые сосновым лесом, отражают его, точно в трубе, придавая зву-

кам глубину и своего рода мелодичность. С высоких яров могучие сосны глядели вниз на нашу утлую лодочку... С перерывами в течение целого часа мы пробирались опасными «Кочами».

Наконец грохот остался назади и только порой еще на повороте напоминал о себе разорванными клочками звуков, точно от отдаленного оркестра... Кругом нашей лодки стояла тихая, глубокая, пустынная тоска.

Если вы посмотрите на карте нижнее течение Керженца, то увидите огромную пустую площадь, по которой вьется зигзагами река. Ни сел, ни деревень, ни одной надписи на карте... Кой-где проведены речки, больше наудачу, чтобы заполнить чем-нибудь эту пустоту. В натуре — это настоящая пустыня на всем пространстве между Керженцем и Ветлугой... Леса, лесные речки, лесные озера, болота. Нужно быть очень опытным, чтобы ходить по этой пустыне... То незаметная *вадья* чвокает под ногой, то заманчивая *чарусá* — зеленая полянка, затянутая свежей чудесной травкой, заманит вас в непроходимую гибельную топь... Кой-где, в дремлющей чаще попадаются могилы старцев и стариц, «иже за веру убиенных», или «приявших добровольное огненное венчание» в срубе. До сих пор указывают в керженских чащах места, где подвизался знаменитый в расколе суровый Софонтий, который вел борьбу даже с приверженцами Аввакума (онуфриянами), и где Варлаам, с благословения того же Софонтия, приял страшную огненную кончину вместе с двенадцатью попами, «не восхотевше Никоновых новшеств прияти»... Каменный столбик с обомшелой двускатной крышей и восьмиконечным крестом... Тихий шорох леса, и все реже и реже — две-три фигуры усердных ревнителей, пришедших на поклонение мученическому праху...

Южнее лесной речки Люнды, почти на середине между двумя реками — Керженцем и Ветлугой стоит среди лесов село Нестиар, над озером того же имени. Оно составляет крайнее поселение, на рубеже сплошного лесного царства. Есть поверье, что некогда из Васильсурска церковь с иконой Варлаама Хутынского двинулась с крутого берега и, пронесясь над лесами, невидимо стала над озером и стоит до сих пор, и из озера слышен бывает звон, как из Светлояра.

Странны эти звенящие озера лесной стороны! Впрочем, гр. Толстой, своеобразный местный писатель пятидесятых годов, рассказывает другое поверье: в прежнее время старики и молодые выходили в ночь перед пасхой на холм в лесу, около Нестиара, и тихо ждали благовеста. В тот час, когда в «жилой стороне», в старом Макарье, ударяли в большой колокол, нестиарцы слышали будто тихие отголоски этого звона. Местные жители объясняли это тем, будто их озеро сообщается подземными истоками с Волгой, и гул передается водой. Сам Толстой допускал возможность заноса ветром макарьевского большого звона по просекам и ветроломам. Как бы то ни было, это жадное ожидание в глухой лесной деревушке отголосков отдаленного мира — очень поэтично и характерно, и я невольно вспомнил его теперь, когда сам испытывал тяжелую лесную тоску...

Пенякша... Ялокша... Ламна... Ржавые, бурые эти речки тихо вливаются в Керженец... Мы отмечаем их по нашей карте, и каждый раз, как мы провожаем глазами новое устье, становится скучнее...

Зайцы глядят на нас с берега наивными круглыми глазами. Черными точками выплывают из-за лесов дикие коршуны и носятся кругом, то появляясь над рекой в поле нашего зрения, то исчезая; тревожно кричат вороны, как базарные торговки, сзывая товарок на защиту; какая-то птица следует за нами, звонко спрашивая о чем-то из глубины леса...

Вот впереди, нагнув толстую ветку своею тяжестью, сидит на прибрежной сосне над яром какая-то громада, отражаясь в потускневшей реке. Я кидаю весла; наша лодка тихо сплывает по течению, не производя ни малейшего шума. Поравнявшись с деревом, я прицеливаюсь из револьвера. Гулкий выстрел раскатывается над рекой, будя в чащах тревожное эхо. Громадный орел тяжело расправляет рыжие, пятнистые крылья и скользит в воздухе над нашими головами. Одно мгновение он будто останавливается над лодкой. Хвост опущен, чтобы задержать на секунду полет, круглая голова свесилась книзу и два острых глаза смотрят на меня с удивлением и злостью... «И что тебе вздумалось, право?» — как будто недоумевает старый великан дикого керженского леса. Он делает несколько кругов и улетает вперед. А еще че-

рез четверть часа отчаянные стоны какой-то пичуги оглашают реку, и ветер несет с берега растрепанные перья... Но все же мой озорной выстрел кажется мне чем-то, нарушающим законы леса. Убивать, чтобы есть,— таков царящий в лесу главный и, пожалуй, единственный закон,— а я... зачем бы я убил старую птицу?..

Смеркается... Сумрак кроет небо, застилает реку, туман залегает в лощинах, и лапы умерших деревьев тянутся со дна, то и дело хватая, толкая, поворачивая нашу лодку.

Следы еще одной керженской драмы, безмолвной, отвечной, стихийной...

Вот с берега свесилось вершиной в воду еще зеленое подмытое дерево. Как грустно шевелит оно в волнах своими ветвями, как тревожно шепчут над ним ближайшие соседи, которым грозит та же участь! Часть корней еще в почве и истощают последние усилия, чтобы поддержать гибнущую жизнь...

Вот мертвая ель с ветками в два ряда, точно лапы гигантской сороконожки, утонувшей спиною книзу. Вот огромная «вискарья́» с нелепыми, точно от судороги сведенными лапами корневища; вот две сосны, выросшие, жившие и погибшие рядом, как две сестры. Они и теперь лежат, переплетясь корнями и ветками, прямые, стройные, красивые даже и в смерти... Вот замытый илом торчащий с глубокого дна по течению «кобел», невидимый, изменнический, опасный, способный остановить целый плот и доставлявший нам в пути не мало затруднений...

Жутко от непрерывного зрелища этого кладбища деревьев.

И так хочется встретить живое человеческое лицо, и так рад, когда среди этого хаоса мелькнет правильный ряд рыбацких кольев. Кой-где на мели виднеется опрокинутая лодка,— значит, ее хозяин недалеко подрубает дерево или ставит на лесном озере сети. Но может быть также, что озеро далеко или мужик побрел в чащу за ухо̀жьями лесной пчелы, и ботник прождет здесь хозяина дня два или три...

Эти строки я заношу в свою записную книжку при свете костра на ночлеге. Где-то надо мной шумит сырыми ветвями темный лесище. Вправо — плещется река, подымается ветер, насыщенный сыростью, несущий бес-

форменные тучи. Какая-то птица мрачно ухает в чаще, меняя места, точно играя с кем-то в прятки; другая все надрывается и стонет, как будто у нее отняли детенышей. А на реке, которой я не вижу в темноте, вот уже раза два грузно бухалась над омутом какая-то неведомая громадина... Не опять ли медведи?.. И мне невольно вспоминается отзыв Аксена, убежденного, что медведь «понимает всякую штуку»... Может быть, он понимает также, что мы здесь беспомощны у костра, с жалким револьвером...

Да, теперь я отлично понимаю, что, называя друзьями нас, первых встречных,— лесной человек Аксен говорил не пустую фразу.

Среди этих темных, молчаливых лесов, наполненных жуткими воспоминаниями и могилами убиенных и принявших огненное венчание, над рекой, усеянной трупами деревьев, под шум перекликающихся непонятными голосами лесных вершин — встретиться с человеком, у которого в нужде найдешь сочувствие и помощь, с которым поговоришь на языке людей, а не леса,— да это в самом деле нечто больше наших пустых встреч и шапочного знакомства. Я так ясно представляю себе, как Аксен Ефимыч «ждал-пождал», вглядываясь в темноту, не мелькнет ли наша лодка. Я тоже ждал бы, если бы надеялся дождаться чьей бы то ни было лодочки... А если бы вдобавок из нее вышел не незнакомый пришлец, а Аксен, то это была бы поистине встреча двух давних приятелей...

Но ждать было некого, и я тревожно заснул, прислушиваясь к диким крикам какого-то лесного хищника, к жалобным воплям его жертвы, к робкому шороху дождя, нерешительно ударявшего по листам...

Во весь следующий день только один ботничок на песчаной косе напомнил о человеке.

— Эй, кто живая душа? — крикнул я. Но лесное эхо вернуло мертвое подобие моего оклика, да осинки на берегу залопотали что-то совсем непонятное.

И еще целый день тоски и одиночества. Солнце садилось. Мы со страхом думали, что еще одну ночь придется провести на песке. Как вдруг...

Один из мальчиков радостно вскрикнул. По яру над самым берегом ехал мужик в телеге! Вскоре перед

нами мелькнула избушка перевоза... Это «Красный Яришко».

Еще четыре версты веселой работы веслами,— и нашу лодку едва не кинуло на столбы старой разрушенной мельничной плотины, перегородившей с берега на берег все устье Керженца. Пришлось раздеваться и с большим трудом спускать на руках лодку по этому «шуму». Когда это кончилось, впереди перед нами было устье. Большой песчаный остров загораживал волжское русло, и над обрезом острова, над кустами тальника, мелькая живым белым пятнышком, несся взвиваемый ветром флаг над мачтой невидимого для нас парохода...

Тот, кто провел долгие дни и ночи в пустынных местах, поймет наши ощущения. Взгляд, так долго стесненный стенами глухих лесов, теперь радостно разбегался по необозримому, величавому простору. Далекие Волжские горы, с селами и куполами церквей по склонам, чуть-чуть задернулись тонким туманом, сквозь который освещенные окна сверкали блестками расплавленного золота. Церкви и стены старого «Макарья на желтых водах» утопали в розовой дымке, и грузный паром отваливал с лысковской стороны с народом, с возами сена, с лошадьми, которые рисовались на ясном небе выгнутыми спинами и раскоряченными ногами. И такой же паром, с выгнутыми лошадиными спинами и торчащими кверху оглоблями, плыл, отраженный отчетливо и ясно в глубине реки...

Не хотелось грести, не хотелось спешить, не хотелось отрывать глаз от могучей, плавной красавицы-Волги, с ее пламеневшим закатом, с ее зелеными горами и деревнями, погружавшимися уже в предвечернюю дремоту. Но появившийся вдали и, очевидно, бежавший к песчаной отмели у села Исад пароход напомнил нам, что мы можем опоздать, и поэтому пришлось опять налечь на весла.

Еще через час, под гул первого свистка, мы стрелой подлетели к кашинскому пароходу, опять разводившему пары. Публика, свешиваясь к бортам, встретила любопытными взглядами конец нашей экспедиции, и нас охватил говор, толкотня, крики грузчиков, спешивших по узким сходням с тюками на дюжих плечах.

Пароход отвалил и быстро побежал между высоким берегом, с погорелым селом в половине горы и песчаными отмелями, мимо которых мы с такими усилиями неслись час назад на своей лодочке.

Свисток, поворот, волна, шипя, набежала на песок отмелей, толкнула и закачала небольшую кладнушку, у которой, причаленная к корме, трепетала наша верная лодочка, сданная мною для доставки в Нижний... И мне стало немного грустно расставаться с доброй «посудинкой», служившей нам столько дней, укрывавшей нас столько раз от холодного ночного ветра и от ливня в темную, грозовую ночь...

Лунный свет бесконечным столбом лег сзади по широкому руслу Волги, и золотая рябь прыгала, сверкала, переливалась расплавленным золотом за колесами парохода.

Несмотря на усталость, я не уходил с верхней палубы. Мне хотелось еще раз кинуть взгляд на керженское устье и попрощаться с пустынной рекой, оставившей в душе столько своеобразных впечатлений.

Вот уже Макарий назади, и его купола, его старые стены, его кресты выделяются на потемневших горах противоположного берега. Вот последний паром скользит в светлом тумане от лысковской пристани. Вот чуть видные притаились в ложбинках Татинец и Слопинец, старинные разбойничьи села, о которых говорит до сих пор недобрая поговорка: «Татинец и Слопинец — ворам кормилец!»

А вот направо и остров... Жадно взгляд проникает сквозь тонкий туман. Вот завешенные прозрачною мглой дремлют две горы, и тонкая расщелина, пронизанная лучом, чуть-чуть брезжит между ними... Это устье и «шум» старого Керженца...

И невольно воображение летит за этой полоской тонкого лунного сияния все далее, по изгибам и кривулям пустынной реки, и картины недавнего пути встают одна за другой... И видится мне наша лодочка, скользящая между «задевами» и скрюченными лапами лесных мертвецов...

Остров остался позади, исчезли, как мечта, очертания керженского устья, гудят свистки, какие-то огни летят на нас, валится мимо шум и грохот, и, ломая широ-

кую гладь волжского простора, мчится весь освещенный огнями гигант «Кавказ и Меркурий». Я устал, мне грустно и кажется мне, что так же быстро бежит наша жизнь, что прошлое так же исчезает в тумане воспоминаний...

Пора! Я кидаю еще один взгляд назад, в неопределенную синюю даль... Исчез уже и Макарий... Огоньки, мглистое сияние, слабые трепетные отражения... Потом столб лунного света и одинокая баржонка сонно качается над засыпающим простором могучей реки...

1890

Река играет

Эскизы из дорожного альбома

I

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево — серый неуклюжий столб с широкою дощатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

Пожертвуйте проходящии
на колоколо господне.

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию беспокоящим шепотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется...

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещущей речки, в соседстве этого шалаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизованных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица «раскольников» и «церковных», встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня, с раскрытыми дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования,— поплелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народною мыслью.

Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и привстал на своем песчаном ложе.

II

Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании ветлужского парохода, вода была далеко, за старою лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем: теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса,— будь мой сон еще несколько крепче,— и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, взыграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился па́водок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водою, тянулся из нее, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух и мать-мачеха, и вся зеленая братия стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби.

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними темные ели рисовались зубчатою чертой; далее высились красивые осокори и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели клади досок, свежие бревна и срубы, а в нескольких саженях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков... И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело пушистых клочьев пены, или, как ее называют на Ветлуге, речного «цвету».

И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к пожертвованию на

«колоколо господне», такими наивными каракулями глядевшее со столба...

> Все это было когда-то,
> Но только не помню когда...—

невольно вспомнились мне слова поэта.

III

— Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река-те. Этто домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай проходящего-те у меня понялá уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек!

Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

— И чего только делат, гляди-ко-ся, чего только делат Ветлуга-те наша... Ах ты! Беды́ ведь это, право беды́...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понурив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубахе и синих пестрядинных портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка, а теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека.

— Унесет у меня лодку-те...— говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела.— Беспременно утащит.

— А тебе бы,— говорю я, разминаясь,— вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делат, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится попрежнему.

— Тю-ю-ю-ли-ин! — доносится с другого берега призывной клич какого-то путника. На вырубке, у съез-

да к реке, виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшею фистулой: — Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

— Вишь, вишь ты — опять!.. А вечор, еще, гли-ко-ся, дальше мостков была вода-те... Погляди, за ночь чего еще наделат. Беды́ озорная речушка! Этто учнет играть и учнет играть, братец ты мой...

— Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-ай! — звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного «цвету».

— Тебя ведь это зовут! — говорю я Тюлину.

— Зовут,— отвечает он невозмутимо, тем же философски-объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки.— Иванко, а Иванко! Иванко-о-ò!

Иванко, светловолосый парнишка лет десяти, копает червей под крутояром и так же мало обращает внимания на зов отца, как тот — на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой — девочка лет пяти — бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее.

— Баба идет,— говорит он мне, глядя в другую сторону.

— Ну? — говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны.

— Чё еще нукаешь? Что тебе, бабе, нужно? — спрашивает Тюлин.

— Чё-инò, спрашиват еще... Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и баять...

— Ну-ну! — с негодованием возражает перевозчик.— Что ты кака́ сильна пришла. Разговариваешь...

— А что мне не разговаривать! Залил шары-те... Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, не́годя пьяного, с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвон парень тебя перемахнет... Иванко, а Иванко, слышь! Иванко-о̀!.. А вот я сейчас вицей его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

— Ну-ко ты мне, проходящий, вицю дай, хар-рошую!

И он, с тяжелым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватает весла.

— Две копейки с нее. Девку так! — командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне: — Беда моя: голову всеё разломило.

— Тю-ю-ли-ин! — стонет опять противоположный берег.— Перево-о-о̀з!..

— Тятька, а тятька! Паром кричат, вить,— говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно уж зеват,— спокойно констатирует Тюлин.— Сговорись там. Может, еще и не надо ему... Может, еще и не поедет. Отчего бы такое голову ломит? — обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину не трудно: от бедняги Тюлина водкой несет, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажен, то и дело доносятся острые струйки перегару, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени.

— Кабы выпил я,— говорит Тюлин в раздумье,— а то не пил.

Голова его опускается еще ниже.

— Давно не пью я... Положим, вчера выпил...

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

— Кабы много... Положим, довольно я выпил вчера... Так ведь сегодня не пил!

— Так это у тебя, видно, с похмелья,— пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишенною основания.

— Разве-либо от этого Нонче немного же выпил я.

Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю...— чуть слышно летело оттуда, из-за шороха речных струек.

— Разве-либо от этого. Это ты, братец, должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю...

IV

Между тем тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком, для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые, выцветшие, как и у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь? — спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирическою.

— Голову, братец, всеё разломило. И от чего бы?

— Винища поменьше пей.

— Разве-либо от этого. Вот и проходящий то же бает.

— А лодку у тебя, гляди, унесет.

— Как не унести. Просто-таки и унесет.

Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.

— Давай паром, што ли,— ехать надо.

— Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?..

— А ты уж накрасился...

— Выпито. Голову всеё разломило, беды! А ты, может, лучше не ездий.

— Чудак! Чай, у меня дочка там выдана. Звали к празднику. И баба со мной.

— Ну, баба, так, стало быть, не миновать, ехать видно. Э-эх, шестов нет.

— Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиват Ветлуга-те.

— А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескиват?.. Иванко, сгоняй за шестами-те, парень!

— Сходил бы сам,— говорит Тюлин, — тяжелы вить.

— Ты сходи,— твое дело!

— Не мне ехать,— тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокойно остаются на местах.

— Ну-ко я его, подлеца, вицей вытяну...—опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья.— Проходящий! да́-ко ты мне вицю...

Иванко с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

— Не донесет,— говорит мужик.

— Тяжелы вить! — подтверждает Тюлин.

— А ты бы добежал хоть встречу-те,— советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху угора с длинными шестами.

— И то хотел сказать тебе: добеги-ко-сь.

Оба сидят и глядят.

— Евстигне-е-й! Лешай!..— слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.

— Баба кричит,— говорит мужик с некоторым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

— А как у меня мерин сорвется да мальчонку с бабой ушибет...— говорит Евстигней.

— А резва лошадь-то?

— Беды́.

— Ну, так очень просто может ушибить. Да ты бы, послушай, тово... назад бы. Что тебе ехать-то, кака́ надобность?

— Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает, наконец, шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

— Эй, проходящий! — обращается он ко мне как-то одобрительно.— Ну-ко, послушай, и ты с нами на паром! А то, видишь вот, больно уж река-те наша резва.

Мы все взошли на скрипучий, дощатый паром; Тюлин — последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну: уж не достаточно ли народу и без него. Однако все-таки взошел, шлепая по воде, потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:

— Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

— Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать,— протестую я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспросветною скорбью, спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, уносятся от нас, а мысок с зеленою подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

— Несет вить.

— Несет,— ответил мужик, с натугой налегая на чегéнь правым плечом.

— Пылко несет.

— Да ты что стал? Что не пхаешься?

— Поди пхнись. С левого-те борту не маячит.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду,— его чегéнь тоже не достал до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:

— Подлец ты, Тюлин!

— Сам такой! Пошто лаешься?

— За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

— Поговори!

— Пошто длинных шестов не завел?

— Заведёны.

— Да што нету их?

— Дома. Нешто мальчонка приволокет... двадцати-то четвертей?

— Говорю: подлой ты человек.

— Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!

Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову.

— Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмо-Демьянск) сплывем, аль уж как?..

V

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья «цвету». Перед глазами мелькает мысок с подмытою ивой и остается назади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избушкой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

— Куда ж мы теперича? Эх беды́, правы беды́,— безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже.

— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну. Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

— Садись в гре́би, Евстигней!

— Да у тебя еще есть ли гре́би-то? — сомневается тот.

— Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.

— Проходящий, лезь и ты... в тую ж фигуру.

Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай мотри». На мое предложение — заменить мальчика у руля — он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать... Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

— Вались на перевал, Иванко, вали-йсь на перевал! — быстро, сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.

— Крепи! — командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бечевкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром «ходом» подается кверху.

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.

— Эх, парень,— говорит он, мотая головой,— кабы на тебя да не винище,— цены бы не было. Винище тебя обманыват...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.

— Греби, греби... Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним «огрудком», паром унесло бы на узкий прямой плёс, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно,— мостки давно затопило,— то Тюлин пристает к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостылели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «нéгодям-мужикам» и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

— Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, резвую, по заду,— советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но, наконец, воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

— Что, цела? — спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

— Цела! — с радостным изумлением отвечает тот.

Баба сидит, как изваяние.

— Ну? — недоумевает и Тюлин.— А думал я: беспременно бы ей надо сломаться.

— И то... вишь, какá крутоярина.

— Чё ино! Самая такá круча, что ей бы сломаться надо... Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! — кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки.— Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи!

Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: «навались», «ложись в перевал» и «крепи́»,— мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пот льет, от непривычки, градом.

— Проси с Тюлина косушку,— говорит, полушутя, Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости — все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:

— Причалим — поднесу... И не одну, слышь, поднесу,— добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его явственно проступает если не удовольствие, то во всяком случае мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

— Едут...— скорбно говорит перевозчик.

— Да еще, может быть, не поедут,— утешаю я,— может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взыгравшею рекой, с деревянною церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужской природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой...

Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно серьезно:

— Ежели без товару, само собой обождут. Неужто повезу? Голову всеё разломило...

VI

Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще «кричать» где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый,

широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка, которую согласно предсказанию знатока-перевозчика унесло-таки течением.

— Что, Тюлин, здоров ли?

— Слава богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

— Зачем?

— Вишь, склёка вышла. Плоты Ивахински река разметывать хочет.

— Тебе-то что же?.. Разве забота?

— А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься...

К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развевал полу его чуйки, в руке сверкала посудина с водкой Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

— Что, приплескиват?

— Беды́! — ответил Тюлин.— Чай, сам видишь.

— А плотишки у меня поняла́ уж?

— Подхватыват, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула,— в силу, в силу бегом догнал за перелеском...

— Ну?

— То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

— Ах ты! — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой.— Не оглянешься,— плоты у меня размечет. Что убытку-то, что убытку! Ну, и подлец народ у нас живет! — обратился он ко мне.

— Чего бы я напрасно лаял православных,— заступился за своих Тюлин.— Чай, у вас ряда была...

— Была.

— На песок возить?

— То-то на песок.

— Ну-к на песке и есть, не в другим месте.

— Да ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!

— Как не покрыть,— покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

— Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток...

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера у них был расчет, причем Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и взыграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась.

— Ни за сто рублев! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим...

Река прибывала. Ивахин струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотах, а только кланялся и умолял, чтобы артель не попомнила на нем своей обиды и согласилась испить «даровую».

— Да ты, такой-сякой, не финти,— говорили артельщики.— Не заманишь!

— Ни за сто рублев не полезем в реку.

— Пущай она, матушка, порезвится да поиграет на своей волюшке.

— Пущай покидат бревнушки, пущай поразмечет. Поди собирай!

Но четверть все-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки.

— Важно поют! — сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

— Много ли недодал вчера? — спросил Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто:

— Об двух красных спорились.

— Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным.

— Хошь бы плоты-те повыволокли,— сказал он с глубокою тоской.

— Чать, выволокут,— успокоил Тюлин.

— Поговори им,— заискивающе сказал торговец.— Мол, боле не приплескиват, назад, мол, к ночи пойдет.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

— Другую четверть волокешь?

— Другую.

— Споишь и третью. Перевезти, что ль?

— Вези!

Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще сильнее, еще нестройнее, отражаясь от зеленой стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новою посудиной на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Под звуки унылой дубинушки бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъемы. Скоро весь ивахинский лес высился в клади на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудины, на этот раз пустые.

Тюлин, еще более унылый, провожал его долгим взглядом.

— Ну что, побили? — спросил я у него.

Он перевел взгляд на меня и спросил:

— Кого?

— Да Ивахина.

— Не, что его бить...

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия

Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно новейшего происхождения.

— Тюлин, голубчик!

— Ну, что?

— Отчего у тебя синяк?

— Синяк... Да отчего ему быть, синяку?

— Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.

— Кто меня бил?

— Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Разве-либо от этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка:

— Разве-либо не Парфен ли это меня саданул?..

— Пожалуй, что и Парфен,— опять помогаю я медленному процессу нового приближения к истине.

— Беспременно Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишко,— завсегда норовит как бы нибудь человека испортить...

Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять послышался призыв:

— Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

— Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

— Зовут ведь? — радостно сказал он, вопросительно глядя на меня.

— Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй...

— Не, што ты, бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што! На мировую, значит...

И Тюлин с удивительною живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки,— нос к корме,— он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

— Перевозчик где?

— Вон...— указал я на светлую полоску, взрезавшую темную поверхность реки уже на середине.

Он вгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз:

— И подлый же мужичок здешний перевозчик живет,— сказал он, впрочем, довольно спокойно.— Гляди, ведь и лодки все уволок... Всю ночь его теперь оттеда не достанешь.

Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился.

— Проходящие будете?

— Проходящий.

— Не с озера ли?

— С озера.

— Так. Много теперича народу идет. Завтра, что есть, и то еще пойдут... Эх, как река-то пылит, беды! Ежели теперь нам с вами на паром... Да нет, не управиться... Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

— К пароходу.

— Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам.— Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, теплые, тихие. Наш

огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха, наряду с торопливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разноголосице. На одном из недальних холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки Днем я не замечал ее,— так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма, а кое-где четыреугольники крыш вырезывались в синеве неба.

Это — деревня Соловьиха. Мой новый знакомый, от нечего делать, рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитателей. Народ в Соловьихе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях соловьихинцы слывут «воришканами». Случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семенов, сосед старичок, и на ночлег просится. «Да что ты, чай тебе до дому всего с версту?» — «С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи идти. Как бы опять к пролуби не свели».

Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя «катеньку» в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к проруби.

— Хошь в пролубь?

Ну, разумеется, не хочет. Они и не неволят,— отдай только им «катеньку». Он отдает, делать нечего. Они опять:

— Хошь в пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтоб мне, говорит, на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Сколько раз этак его ловили,— надоело ему, перестал вечером мимо Соловьихи ходить, особливо когда выпивши, а не сказал никому. «Водили, говорит, к пролуби соловьихинцы», а кто именно — ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку «воришканов». Ну, где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте», в случае нарушения клятвы? Мой новый знакомый, сам «ветлугай», уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад «красноярками» [1],— ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги, уходите на сутки,— никто не тронет.

— Как же все-таки соловьихинцы?

— Такой у них, позвольте сказать, обычай...

Ну, где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?.. И огоньки Соловьихи мигали мне приветливо и простодушно: «нигде, нигде»...

— Вот и у Тюлина,— сказал я, улыбаясь,— тоже обычай.

— Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А и то надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет... Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим...

— Мир беседе!

— Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

— Этого мы человека видели.

— Не мудрено,— ответил я.

— На Люнде были?

— Был.

---

[1] Красноярками называют фальшивые «бумажки».

— Там и видели. По усердию или обет был дален владычице?

— По усердию. А вы?

— Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам.

— Что ж, садитесь к огоньку.

— Да нам бы на перевоз,— дó дому недалече. К утру и дошел бы я.

— Да, на перевоз!..— вмешался мой знакомый.— Тюлин последнюю ладью уволок. На пароме разве?..

— Где!.. Больно река взыграла.

— Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-и́н! Лодку дава-а-а́й!

Отклик покатился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно,— так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо

— Шабаш! — сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать,— сказал первый из моих знакомых,— и всего-то версты четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? — спросил он с лукавою усмешкой.

— Нет, я в здешних местах не бывал.

— У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы,— я вот рассказывал,— любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы — те свое беречь мастера. Этто годов, может, пять назад, пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно. играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, верткая «А что, братцы вы мое,— говорит один,— как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то,

пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошели к себе привяжем, кабы железо не потопить».— «И то, мол, дело!» Так и сделали. К реке шли — железо в руках несли; в лодку садиться — давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну, железо-то крепко к спинам привязано,— не потерялось. Так вместе с железом хозяева ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и, при свете огонька, на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

— Ну, а вы-то откуда? — спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

— А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

— А все-таки, родом с Ветлуги?

— С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи, да еще старый засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с «перекатцем», выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может и от «винища». Как бы то ни было, слушать этот голос с юмористическою ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: «с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся»,— когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики,— этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большин-

ство сильное отрезвляющее впечатление; начетчики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была решительно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение...

— Помилуйте, бабий разговор, просторечие,— сказал мне с неудовольствием один из начетчиков.— Нешто это от писания?

— Да это кто такой, не Ефим ли? — спросил другой, подошедший к концу разговора.

— Он.

— Пустой мужичонко, ветлугай. В работниках у нас живал. Писания не знает. Евангелие одно читал,— и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям, или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке . Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое еще на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему: о Люнде, о Светлояре и Китеже, об уреневцах. Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда, каждая, свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются уреневские начетчики, устраивающие каждый год свой импровизированный алтарь под одним и тем же старым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского священника, в полуманатейке и с длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десяток молящихся,— около уреневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди, однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры,— уреневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя

бы малейшего снисхождения и вся святость сосредоточивалась на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми «стриженными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

— Очень уж высоко сами себя держат,— говорил Ефим.— Народ, нечего сказать, просужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселсе,— ответил за Ефима хозяин воза.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и сказал:

— Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чудно́!

— А что?

— Да так. Этто нанялся я у них зимусь к одному: брусу из лесу выволокчи. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошадѐ ночью. Наутро проснулся я, а темно еще — дело зимнее. Гляжу: старуха светец засвечает, потому молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашо́ные. Ну, думаю, и мне пора; помолюсь, дай-ка, и я да лошадь пойду снаряжать. Лезу тихонько с полатей, стал за ей, давай себе креститьця. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: «Ты, говорит, что это делаешь?» — «А что, мол,— молитьця было похотел».— «Погоди»,— говорит. «Чего годить? — самая пора».— «Погоди, мол, после». Ну, после, дак и после, опять я полез на полати. Отмолилась она, свечки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погодя, старче с печки лезет, свою икону тащит на божницю, свою и свечку зажигат. Я опять с полатей. Думаю, теперь и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! «Ты што это?» — «На вот! да я, мол, было молитьця целился».— «Погоди, говорит, не годится тебе». Вот оказия! Опять видно, на полати лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодица слезат, с молодым хозяином в боковушке свечку затеплили. У тех икон нету,— одно распятьё. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятьё помолюсь.

— Ну, до́пустили, что ль? — спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился.

— Не! Што вы думаете? — и тут не до́пустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошел я в боковушку, а там голые стены. Они и распятьё-то уволокли... Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнушко господне помолюсь.

— Три веры в одным дому! — заметил солдат.

— Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодця, честь-честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицю, да еще, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. «Ах вы, говорю, такие не эдакие. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете».— «А потому,— старуха бает,— и бракуем, што он по Русе ходит, с вашим братом, со всяким поганым народом нахлебается...» Вот и поди ты, как они об нас понимают!

— Д-да,— подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову.— Видишь ты, какѐ грозны живут... А сами-те, бесстыдники! Теперича у нас, поблизу, в деревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушел, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да еще чижолую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думал: родну-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сестрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тятькой не приходится. Так вот этим не брезгуют. Охо-хохо-о́... Не спать ли пора?

Водворилось ненадолго молчание.

— Смешиця по Русѐ пошла,— раздался через минуту простодушный голос песочинца.

— Давно уж это,— сказал, укладываясь, солдат,— не со вчерашнего дни.

— Чё не давно? Вот теперича молока́на опять...

— Ну, эти иная статья, другого роду. Спи-ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о «смешице», которая пошла «по святой Русе», долго еще не мог улечься. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

— Особа статья, говорит.. Чего не особа статья! Сам с ними водитця, богам нашим молитьця не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и баять не надо...

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

VIII

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже «цвету», только кое-где мерцали, растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека...

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уж удалая головушка полегла на вырубке и в кустарнике. Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улегся рядом со спящими ветлугаями, любуясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военною хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

— Перево-óз!

— Перевоз, перевоз, перрево-ó-оз!

— Эй, перевоз-чик, живей — э-эй!

— Го-го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздавшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лощинах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинец, которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

— Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряженная круглою сытою лошадью, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчас же узнал уреневцев... Тут были и третьеводнишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый «юрод», и еще какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцеремонным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и, в свою очередь, глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индепенденты времен Кромвеля. Вероятно, эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.

— Эй, вы, ветлугаи-водохлёбы! где перевозчик?

— Перевоз, перевоз, перре-во-óз!..

Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса уреневцев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся опять желтовато-белая от «цвету». Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка,— думалось мне,— устоит ли и теперь тюлинский стоицизм?»

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на средине Очевидно, философ-перевозчик тоже находился под обаянием грозных уреневских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева ночевавших возов вели за чёлки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться, и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком носогрейку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну их, не люблю,— ответил он, раскуривая.— Мне не к спеху,— пойду себе по росе... А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колес, а через четверть часа над мысом появился белый флаг, и «Николай» плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя зачаленную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода, и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался все новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица река, еще окутанная кое-где синеватою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, беза-

лаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения — с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, от *тех* веет таким холодом и отчужденностью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда...

Милый Тюлин, милая, веселая, шаловливая взыгравшая Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?

1891

На затмении

Очерк с натуры

I

Продолжительный пароходный свисток. Я просыпаюсь. За тонкою стенкой парохода вода, кинутая колесом на обратном ходу, плещет, стучит и рокочет. Свисток стонет сквозь этот шум будто издалека, жалобно, протяжно и грустно.

Да, я еду смотреть затмение в Юрьевец. Пароход должен был прийти туда в два с половиной часа ночи. Я только недавно заснул, и теперь уж надо вставать. Приходится ждать несколько часов где-нибудь на пустой улице, так как в Юрьевце гостиниц нет.

Какова-то погода? Я гляжу из окна. Пароход уже остановился; волна, разбегаясь от бортов, чуть поблескивает и теряется в темноте. Дальний берег слабо виден во мгле, небо покрыто тучами, в окно веет сыростью,— предвестники не особенно благоприятные для наблюдений...

Кое-кто из пассажиров подымается. Лица сонные и не совсем довольные. Между тем снаружи слышно движение, кинуты чалки на пристань. «Готово!» — кричит чей-то сиплый, будто отсыревший и недовольный голос.

Пока я собираюсь, один из пассажиров, по виду мелкий волжский торговец, успел уже сбегать на пристань и вернуться на пароход. Он едет до Рыбинска.

— Ну, что там? — спрашивает у него товарищ, лежащий на скамье, в бархатном жилете и косоворотке. Оба они не особенно верят в затмение.

— Кто его знает,— отвечает спрошенный,— дождик не дождик, так что-то. А на берегу, слышь, башня видна, и на башне остроум стоит.

— Ну?

— Ей-богу! Поди хоть сам посмотри.

Уж несколько дней в народе ходят толки о затмении и о том, что в Нижний съехались астрономы, которых серая публика зовет то «остроумами», то «астроломами». Слова эти часто слышны теперь на Волге и звучат частью иронически («Иностранные остроумы! Больше бога знают...»), частью даже враждебно, как будто поднятая ими суета и непонятные приготовления сами по себе могут накликать грозное явление. Вчера с вечера брошюра «О солнечном затмении 7 августа 1887 года» мелькала среди простой публики. В ней объяснялось, что такое затмение и почему удобно наблюдать его, между прочим, из Юрьевца. Но большинство пассажиров третьего, а также значительная часть второго класса относились к ней сдержанно и даже с оттенком холодной вражды.

Люди же «старой веры» избегали брать ее в руки и предостерегали других.

Я выхожу. Пристань стоит довольно далеко от берега. С нее кинуты жидкие мостки, и ее качает ветром, причем мостки жалобно скрипят, визжат и стонут. Наш пароход уйдет дальше, между тем небольшая комната на пристани полна. Сонные, усталые и как будто чем-то огорченные пассажиры все прибывают. Снаружи, вместе с ветром, в лицо веет отсырью и по временам моросит. Пробирает озноб.

Городишко, растянувшийся под горой по правому берегу, мерцает кое-где то белою стеной, то слабым огоньком, то силуэтом высокой колокольни, поднимающейся в мглистом воздухе ночи. Гора рисуется неопределенным обрезом на облачном небе, покрывая весь пейзаж угрюмою массою тени. На реке, у такой же пристани, как наша, молчаливо стоит «Самолет», который привез сюда экстренным рейсом «ученых» из Нижнего, а за рекой, на луговой стороне, догорает пожарище: с вечера загорелся лесной склад, и теперь огонь, как бы насытившись

и уставши за ночь, вьется низко над землей, то застилаясь дымом, то опять вставая острыми гребнями пламени. Дремота, ночь, плеск реки, стон пристаней и мостков в предутренней темноте, отсвет пожара и ожидание необычайного события — все это настраивает воображение, и взгляд мой невольно ищет башни с стоящим на ней «остроумом», хотя, впрочем, я отлично понимаю, что это нелепость, тем более что фигура на башне решительно не могла бы быть видима в такой темноте. Однако, проходя по палубе, загроможденной рабочими, я слышал те же разговоры; многие вглядывались и видели: стоит на башне и чего-то караулит среди ночных туманов.

Вглядевшись, в свою очередь, я различаю высокий контур, врезавшийся в небо. Сильно подозреваю, что это труба завода, что и оказывается справедливым. Мои собеседники вспоминают, что действительно в этом месте стоит всем хорошо знакомый завод. Легенда падает.

Оказывается, что пароход еще постоит за темнотой; обрадованная и озябшая публика кидается опять в каюты. Открывают буфет, заспанные лакеи бегают с чайниками и подносами. На палубе идет тихий говор, кое-где читают молитвы и обсуждают признаки пришествия антихриста... Один из этих признаков имеет чисто местный характер. Какой-то старик рассказывает слушателям, что в Юрьевец приехал немец-остроум и склоняет на свою сторону народ. Гришка с завода продался уже за двадцать пять рублей...

— Да ведь это его в караульщики наняли, к трубам,— объясняет кто-то из темноты.

— В караульщики!.. А крест да пояс зачем приказал снять? Как это поймешь?

Это действительно понять трудно. Среди собеседников водворяется молчание.

Через некоторое время я взглянул в окно каюты: небо белеет, на нем проступают мглистые очертания туч, ползущих от севера к югу.

II

Часу в четвертом мы сошли на берег и направились к городу. Серело, тучи не расходились. У пристаней грузными темными пятнами стояли пароходы. На них не за-

метно было никакого движения. Только наш начинал «шуровать», выпускал клубы дыма и тяжело сопел, лениво собираясь в ранний путь.

Берег был еще пуст. Ночные сторожа одни смотрели на кучку неведомых людей, проходивших вдоль береговых улиц... Смотрели они молчаливо, но с каким-то угрюмым вниманием. Они поставлены «для порядку», а тут и в природе готовится беспорядок, и неведомые люди невесть зачем спозаранку пробираются в мирный и ни в чем не повинный город.

— Дозвольте спросить,— обратился один из стражей к кучке молодых господ, проходивших впереди меня,— нешто, к примеру, в других городах этой планиды не будет? На нас одних господь посылает?

Господа засмеялись и пошли дальше. Сторож постоял, посмотрел нам вслед долго, внимательно, раздумчиво и вдруг застучал трещоткой. Ему отозвались другие, потом залаяли собаки. «Начальство дозволяет, не пустить этих полунощников нельзя, а все-таки... поберегайся!» — вероятно, это именно хотел сказать юрьевчанин своею трещоткой, со времен Алексея Михайловича, а может быть, еще и ранее предупреждавшею чутко спящий городок о лихой невзгоде, частенько-таки налетавшей по ночам с матушки-Волги.

И городок просыпается. Я нарочно свернул в переулок, чтобы пройти по окраине. Кое-где в лачугах у подножия горы виднелись огоньки. В одном месте слабо сияла лампадка, и какая-то фигура то припадала к полу, то опять подымалась, очевидно встречая день знамения господня молитвой. В двух-трех печах виднелось уже пламя.

Вот скрипнула одна калитка; из нее вышел древний старик с большою седой бородой, прислушался к благовесту, посмотрел на меня, когда я проходил мимо, суровым, внимательным взглядом и, повернувшись лицом к востоку, где еще не всходило солнце, стал усердно креститься.

Открылась еще калитка. Маленькая старушка торопливо выбежала из нее, шарахнулась от меня в сторону и скрылась под темною линией забора.

— А, Семеныч! Ты, что ли, это? — вскоре услышал я ее придавленный голос.— Правда ли, нынче будто к

ранней обедне пораньше ударят? Сказывали, до этого чтоб отслужить... Батюшки-светы! Глянь-ко, Семеныч, это кто по горе экую рань ходит?

Часть пароходной публики, вероятно, от скуки взобралась на гору. Фигуры рисуются на светлеющем небе резко и странно. Одна, вероятно стоящая много ближе других на каком-нибудь выступе, кажется неестественно громадною. Все это в ранний час этого утра, перед затмением, над испуганным городом производит какое-то резкое, волшебное, небывалое впечатление...

— Носит их, супостатов! — угрюмо ворчит старик.— Приезжие, надо быть...

— И то, сказывали вчерась: на четырех пароходах иностранные народы приедут. К чему это, родимый, как понимать?

— Власть господня,— угрюмо говорит Семеныч и, не простившись, уходит к себе. Старуха остается одна на пустой улице.

— Господи-и-и, батюшко! — слышу я жалостный, испуганный старческий голос, и торопливые шаги стихают где-то в тени по направлению к церкви. Мне становится искренно жаль и эту старушку, и Семеныча, и весь этот напуганный люд. Шутка ли, ждать через час кончину мира! Сколько призрачных страхов носится еще в этих сумеречных туманах, так густо нависших над нашею святою Русью!..

В окне хибарки, только что оставленной старушкой, мерцал огонек зажженной ею лампадки, и петух хрипло в первый раз прокричал свое кукареку, чуть слышно из-за стенки.

На святой Руси петухи кричат,
Скоро будет день на святой Руси...—

неизвестно откуда всплыло в моей памяти прелестное двустишие давно забытого стихотворения, от которого так и дышит утром и рассветом.. «Ох, скоро ль будет день на святой Руси,— подумал я невольно,— тот день, когда рассеются призраки, недоверие, вражда и взаимные недоразумения между теми, кто смотрит в трубы и исследует небо, и теми, кто только припадает к земле, а в исследовании видит оскорбление грозного бога?»

III

А вот и укрепленный лагерь «остроумов».

На небольшом возвышении у берега Волги, по соседству с заводом, которого высокая труба казалась нам ранее башней, на скорую руку построены небольшие балаганчики, обнесенные низкою дощатою оградой. В ограде, на выровненной и утрамбованной площадке стоит медная труба на штативе, вероятно секстант, установленный по меридиану. Из-под навеса нацелились в небо телескопы разного вида и разных размеров. Все это еще закрыто кожаными чехлами и имеет вид артиллерии в утро перед боем. А вот и войско. Укрывшись шинелями, спят несколько городовых и крестьян-караульных, «согнанных» из деревень. Какой-то бородатый высокий мужик важно расхаживает по площадке. Это — главный караульщик, приставленный от завода, тот самый Гришка, который за двадцать пять рублей согласился снять с себя не только крест, но и пояс, и таким образом приобщился к тайнам «остроумов». В настоящую минуту, когда я подхожу к этому месту, он активно проявляет свою роль. Какой-то предприимчивый парень, прикинувшись спавшим за оградой, подполз к самой большой трубе, и Гришка поймал его под нею. Хотел ли он взглянуть в закрытую чехлом трубу, чтобы подглядеть какую-нибудь неведомую тайну, или у него были другие, менее безобидные намерения, но только Гришка горячился и покушался схватить его за ухо.

— Дяденька, да ведь я ничего.

— То-то ничего! Вот экой же дуролом намедни все трубы свертел, полдня после наставляли... Нешто можно касаться? Она, труба-те, не зря ставится.

Гришка, видимо, апеллирует к публике, сомкнувшейся около ограды и, быть может, простоявшей здесь с самого вечера. Но публика не на его стороне.

— Где уж зря! — вздыхает кто-то.

— Не надо бы и ставить-то ..

— Жили, слава-те господи, без труб. Живы были.

Какой-то серый старичишко выделяется из проходившей на фабрику кучки рабочих и подходит к самой ограде.

— Здравствуй, Гриш!

— Здравствуй.

— Караулишь?

— Караулю.

— Та-а-к.

— Мне что-ка не караулить,— вдруг обижается Гриша,— ежели я хозяином приставлен.

— Нешто это дело хозяйско?

— Меня ежели приставили, я должен сполнять...

— Двадцать пять рублев, сказывают, дали... Не дешевенько ли, смотри! Охо-хо-хо-о...

— Ну, хоть поменьше дадут, и на этом спасибо. Да ты што?.. Что тебе? Небось, самого к бочке приставили, два года караулил.

— Бочка... Вишь, к чему приравнял,— подхватывает кто-то в публике.

— Бочка много проще. Бочка, брат, дело руськое,— язвит старик.— А это, вишь ты, штука мудреная, к бочке ее не приравняешь. Охо-хо-хо-о.

Разговор становится более общим и более оживленным. Замечания вылетают из толпы, точно осы, все чаще, короче, язвительнее и крепче, приобретая постепенно такую выразительность, что это привлекает бдительное внимание двух полицейских.

— Осади, осади, отдай назад! — вмешиваются они, принимая, по долгу службы, сторону Гриши, и стеной оттесняют зевак. Толпа «отдает назад» и останавливается как-то пассивно в том месте, где ее оставляют полицейские. Ее настроение неопределенно. Фабричный — человек тертый. Он сомневается, недоумевает, отчасти опасается, но свои опасения выражает только колкою насмешкой; ребятам и подросткам просто любопытно, а может быть они уже кое-что слышали в школе. Настоящий же страх и прямое нерасположение к «ученым» и «иностранным народам» заключились в стенах этих избушек, по окраинам, где робко мерцают всю ночь лампадки...

Говорили, что накануне собирались было кое-кто разметать инструменты и прогнать «остроумов», почему начальство и приняло свои меры.

IV

Светает все более. На востоке стоят почти неподвижно-густые дальние облака, залегшие над горизонтом. Повыше плывут темные, но уже не такие тяжелые тучи, а под ними, клубясь и быстро скользя по направлению к югу, несутся невысоко над землей отдельные клочки утреннего тумана. Эти три слоя облаков то сгущаются, заволакивая небо, то разрежаются, обещая кое-где просветы.

Вот образовалась яркая щель, точно в стене темного сарая на рассвете; несколько лучей столбами прорвались в нее, передвинулись радиусами и потухли. Но свет от них остался. Река еще более побелела, противоположный берег приблизился, и огонь пожара, лениво догоравшего на той стороне Волги, стал меркнуть: очевидно, за дальнею тучей всходило солнце.

Я пошел вдоль волжского берега.

Небольшие домишки, огороды, переулки, кончавшиеся на береговых песках,— все это выступает яснее в белесой утренней мгле. И всюду заметно робкое движение, чувствуется тревожная ночь, проведенная без сна. То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная фигура плетется от дома к дому по огородам. В одном месте, на углу, прижавшись к забору, стоят две женщины. Одна смотрит на восток слезящимися глазами и что-то тихо причитает. Дряхлый старик, опираясь на палку, ковыляет из переулка и молча присоединяется к этой группе. Все взгляды обращены туда, где за меланхолическою тучей предполагается солнце.

— Ну, что, тетушка,— обращаюсь я к плачущей,— затмения ждете?

— Ох, не говори, родимый!.. Что и будет! Напуганы мы, милый, то есть до того напуганы... Ноченьку всеё не спали.

— Чем же напуганы?

— Да все планидой этой.

Она поворачивает ко мне лицо, разбухшее от бессонницы и искаженное страхом. Воспаленные глаза смотрят с оттенком какой-то надежды на чужого человека, спокойно относящегося к грозному явлению.

— Сказывали вот тоже: солнце с другой стороны поднимется, земли будет трясение, люди не станут узнавать друг дружку... А там и миру скончание...

Она глядит то на меня, то на древнего старца, молчаливо стоящего рядом, опираясь на посох. Он смотрит из-под насупленных бровей глубоко сидящими угрюмыми глазами, и я сильно подозреваю, что это именно он почерпнул эти мрачные пророчества в какой-нибудь древней книге в изъеденном молью кожаном переплете. Половина пророчества не оправдалась: солнце поднимается в обычном месте. Старец молчит, и по его лицу трудно разобрать, доволен ли он, как и прочие бесхитростные люди, или, быть может, он предпочел бы, чтобы солнце сошло с предначертанного пути и мир пошатнулся, лишь бы авторитет кожаного переплета остался незыблем. Все время он стоял молча и затем молча же удалился, не поделившись более ни с кем своею дряхлою думой.

— Полноте,— успокаиваю я напуганных до истерики женщин,— только и будет, что солнце затмится.

— А потом... Что же, опять покажется, или уж... вовсе?..

— Конечно, опять покажется.

— И я думаю так, что пустяки говорят все,— замечает другая, побойчее.— Планета, планета, а что ж такое? Все от бога. Бог захочет — и без планеты погибнем, а не захочет — и с планетой живы останемся.

— Пожалуй, и пустое все, а страшно,— слезливо говорит опять первая.— Вот и солнышко в своем месте взошло, как и всегда, а все-таки же... Господи-и... Сердешное ты наше-её... На зорьке на самой невесело подымалось, а теперь, гляди, играет, роди-и-мое...

Действительно, из-за тучи опять слабо, точно улыбка больного, брызнуло несколько золотых лучей, осветило какие-то туманные формы в облаках и погасло. Женщины умиленно смотрят туда, с выражением какой-то особенной жалости к солнцу, точно к близкому существу, которому грозит опасность. А невдалеке трубы и колеса стоят в ожидании, точно приготовления к опасной операции...

V

Я углубляюсь в улицы, соседние с площадью.

На перилах деревянного моста сидит бородатый и лохматый мещанин в красной рубахе, задумчивый и хладнокровный. Перед ним старец вроде того, которого я видел на берегу, с острыми глазами, сверкающими из-под совиных бровей какою-то своею, особенною, злобною думой. Он трясет бородой и говорит что-то сидящему на перилах великану, жестикулирует и волнуется... Так как в это утро сразу как будто разрушились все условные перегородки, отделяющие в обычное время знакомых от незнакомых, то я просто подхожу к беседующим, здороваюсь и перехожу к злобе дня.

— Скоро начнется...

— Начнется? — вспыхивает старик, точно его ужалило, и седая борода трясется сильнее.— Чему начинаться-то? Еще, может, ничего и не будет.

— Ну, уж будет-то — будет наверное.

— Та-ак!.. А дозвольте спросить,— говорит он уже с плохо сдерживаемым гневом,— нешто можно вам власть господню узнать? Кому это господь-батюшка откроет? Или уж так надо думать, что господь с вами о своем деле совет держал?..

— Велико дело господне!..— как-то «вообще», грудным басом, произносит великан, глядя в сторону.— Было, положим, в пятьдесят первом году. Я мальчишком был малыем, а помню. Так будто затемнало, даже петухи стали кричать, испужалась всякая тварь. Ну, только что, действительно, тогда никто вперед не упреждал. Оно и того... оно и опять отъявилось. А теперь, вишь ты... Конечно, что... затеи все.

— Д-да! — отчеканивает старец решительно и зло.— Власть господнюю не узнать вам, это уж вы оставьте!.. Дуракам говорите, пожалуйста! «Затмение, планета!» Так вот по-вашему и будет...

Он смотрит на берег, где устроены балаганы, искоса и сердито. Однако, когда я направляюсь туда, оба они следуют за мною, хотя и небрежно, очевидно только со злою целью: посмотреть на глупых людей, которые верят пустякам... А может быть, при случае... Впрочем, команда полицейских поднялась уже вся, человек десять.

Они отряхнулись от сырости, откашливаются и оправляются, смыкаясь около батареи неведомых инструментов, покрытых холодною росой.

— Осади! Отдай назад! Осади! — произносят они дружно; голоса их, еще отсыревшие и несколько хриплые, звучат тем не менее очень внушительно.

VI

К балаганам подходят еще солдаты. Они уставляют ружья в козлы и располагаются у входа за ограду. Другая полурота марширует с барабанным боем и останавливается на берегу.

— Солдаты пришли,— шепчут в толпе, которая теперь лепится по бокам холмика, заглядывая за ограду. Мальчишки шныряют в разных направлениях с беспечными, но заинтересованными лицами. Какой-то общительный немолодой господин раздает желающим стеклышки, смазанные желатином (увы! оказавшиеся негодными). В училище, служащем временным приютом для приезжих ученых, открывается окно верхнего этажа, и в нем появляется длинная трубка, нацелившаяся на небо... «Астрономы» проходят один за другим к балагану. Старик немец несет инструменты, с угрюмым и недовольным видом поглядывая на облака. Он ни разу не взглянул на толпу... Он приехал издалека нарочно для этого утра, и вот бестолковый русский туман грозит отнять у него ученую жатву. Профессор недовольно ворчит, пока его умные глаза пытливо пробегают по небу.

Впрочем, облака редеют, ветер все гонит их с севера: нижние слои по-прежнему почти неподвижно лежат на горизонте, но второй слой двигается теперь быстрее, расширяя все более и более просветы. Кое-где уже синеет лазурь. Клочки ночного тумана проносятся реже и видимо тают. Солнце ныряет, то появляясь в вышине, то прячась.

Трубы установлены, с балаганов сняты брезенты, ученые пробуют аппараты. Лица их проясняются вместе с небом. Холодная уверенность этих приготовлений, видимо, импонирует толпе.

— Гляди-ко, батюшки, сама вертится!..— раздается вдруг удивленный голос.

Действительно, большая черная труба с часовым механизмом, пущенным в ход, начинает заметно поворачиваться на своих странных ногах, точно невиданное животное из металла, пробужденное от долгого сна. Ее останавливают после пробы, направляют на солнце и опять пускают в ход. Теперь она автоматически идет по кругу, тихо, внимательно, зорко следя за солнцем в его обычном мглистом пути. Клапаны сами открываются и закрываются, зияя матово-черными краями. Немец опять говорит что-то быстро, ворчливо и непонятно, будто читает лекцию или произносит заклинания.

Толпа удивленно стихает.

VII

Минутная тишина. Вдруг раздается звонкий удар маятника метронома, отбивающего секунды.

Часы бьют. Должно, шесть часов.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать,— нет, не часы... Что такое?!.

— Началось!..— догадывается кто-то в толпе, видя, что астрономы припали к трубам.

— Вот-те и началось, ничего нету,— небрежно и уверенно произносит вдруг в задних рядах голос старого скептика, которого я видел на мосту.

Я вынимаю свое стекло с самодельною ручкой. Оно производит некоторую ироническую сенсацию, так как бумагу, которой оно обклеено, я прилепил к ручке сургучом.

— Вот так машина! — говорит кто-то из моих соседей.— За семью печатями...

Я оглядываю свой инструмент. Действительно, печатей оказывается ровно семь — цифра в некотором роде мистическая. Однако некогда заниматься кабалистическими соображениями, тем более что моя «машина» служит отлично. Среди быстро пробегающих озаренных облаков я вижу ясно очерченный солнечный круг. С правой стороны, сверху, он будто обрезан чуть заметно.

Минута молчания

— Ущербилось! — внятно раздается голос из толпы.

— Не толкуй пустого! — резко обрывает старец.

Я нарочно подхожу к нему и предлагаю посмотреть в мое стекло. Он отворачивается с отвращением.

— Стар я, стар в ваши стекла глядеть. Я его, родимое, и так вижу, и глазами. Вон оно в своем виде.

Но вдруг по лицу его пробегает точно судорога, не то испуг, не то глубокое огорчение.

— Господи Иисусе Христе, царица небесная...

Солнце тонет на минуту в широком мглистом пятне и показывается из облака уже значительно ущербленным. Теперь уже это видно простым глазом, чему помогает тонкий пар, который все еще курится в воздухе, смягчая ослепительный блеск.

Тишина. Кое-где слышно нервное, тяжелое дыхание, на фоне напряженного молчания метроном отбивает секунды металлическим звоном, да немец продолжает говорить что-то непонятное, и его голос звучит как-то чуждо и странно. Я оглядываюсь. Старый скептик шагает прочь быстрыми шагами с низко опущенною головой.

VIII

Проходит полчаса. День сияет почти все так же, облака закрывают и открывают солнце, теперь плывущее в вышине в виде серпа. Какой-то мужичок «из Пучежа» въезжает на площадь, торопливо поворачивает к забору и начинает выпрягать лошадь, как будто его внезапно застигла ночь и он собрался на ночлег. Подвязав лошадь к возу, он растерянно смотрит на холм с инструментами, на толпу людей с побледневшими лицами, потом находит глазами церковь и начинает креститься механически, сохраняя в лице все то же испуганно-вопросительное выражение.

Между тем мальчишки и подростки, разочаровавшись в желатинных стеклах, убегают домой и оттуда возвращаются с самодельными, наскоро закопченными стеклами, которых теперь появляется много. Среди молодежи царят беспечное оживление и любопытство. Старики вздыхают, старухи как-то истерически ахают, а кто даже вскрикивает и стонет, точно от сильной боли.

День начинает заметно бледнеть. Лица людей принимают странный оттенок, тени человеческих фигур лежат на земле бледные, неясные. Пароход, идущий вниз, проплывает каким-то призраком. Его очертания стали легче, потеряли определенность красок. Количество света, видимо, убывает; но так как нет сгущенных теней вечера, нет игры отраженного на низших слоях атмосферы света, то эти сумерки кажутся необычны и странны. Пейзаж будто расплывается в чем-то; трава теряет зелень, горы как бы лишаются своей тяжелой плотности.

Однако, пока остается тонкий серповидный ободок солнца, все еще царит впечатление сильно побледневшего дня, и мне казалось, что рассказы о темноте во время затмений преувеличены. «Неужели,— думалось мне,— эта остающаяся еще ничтожная искорка солнца, горящая, как последняя, забытая свечка в огромном мире, так много значит?.. Неужели, когда она потухнет, вдруг должна наступить ночь?»

Но вот эта искра исчезла. Она как-то порывисто, будто вырвавшись с усилием из-за темной заслонки, сверкнула еще золотым брызгом и погасла. И вместе с этим пролилась на землю густая тьма. Я уловил мгновение, когда среди сумрака набежала полная тень. Она появилась на юге и точно громадное покрывало быстро пролетела по горам, по реке, по полям, обмахнув все небесное пространство, укутала нас и в одно мгновение сомкнулась на севере. Я стоял теперь внизу, на береговой отмели, и оглянулся на толпу. В ней царило гробовое молчание. Даже немец смолк, и только метроном отбивал металлические удары. Фигуры людей сливались в одну темную массу, а огни пожарища на той стороне опять приобрели прежнюю яркость...

Но это не была обыкновенная ночь. Было настолько светло, что глаз невольно искал серебристого лунного сияния, пронизывающего насквозь синюю тьму обычной ночи. Но нигде не было сияния, не было синевы. Казалось, тонкий, не различимый для глаза, пепел рассыпался сверху над землей, или будто тончайшая и густая сетка повисла в воздухе. А там, где-то по бокам, в верхних слоях чувствуется озаренная воздушная даль, которая сквозит в нашу тьму, смывая тени, лишая темноту ее формы и густоты. И над всею смущенною природой чудною па-

норамой бегут тучи, а среди них происходит захватывающая борьба. Круглое, темное, враждебное тело, точно паук, впилось в яркое солнце, и они несутся вместе в заоблачной вышине. Какое-то сияние, льющееся изменчивыми переливами из-за темного щита, придает зрелищу движение и жизнь, а облака еще усиливают эту иллюзию своим тревожным, бесшумным бегом.

— Владычица святая, господи-батюшко, помилуй нас, грешных!

И какая-то старушка набегает на меня, торопливо спускаясь с холма.

— Куда ты, тетка?

— Домой, родимый, домой: помирать, видно, всем, помирать, с детками с малыми...

Вдоль берега, в сумраке, надвигается к нам какое-то темное пятно, из которого слышен смешанный, все усиливающийся голос. Это кучка фабричных. Впереди, размахивая руками, шагает угрюмый атлет рабочий, который сидел со мной на мосту. Я иду к ним по отмели навстречу.

— Нет, как он мог узнать, вот что! — останавливается он вдруг прямо против меня, по-видимому узнавая во мне недавнего собеседника.— Говорили тогда ребята: раскидать надо ихние трубы... Вишь, нацелились в бога!.. От этого всей нашей стране может гибель произойти. Шутка ли: господь знамение посылает, а они в небо трубами... А как он, батюшко, прогневается да вдруг сюда, в это самое место, полыхнет молоньей?..

— Да ведь это сейчас пройдет,— говорю я.

— Пройдет, говоришь? Должны мы живы остаться? — Он спрашивает, как человек, потерявший план действий и тяготеющий ко всякому решительно высказываемому убеждению.

— Конечно, пройдет, и даже очень скоро.

— А как?

Я смотрю на часы.

— Да, должно быть, менее минуты еще.

— Меньше минуты? И это узнали! Ах ты, господи-боже!.

Прошло не более пятнадцати секунд. Все мы стояли вместе, подняв глаза кверху, туда, где все еще продолжалась молчаливая борьба света и тьмы, как вдруг

вверху, с правой стороны, вспыхнула искорка, и сразу лица моих собеседников осветились. Так же внезапно, как прежде он набежал на нас, мрак убегает теперь к северу. Темное покрывало взметнулось гигантским взмахом в беспредельных пространствах, пробежало по волнистым очертаниям облаков и исчезло. Свет струится теперь, после темноты, еще ярче и веселее прежнего, разливаясь победным сиянием. Теперь земля оделась опять в те же бледные тени и странные цвета, но они производят другое впечатление: то было угасание и смерть, а теперь наступало возрождение...

IX

Солнце, солнце!.. Я не подозревал, что и на меня его новое появление произведет такое сильное, такое облегчающее, такое отрадное впечатление, близкое к благоговению, к преклонению, к молитве... Что это было: отзвук старого, залегающего в далеких глубинах каждого человеческого сердца преклонения перед источником света, или, проще, я почувствовал в эту минуту, что этот первый проблеск прогнал прочь густо столпившиеся призраки предрассудка, предубеждения, вражду этой толпы?.. Мелькнул свет — и мы стали опять братьями... Да, не знаю, что это было, но только и мой вздох присоединился к общему облегченному вздоху толпы... Мрачный великан стоял с поднятым кверху лицом, на котором разливалось отражение рождавшегося света. Он улыбался.

— Ах ты, б-боже мой!..— повторил он уже с другим, благодушным выражением.— И до чего только, братцы, народ дошел. Н-ну!..

Конец страхам, конец озлоблению. В толпе говор и шум.

— Должны мы господа благодарить... Дозволил нам живым остаться, батюшка!..

— А еще хотели остроумов бить. То-то вот глупость...

— А разве правда, что хотели бить? — спрашиваю я, чувствуя, что теперь можно уже свободно говорить это, без прежней напряженной неловкости.

— Да ведь это что: от пития это, от винного. Пьяненький мужичок первый и взбунтовался... Ну, да ведь ничего не вышло, слава те господи!

— А у нас, братцы, мужики и без остроумов знали, что будет затмение,— выступает внезапно мужичок из-за Пучежа.— Ей-богу... Потому старики учили: ежели, говорят, месяц по зорям ходит,— непременно к затмению... Ну, только в какой день — этого не знали... Это, нечего хвастать, было нам неизвестно.

— А они, видишь, как рассчитали. В аккурат! Как ихний маятник ударил, тут и началось...

— Премудрость...

— Затем и разум даден человеку...

— Вишь, и опять взыграло... Гляди, как разгорается.

— Содвигается тьма-то!

— Теперь сползет небось!

— Содвинется на сторону — и шабаш.

— И опять радуется всякая тварь...

— Слава Христу, опять живы мы...

— А что, господа, дозвольте спросить у вас...— благодушно подходит в это время кто-то к самой ограде. Но ближайший из наблюдателей нетерпеливо машет рукой: он смотрит и считает секунды.

— Не мешай! — останавливают из толпы.— Чего лезешь,— не видишь, что ли? Еще ведь не вовсе кончилось.

— Отдай, отдай назад! Осади! — вполголоса, но уже без всякой внушительности, произносят городовые. Солдаты, ружья к ноге, носы кверху, с наивною неподвижностью тоже следят за солнцем. Гриша, торжествующий, смешался с толпой и имеет такой вид, как будто готов принимать поздравления с благополучным окончанием важного дела. Астрономическая наука приобрела в его лице ревностного адепта. Окруженный любопытными, от которых еще недавно слышал язвительные насмешки, он теперь объясняет им что-то очень авторитетно:

— Труба... она вещь не простая. Содвинь ее, уж она не действует. Она по звезде теперича ставится. Все одно ружейный прицел.

— Как можно содвинуть, вещь понятная! — ласково и как будто заискивающе поддакивают собеседники.

— Тонкая вещь!

— А не грех это, братцы? — раздается сзади нерешительный вопрос, оставшийся без отклика.

Солнце играет все сильнее; туман все более и более утончается, и уже становится трудно глядеть невооруженным глазом на увеличивающийся серп солнца. Чирикают примолкшие было птицы, луговая зелень на заречной стороне проступает все ярче, облака расцвечиваются... В настроении толпы недоверие, вражда и страхи умчались куда-то далеко вместе с пеленой полной тени, улетевшей в беспредельное пространство...

Я ищу старика-скептика. Его нигде нет. Между тем кое-где открываются окна, до тех пор закрытые ставнями или тщательно задернутые занавесками. Давешняя старушка робко отпирает свою закупоренную хибарку, высовывает сначала голову, оглядывается вдоль улицы, потом выходит наружу. К ней подбежала девочка лет двенадцати.

— Бабушка, бабушка, а я вот все видела!

— Ты зачем убежала, греховодница, когда я не приказывала тебе?

Но девочка не слушает и продолжает с веселым возбуждением:

— Все видела, как есть. И никаких страстей не было. По небу стрелы пошли, и потом солнышко, слышь, темнеит, темне-и-ит...

— Ну?

— Ну и все потемнело. Задернулось вот и все одно... чугунным листом. Ей-богу, правда, как вот заслонка-те перед солнцем и стоит. А потом с другой-те стороны вдруг прыснуло и пошло выходить, и пошло тебе выходить, и опять рассветало.

Бабушка ворчит что-то, но старое брюзжание звучит уступчиво и тихо, а детский голос звенит с молодым торжеством.

Мы сидели уже на пароходе, когда последний след затмения соскользнул ни для кого уже незаметно с просиявшего солнечного диска.

В третьем классе в публике живо ходила по рукам брошюра: «О солнечном затмении 7-го августа 1887 года»...

1887—1892

«Божий городок»

Из дорожного альбома

I

Ранним летним утром с котомкой за плечами я вышел из Арзамаса...

На юго-восток от города передо мной расстилалась отлогая, зеленая гора. Белая церковка городского кладбища приветливо и кротко глядела из-за густо разросшихся над могилами деревьев, а в стороне от кладбища, по скату горы, кое-где изрытой ямами, белели несколько пятнышек... Подойдя поближе, я увидел четыре крохотных домика из старинного кирпича, с двухскатными крышами, сильно обомшелыми и поросшими лишаями... На верхушках странных, почти игрушечных хижинок стоят кресты, а в стены вделаны темные доски икон, на которых лики давно уже свеяны ветрами и смыты дождями...

Мне говорили в Арзамасе, что сравнительно еще недавно отлогость горы была густо покрыта этими странными домиками, точно целый город карликов раскинулся против настоящего города, с его огромным собором, стенами, колокольнями монастырей и куполами церквей... Народ звал это место «божиим городком», а теперь, когда городок постепенно исчез,— остатки зовет «божиими городами»...

Каждый год, в четверг седьмой недели после пасхи, духовенство отправляется на эту гору, и там, среди загадочных домиков, вьется в воздухе синий кадильный дым,

разносится запах ладана и заупокойное клирное пение: «Помяни, господи, убиенных рабов твоих и от неведомой смерти умерших, их же имена ты, господи, веси!..» О ком молятся, кому поют вечную память, чьи грешные души жадно внимают молебному пению,— об этом не знает ни вздыхающий кругом и молящийся народ, ни даже арзамасский клир, для которого эта молитва среди исчезающего «городка» есть исконный обычай, завещание седой старины.

А седая старина была печальна и покрыта кровью...

Через Арзамас шел когда-то рубеж; город нес сторожевую службу... Любой вихрь, взметавший пыль в далеких вольных степях, уже вызывал тревогу и волнение. Одни смотрели на степь со страхом, другие — с смутными надеждами... И всякая искра, занесенная сюда волжским ветром, находила достаточно горючего материала — в насилии, в неправде, в порабощении и в тяжких страданиях... На этой почве и возник «божий город»...

Первый, кажется, положил ему основание в 1708 году Кондрашка Булавин, разославший с вольного Дона свои «прелестные письма». «Атаманы-молодцы, дорожные охотнички, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники! Кто похочет с военным походным атаманом Кондратьем Афанасьевичем Булавиным, кто похочет с ним погулять по чисту полю, красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте на черные вершины самарские...» Так писал крамольный атаман к донцам и на Украину, и в Сечь к запорожцам. А в «низовые и верховые города, начальным добрым людям, также в села и деревни» летели с Дону другие речи. В длинных и деловитых, серьезно и с большим политическим смыслом составленных письмах излагались все притеснения помещиков и подьячих, вся волокита и неправда, от которых издавна стонала земля. И замечательно, что в этих письмах говорилось о том же, о чем говорили и многие царские указы... Хуже всего, конечно, было то, что все это была горькая правда... Только не суждено было атаманам, стоявшим за старину и налетавшим на добрых конях из окраинных степей, вывести на Руси злое семя!

А истомленная земля ждала и колыхалась... Пылали пожары, лилась кровь, чинилась жестокая народная рас-

права, а из Москвы двигались рати и слышалось грозное слово Петра: «Ходить по городам и деревням, которые пристают к воровству, и оные жечь без остатку, а людей рубить, а заводчиков на колеса и колья... Ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть...»

И в жесточи, очевидно, недостатка не было, так что и сам грозный царь после усмирения пишет Долгорукому, чтобы он не мстил за смерть убитого Булавиным брата. помня, что многие пристали к бунту по неразумию или от утеснений... Бунтовщиков свозили и к Арзамасу. По дорогам стояли виселицы, колья и колеса, и город во время одной из подобных расправ, по словам очевидца-современника, приведенным у Соловьева,— походил на ад· более недели кругом стояли стоны нестерпимых мучений, и хищные птицы носились над местом казни...

А вслед за тем на горе забелели первые домики божьего городка...

Потом к костям булавинцев присоединились кости несчастных ссыльных стрельцов, что еще во времена Петра самовольно и в противность царскому указу покинули Великие Луки, и крепко за свою правду стояли против царского воеводы Шеина с большим полком, и бились огненным и рукопашным боем, чтобы грудью проложить себе путь в Москву, в стрелецкие слободы, ко дворам, к женам и детишкам. После упорного боя воевода одолел; и царскими ослушниками наполнились арзамасские тюрьмы и караулы. Зачинщиков тогда же показнили; но царь, вернувшись из-за границы, остался недоволен слабостию и поноровкою Шеина. Из Москвы наехал в Арзамас царский стольник, и в городе не хватило для новых пыток и казней заплечных мастеров, которых стольник требовал нарочито из Москвы...

И к божьему городу прибавились новые домы...

Так, залитая кровью бунтов и казней, замирала детская наивная мечта народа о вольной жизни, связанная с крестом и бородою, с казацкими кругами, с смутными воспоминаниями о давно отживших формах... Замирала до новых судорожных вспышек, в ожидании великих дней свободы... А старое бесправие и неволя смыкались еще теснее, и под ними копилось и закипало опять вековое страдание... И память народа невольно возвращалась

к тем, кто обещал свободу и кто запечатлел эти обещания и своей, и чужой кровью...

И после каждого движения, точно камни, выкидываемые на отмель бурным приливом, вырастали еще несколько «божиих домов» на скате арзамасской горы. Прибавилось их немало и после Пугачева... И кто-то тут долго плакал, и припадал к земле, и орошал позорные могилы своими горячими, любящими слезами... Потом умирали и эти плакавшие люди; но народ все-таки поддерживал домы божьего городка, и чьи-то безвестные руки приносили сюда иконы... Ветер и солнце, дожди и бури стирали на иконах лики, оставляя одни темные доски, на которых ничего уже не было видно. Но над горой оставалось чувство народа, связанное с давно исчезнувшими из памяти событиями... чувство грустного недоумения, не смеющего произнести суд и предоставляющего этот суд богу... «Для души» люди поновляли разваливавшиеся крыши, приносили иконы; и до сих пор над горой звучит молитва о всех убиенных и неведомою смертию умерших, чьи имена ты, господи, веси и чьи дела истомленная земля отдает на суд небу...

II

Было тихое, ясное утро, когда я подходил к остаткам божьего городка Какая-то арзамасская мещанка гнала корову, которую, по-видимому, проискала всю ночь, и теперь машинально крестилась на крест одного из божьих домов... Прошли мимо двое рабочих, с черными глазами, загорелыми лицами и резкими движениями... Они с любопытством посмотрели на мою странницкую фигуру и остановились в раздумье, заметив мое внимание к гробницам. Они исконные арзамасцы, скорняки-кошатники; дело их идет плохо. хоть брось, и они думают, что когда-то в старинные времена было, пожалуй, лучше О божием городке знают только, что здесь хоронят умерших «незапною или дурною смертью». Прежде домов было много больше...

Теперь их осталось только четыре. Три совсем крохотные, меньше человеческого роста, один значительно больше, что-то вроде часовенки с незапертой дверью, по-

зволяющей войти внутрь. На пороге сидел старый дед, с посошком и котомкой, и перевязывал оборку лаптя.

— Здравствуй, дедушка.

— Здорово, сынок. Куда путь держишь?

— В Саров.

— Эвона — дорога-те! На мост, да на слободу.

— Знаю, дедушка. Я нарочно свернул — поглядеть на божии домы.

— Погляди, что ж. И помолиться этто гоже. Божье место, угодное...

— А кто здесь похоронен, не знаешь ли?

— И-и, сынок... Лежит здесь народу... всякого звания... сила. Один Салтыков, помещик, сколько душ загубил... Не приведи господи! Бывало,— говорили старые люди,— едет купец от Макарья, доехал до Арзамасу — служит молебен. Теперь, бает, слава-те господи, почитай дома. А на заре выедет из городу неопасно, на мосту его барин Салтыков с челядью и прикончат... Кинут в Тёшу, а через день, через два всплывут тела,— людишки-те поймают и похоронят вот тут... А то и сами салтыковские, дурачки, сволокут ночным делом: лежите, мол, до суда господня...

Мне приходилось уже слышать фамилию этого Салтыкова, а старинные дела нижегородского архива хранят память о самых мрачных подвигах этого дворянского рода... Один из них известен и в истории Пугачевского бунта. Когда в народе пронеслась весть, что Петр Федорович объявился и идет на царство, салтыковские крепостные подумали, что теперь пришел уже конец злодействам и разбоям их барина. Собравшись миром, они захватили его, связали, положили в телегу и повезли в «царский лагерь». Но,— говорится в печатных известиях об этом эпизоде,— господь услышал молитву невинной жертвы, и, вместо полчищ самозванца, злодеи наткнулись на отряд Михельсона. Невинная жертва была тотчас же освобождена, а простодушные злодеи понесли должное наказание... И кости их присоединились, вероятно, к костям булавинцев и стрельцов и жертв того же Салтыкова. И все вместе лежат — до божьего суда над земными делами!..

— Да, вон она, слобода-те,— сказал дед, подымаясь на ноги и указывая рукой на Выездную слободу, курив-

шуюся в дыму и в утреннем тумане за Тёшей.— Что станешь делать! Могутный барин был, видно, сильный...

— Так, по-вашему, с этих пор и домы стоят?

— Где с этих пор! Не-ет, много ранее, видно... Как Пугачев ходил, пожалуй, уже стояли.

— А кто такой Пугачев?

— Да ведь... кто знает, народ мы темный. Да и дело-то, слышь, давнее. Отец у меня сорок лет назад помер, а жил девяносто годов. Считай теперь, много ли годов тому... Отец-то еще, почитай, мальчиком малым был.

— Сто двадцать лет.

— То-то — сто двадцать, поболее, гляди. А что строгой был — это верно. Сейчас в деревню пришел,— подавай господ! И где которых ежели мужички скроют,— и-и! Не приведи бог. Лютой! И тоже почет любил. Этто, родитель покойник сказывал, два села были рядом. Из одного-то — догадались миряне, икону подняли, да стречу ему и пошли. Ну, пожаловал тех, наградил и указ дал, стало быть, милостивой манифест. А наши, бает, не догадались, дурачки, не вышли, так он, слышь, все село и спалил. Строгой был, строгой, нечего сказать, строгой...

Тут дед посмотрел на меня, на цепочку от моих часов, на записную книжку, в которую я захотел записать его слова — и сказал, снимая шапку:

— Прости Христа ради!

— Что ты это, дедушка?

— Темные мы, где нам знать... Может, что не так сказал... А что строгой был, это верно... И порядок любил!

Кажется, почтенный старец опасался, как бы «господин» не осудил его за фамильярные отзывы о высокой особе Пугачева, любившего порядок и издававшего манифесты...

Мне удалось его успокоить, и мы опять завели беседу о божиих домах. Старик оказался очень сообщительным. Его маленькие живые глазки светились умом, а память хранила много любопытного. И он рассказал мне легенду, связанную с божиим городом и прекрасно выражающую смутное чувство, витающее над этим местом... Чувство прощающего и робкого недоумения, смутного вопроса и

молитвы обо всех, кто теперь лежит здесь под землей, а когда-то жил и, может быть, заблуждался, и, может быть, понес должную казнь, а может быть, сложил свою голову за дело, которое следует считать святым и хорошим...

III

Было это во время Степана Тимофеевича Разина. Когда загремел Стенькин гром над широкою русскою землей,— пошалили, говорят, разинские работнички и в Арзамасе. Выбегали они оттуда и дальше на север, загнездились было в Большом Мурашкине, ходили на Лысково и на Макарий. А потом по тем же следам ходили царские воеводы и чинили свою расправу, после расправы разинцев.

Коротки и кровавы были дни молодецкого разгула и мести, коротка и жестока была также и расплата. Настроили заплечные мастера целый лес столбов с перекладинами, и к вечеру народ глядел с горы на гору, как качались, рисуясь на алом небе, темные тела удалых молодцов-атаманов, да и своей арзамасской вольницы, приставшей к кровавому пиру... Видели все это арзамасские люди и колебались смущенною совестью. Вороны летали над угором; садилось за дальними полями кровавое солнце, пугливые сумерки крыли небо, ложились на землю... Кто же это висит там, на горе? Злодеи и напрасные душегубы, проливавшие неповинную кровь, или подлинные защитники народной воли, грозные мстители вековечной неправды? Правда, казацкая сабля плохо разбирала друзей и врагов, хмельной разгул вольной волюшки лил кровь, как вино; и об атамане Степане Тимофеевиче тоже вспоминали, наверное, не в одной деревне: «Строгой был, строгой, нечего сказать, строгой!» Но его гром, как и настоящая гроза, все-таки чаще попадал в высокие хоромы, обходя низкие избы И среди пролитой крови было не мало крови повинной. С другой стороны, в застенках лилась далеко не одна только виновная кровь, и тогдашняя расправа иной раз немногим отличалась от разбоя. Мудрено ли, что совесть народа колебалась и смущалась и что больше сожаления вызывал именно тот, кто более страдал в данное время?

И вот,— говорит арзамасское предание,— в эту самую ночь по большой саратовской дороге молодой арзамасский купец гнал во всю мочь усталого коня. Богатый купец, пожалуй, знал лучше других, кого ему следует жалеть и кого ненавидеть, и богатый обоз нелегко было провести без убытку в это беспокойное время. Но он бросил далеко на дороге обоз, товары и пожитки, вскинул пищаль за плечо и мчался один к Арзамасу, узнав от встречных беглецов, что в городе неладно, что в нем уже гуляют Стенькины неласковые ребята. А у купца в городу старые отец с матерью да молодая любимая жена с первенцем сыном.

В темную полночь, на взмыленном коне выскочил молодец из лесу на поляну, в виду родимого города. Не видать уже над городом зарева пожаров, не слышно набата, город будто весь вымер, только в церквах кое-где робко теплятся огоньки,— знать, у мертвых тел, поставленных для отпевания...

И вдруг конь у купца захрапел и насторожился.

Было это на том самом месте, где теперь стоят божии домы. Видит купец,— стоит на горе странный лес, без листвы, без ветвей, и точно зрелые плоды — висят добрые молодцы, и черные вороны тяжело машут крыльями и глядят молодцам в мертвые очи. Накипело у купца на сердце от неизвестности и горя, когда он мчался днем и ночью, сменяя уставших коней, а на душе черным камнем лежала кручина... Осадил он коня, привстал на стременах и изо всей силы хлестнул плетью ближайшее мертвое тело. . Тело закачалось, лязгнула цепь, и вороны поднялись, тяжело взмахивая крыльями...

И говорит старое арзамасское предание, что свершилось в ту минуту страшное чудо. Со всех виселиц, и с колес, и с окровавленных кольев черною сетью взвились вороны, как темная туча. Потом, лязгая цепями, сорвались казненные с петель и крючьев. Испуганный конь помчал молодца с отлогой горы, пролетел по лугам, перемахнул через ручей и, напрягая последние силы, принес в город... И все время, точно осенние листья в непогоду, вихрем неслись за ним тени казненных, и мертвые очи горели огнями, и руки, закованные в цепи, тянулись к нему с проклятьями, и мертвые голоса плакали, жаловались и проклинали.

Понял тогда купец, что не ему судить тех, кто стоит уже перед другим судом, слагая там и свои и чужие неправды, и свои и чужие обиды, и свою и чужую пролитую кровь. И дал он в ту страшную минуту крепкий обет: схоронить всех казненных в общей могиле, воздвигнуть над ними скудельницу и ежегодно дарить грешные души молебным пением...

С этих будто пор и повелись в Арзамасе божии домы. С этих пор, продолжая стародавний обычай, поет над безвестными могилами клир, с этих пор не переводятся в божиих домах неведомо кем приносимые иконы.

IV

Мы вошли в часовню. Вдоль ее стен приделаны полки, а у восточной стены целый киот с распятием и иконами... Мрачные, темные лики, старые доски, усекновенные главы, распятия. Как будто смутное чувство простодушных приносителей этих икон подсказывает им этот подбор символов мучения, страдания и казней. Но особенно поразила меня одна, в которой, по странному вдохновению неведомого художника, сосредоточенно выразилось все значение этого печального места, проникнутого и печалью, и прощением, и надеждой. Икона, по-видимому, не стара или подновлена и изображена у подножия распятия. Волею или бессознательно чья-то наивная кисть с грубоватою силою собрала в одно место орудия мучений и пыток. На полукруглом бугре темнеет отрубленная кисть руки с сжатыми пальцами. Большие гвозди лежат рядом с нею; молоток и клещи висят просто на воздухе. Затем обрывки цепи, позорный столб с привязанными к нему пучками розог и плетью... все это рисуется на фоне бледных, неясно клубящихся туч. Но откуда-то с вышины уже блестит слабый луч, разорвавший облака, скользнувший среди туманов, как отблеск далекой надежды. И будто для того, чтобы яснее подчеркнуть свою мысль, художник нарисовал петуха, приветствующего свет. На вершине позорного столба вещая птица уже трепещет крыльями и с разинутым клювом, видимо, кличет зарю...

Тихо, в глубоком молчании мы вышли из часовни. И хотя в ней не было темно, но мне и — судя по облегченному вздоху моих собеседников,— не мне одному показалось, что из-за этой низкой дверки мы шагнули из глубокого мрака на свет ясного дня. Прямо передо мной маленькие крупчатки, точно живые, тихо махали своими изящными крыльями; церкви и монастыри Арзамаса, точно кружево, белели на соседней горе. Выездная слобода с напольною церковью красиво гляделись в Тёшу...

— Э-эх, ты, господи, батюшка! — глубоко и протяжно вздохнул один из двух субъектов, работающих «по кошачьей части». Что он хотел сказать этим вздохом,—я не знаю. То ли, что и теперь им приходится трудно, хоть брось... Или то, что как ни трудно, а все-таки лучше жить нынешним днем, чем этой старинною, мрачною ночью... Мне казалось, что скорее — последнее.

Мы распрощались.

1894

В облачный день

Очерк

I

Был знойный летний день 1892 года.

В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем, кругом над чертой горизонта толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали, как будто синие полосы отдаленных дождей. Но они стояли недолго, сквозили, исчезали, чтобы пасть где-нибудь в другом месте и так же быстро исчезнуть...

Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю... Тучи набирались, надумывались, тихо развертывались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил все-таки во всей томительной силе; а солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мглистую панораму, усиливая в ней смену света и теней, придавая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе... Во всем чувствовалось ожидание, напряжение, какие-то приготовления, какая-то тяжелая борьба. Туманная рать темнела и сгущалась внизу, выделяя легкие белые облачка, которые быстро неслись к середине неба и неизменно сгорали

в зените, а земля все ждала дождя и влаги, ждала томительно и напрасно...

По тракту лениво прозвонил колокольчик и смолк. Потом неожиданно заболтался сильнее, и с холма меж рядами старых берез покатился в клубке белой пыли тарантас с порыжелым кожаным верхом, запряженный тройкой почтовых лошадей. Вокруг тарантаса моталась плотная пыль, лошадей густо облепили слепни и овода, увязавшиеся за ними от самой станции. От станции же путников сопровождал печальный и сухой шелест усыхающих нив. Рожь тихо качалась, шуршала и будто жаловалась впросонках на этот зной и на эти раздражающие туманные грезы, залегающие на горизонте обманчивыми признаками дождей...

Было скучно. В густой листве придорожных берез шевелились порой какие-то вздохи, а из села, колокольня которого осталась позади, за холмом, слышался редкий, надтреснутый звон.

— Осокинцы молебствуют,— сказал, ни к кому не обращаясь, ямщик...— Беда ведь: жар да сухмень... Гнев господень... Икону подняли,— что-то господь даст. Эх вот, прежде поп у них был, Василий. Насчет чего прочего не больно дохваливали, а что касающе дождя,— ну, дошлый был! Как, бывало, пройдет по межам, даром что пьяненький шатается,— отколь и возьмется, братец мой, туча... И отколь тебе ни возьмется туча...

Никто не ответил, и ямщик смолк. На меже действительно мелькали ризы сельского причта, почерневшая парча двух хоругвей болталась в ясном воздухе, и пение незатейливого клира носилось какими-то обрывками. Раскатится густая диаконская октава и рассыплется горошком где-то совсем близко, смешавшись с шелестом ржи, между тем как высокая фистула дьячка беспокойно летает над березами и будто мечется и кого-то ищет, и зовет кого-то напрасно. Потом все стихнет, и весь пейзаж опять безысходно томится и будто еще усиленнее чувствует тяжесть бытия. А неподвижный воздух опять густо насыщен ожиданием и смутными раздражающими грезами...

Вместе с пылью и слепнями это ощущение безнадежной тоски нависло, очевидно, и над тарантасом, тихо катившимся по тракту. Коренник лениво месил ногами,

пристяжки роняли морды чуть не в самую пыль дороги, тарантас расслабленно дребезжал плохо пригнанными частями, ямщик, видимо, придирался к одной пристяжке, наделяя ее по временам язвительными эпитетами самого оскорбительного свойства.

Впрочем, если кто еще не вполне поддался расслабляющему влиянию этого томительного дня, то это именно ямщик. Это был человек небольшого роста и довольно невзрачный в своем порыжелом кафтане и в шляпенке неизвестного происхождения, неопределенной формы и цвета. Нос у него был несколько набекрень, бороденка выгорела от солнца, но глаза, синие и глубокие, глядели живо, умно и несколько мечтательно...

Это была личность, популярная по тракту, и кому часто доводилось ездить этими местами, тот непременно замечал и помнил Кривоносого Силуяна, с его синими глазами, глубоким голосом и бесконечными рассказами. Были седоки, которые, приезжая на станцию, спрашивали у содержателя: «А что, Силуян тут?» — «Балагур,— говорили про него другие ямщики...— С ним, конечно, седоку не скучно». Зато и сам Силуян любил седока внимательного, бывалого и разговорчивого. Он умел говорить, но любил и послушать. Он охотно отдавал дороге все, что накопил в памяти. Но и дорога, в свою очередь, наделяла Силуяна такими сведениями, которые только и можно подхватить на бойком тракту от проезжего, бывалого и видалого человека. В таких случаях Силуян жадно прислушивался, повернувшись с облучка назад, а потом, возвращаясь на обратной один, легкой рысцой, в сумерки или темною ночью, когда чуть видные березы глухо шумели вдоль темного тракта,— он перебирал в уме слышанное за день. А так как в душе он поэт, наделенный беспокойным и подвижным воображением, к тому же темные ночи, звон колокольчика и шум ветра в березах отражаются по-своему на работе ямщицкой памяти,— то не мудрено, что уже через неделю-другую сам проезжий рассказчик мог бы выслушать от Силуяна свой собственный рассказ, как очень интересную новость... И ему не удалось бы даже убедить Силуяна, что это он, проезжий, сам и рассказывал ему, только совсем иначе. Силуян повернется, посмотрит и покачает головой.

— Нет, то был другой и личность другая.

И действительно, то был другой, потому что темные ночи и ямщицкая память совершенно преображали человека, неизвестно откуда приехавшего и неизвестно куда ускакавшего по тракту в неведомый свет,— преображали до такой степени, что и фигура, и лицо, и голос, и самый рассказ подергивались особенным налетом ямщицкой фантазии... Так рождалось на А-ском тракту много былин, а так как их некому было записывать, то они тут же на тракту и умирали, если, впрочем, исправник Полежаев, большой любитель рассказов Силуяна, не повторял их где-нибудь в грязном номере уездной гостиницы перед скучающей уездной публикой...

— Да ты, Силуян, смотри, не все болтай зря,— говорил иногда исправник...— Как бы иной раз и не того... и не нагорело за твои сказки...

— Убей меня бог, Степан Митрич,— отвечал Силуян с убеждением и совершенно искренно.— От проезжего барина слышал, от генерала. Чай, не станет врать...

Вообще много странного можно было услышать о белом свете от ямщика Силуяна, обычно знавшего, впрочем, каждый пенек на А-ском тракте.

II

Теперь он был слегка раздражен и недоволен. Изменчивые облака (овес сохнет!), жар, слепни, лукавство пристяжки, которая все норовит «обмануть» его, но самое неприятное — молчаливые, разваренные седоки... Их двое: молодая девушка и пожилой барин. Барин сидит совсем осовелый и клюет носом. Ямщик давно махнул на него рукой и все внимание обратил на девушку. Но та сначала забилась в угол тарантаса и все глядела в одном направлении упрямо и жадно, не видя ничего в отдельности и только поглощая глазами синюю даль. Потом она заснула, не переменив положения: белокурая головка беспомощно моталась на жесткой коже тарантаса, платок с головы съехал назад, волосы сбились, а на лице блуждало странное выражение, как будто и во сне она глядит на что-то вдали и старается что-то угадать.

Силуяну стало жаль ее, и он поехал тише, но пристяжка воспользовалась его снисходительностью до та-

кой степени нагло, что он не выдержал и резко вытянул ее кнутом. Недобросовестный конь дернул сразу, тарантас охнул, и девушка проснулась.

— И подлый же конь этот,— сказал ямщик виновато, указывая на пристяжку кнутом.— Коренная, например, старается, без облыни, а этому подлецу только бы оммануть. Вот, воб-о-т, во-ат, гляди на него, на ш-шельму.

Кнут несколько раз взвизгнул в воздухе и шлепнул по мокрым бокам коня. После этого пристяжка, казалось, поняла цену добродетели, и ямщик успокоился. Он поглядел на небо и, широко взмахнувши по воздуху кнутовищем, как бы погоняя тучи, сказал:

— Облака-те набираются все. Не даст ли господи милости хресьянам... Айда, айда к нам, на Липоватку.

Он остановился с ожиданием. Теперь по-настоящему седокам следовало бы спросить: «А ты сам разве из Липоватки?»

И он бы тотчас ответил:

— Ну! Из Липоватки, из самой! Липоватовых господ, может, слыхали? Богатеющее имение было.

Да тут же, кстати, спросил бы и сам:

— А вы чьи будете, из какой стороны? Не видывали мы вас что-то, здешние-то господа у нас на примете.

Он жадно насторожился, но никто ничего ему не ответил. Господин по-прежнему тускло глядел вперед и тихонько потряхивался на сидении («точно мешок с мякиной»,— сказал про себя ямщик), а барышня опять уставилась глазами на дальнюю рощу, грузно и сине легшую по «вершинке», на фоне желтой нивы.

Ямщик досадливо поправился на облучке, уселся плотнее и обратился к березам, которые что-то зашептали ему, как старому знакомому, будто приглашая к беседе с ними, вместо неприветливых седоков.

— И-эх березыньки!..— любовно протянул он нараспев, и тихая песня понеслась среди мертвого жужжания оводов. Он пел приятной фистулой, обладавшей общим свойством ямщицких голосов: песня звучала будто откуда-то издалека, точно ветер наносил ее с поля.

И э-э-эх-да-э-эх... да Аракчеев господин...
Да Аракчее-е..

Так как лукавый пристяжной конь видимо замедлил ход, чтобы лучше слышать пение хозяина, то ямщик опять резко вытянул его по заду,— а песня не прерывалась, будто в самом деле ее пел кто-то другой, в стороне. Она тягуче и тихо, но как-то особенно плотно и грустно лилась нота за нотой... Есть что-то особенное в этих ямщицких песнях, которые поются вполголоса на облучке под топот копыт и монотонное позванивание колокольчика. Не удаль и не тоска, а что-то неопределенное, точно во сне встают воспоминания о прошлом, странном и близком душе, увлекательном и полузабытом... Барышня шевельнула бровями.

Да Аракчеев господин,
Да он всеё дороженьку березкой усадил...

Воспоминание становилось определеннее. Слова выходили из звучного жужжания ясные, с понятным смыслом. Барышня совсем оторвала глаза от рощи, и господин переставал безжизненно встряхиваться на своем сидении.

Да он тебя, дороженька, березкой усадил...
Да всеё Рассеюшку в раззор раззорил...
И-э-э-эх, моя березынька, дороженька моя...

Последний стих прозвенел и потерялся в воздухе, покрытый явно сочувственным шорохом берез, шевеливших на легком ветру нависшими ветками. Ямщик, казалось, забыл уже о седоках, и через минуту песня опять тянулась, отвечая шороху деревьев:

И-й-эх, моя березынька, дороженька моя...
И-й-эх, ты мать, Рассеюшка, хресьянская земля...
Да э-эх, Ракчеев наш, Ракчеев генерал,
На тую ль на дороженьку... хресьян выгонял...
Да й-э-э-эх...

Шепот деревьев, шорох хлебов, звон колокольчика и опять песня.

Тая ли дороженька-а-а да кровью полита!..

Вместе с определенностью мотива определялось и выражение на лицах седоков. Лицо молодой девушки стало печально, глаза округлились. Это заметил проснувшийся господин и сказал с неудовольствием:

— Ну, ты! Что такое,— распелся! — говорил он слег-

ка дребезжащим голосом, в котором силилась пробиться какая-то твердая нота.

Ямщик невольно оглянулся. Седок уже не встряхивался, а сидел «своей волей», нахмурив брови, и на лбу его ямщику только теперь резко кинулась в глаза кокарда. «Должно — начальство новое»,— подумал Силуян, обрывая песню, и обиженно задергал вожжами.

Но в голове его шевелились вольные мысли.

«Ишь ведь, прости господи, идол навязался! Не важивали мы начальников, что ли? Вон Полежаев, исправник, или опять Талызин, Василь Семеныч, даром што генерал полный, а, бывало, подавай ему Силуяна, с другим, говорит, и не поеду...»

Эти воспоминания ободрили ямщика, и он прибавил вслух:

— Низвините, ваше благородие,— песня такая поется старинная, про Ракчеива, значит.

— То-то песня,— брезгливо и как-то слегка в нос сказал седок. Он, видимо, старался говорить строго, но твердая нота все не налаживалась...— Песня! Песни тоже всякие бывают...

Впрочем, лицо его опять начало расплываться, обрюзгло, и туловище опять пассивно поддалось влиянию тарантаса: господин опять стал потряхиваться, а глаза его потускнели. Из опасения, что разговор, хотя несколько неприятный, угаснет, ямщик прибавил раздумчиво, после короткой паузы:

— Ракчеив... Стало быть, помещик был в нашей стороне. Годов, сказывают, со сто, а то, может, и всех два-ста будет. Важнеющий был генерал у царицы, у Екатерины.

Господин слегка очнулся.

— То-то вот! — все еще несколько сонным голосом ответил он.— «Два-сто»... У Екатерины... в вашей стороне! Ничего-то вы, мужики, толком не знаете, а туда же, «в раззор раззорил»... Распустились!

— Песня, господин, она, как сказать...— возразил Силуян,— она ведь исстари идет... От народу взялась... Старинная это песня... Ежели ее голосом настояще вывести...

— Ну-ну! Будет уж, не выводи! Слыхали.

— Как угодно! — Ямщик окончательно обиделся.

— Что ты это, папочка, отчего?—спросила девушка. Она, казалось, не сразу вслушалась в содержание разговора и только задумчиво ждала продолжения песни. Когда все смолкло и продолжения не было,— она только тогда поняла причину.

— Ах, Леночка,— ответил господин,— ты этого не можешь понять. Это не Петербург, и здесь я не могу смотреть на себя, как...

— Как на что? — лениво спросила дочь.

— Как... на частного человека! Пожалуйста, Лена, не вмешивайся в мои... распоряжения.

— Не буду, папочка,— так же лениво обещала девушка.

Ямщик излил свои ощущения усиленной игрой на вожжах и усердным употреблением кнута. Однако чуткое ухо уловило кое-что в разговоре. «Вишь ты,— подумал он,— начальник и есть. Строг, а, кажись, отходчив. Ну, да мне-ка что! Наше дело ямщицкое!»

Опять наступила тишина и дорожное томление. Барышня смотрела вдаль, господин потряхивался и ритмически покачивался на сидении, а глаза его, все еще открытые, стали так тусклы, как будто на них насела пыль. Колокольчик бился, взвизгивал и подвывал какому-то своему неисходному горю. Потом он всем надоел, прислушался и сразу исчез из слуха и сознания. Зато в тишине полей оживало какое-то тревожное, пугливое трепетание, и порой чудилось, что диаконский бас, давно оставленный назади, опять увязался с тучами оводов за тарантасом и все догоняет и сыплется по сторонам горошком.

Но это был только слуховой призрак, встававший среди чуткой атмосферы, наэлектризованной томлением и испугом иссыхающей земли...

III

В голове пожилого господина бродили мысли, призрачные, как эти мглистые тучи... Обрывки прошлого, обрывки настоящего и туманная мгла впереди. Все это громоздилось в голове, покрывало друг друга. Общий фон был неясен, зато отдельные мысли выступали порой так раздражительно ярко, что однажды он сказал громко:

— Да... вот А теперь что же мы видим?..

— Ничего, ничего, Лена,— застыдившись, ответил он тотчас же на вопросительный взгляд девушки.— Я думал... о прошлом...

Действительно, он думал о прошлом, и призраки его молодости тянулись к нему невидимыми руками от этого истомившегося простора. Тарантас тихо тарахтит по пыльной дороге, а Семен Афанасьевич Липоватов видит себя юным помещиком... Когда н-ское дворянство, первое из великорусских, обратилось с известным адресом об эмансипации, имя Семена Афанасьевича стояло под этим адресом. Как это все было... Как бы сказать... блестяще, что ли!.. Подъем духа, разговоры, ожидания, тревоги... Казалось, будто вся жизнь поворачивала куда-то на новую дорогу и гремела, и сверкала на этом повороте. Почему теперь так не блестит уже ничего в жизни? Потом, когда виднейшие дворяне, спохватившись, начали горячую борьбу «за интересы сословия» и подали контр-адрес,— имя Семена Афанасьевича каким-то образом очутилось и на контр-адресе. Странно,— но и тут опять было что-то блестящее, что-то кипучее и особенное, окрашенное колоритом того времени...

И какого времени!.. Какой энтузиазм, какие речи, какой пыл, какая самоуверенность, какие надежды! Где теперь все это,— то есть даже не эти факты, а этот особенный тон жизни, этот аромат бытия? Казалось, по всему лицу русской земли были расставлены какие-то особые рефлекторы и резонаторы, придававшие силу каждому звуку, сияние каждому явлению. Неужели это только молодость? Нет, старики тогда тоже становились молодыми, вот что удивительно... Вдруг прославится смоленское дворянство! Вдруг лукояновское общество сельского хозяйства открывает новые горизонты! Вот Семен Афанасьевич подписался под одним адресом — и его имя передается из края в край, становится достоянием даже заграничной прессы. Блеск, гул, сверкание! Но разве не было блеска и в этом протесте нотаблей против эмансипации, в этом столкновении «знамени освобождения» со «старыми дворянскими традициями» И опять его имя становится достоянием прессы, и опять его приветствуют,— только уже с другой стороны... А там опять восторги и ожидания, потом земство, новые суды, éga-

lité!..*. Вот тут-то, когда воспоминания дошли до этого пункта,— у Семена Афанасьевича и вырвалось восклицание:

— Да! А теперь... Что же мы видим?..

— Поле, папочка, и мостик,— ласково улыбнулась дочь...

Семен Афанасьевич вздохнул и оглянулся. Да, поле, дорога, березки, и стая ворон кружится над колеблющейся рожью. Должно быть, во ржи они заметили умирающего зайца или подстреленную птицу...

А между этим ярким и далеким прошлым и этим уголком дороги — целая полоса...

Что это было, как было? Выкупную сделку взял на себя старший брат, человек суровый и не скрывавший своего презрения к либеральным увлечениям Сенички. Семен Афанасьевич только слышал о каких-то замешательствах и столкновениях брата с крестьянами, потом все как-то уладилось, потом получены выкупные, потом Семен Афанасьевич дрался на дуэли из-за m-lle Стратилатовой, первой красавицы в губернии, дочери его соседа по имению. Он был ранен (легко), потом женился, потом уехал за границу. Выкупные таяли быстро, брат писал нравоучения («помни, что ты истощаешь жизненные нервы будущего хозяйства»), и Семен Афанасьевич вернулся в Петербург. Это было время оживления промышленности, железнодорожная горячка, хорошие дворянские имена ценились и котировались бойко. Семен Афанасьевич опять увлекся. Заседания, речи, надежды, сближение с этими замечательными истинно русскими человеками, прицеплявшими звезды поверх синих кафтанов или прятавшими их под окладистыми бородами, акции, облигации, борьба в собраниях, обеды и спичи, в которых Семен Афанасьевич обнаруживал недюжинный талант и упоительное красноречие... В результате он два раза был близок к обогащению, три раза разорялся, один раз получил наследство (после умершего брата), и все это как-то пассивно, как будто все это делали за него другие. Да, пожалуй, оно так и было. «Русские человеки» выплывали,— поднимался с ними и Семен Афанасьевич; «русские человеки» утопали в пучине какого-нибудь кра-

* Равенство (*франц.*).

ха,— утопал и Семен Афанасьевич. А иногда и даже чаще бывало и так: они выплывают, а Семен Афанасьевич утопает. В это время умерла жена, кротко выносившая все увлечения мужа. У ее роскошного гроба Семен Афанасьевич в первый раз почувствовал, как у него тягуче и сильно сжалось сердце, и в первый еще раз, оглянувшись назад, на свою молодую любовь, на свои клятвы и на эту исчезнувшую жизнь, которой он никогда уже не в состоянии вернуть иллюзию счастья, предложил себе этот вопрос, который потом все чаще и чаще вырывался у него как-то механически, порой совершенно неожиданно и нередко вслух — в минуты раздумья:

— А теперь... что же мы видим?..

Дорога, поле, шелест листьев, легкий звон придорожного телеграфа... Жизнь все более тускнела и как-то даже пачкалась. Резонаторы убраны, блеск исчез, и даже застольные спичи на железнодорожных торжествах потеряли былую поэзию. Он чувствовал, что жизнь начинает мчаться мимо, как поезд, на который он не успел вскочить вовремя, заболтавшись на станции. Дела становились все мельче, «хорошие имена» теряли цену, нужны были «хорошие связи», а он как-то растерял их одну за другой. Появилась седина, обрюзглость... подошла старость, и Семену Афанасьевичу захотелось куда-то «домой», для покоя и отдыха...

В это именно время подоспела новая реформа, и Семена Афанасьевича озарило новое откровение. Да, это как раз то, что нужно. Пора домой, к земле, к народу, который мы слишком долго оставляли в жертву разночинных проходимцев и хищников. Семен Афанасьевич навел справки о своем имении, о сроках аренды, о залогах, кое-кому написал, кое-кому напомнил о себе... И вот его «призвали к новой работе на старом пепелище»... Ничто не удерживало в столице, и Семен Афанасьевич появился в губернии.

Здесь его встретили радушно. Губернатор пожимал руки, губернский предводитель обнимал, молодежь толпилась в его номере, поглядывая на хорошенькую дочь и поздравляя отца с «возвращением к настоящей живой работе». Семен Афанасьевич кланялся, благодарил, говорил, что он тронут, даже пролил слезу и начинал искренно увлекаться. Как старый боевой конь он почувствовал,

что тут где-то, вероятно, опять начнется какое-то оживление, откроются горизонты, пойдут обеды и речи. Но первое же собрание в губернаторском доме, в котором он принял участие в своем новом мундире, его как будто несколько озадачило и разочаровало. Было холодно, тускло, неопределенно. Здесь, между прочим, к нему подошел старый, седой господин, его сверстник и друг его юности...

— Василий?

— Семен?

Они взялись за руки и посмотрели друг другу в глаза...

— Неужели это ты?..

— Как видишь.

Встреча выходила какая-то унылая. Первый, впрочем, отряхнулся Семен Афанасьевич. Он был человек нервный и притом долго жил в Петербурге, где есть слова на все случаи жизни.

— Узнаю моего Василия. Седые волосы, правда. «Но и под снегом иногда бежит кипучая вода». Не правда ли: где благородное дело, там и ты!

— Узнаю и тебя, ты не забыл стихов...

— Итак, ты с нами... Меня очень интересовал вопрос, как ты отнесешься к реформе?

Старый господин, повинный некогда в ярком либерализме, ответил уклончиво:

— Хочется все-таки хоть что-нибудь делать.

— Что-нибудь! Да ведь тут работы непочатый угол. Не правда ли, вспоминаются молодые годы? Посмотри на эту молодежь. В свое время мы так же окружали наших стариков. У меня кровь начинает быстрее обращаться в жилах (глаза его действительно начинали слегка сверкать). Ну, скажи, какие тут у вас возникают проекты, вопросы...

Седой господин смотрел устало и грустно.

— Вопросы? Как тебе сказать. Вот сегодня в заседании обсуждался вопрос о смурыгинских березках.

— Березках?

— Ну, да! Молодой земский начальник Смурыгин для блага вверенного участка приказал с первых же дней обсадить березками все проселочные дороги.

— Да? Вот что?.. березками... А знаешь, ведь это

хорошо. Это, конечно, не «широкие задачи», в этом нет полета, но прямая практическая польза... нельзя отрицать и этого, мой старый друг.

— Про-се-лочные — пойми! — с удивлением глядя ему в глаза, повторил седой господин.— Ты, кажется, забыл совсем условия деревенской жизни.

Семен Афанасьевич смутился. Он действительно не вполне ясно представлял себе, в чем дело, но уверенный тон старого товарища сбил его с толку.

— Про-селочные! Да, конечно, это крайность... Но молодость — всегда молодость... Ведь и мы увлекались в свое время. Почему ты не хочешь признать за молодым поколением?..

— Чего?

— Права на увлечение...

— Да, ты вот о чем!.. Посмотри вон туда, у портрета... Группа молодых людей, и в центре... Узнаешь ты этого господина?..

— В очках... густые волосы с проседью?..

— Да. Это известный Заливной.

— А! — ответил Семен Афанасьевич.— Я его лично не знал... это было уже после меня, но как же, помню по газетам!.. Радикал, энтузиаст... Ведь это он требовал когда-то фортепиано для школ? Крайность, конечно, но... крайность, согласись сам, симпатичная... И если теперь он внесет свой энтузиазм...

— Внес уже,— ответил Василий Иванович.— Теперь он требует полного закрытия школ...

Семен Афанасьевич заморгал от неожиданности и растерянно посмотрел на приятеля.

— Ты шутишь... Как же это... то есть, я хочу вам сказать: как примирить...

— А очень просто... отстал ты от духа времени. Есть, брат, такие субъекты.. Наш генерал,— он у нас большой шутник,— называет их породой восторженных кобелей... Видел ты, как порой резвый кобель выходит с хозяином на прогулку? Хозяин только еще двинулся влево, и уже у кобеля хвост колечком, и он летит за версту вперед... Зато — стоит хозяину повернуть обратно,— и кобель уже заскакивает в новом направлении...

— Ха-ха! Резко, но остроумно... Действительно смешная крайность...

— Крайность, конечно, но вовсе не смешная. Земству теперь едва удается отстоять свои школы от резвого натиска... Да, брат, вот тебе и увлечение. Прежде мы смеялись над фортепиано, но жизнь шла к просвещению, к равноправию, к законности...

— А теперь?

Василий Иванович посмотрел на Семена Афанасьевича своим умным и несколько печальным взглядом и ответил задумчиво:

— И теперь жизнь... идет к тому же... Но мы-то идем ли с нею?.. вот вопрос...

— И с такими взглядами,— растерянно спросил Семен Афанасьевич,— ты все-таки... пошел?..

— Пошел, брат... Двадцать лет я был мировым судьей в своем участке... И мне не хотелось, чтобы тут же... у меня... на моей ниве Смурыгин насаждал свои березки или Заливной закрывал мои школы...

— До этого не дойдет! — сказал Семен Афанасьевич горячо...

— Может быть...— вяло ответил седой господин и отвернулся. А в это время к ним подошел губернатор и опять стал пожимать руки Семена Афанасьевича и поздравлять с «возвращением к земле, к настоящей работе»... Но умные глаза генерала смотрели пытливо и насмешливо. Семен Афанасьевич немного робел под этим взглядом. Он чувствовал, что под влиянием разговора с приятелем юности мысли его как-то рассеялись, красивые слова увяли, и он остался без обычного оружия... И он чуть было не выпалил прямо в лицо подошедшему:

— Да, вот... А теперь,— что же мы видим?

Поле, дорога, звон проволоки, зной и обрывки ленивых мыслей тянутся, как облака, друг за другом... Путаются, сливаются. Опять прошлое, потом туман, из которого выплывает кусок тракта, обсаженного березками. Полотно заросло травой, пыльная узкая лента как-то осторожно жмется то к одной стороне, то к другой, видно, что весной здесь езда самая горькая... И в уме Семена Афанасьевича возникает вдруг четверостишие старого «земского поэта»:

Земство, с нас налоги
Ты дерешь безбожно;
Почини ж дороги:
Ездить невозможно...

Он долго повторяет стихи под стук колес и потряхивание тарантаса. К этому времени тарантас тихонько спускается в дол и стучит по мосту, а мысль седока так же тихо переползает дальше.

«Мост новый, вообще мосты, кажется, стали лучше, а все-таки! Земство, земство! Кричали, горячились. Между тем, что же из этого вышло? Мосты лучше, и только. Нельзя же, в самом деле, все одни мосты да мосты! Нужно что-нибудь живое. Школы еще? Народное образование?.. Да-а... конечно, нельзя не отдать справедливость... Но, однако... вот Заливной против школы. Это странно, разумеется, но если хорошенько подумать... Это тоже своего рода течение... Что такое эта земская школа? Полузнание, а ведь в самом деле полузнание хуже незнания... Да, да, возможна и та точка зрения, возможна, возможна... А кто бы мог подумать это, когда сам Заливной требовал фортепиано... Да, скучная эта дорога, когда она кончится?.. Опять мосток... Скоро ли станция?.. Да, вот... что же из всего этого вышло?»

Летят облака, шуршат колеса, старый господин начинает потряхиваться, точно мешок с мякиной, его глаза закрываются...

Старый господин засыпает...

IV

Девушка не спит, и у нее в голове свои мысли.

Она — одна дочь у отца. Как цветок из семени, занесенного вихрем на чуждую почву,— она как-то неожиданно для рассеянного Семена Афанасьевича родилась в швейцарском отеле, первые годы жизни провела за границей, потом попала в отель на Малой Морской, откуда ее мать вынесли в белом гробу, чтобы увезти на кладбище в деревню. После этого девочка росла у бабушки в Финляндии, и это было самое счастливое время ее жизни. За этим она вспоминает скучные годы и казенные дортуары института, а потом,— так как бабушка умер-

ла,— несколько лет с отцом Это было самое тяжелое время ее жизни.

Молиться учила ее старая няня Анфиса, выносившая еще ее мать. Она складывала ей пальчики для крестного знамени еще там, в швейцарском отеле; на Малой Морской она выучила ее «Богородице» и заупокойной молитве по матери, которую научила любить и помнить... В то время, как подруги предавались обожанию учителей, Лена Липоватова лелеяла в душе культ умершей матери. Это было настоящее обожание, мечтательное, страстное, полное грусти и какой-то странной надежды. Она выучилась рисовать, чтобы рисовать портреты матери, она с захватывающим интересом читала старые повести и романы, где изображался быт того времени, когда жила ее мать, та обстановка, в которой проходили ее молодые годы. Это были не всегда хорошие романы, но она читала между строк, и на нее веяло с пожелтевших страниц особенной поэзией дворянской усадьбы, жизни среди полей, среди народа, доброго, покорного, любящего, как ее старая няня... среди мечтательного ожидания... И в то самое время, когда ее отец собирал у себя несколько сомнительное «блестящее» общество,— девушка забивалась с старой няней в дальние комнаты и под жужжание речей и тостов, доносившихся сквозь стены, слушала старые седые предания о тех годах, когда мать ее бегала по аллеям старого барского дома, окруженная, как сказочная царевна, заботами нянек и мамок... У нее не было для сравнения ничего, кроме отелей и института,— она принадлежала к поколению, родившемуся после исхода из Египта и не достигшему никакой обетованной земли, росла в случайной обстановке, совершенно лишенная в действительности того, что мы называем «средой». Мудрено ли, что она создавала себе среду в юном воображении из обрывков воспоминаний о матери, получаемых от старой няни.

Молодость романтична... А что может быть романтичнее исчезнувшей старины, которая была настоящим для наших матерей и отцов. Девушка жадно слушала, как шамкали старые нянины губы о ее красавице маме, которую унесли в белом гробу из противного петербургского отеля в родную деревню... И прошлое вставало перед ней с какой-то манящей прелестью, то прошлое, когда

в усадьбах вырастали заколдованные царевны, ждавшие своих героев, когда в них жили блестящие господа, когда они съезжались в прекрасных домах, окруженных парками... В парках звонко гудят рога, появляются и исчезают блестящие тени, сверкают глаза... Любят, страдают, вздыхают, дерутся на дуэлях (как некогда отец... когда он был совсем другим). Порой ей казалось, что она видит все это: так живо действовали эти рассказы... Белая стена дома, темная, мечтательная зелень деревьев, по которым любовно скользят серебристые лучи месяца, красноватые снопы света из окон, причудливая балюстрада балкона, заглушенные звуки штраусовского вальса. Дверь открывается, в фантастическом двойном освещении появляется «она», ее мама, а может быть... и она сама... Она глубоко вдыхает в себя ароматный воздух ночи, а около нее сидит ее избранник, такой, каким проезжий живописец изобразил отца на юном портрете масляными красками... Мечтательные глаза, мягкие усы колечком, стройный стан, и что-то фантастическое перекинуто через левое плечо.

Лена очень обрадовалась, узнав, что теперь подошла новая реформа, и ее отца зовут опять туда, где родилась, где жила, где любила ее мать, где она лежит в могиле... Лена думала, что она тоже будет жить там и после долгих лет, в которых, как в синей мреющей дали, мелькало что-то таинственное, как облако, яркое, как зарница,— ляжет рядом с матерью. Она дала слово умиравшей на Песках няне, что непременно привезет горсточку родной земли на ее могилу на Волковом кладбище.

В это время в Петербурге давали драму, в которой чуткий к современным веяниям драматург вывел нового героя — «молодого земского начальника». Над драмой смеялись, но Лена приехала домой в опьянении. Герой приезжает из недр деревни, чтобы отыскать в Петербурге правду для обиженного «народа». Они были крепостные его отцов, холодный, суровый закон против них,— но он, благородный сын благородных родителей, повинуясь лишь указаниям благородного сердца, поклялся защитить их во что бы то ни стало от сурового закона, которым всегда пользуются дурные люди. С этой целью он обивает пороги «высокопоставленных лиц», ходит по канцеляриям, заводит нужные знакомства и даже в баль-

ной зале, под звуки оркестра, выделывая ногами изящные па̀ кадрили и красиво перегибая тонкий стан в изящном фраке, он говорит «ей», уже любимой, о них, о бедном, добром, страдающем народе...

Она вернулась домой влюбленная. В кого? Конечно, не в актера, исполнявшего благородную роль, а в свою мечту об этом герое, воплотившем для нее все то неясное, что рисовалось ей назади, в этом романическом прошлом. И когда ее кузен, либерал и скептик, позволил себе посмеяться над пьесой и над романтическими мечтами Лены, она спорила долго, горячо, чуть не до слез.

— Вы не знаете,— закончила она.— Сам народ думает так же... Жаль, что вы не знали мою няню...

И вот она с отцом в губернском городе, где его задержали какие-то хлопоты по утверждению в должности и еще что-то такое неприятное в банке. Грязный номер грязной гостиницы, скука и непонятные разговоры. Порой к отцу собирались его старые знакомые, порой приходили новые сослуживцы, толковали о статьях, о положении, о размере прав и обязанностей, о жаловании и разъездных, о смурыгинских березках. О последних говорили так много, что Лена заинтересовалась самим Смурыгиным. Впрочем, она была разочарована, когда отец представил ей «нашего молодого деятеля». Он был тощ, со впалыми щеками и впалой грудью, с тонкими ногами, которыми все как-то сучил, даже стоя на месте. За обедом он сказал речь, которую начал, обращаясь к Семену Афанасьевичу, словами:

— Ма-адое поколение, Семен Афанасьевич...

Он говорил еще что-то, потом чокался с Леной, но она ответила ему с непонятной для нее самой холодностью. Как будто этот господин претендовал на что-то такое, чего Лена инстинктивно ему не уступала. «Нет, наверное, там, на месте, найдутся еще другие... Они окружат ее отца, они будут все вместе советоваться, как помочь доброму народу, как защитить его от сурового закона и злых людей... И папа никогда уже не будет возвращаться домой усталый и немного неприличный, как это бывало после этих противных «деловых обедов» и ужинов в петербургских ресторанах».

И вот она едет и жадно вглядывается вдаль и ищет: где же эти таинственные «усадьбы» и парки, где эта

обетованная земля, на которой воочию предстанет перед ней мечта ее жизни... Поля, колокольчик, порой засинеет лесок, облака двигаются бесшумно с какой-то важной думой, и отец, вздрагивая, спрашивает:

— Да. А теперь — что же мы видим?..

V

Дороге, казалось, не будет конца. Лошади больше махали головами по сторонам, чем бежали вперед. Солнце сильно склонилось, но жар не унимался. Земля была точно недавно вытопленная печь. Колокольчик то начинал биться под дугой, как бешеный и потерявший всякое терпение, то лишь взвизгивал и шипел. На небе продолжалось молчаливое передвижение облаков, по земле пробегали неуловимые тени.

Тарантас взобрался на пригорок, скатился с него, застучал колесами по гулкому мостику. Теперь у самой дороги, взрытой до горизонта, как бархат, лежал черный пар. Недопаханные, лишь кое-где зеленели еще узкие полоски. Одна из них подходила к дороге, но и она становилась все уже: на ней вихлялись за сохами две серые, лохматые и запыленные мужицкие фигуры. Один из пахарей удалялся, наискосок от тракта, другой подходил к проселку, лицом к нашим путникам. Его лошадь, надсаживаясь, дотягивала борозду, а пахарь внимательно поглядывал вперед.

Вдруг лошадь стала выходить из борозды: прямо перед ее мордой оказалось небольшое, тощее, очевидно недавно посаженное деревцо, с верхушкой, уже наполовину увядшей. Пахарь дернул вожжой, придержал соху, деревцо втянулось под гуж, изогнулось, попробовало вынырнуть меж оглоблей и вдруг сиротливо свалилось, подрезанное железом. Еще около сажени тянулось оно, зацепившись веткой, наконец осталось на пыльной пашне. Мужик оттолкнул его лаптем и стал вытряхивать лемех.

Силуян, с любопытством глядевший на все это, придержал лошадей.

— Ты что ж это, дядя... больно смело ее выволок? — сказал он с какой-то особенной нотой в голосе.— Ай отменили?

Мужик поднял кверху красное потное лицо и усмехнулся... Но, увидев на проезжем барине кокарду, стал вдруг серьезен и задергал лошадь, не дав ей щипнуть былинку у дороги... Вдоль проселка лежали вывернутые сохой березовые саженцы... Только пять-шесть еще сиротливо стояли, наклонясь и увядая...

Силуян вынул из кармана кисет и, скручивая цигарку из газетной бумаги, сказал как бы про себя, качая головой:

— Отменили, видно... А ведь что склеки-то было... Не приведи господи...

— Обрадовались... дураки! — проворчал Семен Афанасьевич с неудовольствием.— Ну, поезжай, что ли.

— Что это, папочка? — спросила Лена, удивленная тем, что отец и ямщик говорят об этой немой сцене, как о чем-то понятном для обоих. Сама она не умела читать эту огромную книгу с синею далью, с летучими тенями облаков, с разноцветными лоскутами полей, по которым там и сям ползали люди и животные... Крик вороны, щебетанье жаворонка, шорох берез, медленное движение облаков, надрывающиеся на пашне лошади, мужики с потными лицами, в грязных рубахах, земля, чернеющая следом за сохой, беспомощно падающие деревца — все это сливалось для нее в общий фон, все казалось одинаково на своем месте, навевая только какие-то смутные ощущения, но не мысли...

— Оно, скажем так, ваше благородие,— говорил ямщик, обмусоливая свою цигарку,— оно ведь и дуракам своего-то жалко...

— Что это, папочка? — спросила опять Лена, вглядываясь, как мужик повернул соху и стал удаляться, ведя новую борозду по другому краю полосы Новое деревцо, уже наклонившееся к земле, попало под железо, судорожно метнулось, задрожало и тихо свалилось на пашню.

— Это...— ответил Семен Афанасьевич на вопрос дочери,— те самые .. ну, что в городе говорили: смурыгинские березки.

— Так точно, барышня,— пояснил и ямщик, равнодушно чиркая спичкой по облучку.

Лена с интересом оглянулась на полосу пара. В городе ей надоели разговоры об этих березках, о том, имел или не имел права Смурыгин садить их по дорогам, правильно ли поступило какое-то присутствие, отменив его распоряжение... Теперь все эти отвлеченные разговоры приняли осязательную форму: черная полоса, ряд срезанных березок, фигуры пахарей, с каким-то ожесточением выворачивающих неповинные деревца, и насмешливое злорадство в голосе ямщика.

Лене стало жаль и деревьев, и молодого Смурыгина, которого она видела в последний раз несколько сконфуженным.

— Зачем же они это делают? — спросила она в недоумении.

— А потому,— пояснил уверенно Силуян, собирая вожжи,— что никак невозможно. Выходит — нет такого закону... Закон, значит, милая барышня, на хресьянскую сторону потянул...

Семену Афанасьевичу не понравилось что-то в словах ямщика, и он сказал с непонятным Лене раздражением:

— За-акон! То-оже законы разбирать стали? Вот ты про Аракчеева пел... Он бы вам показал законы.

— Верно! — одобрительно сказал ямщик...— Тот сурьезный был...

— То-то сурьезный!.. С вами, подлецами, иначе и нельзя...

— Ах, папочка! — сказала Лена укоризненно. Ей не нравился этот тон: в Петербурге она никогда не слышала от отца ничего подобного, наоборот, он был истинный джентльмен в обращении с «низшими». Но он легко перенимал, и она подумала с неудовольствием, что он вывез этот тон из города, от этих господ, с которыми вел частые беседы. Конечно, с березками мужики поступают нехорошо. Но ведь это только по невежеству... Им надо растолковать... Вообще там, в Петербурге, она иначе представляла себе будущие отношения к «доброму народу», и тот «местный колорит», который приобрела так скоро речь ее отца, резал ее чуткое ухо.

— Прости, Леночка, но... я не могу говорить об этом спокойно,— сказал Семен Афанасьевич и, понижая голос, прибавил: — Ну, он, конечно увлекся... Укажи, сделай молодому человеку дружеское замечание... На это есть

предводители. Но нельзя же так... ронять авторитет власти... Раз уже сделано...

И, опять повысив голос, явно для ямщика, он сказал с новым раздражением:

— Зимой сам же б-болван поедет пьяный с базара, в метель... так, по крайней мере, не собьется куда-нибудь в овраг.

— Зимой, ваше благородие, этто не ездиют,— спокойно ответил Силуян.— Зимой другая у них дорога живет, прямиком через реку.

Семен Афанасьевич заморгал глазами, как всегда, когда бывал в затруднении, но Лене стало обидно за отца, и она не хотела сдаться.

— Ну, хорошо,— сказала она.— Что же им все-таки помешали деревья? Раз они уж посажены.

— Посадишь, милая барышня! Тут что греха-то было, не приведи бог! Старшин по семи ден каталажил, а старостов этих и не есть числа...

На лице Лены выразилось напряжение, а Силуян, придержав лошадей, указал на узенькую ленту проселка, казавшегося белой полоской на матовой черноте пара.

— Э-э-вона,— сказал он своим певучим голосом,— во-он куда она, матушка дорожка-те, вдарила во всю тебе степь.

Брови девушки поднялись еще выше.

— Ну, так что же все-таки?..

— Да ведь земли-то, ты подумай, сколько под ее нужно. А ведь она, земля-те, хрестьянину дороже всего. Клади хоть по саженке, да длиннику эвона. Ведь она, дорога, не гляди на нее... встанет, до неба достанет!.. Так-то. Да еще деревина-те в силу взойдет,— опять корнем распялится. Обходи ее сохой!.. Да нешто это мыслимо...

— Папочка? — полувопросом кинула девушка, но отец не ответил.

— Так отчего же они ему не сказали?

— Чего это?

— Да вот, что ты говоришь... Они бы так и сказали Смурыгину...

— Как, поди, не сказывали! Да вишь,— он все за бороду...

— Папочка!

Старый господин сидел с закрытыми глазами. Лошади немного припустили с горки, тарантас покатился быстрее, и опять за ним увязался клуб белой пыли, в котором толклись овода, и опять потянулась пустота, томление, зной... Старый господин вскоре действительно заснул.

VI

— Далеко ли еще, ямщик?

— Верстов еще с десяток будет.

— А дождем нас не промочит?

— Дай-то господи! Солнышко-то, вишь, в хмару садиться хочет... Прогневался господь на православных. Прошлый-те год измаялся народишко, беда! А ноне, гляди, еще хуже будет. Хлеб горит. Вот кабы помиловал господь,— да нет, только дразнит... Ходят тучи, слоняются по небу, а что толку.

Он поглядел кругом и вдруг, сняв шапку, перекрестился.

— Кажись, в нашей стороне пало уж... Умолили, видно... Э-э-вон, гляди, потемнело... В аккурат над Липоваткой придется...

Силуян не заметил, как лицо девушки вспыхнуло и опять побледнело.

— Липоватка?.. там?..— спросила она.— И ты оттуда?..

— Оттеда... Липатовские мы, господские были... Широким жестом он взмахнул кнутовищем, как бы охватывая взмахом весь видимый простор, и сказал:

— В старые-те годы этто все — помещичье было. Что видишь поле, что видишь леса и луга, все было ихнее... Бестужевы — в Бестужевке, Кроли — в Анучине, Липоватовы на Липоватке, Егоров на Осиновке, Медигорский в Елховке...

Лена с удивлением оглянулась кругом... Певучий голос ямщика мгновенно населил этот пустой простор целым роем знакомых ей с детства имен. И Кроли, и Анучины, и Медигорские — все это жило в рассказах няни, все эти имена она знала по семейным преданиям, видела их портреты, знала их характеры и семейные отно-

шения. Где же они? На равнине где-то далеко белела усадьба, где-то еще чернела деревенька, казавшаяся просто кучкой темных пятен, синели остатки вырубленных рощ... Было тихо и пусто, но ей казалось, что эта чуткая пустота оживает, что вот сейчас Кроли поедут в Липоватку и Бестужевы в Анучино и встретятся ей на дороге, веселые, оживленные, радостные... Но она протирала глаза и не могла понять,— где же все это затерялось в этом молчаливом просторе...

— А ты... Елену Степановну знал? — тихо и как-то застенчиво спросила она.

— Это младшего-то барина, Семена Афанасьевича, жену? Помним. Красавица была, царствие небесное... Померла. Давно. Вот уж жалости было, как на деревню ее привезли... Бабы, что есть, голосом голосили...

У Лены на глазах показались слезы. Вот то, чего она ждала, прозвучало, наконец, в словах простого, доброго человека! У нее на мгновение захватило горло, и только через минуту, справившись с волнением, она спросила застенчиво и тихо, чтобы не разбудить отца:

— Значит, они... хорошие были? И вам было хорошо?..

Ямщик помолчал, ласково погладил кнутом коренника и ответил:

— Господа ничего... что ж господа... известно... Бурмистры вот шибко примучивали!

— При-мучивали? — спросила Лена, пораженная неожиданным выражением.

— И-и, беда! не дай бог, как мучили.

Он слегка повернулся, свободно отпустил вожжи и задумчиво, как будто не обращаясь к Лене и отдаваясь воспоминаниям, говорил своим выразительным, слегка растроганным голосом:

— Женщина, например, тетка, у меня была, безмужняя, вдова. Муж у ней, значит, помер, скончался. А ребят полна изба. Встанет, бывало, до свету божьего,— где еще зорька не теплится... А летняя-то зоря, сама знаешь, какая! Бьется, бедная, бьется с ребятами, а где же управиться... За другими-те и не поспеет.

— Куда не поспеет? — простодушно спросила Лена.

— А на барщину... Значит, на господ работали... Царь Александр Николаевич уничтожил. Вот хорошо:

запоздает она, а уж нарядчик и заприметил... докладывает бурмистру... «Поч-чему такое? А?..» — Да я, ваше степенство, с ребятами. Неуправка у меня...— «Ла-адно, с ребятами. Становись. Эй, сюда двое!» И сейчас, милая ты моя барышня, откуль ни возьмись, два нарядчика. И сейчас им, нарядчикам, по палке в руки, по хар-рошей. Дать ей, говорит, десять... или, скажем, двадцать...

— Папочка,— раздался тихий голос, как будто искавший защиты.

Силуян оглянулся.

— Спит, не трог. Дело старое. Ну, хорошо — дать ей двадцать. Сейчас она, милая моя, стоит; один нарядчик с одной стороны, другой, например, по другую сторону, и накладывают ей между спины наотмашь.

Он неторопливо поднял кнут и показал Лене кнутовище.

— Между спины-те рубцы вот в это кнутовище. Ну, ступай теперь, милая, становись в череду, работай, жни.

— Жни? — машинально повторила девушка и беспомощно оглянулась кругом. У дороги опять шептала рожь, и томительная печаль, нависшая над всем этим пейзажем, казалось, получала свой особенный смысл и значение... Эти поля видели это... Лена глубоко и тяжело вздохнула, как человек, который хочет проснуться от начинающегося кошмара.

Ямщик услышал вздох и, повернувшись, поглядел сочувственно на бледное лицо девушки. Ему захотелось ее утешить. А так как он был поэт, то чувствовал, что это в его власти.

— Постой, что я тебе скажу. Терпели православные, верно, что терпели. Так ведь господь-то батюшка, он-то ведь не терпел этой пакости! На немилостивых-те людей у него, барышня моя, есть сделанной ад-тартар...

Он взмахнул рукой, проваливая немилостивца в тартар, но лошади поняли иначе это движение, и пристяжка первая рванулась так нервно, что чуть не оборвала постромки. Тарантас дрогнул, в лицо девушки пахнул поднявшийся ветер, пробежавший над побледневшими полями.

— Гляди, потемнело,— сказал Силуян,— никак в самом деле дождь идти хочет к вечеру. Вишь, и солнца не

стало, а все парит, ровно в печи... Ну, мил-лые... иди ровней! Раб-ботай...

Тарантас встряхнулся, заболтал колокольчик, лошадиные спины заскакали живее. Между тем, на небе, казалось, действительно что-то надумано. На горизонте все потемнело, солнце низко купалось в тучах, красное, чуть видное, зенит угасал, и туманы взбирались все смелее и выше. Шептали березы, шуршали тощие хлеба, где-то в листве каркала одинокая ворона.

Девушка сидела задумчивая и побледневшая. Она не могла хорошо разобраться в своих ощущениях, но ее неудержимо тянуло к разговору. Силуян, как это тоже часто бывает у поэтов, почувствовал каким-то инстинктом, что он имеет успех: лицо у него стало уверенное и довольное. Он замедлил ход тройки и повернулся опять.

— Прокатил бы я тебя, милая барышня,— место ровное, да папашка-те у нас спит. Вишь, разомлел.

Он как-то оскорбительно фыркнул на спящего. Фигура и голос его показались Лене неприятными и наглыми. Но через короткое время она вспомнила, как была тронута его рассказом о похоронах матери, и ей захотелось вернуть это мелькнувшее впечатление.

— А что же она... тетушка твоя, господам не жаловалась?

Ямщик лукаво покачал головой.

— Да, вишь, они, господа-те, в етаже жили, высоко...

— В этаже?

— То-то в етаже. Людишки-те толкутся внизу, он и не видит... А может, и видит. Хитрые они тоже, господишки-те.

Он засмеялся, как показалось Лене, довольно противно, в бороду, и покачал головой в скверной шляпенке.

— Хит-рые? — переспросила девушка упавшим голосом.

— Хи-итрые! Что ты думаешь,— ответил Силуян простодушно. Он чувствовал, что овладел слушательницей, и, соответственно с этим, в нем самом выросло вдохновение былинщика...

— Послушай, милая барышня,— заговорил он после короткого молчания.— Я тебе сни-сходи-тельно расскажу, какое у нас дело вышло Стало быть, перед волей это было, не в долгих годах,— триденную барщину издела-

ли: три дни чтобы на барина работать, три дни на себя, воскресное дело — господу богу. Хошь — молись, хошь — кверху брюхом лежи... Вот, милая ты моя, хорошо. Значит, люди по всем местам так по три дня и работают. А нас в Липоватке все по четыре дня гоняют... Гоняют, милая ты моя, да мучат... Бурмистры да нарядчики... дохнуть не дают...

...Говорил я тебе, ай нет про Деминых? Два брата были: варвары, тираны, немилостивцы, ххрапоидолы! И, стало быть, за тиранство за свое получали от господ всякое удовольствие. Дети на барщину не ходят, да еще по два тягла мужиков на них, на варваров, радели... Помирать аспидам не надо. Ну, и старались. Семен это — который женщину в два кнута тиранил. Другой брат, Василий, тот больше по лошадиному делу докучал. Выгонит зимой или осенью молотить в три часа, да до самого вечера все молотим. Об себе не столь тужили, сколь много лошадьми убивались. Вот возьмешь соломки ей да тут же и присыплешь. Сейчас увидит нарядчик — к Ваське Демину... Тот тебе двадцать...

...Ну, хорошо. А село наше, знаешь, на большой дороге, на Саровской, идут богомольцы богу молиться,— все мимо нас. Зайдут в поле или на ригу посмотреть, только головами качают. Потому что — странний человек по свету ходит, понимаешь ты, знает всякую штуку. Жалели нас, конечно. Что такое,— в прочих местах, например, один закон, у вас другой. Ну, мол, потерпите. Скоро этому делу конец видится. А мы, милая барышня, что коняга заморенная, которая, например, из борозды не выходит, не могли верить: пустяки, мол, все, дело это вековечное, и детям терпеть же надо... Ну, только братану моему, Николаю Перцеву, да еще Ивану Егорову и западя те людские речи прямо на сердце. Вот, милая, один раз... выгнали по три дня на барщину, по четвертому гонют, да раным-рано, до солнечного восходу. А братан с Егоровым, как вышли в поле, стали посередь миру и говорят: стой, миряна, никто за работу не берись, смотри, что будет... Ну, мир стал, нарядчики туда-сюда, никто ничем... все сгрудились, стоят в сумерках; и расходиться не расходятся, и работать не работают,— как вот все равно стадо перед грозой... Слышишь, милая, какое дело?

Напоминание было лишне. Девушка слушала с затаенным дыханием, и в ее воображении, под влиянием этого выразительного грудного голоса, рисовалась картина: на таких же широких полях, в темноте, перед рассветом, стоят кучки людей и ждут чего-то. Она еще не знает чего, но чувствует, что ждут они какой-то правды, которая не имеет ничего общего с миром ее мечтаний...

— Слышу,— ответила она тихо...

— Ну, стоят... Что, мол, будет?.. Как тут стало и солнышко подыматься... Показалось из-за лесу... Все глядят: что же, мол, еще?.. А братан мой, Перцев Николай, да Егоров Иван вышли, покрестились на свет божий и говорят: «Смотрите, мол, миряна: вот солнышко всему хрещеному миру засияло, как, например, прочим селам с деревнями, так и нашей Липоватке... Так ли, мол, миряна?» Ну, все, конечно, говорят:—Так! Это есть справедливо!— «Почему же такое для всех закон триденная барщина, а нас все по-старому гонят». Да как гаркнет вдруг: «Не ходи, миряна, в нашу с Иван Егоровым голову,—не ходи на четыреденку!» Миряна поглядели на солнышко, а уж оно, милое, и вовсе из-за лесу выходит. «Ка-быть, говорят, Перцева да Иван Егорова правда. Всем солнышко божие светит, всем и закон дается». Вот как солнышко-те все выкатилось, мир, знаешь, и качнулся. Не идем на четыреденну барщину. Айда по своим полосам! Нарядчики туда-сюда! «Что вы, миряна, бунтуете, что бунтуете?» — А то и бунтуем, что нет вам закону! — Ну, сейчас нарядчики к бурмистрам, бурмистры к барину, так и так: Перцев да Егоров народ взбулгачили. «Пад-дать их сюда, па-адлецов эдаких!»

Лена вздрогнула. Дребезжащий, хотя и высокомерный тон, каким была произнесена последняя фраза, не оставлял сомнения, кому принадлежал этот голос, хотя она слышала его только раз, в Петербурге, незадолго до смерти дяди.

— Ну, взяли моего братана с Иваном, скрутили хорошим манером, да на поселение... Вот-те и солнышко! Конечно, стало быть, и пошло у нас по-старому, и не стали мы странников даже и слушать... Только через год ли, два ли, приходит от братана письмо. Что же ты думаешь: требовает к себе на поселение законную супругу. Это, говорит, у вас Сибирь, а не здесь. Я, говорит, вла-

даю себе, например, землей, сколь вспашу, лес, что вырубил — мое! Коси, куда сама коса пойдет. Посылайте мне, говорит, сюда законную супругу Евдокею, и вот шлю, напримерно, столько-то бумажек. Тут уж, что у нас поделялось, и сказать тебе не могу. Качнулся тут мир опять: не идем да не идем на четыреденку. Всех на царское поселение отправляй, к Перцеву! Ну, уговаривали, молодой барин приезжал, Семен Афанасьевич...

Лена со страхом оглянулась на отца. Он спал, прислонившись к сидению.

— Чудной! — усмехнулся Силуян.— Вышел на крылец, поклонился на все стороны. «Я, говорит, православные, во всякое время, говорит. Я за вас, говорит, и бумагу подписал, а что касающее этого дела,— не могу. Старший брат у меня...» Так ни с чем и отчалил. Ну, да мы все-таки отбились... Вот видишь ты, милая барышня, господь-то чего удумал. Они, значит, так полагали: пропал Перцев, а Перцев-то во! Жену вытребовал... А вот вороги-те наши извелись... Пришла, значит, воля, народу свет открылся, а Демина Семена паралик расшиб, налетной. Все одно — вихорь!.. Другого брата, Василия, который насчет лошадей тиранил, лошади же и прикончили. Пошел с базару пьяный, да вот никак здесь же на этой дороге упал, уснул. Народ идет, песни поют, праздничное дело веселое. Кто лежит? Васька Демин лежит. Не трог, лежит. Ну, приходит вечер. И приходит, милая ты моя, вечер,— откуда тут ни возьмись, вон с пригорочка, с этого — трри трройки! Летят, все одно тот же вихорь. И ведь подумай ты себе: лошадь, она ведь тварь разумная,— человека обегает. А тут, гляди ты, на него пррямма! Копытом в голову, рраз! Колесом кованым па м-морде. Разбили, раздребезжили — умчались. Вот смотри же ты, пожалуйста: от лошадей идол сам себе получил дурную смерть на дороге, об вечерней поре. А ночью-те буря, да ветер, да стон тебе, да свист. И-и! Что было. А наутро пошел народ, глядит: лежит Васька, демоны и душу вынули. Стали спрашивать, стали сыскивать, чьи да чьи тройки? И троек таких тыщу верст на примете не бывало. Поняла ты эту причину?.. И семя поганое тоже опять извелось... Н-но, дьяволы!..

Он тряхнул вожжами, но как-то так, что лошади нисколько не прибавили шагу. А сам опять повернулся и,

указывая кнутом вдаль, где под лесом белели здания чьей-то усадьбы, сказал:

— Э-вон, Осиновка... Перфильева барина была когда-то... Ну, немилостивец тоже был... У этого у живого живот лопнул.

Лена встрепенулась. Подавленная печальными видами и мрачными рассказами, она вдруг как бы очнулась от гипноза:

— Про какого Перфильева ты говоришь? Ивана Павловича?

— Верно... Он самый!

— Ну, значит, неправда,— волнуясь, заговорила Лена.— И, значит, все ты неправду говоришь.

— Убей меня бог... Кого хошь спроси...

— И неправда... и не клянись... Я сама Перфильева помню, и ничего этого не было, и умер он просто от тифа... И было это не очень давно...

Лена говорила горячо и с таким убеждением, что Силуян невольно покорился. Он с некоторой досадой подхлестнул пристяжку и потом спросил:

— А где его хоронили, когда вы знаете?

— А хоронили в имении.

— Ну верно.

Он грустно помолчал и сказал с убеждением:

— Ну, стало быть, у мертвого у него живот расперло, вот как, милая: у мертвого. Это верно!

Лена беспомощно откинулась на подушку. Она была глубоко оскорблена и обижена, и ей хотелось плакать. Она еще не сознавала ясно, что у нее так болит и какие опустошения произошли в стройном мире ее фантазий. Ей казалось только, что она оскорблена за отца, за дядю, за фамильярность, с какой ямщик отзывался о спящем, наконец за ту возмутительную ложь, на которой она его поймала...

И ей показалось, что самая природа насупилась и загрустила еще больше. Черта между землей и небом потемнела, поля лежали синие, затянутые мглой, а белые прежде облака — теперь отделялись от туч какие-то рыжие или опаловые, и на них умирали последние отблески дня, чтобы уступить молчаливой ночи... Они тихо скучивались, вздымались, громоздились в возрастающем беспорядке и тревоге... Кое-где, как будто в изнеможении,

шевельнулись еще столбами последние лучи солнца и угасли, закрытые туманными массами, поднявшимися до самого зенита. Мглистые тучи колебались, меняя очертания, живые, изменчивые, зловещие...

И вдруг, откуда-то издали, отрывисто и глухо раскатился гром.

Ямщик остановил лошадей, сволок свою шляпенку и перекрестился. Лошади стригли ушами, отдельные тренькания колокольчика боязливо и жалостно тонули в ближней лощине, стая ворон молчаливо пронеслась над березками тракта, и Лена глядела, как черные точки слились с низкою тучей. На побледневшей зелени, на потускневших очертаниях полей лег отпечаток общего испуга и ожидания... Семен Афанасьевич сидел с открытыми глазами, как будто вовсе не спал, но ни Лена, ни ямщик этого не заметили. Тройка опять тронула по дороге. Слепни и овода исчезли. Седок опять закрыл глаза.

В расколыхавшемся воображении Силуяна пробегали образы, на которые пала теперь угрюмая и мрачная тень этого вечера, сменявшего томительный день, и он не хотел упустить из своей власти внимательную слушательницу.

— Ну, хорошо,— сказал он, не поворачиваясь,— а с-под Илевого заводу барина, Панкратова, слыхали?

Лене было знакомо и это имя. В богатой семейной хронике, которую она заучила от няни, была — правда, на дальнем плане — и эта фигура. Панкратов приходился дальней родней по матери, и Лена слышала о нем от отца и от няни. Хотя няня, тоже поэт в душе, клала на все самые мягкие краски, выделяя лишь светлые образы дорогого ее крепостническому сердцу прошлого, но и в ее передаче эта фигура рисовалась некоторой тенью... Панкратов был когда-то заметным в столице красавцем, из тех, которым, по странной игре судьбы, не везет, несмотря на все внешние шансы, именно у женщин. В Петербурге невеста отказала ему перед самой свадьбой, чтобы выйти потом за самого заурядного фата. Тогда он уехал в деревню и здесь, частью по любви, частью из гордости и мести, женился на крестьянке-красавице, своей крепостной. Через два года она изменила ему с доезжачим... Он хотел убить обоих, но нашел в себе силы простить ее, а доезжачего только отдал в рекруты. Неблагодарная

красавица, не выдержав и года после этого, убежала с ремонтером... Тогда Панкратов возненавидел людей, стал мизантропом и всю свою нежность отдал животным. Перед эмансипацией у него было какое-то бурное столкновение с крестьянами, сущности которого Лена не знала, и администрация прибегала к практиковавшемуся тогда выселению из имения до окончания выкупа. Тогда он совсем оставил Россию и умер старым мизантропом в Ментоне. Лена видела его портрет: лицо, как у мумии, и черные, горящие каким-то особенным блеском глаза. Она прощала ему человеконенавистническое выражение этих глаз. «У него было нежное сердце, оскорбленное людьми,— говорила она,— и он много страдал».

— Он очень любил животных,— сказала она на вопрос ямщика.

— Вот, вот. Удивительное дело: животную тварь любил, а людей тиранил.

— Люди сделали ему много зла,— сказала Лена мягко.

— Люди? Нет, люди ничего. Жена сбежала, это верно. Крестьянку взял, крепостную, а она, значит, с офицером укатила. Правда, с этих пор озверел. «Я, говорит, ее из низкости вывел... Когда так, говорит, то я всему ее племю себя покажу. Хуже собак мне мужики теперь...» Ну и верно, что хуже собак сделал. Псарню построил вроде господского дома. И которые были у него самые любимые десять сук, и принесут, напримерно, щенят, и сейчас он раздает их по крепостным женщинам. Которая, понимаешь, принесла ребеночка и имеет в грудях молоко,— сейчас ей собачары приносят щененка, стало быть, для воспитания...

— Неправда! — вскрикнула Лена, точно ужаленная.

— Убей меня бог,— равнодушно вставил ямщик и опять обратился к рассказу.— Ты вот послушай, что дальше-то, как господь-батюшка распорядился: через этого человека всем православным воля вышла... Вот был у этого барина крепостной человек на оброке, Алексеем звали. Уж вот был мужик разумный, да красивый, да удачливый, просто по всей вотчине молодец первейший. И имел у себя молодую жену. Он-то красив да пригож, а она и того лучше,— поищи этаких двух по всему свету

белому, ан и не сыщешь. Имуществом тоже бог не обидел: из хороших семей оба, достаточные. Ну, только и имел этот Алексей в себе маленичко гордость. Вот приходит ему, Алексею, в дальний извоз итить, а жена у него остается на сносях. Делать нечего. Идет он с извозом, знаешь, по степе. Идут, ночное дело, возы скрыпят, обозчики, разный народ, со всех, может, мест, рядом идут да промежду себя разговор ведут. Известно,— дело дорожное, как и мы вот сейчас: где какие, например-но, народы проживают, где какой обиход, ну и все такое прочее. А он, Алексей, идет с возами, все молчит, что туча. Вот у него другие и спрашивают: «Ты это что же, молодец, в товарищах идешь, а с нами, товарищами, разговаривать не хочешь? Аль сам об себе высоко понимаешь, а нами брезгуешь?..» — «Нет, говорит, товарищи милые, сам я об себе не высоко понимаю и вами, товарищами, не брезгую. А то я, говорит, невесел по степе иду, что дома жену оставил, а помещик у нас больно лют. Бьют, колотят, только душу не вынимают. Ну, да это все ничего, до меня бы не касающее, а что вот завел дурную моду — щенят женскими грудями воспитывать». Вот и стали те люди, по степе идучи, то дело обсуживать. А в степе-то, знаешь, все вольные люди: который у себя дома, может, и крепостной, и тот в степе вольным казаком объявляется. Попадается, конечно, и служивый народ, отставные солдаты. Вот и говорят те люди Алексею: «Дураки, видно, в вашей деревне живут. Этого и закону-то, покуль свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком воспитывать. Этого и господь не может терпеть, так может ли барский закон стать выше божьего?»

Вот и запади опять те речи Алексею. Идет с обозом, дорога под ним горит, а сам все думает: нет закону, да и нет закону! Хорошо! Приезжает, ночное дело, домой, жена его не встречает, огня не вздувает, темно в избе, как в могиле. Входит в избу, младенец у него в зыбке плачет, а в углу щеняты скучат.— Эт-то что такое? — «А это, жена говорит, сына бог дал».— А в углу что?— «А в углу щеняты, сам понимаешь...»—Ты-то понимаешь ли сама! Я этого терпеть не могу! Давай собачат сюда! — взял одного в руку, другого в другую, примял, да опять положил на месте.— Ну, говорит, молись богу за

свой грех великий да бери младенца. Вишь, он у тебя в зыбке кричит.

А наутро нарядчики приходят, собачары: «Анна,— показывай щенят, здоровы ли они у тебя!» — Да они, мол, с чегой-то поколели.— «Как, оба?» — Оба, мол, и поколели.— «Что за причина? Ну, дело не наше, барину доложим». А тут Алексей в избу входит: «Что вам надо? Зачем пришли? Где закон? Ребенок в зыбке кричи, а щеняты у женщины груди сосут. Прочь из избы, чтобы мне вас, собачаров, и не видать!» — А ты, Алексей,— собачар ему говорит,— больно-то не кричи. Не от себя пришли, барину доложим.— Ну, конечно, пошли, господину и обсказали. Что же ты думаешь: велит он сейчас тех щенят на холсты положить, как упокойников. Принесли их на холстах — ощупал. «Убиты, говорит, злодеем твари невинные». И заплакал. Потом позвал собачьих поваров, велит для псарни овсянку готовить покруче. Все, бывало, так: овсянку готовили для всей псарни, ведер на сорок и более; овсянку сготовят, станут собак кормить, а он тут же в стулу сидит, смотрит да из своих рук подкармливает. Вот и на тот раз, сел у котла, щенят на холстах рядом положил. «Позвать Алексея!» Пришел Алексей. «Видишь, говорит, невинно убиенных?» — Вижу, мол. Да что ж, барин, на человека и то причина бывает, не то что на тварь животную.— «Ты им конец сделал, варвар?» — Я им конца не делал, а что вот вы не по закону поступаете. Ребенок, хоть и мужицкое дите, все у бога человеческая душа считается. И должен он в зыбке лежать, а вы у бабы груди псиной пакостите... Передохни они все у вас. И то народ глуп: всех бы передавить надо! — Как он эти слова сказал... снялся, милая ты моя, барин Панкратов со стула...

Он повернулся весь на козлах и впился своими глубокими глазами в испуганные глаза девушки... Она чувствовала какой-то надвигающийся ужас и хотела бы защититься от него, но была бессильна...

— Снялся он со стула, да ка-ак толкнет этого Алексея в грудь... Упал тот навзничь, да прямо... голубушка ты моя! Барышня милая! Прямо головой-те... в котел...

— Ну? — вся вздрогнув, спросила Лена.

— Да что! Пикнуть не успел... Кинулись собачары, вытащили... весь обварился... Пошел по собачарам шум,

пошла по дворне булга. А один собачар тому Алексею брат был... Кинулся в хоромы, схватил ружье... Барин к дворне, а уже дворня, понимаешь, волками смотрит. Вскипело холопье сердце...

— Папочка! — послышался надтреснутый, слабый голос Лены. Семен Афанасьевич очнулся и с удивлением взглянул на дочь.

— Папа,— со слезами в голосе заговорила девушка,— ведь он, Панкратов, в Ментоне умер? Ведь это... ведь это все неправда... Вот он говорит: убили его... и он сам...

Семен Афанасьевич вдруг накинулся на ямщика:

— Что ты тут наболтал, па-адлец! Вот погоди, вот я тебе покажу болтовню. Поезжай скорей, ска-атина!

Ямщик, удивленный неожиданным оборотом дела, подобрал вожжи, и опять левая пристяжка первая почувствовала на себе перемену в его настроении.

Тарантас задребезжал и быстро покатился по потемневшему тракту. Колокольчик залился не на шутку, пристяжки изогнули головы, как змейки, березки убегали назад одна за другой, а между ветвей виднелись по сторонам те же поля, те же тучи... Кой-где в сумерках зажигались дальние огоньки...

Лена ничего не думала. Отец видел только ее бледное лицо и большие глаза...

VII

К станции они подкатили во всю мочь. Ямщик в эти полчаса обдумал все происшедшее и теперь старался угодить разгневанному барину. «Видишь, вот угодить хотел, а она и нажалуйся»,— с горечью думал он про Лену. Со стуком и звоном тарантас подлетел к полосатому столбу, на котором висел зажженный фонарь, и лихо остановился на всем скаку.

— Пожалуйте, ваше сиятельство,— сказал Силуян подобострастно, соскочив с козел.

Станция была освещена, а окна открыты. В окна виднелся самовар, какой-то военный надевал шинель и собирался: у крыльца его ждала тройка.

Лена прошла сначала в комнату хозяйки. Когда она вошла с красными глазами в станционную комнату, ей прежде всего бросилась невзрачная фигура мужика, стоявшего у порога. Он был низок ростом, с короткими кривыми ногами, в старом армячишке. Он в замешательстве отряхал от пыли свою шляпенку и переминался с ноги на ногу. Семен Афанасьевич нервно ходил по комнате, а военный господин сурово молчал, укоризненно глядя на мужика. При входе Лены военный поднялся с места и бойко щелкнул шпорами. Это был бравый мужчина, с густыми торчащими волосами и прекрасными баками, искусно разделенными на две части. Он еще раз разгладил их обеими руками и, держа пальцами концы бакенов, низко поклонился:

— Честь имею представиться. Исправник Полежаев. Очень сожалею, что этот каналья ямщик доставил вам огорчение, хотя признаюсь... не знаю, чем могу... Власть Семена Афанасьевича... тут роль исправника прекращается... Если могу так выразиться...

Лена с удивлением посмотрела на него, потом на мужика у порога. Неужели это он, этот ничтожный мужичонка довел ее чуть не до кошмара, неужели это у него такой выразительный, сильный, могучий голос... И эти мрачные рассказы... неужели тоже его?

— Ах нет, ничего,— застенчиво и торопливо заговорила она, поняв сразу смысл этой сцены.— Папочка, ради бога... Не надо, не надо...

Исправник окинул ее умным взглядом. Он вообще довольно холодно встретил нового «начальника» и держался сдержанно. Поэтому он воспользовался настроением Лены.

— Ваше желание — закон... А ты, сказочник, пошел вон, да смотри у меня в другой раз!.. Теперь позвольте вас оставить, меня ожидает тут важное дело... Имею честь откланяться.

Через минуту Лена смотрела в открытое окно, как исправник уселся, причем какая-то темная небольшая фигура противно суетилась около тарантаса. Лошади взяли с места, и тарантас покатился между рядами берез в том направлении, откуда только что приехали наши путники. Скоро он превратился в темную точку, и только меланхолический звон колокольчика как будто пере-

кликался все, подавая голос издали, из темноты, на освещенную станцию.

А в вышине все ходили тучи, в темноте пробравшиеся кверху и занявшие все небо... Но дождя все не было, чувствовалось только медленное передвижение, тревожная суета и все то же бессилие. Порой только вспыхивала синеватая зарница, падая на уходящую вдаль дорогу с рядами бледных берез... Одна из таких зарниц осветила невдалеке старый запущенный сад, густая зелень которого будто грезила о чем-то в тишине этого загадочного вечера, ввиду надвигающейся грозы. Над зеленью возвышался только мезонин старого, оброшенного дома. Короткая вспышка еще раз осветила провалившуюся крышу, изломанную решетку балкона и открытую, может быть давно сорванную с петель дверь мезонина.

Лена отчего-то вдруг вздрогнула и отвернулась. Подойдя к отцу, она обняла его и припала головой ему на плечо.

— Папа! Папочка! Ничего нет... ничего, ничего этого нет.

— Ты устала, Лена.

Семен Афанасьевич глядел растерянно и печально. Хозяйка внесла свежий самовар и закрыла окно.

1896

По «новой» русской дороге

(*«Движение открыто»*)

С натуры

Не пойдет наш поезд,
как идет немецкий.

Н. Добролюбов

I

— Помилуйте... Почти год уже как движение открыто!

Это говорил мне один из моих знакомых, летом прошлого года. Мне нужно было проехать на юг Нижегородской губернии, что-то около трехсот верст. Это у нас прежде делалось двумя путями. Первый — «на долгих» на Арзамас, на Лукоянов... Это взяло бы дня два. Второй — на кашинском пароходике по Волге до Работок, где на пристани вас окружает сразу целый отряд людей с кнутами за поясом. Короткий разговор, потом лихие тройки, малиновый звон, поля, холмы, Большое Мурашкино, Лукоянов — и пензенский тракт, прямехонько на юг, с аракчеевскими березками. Отлично!

Я очень люблю эту поэзию проселков, и малиновый звон, и шепот аракчеевских березок. Однако в то лето к поэзии дороги примешалась в удручающем изобилии ее проза: ее расквасило дождями, потом избило глубокой колеей. Нам предстояло нечто вроде бурного плава-

ния по рытвинам и ухабам, точно по волнам застывшего моря.

В минуту раздумья один очень почтенный человек, к несчастью читающий газеты, посоветовал мне выбрать более культурный способ передвижения: «На одном из лучших волжских пароходов вы приезжаете в Вязовые... Это большое село на правом берегу Волги. Тут пристань, принимающая пассажиров и грузы, направляющиеся с верхнего и среднего плеса на новую Московско-Казанскую дорогу. Один день езды — и вы уже почти на месте. Для малинового звона, для поэзии и мучений проселка остается не более каких-нибудь двух-трех часов. Подумайте только, как это интересно: новенькая, с иголочки, дорога, новенькие, блестящие вагоны, вежливые кондуктора, в новеньких, с иголочки, «формах», новые вокзалы и даже новые жандармы в новых голубых мундирах!..»

Мы поддались искушению. Посмотреть, как новый, с иголочки, локомотив, гудя, свистя и громыхая, мчит свеженький и сверкающий поезд по старым чувашским лесам, как лежат на ржавых болотинах свеженькие шпалы; послушать, как стонут под несущимся на всех парах поездом свежие мостики, и как дикий лес вздрагивает под веселыми окриками культуры,— это ведь в самом деле соблазнительно.

— Правда, эти первые поезда...— попробовал я усомниться.

— Какие первые, что̀ вы! Уже около года как движение открыто!..

Мы решились...

II

В конце июня, на самой заре нас разбудила пароходная прислуга. «Олег Вещий» гулко свистел, замедляя ход, и к нам все приближались две пристани, как-то сиротливо прижавшиеся под высоким, отвесным яром правого волжского берега.

Было часа три. Утро дождливое, туманное. Сверху по Волге надвигалось что-то темное, мутное, неопределенное, не то густая мгла, не то грозовая туча, которая спустилась на реку и теперь развертывалась и клубилась над самой ее поверхностью. Пока мокрый пароход при-

ставал к мокрой пристани, эта туча успела совсем надвинуться, захватила кусты противоположного берега с какими-то постройками, потом проглотила пристань на той стороне — и «Зеленый дол», и остров, на котором с нагорного берега линия железной дороги упирается в Волгу... «Вещий Олег» посвистел, снялся, отчалил и пошел дальше книзу, пробираясь среди тумана, а мы, злополучные путники, остались в этом хаосе мглы и речного плеска, пронизывающей сырости и холода.

— Так это и есть Вязовская пристань? А где же село?

— Село вон там,— и молодой гостеприимный пристанский матросик махнул рукой вниз по реке. Из тумана в этом направлении виднелась лишь узкая полоска каменистого берега, в несколько саженей шириной, ограниченная слева мутной рекой и отвесным яром справа.

— Как же нам добраться туда?

— Как не добраться! Может, приедут извозчики. Слышали, чай, на селе, как пароход кричал.

— А как не приедут?

— И спосылать можно, тут версты со две, не более,— вступает в разговор урядник, прибывший к пароходу для порядка. Его лошадь с таратайкой стоит, уныло свесив морду, под яром.— Да вот я и сам еду в село, так и пошлю, пожалуй...

Урядник удаляется, а мы остаемся и в ожидании прибегаем к самовару... Льет дождь, плещет река, скрипят пристанские мостки, ветер пошевеливает жалкие пучки какой-то загадочной зелени, цепляющейся за расселины известкового яра. Так проходит часа два. В наши души закрадывается сомнение: а ну как урядник забыл про нас или, может, нашел по дороге мертвое тело... Ну как вязовцы за нами не приедут?

Наконец в тумане зарисовывается пятно, которое при ближайшем рассмотрении оказывается состоящим из вязовца, лошади и телеги, Надежда вступает в наши сердца... Какая-то женщина кидается ему навстречу, пренебрегая стихиями, и овладевает в свою пользу этим первым вестником нашего освобождения. Она карабкается в телегу, и через минуту они у пристани.

Однако не сразу. Под яром — две дорожки, каждая шириной в один колесный ход. Лошадь с телегой нахо-

дится на верхней, мордой к западу. А ей нужно спуститься на нижнюю и повернуть в обратную сторону. Это — задача, требующая и смелости и искусства. Ну, бог милостив. Возница поворачивает лошадь под прямым углом, она упирается, становится почти вертикально на откосе; секунда... женский испуганный крик...— телега сдается на правое колесо (опрокинется или не опрокинется?) — и мы все одобряем смелого возницу. Молодец, съехал благополучно! Женщина крестится.

Через четверть часа еще два вязовца являют те же чудеса искусства у Вязовской пристани, принимающей вот уже около года пассажиров с верхней Волги на новую дорогу!

Мы выходим, вытаскиваем наши вещи, кладем их горой на одну телегу, с опасностью жизни карабкаемся на другие, стоящие избоченясь на косогоре, усаживаем детей, призываем Николу, «странних покровителя», и трогаемся.

— Посылайте и нам! — кричат нам оставшиеся на пристани робинзоны.

Но призыв урядника возымел, очевидно, даже слишком сильное действие: впереди на узкой дороге виднеется чуть не обоз. Вязовские мужики разохотились на «останнего» пассажира. Впереди видны дуги, лошадиные морды, руки, взмахивающие кнутами. Две передние встречные телеги равняются: одна, забирая налево, жмется к круче, другая виснет над уклоном... Айда! Еще движение... Клонится, клонится... Дух замирает; дело кончается тем, что один из нашей компании вываливается, быстро вскакивает, грязный и мокрый, и вовремя поддерживает задок телеги.

— Ну, слава те господи... С богом далее! — Село Вязовые, кабак, собаки, колодец, бабы с ведрами, ужасная дорога за селом, телеграф, семафоры, белые здания убогого свияжского вокзала. По линии, пыхая в сырой воздух клубами белого дыма, бежит к Волге поезд, а поредевший туман дает видеть другой такой же белый султан, ползающий вдоль берега на той стороне у «Зеленого дола».

А вдали, на возвышеньи, рисуясь на синеющей горе, стоит красивый и равнодушный Свияжск, уступивший этому вокзалу одно только свое имя...

III

Вокзал — нечто вроде просторной бревенчатой избы. Это оригинально. Жаль только, что просторная изба оказывается очень тесным вокзалом.

В ожидании я разглядываю публику. Среди чемоданов и ящиков, горой заваливших середину «избы», жмутся десятка два человек. Зевают, зябнут и ждут.

Около буфета беседуют трое. Первый — молодой парень, в суконном пальто с барашковым воротником, по виду нечто вроде вагонного смазчика. Другой — одетый так же, только почище, и постарше. Прибавьте обоим металлические пуговицы,— это уже будет железнодорожная форма, но пока это лишь слабое притязание на нечто форменное, сооруженное личным иждивением. Только третий одет в кондукторский кафтан с галунами. Кафтан изорван, порыжел, галуны почернели, на груди, у бокового кармана,— аляповатая заплата. Очевидно, и кафтан, и его обладатель уже были в долгом употреблении где-то в другом месте, до такой степени оба потасканы, засалены, измызганы. Сверх всего от субъекта необыкновенно разит сивухой. Но держится он гордо: выставляет грудь колесом, выпячивает губы и косит глазами в знак презрения к младшему из троих собеседников.

— Два рубля,— отчеканивает он, обращаясь к старшему из своих собеседников,— а не хочет два рубля — не давай ничего, и дело с концом.

— Как это два?.. Не желаю два рубля. Я прошу половину. Кажется, стоит. Ведь он дома сидел...

— Два рубля! — так же решительно говорит кафтан.— Слышишь, Иванов? Больше ни-ни! Ты должен сам себя держать с этим народом гордо. А ежели ты себе позволишь такую низость, что отдашь половину, так мы...— Он вдруг таращит глаза и делает свирепое лицо: — Так мы тебя, старые служащие, в этом разе сами в морду насуем... Понимаешь?..

— Да ведь я за «обера» ездил,— обиженно говорит молодой.— Это как? Неужто за два рубля?..

— Ездил!.. Мало что ездил, ежели так пришлось. Да ты можешь ли еще за «обера» сполнять? Спросить тебе инструкцию, ты ничего не ответишь, а требуешь половину...

Он выпячивает вперед свою заплату на груди и спрашивает свирепо:

— Ну, говори! Отвечай без запинки! Как ты должòн поступить, ежели увидишь на рельсах лежащее мертвое тело?

— Ежели я увижу,— бойко отвечает вопрошаемый,— лежащее на рельсах тело, я обязан немедленным образом дать машинисту сигнал и остановить поезд.

— Остановить?..— испытующе, но не столь уже решительно язвят галуны.

— Ост-тановить,— твердо отвечает пальто.

— Ну, положим. Это, скажем, действительно. А дальше что? Отвечай без запинки!

— А дальше... должен я сойтить на полотно и осмотреть, кому оное принадлежащее тело... которое...

— То-то вот, которое. Дальше не знаешь...

— Да, вот те и которое. Знаю я. Мы еще вас инструкцыи научить можем.

— Два рубля, больше ни-ни... Слышишь, Иванов?

Со двора входит огромный, престарелый мужчина в таком же полуформенном пальто. Он останавливается и смотрит на спорящих с выражением какого-то особенного гневного презрения.

— Вон! — говорит он внушительно, и спорившие почтительно стушевываются... Смысл их спора мне кажется ясным: за «обера» какими-то неисповедимыми судьбами ехал вот этот молодой парень, которого знание «старые служащие» оценивают теперь не выше двух рублей... Хотя он «по инструкцыи», кажется, ответил правильно (что̀ же, в самом деле, остается делать, если увидишь на рельсах лежащее тело, как не подойти к нему и посмотреть, кому оное тело может принадлежать?..). Однако, думается мне невольно,— неужели и с нами за «оберов» поедут смазчики или этот «вышедший из употребления» форменный казакин?..

Между тем огромный мужчина в полуформенном пальто проходит в соседнюю комнату и открывает оконце кассы.

— Три билета до Ромоданова да четверть билета на ребенка,— говорит первый пассажир.

— Ах, господа, господа! — необыкновенно громко и с выражением неизъяснимой горечи взывает вдруг из-

за окна почтенный старец...— Неужели вы не знаете, что теперь уже по всей России нет четверти билета. Нет!.. По всей России...

В голосе почтенного человека звучит столько неподдельной горечи, точно у него разбередили неведомую рану... Он штампует билеты, размеренно, неторопливо, и все время продолжает изливать свою горечь.

— Четверть билета! Ах, господа! А-ах, господ-а́, господа! Ну, скажите на милость... Да теперь по всей России...

— Ведь я не спорю,— говорит пассажир...

— То-то, не спорите, еще бы вам спорить, когда четверти билета нету, уничтожено повсеместно — можно, кажется, понять... А-ах, господа!

— Да я понял...

— То-то поняли... А-ах, господа!

Лицо у этого человека, по-видимому, очень добродушное от природы, но он чем-то глубоко огорчен. И мне кажется, что я его понимаю: он огорчен тем, что служит на этом не настоящем вокзале, среди этих подержанных людей, которых он прогнал только что, грубо и беспричинно... Впрочем, впоследствии я имел случай убедиться, что на новой дороге все чем-то беспредметно огорчены, чем-то обижены и недовольны. Публика тоже недовольна... И по всей линии то и дело слышишь это сдержанное, горькое восклицание:

— Ах, господа! А-ах, господ-да, господа!..

И сколько в нем невысказанной горечи, сколько за ним самого неподдельного трагизма!

IV

Свисток. По рельсам бежит с берега поезд. Тормоз. Что-то визжит, что-то охает и стонет. Вагоны, замедляя ход, толкают друг друга, покачиваются со стороны на сторону... Это привезли публику с «Зеленого дола».

Через четверть часа я осматриваю уже собранный и готовый поезд, которому нам вскоре придется вверить свою судьбу,— и стараюсь определить его физиономию.

Что-то в ней мелькает как будто знакомое... Что̀ же это такое?

Да, что̀ это такое, в самом деле? Это — не солидная старость Николаевской дороги, не суровое и несколько казенное однообразие Нижегородской, не блестящая щеголеватость всех новых дорог, а что-то хмурое, что-то смешанное, сборное и все-таки знакомое, знакомое, да и только!

Как раз в это время, щеголяя своими измызганными галунами, проходит по платформе давешний заплатанный кондуктор. Да,— догадываюсь я,— поезд просто напомнил мне эту фигуру, с ее почернелыми галунами и заплатами. Оба они — и поезд, и кондуктор — одинаково «вышедшие из употребления». Вот этот вагон изжил свою жизнь где-нибудь на далекой Варшавской дороге, этот — на Сызрано-Вяземской или Грязе-Царицынской... Впрочем, где же мне точно определить их происхождение, изложить все превратности их долгой карьеры, развернуть длинный перечень их бедствий!.. Несомненно только, что вагоны сборные, что они не выстраиваются в одну линию, как на других дорогах, что их бока и крыши то выдвигаются далеко в стороны или кверху, то западают вглубь.

— И стоит сирота, пригорюнившись,— формулирует общее наше впечатление мой спутник,— стоит, пока где-нибудь от неожиданного толчка не рассыплются сиротские кости...

— Покажите, пожалуйста, шесть мест, по возможности в одном купе, так как с нами дети.

Впереди — спальный вагон особенной конструкции,— говорят, изобретенный каким-то начальником станции, впрочем, сильно напоминающий старые вагоны Николаевской дороги. Однако этот единственный порядочный вагон набит битком, и нам указывают другой. Этот другой — узок, низок, тускл, грязен и, вдобавок, в нем выбито стекло. А утро холодное, в окно так и садит ветер, и скамья у окна залита дождем.

Идем к начальнику станции, с намеками на жалобную книгу. Он находит, что это, конечно, неудобно, но что, впрочем, теперь июнь месяц... Окно вчера разбили пассажиры, а стекольщиков на станции нет.

— Какое там вчера,— непочтительно и с раздражением перебивает обер-кондуктор.— Третий раз этот вагон в Москву без окна бегает. Три рапорта я подавал...

Нас переводят в вагон второго класса.

Пол и стены покрыты клеенкой, но и на полу, и на стенах — старые-престарые клеенчатые же заплаты. Очевидно, новой железной дороги еще не было, а эти заплаты уже были, и даже заплаты уже вышли из употребления, когда дорога еще только строилась... Где служил ранее этот инвалид благородного звания (II класса!) — сказать опять-таки нелегко. Но мне кажется... мне кажется положительно, что на меня веет от этих стен какими-то смутными воспоминаниями из времен моей юности... Да, кажется, так... 20 лет назад... Курско-Киевская дорога... Я был молодой студент, и эта клеенка была еще нова и свежа. С этих пор утекло много воды, много людей и немало вагонов вышло из употребления... Мне кажется даже, что я могу угадать и причину его отставки: это, должно быть,— за полной невозможностью выкурить из старика этот специфический, острый, раздражающий запах аммиака и карболки, которым пропахли все его скамьи и стены,— запах, исходящий из каморки, помещенной в самой середине вагона... Где же это, в самом деле, господа, на какой это дороге лет этак 25 назад устраивали эти «удобства» в самой середине вагона?..

V

— Подавай первый!

— Второй подавай!

Третий звонок.

Жалкий, сначала надрывающийся и сиплый, потом тоненький, фальцетом, свист локомотива. Сборные, подкрашенные, вышедшие из употребления инвалиды вздрагивают, кряхтят, подаются вперед, стукаются друг о друга разнокалиберными буферами,— отдают назад... Ох-хо-хо̀... Ох-хо-хо-о́-хо-о̀... Ох-хо-хо, хо-хо-хо́, хо-хо-хо́... Кряхтя, толкаясь, жалуясь на судьбу, трогается с места вышедший из употребления поезд, качаются на

ходу вышедшие из употребления вагоны, вышедший из употребления кондуктор оглядывает публику и, наконец, «обер» (увы! — тоже с заплатой на стареньком кафтане!) входит с машинкой в руках.

— Ваши билеты, господа.

Он тоже человек потертый, чем-то раздраженный, он что-то или кого-то презирает, вообще он несчастен. Из того, как он отвечал начальнику станции по поводу окна, мы заключаем, что ему опостылело это зрелище «новой дороги», в которой все в такой степени дряхло, старо и негодно. Сверх того, может быть, он и сам вышедший из употребления и, наверно, получает сущие пустяки.

— Сколько вы получаете жалования?

— Двадцать пять рублей. Кондуктор получает пятнадцать.

— Я — пятнадцать,— уныло подтверждает кондуктор.— Да еще внеси вкупные, да вычет в пенсионную кассу... Всего-то и останется рублей одиннадцать.

— А одежа?

— Вот она! Вынес с собой с Н-ской дороги... Что толковать... Самое плохое положение. На других дорогах «обер» получает пятьдесят рублей, кондуктор двадцать пять — тридцать.

Щелк-щелк! Билеты возвращаются нам, а жертвы превратной судьбы уходят дальше вперед, к голове поезда, туда, где на локомотиве... Холодная дрожь пробегает у меня вдоль спины. Что, если нашу судьбу держит в своих руках машинист, тоже где-нибудь «вышедший из употребления» за негодностью?..

VI

Станция Тюрлема. Опять бревенчатая изба среди поля. Дождь прошел, солнце как-то нехотя пытается осветить в щелку между облаков белые станционные избушки из свежего леса и водокачку. Я сошел на платформу и стою у вагона. Оказывается, однако, что поезд, уже остановившийся, подумал-подумал и надумал тронуться еще раз. Опять дрогнули инвалиды-вагоны, опять заскрежетали буфера, поезд мотнулся вперед, отдался

назад и наконец успокоился без дальнейших последствий. Только меня при этом щелкнуло подножкой сзади под колено самым неприятным образом и очень больно...

Я тревожно оглянулся. Оказывается, что это — шалость ближайшего из инвалидов. Платформа на станции устроена так, или уж так устроены подножки вагонов сборного поезда (как тут угадаешь?), что подножки приходятся на четверть выше и притом заходят на самую настилку платформы. Я благодарю судьбу, что еще дешево отделался, и отхожу на почтительное расстояние от дерущегося инвалида-вагона.

Поезд стоит долго, станция не подает признаков жизни. Вдоль платформы ходит бравый жандарм. Он, очевидно, к употреблению еще годится, но не находит применения своим способностям. Ходит, зевает — и вдруг кидается водворять никому не нужный порядок.

— Вон, вон, пошла, убирайся! — толкает он какую-то старую чувашку, стоявшую с лукошком ягод в ожидании проезжего покупателя.

— За что́ это вы ее гоните?

— Да так... дорого берут, подлые! Она должна побожецки... Что́ ей сто̀ит ягод набрать? Лес, вот он... А они дерут зря.

Впрочем, рвение его уже остыло, старуха отходит на несколько шагов и опять ставит ягоды на платформу. Жандарм машет рукой, ходит, зевает. Зевается и мне, зевает, кажется, самый ветер, тяжеловатый и сырой, вяло пролетающий над скучною линией «новой дороги».

VII

Пред станцией Урмары — внезапная тревога. Какой-то шум и шелест, какие-то прыжки и грохот, точно льется вода между колес и будто вагон сошел с рельсов. Оказывается, по обе стороны шпал наложены кучи хвороста — фашинника, точно для гати. Поезд бежит, захватывая колесами ветки... Зеленые ветки попадают в спицы, ветками украшены подножки, ветки торчат отовсюду,— низ поезда весь украшен зеленью, точно на Троицу. Все окна открыты, во всех окнах — испуганные лица, перекошенные губы, широко открытые глаза...

— Что́ это такое было? — спрашиваю я в Урмарах какого-то невысокого плотного субъекта, по-видимому принадлежащего к дороге. По крайней мере на одной из станций мы его видели с поленом в руках, неистово гнавшимся за товарным вагоном. Этот вагон, как кажется, оскорбленный слишком сильным ударом маневрировавшего локомотива, бежал мимо станции самовольно, без видимой цели. На эту шалость первый обратил внимание описываемый субъект. Тотчас же он схватил в руки полено и побежал за вагоном, стараясь засунуть полено в спицы. Но вагон сопротивлялся, полено делало оборот с колесом и летело дугой на землю, угрожая субъекту повреждением. Но и субъект тоже ожесточился, опять схватывал полено и опять бежал за вагоном. Мы уже думали, что ему, только споткнись, непременно отрежет голову.

— Пал-лаж-жи на рельсы!.. На рельсы пал-лажи! — кричал ему сдавленным голосом еще кто-то, догонявший сзади...— Н-на ррель-сы. .

Наконец субъект счастливо упал на землю, а тогда и вагон удовлетворился, стал как-то подрагивать и остановился добровольно.

Теперь я и обратился к этому субъекту за разъяснением, как к лицу, очевидно, авторитетному в порядках «новой дороги».

— Это вы насчет хворосту?.. Так это дорожный мастер. имел свою цель. .

— Какая там цель! —прерывает кондуктор.— Ошибка вышла.

— Много вы знаете! Ошибка! Нет, не ошибка... Нет, это не ошибка,— прибавляет он многозначительно.

— А что? Разве... *словесное* было? (Спрашивающий понизил голос.)

— То-то что *словесное*... Вон как из-под шпал выдувает. видишь...

— Ну, так это очень просто...

Действительно, невдалеке, несмотря даже на недавний дождь, край полотна как-то курится, точно из-под шпал выбивается дымок. Это шалит с полотном полевой ветер, выдувая легковесный балласт и обнажая концы шпал...

Оба «служащие» дипломатично смотрят в ту сторону, потом на меня и смолкают, как будто хотят сказать: «*Словесное*... Это до вас не касается... Ваше пассажирское дело — уповать на милость божию... Авось обойдется...»

VIII

В Шихранах нечто вроде депо. Это бойкий сравнительно узел железнодорожной жизни, и потому нет ничего удивительного, что в дамской комнате сидят за бутылкой два пьяных субъекта. Впрочем, они люди снисходительные и просят дам не стесняться их присутствием.

Дамы все-таки стесняются. Один из наших спутников обращается к начальнику станции. Начальник — молодой человек с энергичным и неглупым лицом, но зато с печатью какого-то фатализма, к которому, видимо, располагает созерцание всего строя «новой дороги». Он принимает меры. Из дамской комнаты выходят собутыльники, отяжелевшей поступью, с мутными взглядами, выражая ропот на судьбу и на капризы пассажирок. Один в особенности обижен до такой степени, что даже заявляет решительный отказ ехать с балластным поездом, который ждет его на запасных рельсах.

— Не поеду. Не... ежели так... и не ед-ду...

Это человек в дубленом полушубке, с большой сумкой через плечо. Лицо его с довольно тонкими, хотя и загорелыми чертами обличает, по-видимому, лучшие дни, потонувшие в бурном прошлом. Он «вышел из употребления» на каком-то более высоком и «благородном» поприще, и вот дошел до того, что теперь ему нельзя уже и посидеть за бутылкой в дамской комнате. Да еще на этой дороге... Ему!

— Не-е еду!

— Ну, ну, полно,— говорит фаталист — начальник станции. Он берет его за талию и ведет на платформу. Тут он поталкивает субъекта вперед, и субъект двигается, колеблется, ропщет.

— Эй, послушай, — подзывает начальник рабоче-

го.— Возьмите там его за шиворот и посадите на платформу.

Инструкция исполняется в точности. Минут через пять длинная цепь этих платформ убегает вдаль. На одной, в позе, исполненной гордого, хотя и попранного величия, сидит субъект, шатается и продолжает роптать.

IX

Мы мчимся далее со скоростью... верст десяти или пятнадцати в час. Дорога врезалась в леса, густой полосой захватившие это чувашское царство. Леса — направо и налево, густые, таинственные, дремотные. Среди лесов легли насыпи, стали мостики... Белые станционные здания, башни водокачек, неизбежный скучающий жандарм и фигуры чуваш и чувашенок, удивленные, робкие... Глушь и пустыня, первобытные, чутко вздрагивающие при проходе дряхлого поезда по новой дороге. Белые клочья дыма, играючи, хоронятся в ветвях чувашского леса.

За станцией Киря леса расступаются, виднеются распаханные равнины, кое-где поблескивают излучины реки. Близится Алатырь; солнце склоняется к западу.

Какой-то визг, сначала тихий и печальный, потом назойливо-звонкий, протяжный и раздражающий, тянется за поездом, хватая за сердце и вызывая невольную тревогу: что-то, видимо, стряслось над одним из инвалидов... Вышедшие из употребления кондукторы бегают взад и вперед, прислушиваясь, где это жалуется вышедший из употребления вагон? Проходит субъект, недавно обходившийся с поленом, приходит «обер» и наклоняют уши с нашей платформы Жалобный визг раздается где-то близко, из-под соседнего вагона.

— Так и есть... букса горит. Левая, задняя.

Диагноз точен, хотя и малоутешителен. Впрочем, на все есть свои средства у новой дороги. Истопник, или кочегар, или просто какой-то вольнопрактикующий молодой человек из третьего класса, получает своеобразную миссию. Его вооружают какой-то банкой и мазилкой, поезд замедляет ход, и молодой человек бежит по откосу полотна, рядом с поездом. Догнавши «больную

буксу», он улучает минуту, тыкает ее своей мазилкой, отстает, спотыкается, опять догоняет, опять изловчается, опять сует мазилку и при этом, видимо, рискует своей жизнью...

Красивая излучина Алатыря, мельницы, спуск, тормоз, громкий визг буксы, который, забирая все выше, достигает какой-то необыкновенной, самой отчаянной ноты. И мы, сопровождаемые этой музыкой, развлекаемые опасными упражнениями ловкого молодого человека с мазилкой,— торжественно подъезжаем к платформе алатырского вокзала.

Здесь «вышедшие из употребления» сменяются новой московской бригадой. Эти все в «форме» и имеют менее унылый вид... Очевидное влияние большей близости к столице!

X

Ночью, часа в два, мы мчались проселком, под «малиновый звон» хуторских троек. Небо было темно, дорога сильно выбита колеями, ночной ветер, холодный и резкий, забирался к нам под передок тарантаса. Но я с наслаждением прислушивался к неугомонному перезвону колокольчиков и вдыхал в себя холодные струи ночного ветра.

А в воображении вставал невольно ночной поезд, бегущий по чувашской стороне, меж двумя стенами лесов. Ветер дует в разбитые окна, качаются и кряхтят вышедшие из употребления вагоны... Вышедший из употребления кондуктор суется взад и вперед, оглядывая все недовольным и раздраженным взглядом... И вышедший из употребления «обер» стрижет пассажирские билеты, выданные инвалидами-кассирами на станциях, еще не совсем достроенных, но уже заметно состарившихся и не годных к употреблению.

И летит мертвый поезд, и стонут умершие на других дорогах вагоны, и несутся за поездом какие-то призраки, вставшие бог весть откуда, бог знает зачем. «Ох-хо-хо́, ох-хо-хо́! Доколе только господь-батюшка грехам нашим терпит»,— лязгают на ходу ржавые цепи и крючья...

«Не пойдет наш поезд, как идет немецкий!» — вспоминается меткий и горький, иронический стих... Однако, думается мне невольно, еще сравнительно недавно и наши поезда ходили почти как немецкие, и новые дороги походили на новые, и порядки на них водворялись настоящие, и публика роптала мало. Кто же, когда и как украл у нас эту «новизну»?.. Кто подменил ее «вышедшим из употребления»? Откуда и почему встает и водворяется в нашей жизни это беспечное старое бесстыдство, эта отрыжка дореформенной бесцеремонности, так цинично выдающая всенародно простую видимость, подкрашенные наскоро скелеты — за живое и действующее будто бы явление?..

И доколе, в самом деле, потерпит господь?..

25-го января 1895 г.

Смиренные

Деревенский пейзаж

I

Верстах в тридцати от большого губернского города N есть станция Чернолесье, любимое дачное место губернских жителей, над Окой. Несколько поездов соединяют его с городом, что позволяет даже сильно занятым людям приезжать сюда по окончании занятий, чтобы провести вечер с семьей, погулять при луне, полюбоваться горами отдаленного берега и причудливыми излучинами реки, а наутро, к началу службы, поспевать опять в N-ск. К приходу каждого поезда на дебаркадер скромного вокзала собирается самая изящная публика, пестрят дамские костюмы, вызывают восторг и зависть шляпки последнего фасона, у стволов ближней рощи дожидается всегда несколько прислоненных к деревьям велосипедов, и почта каждый день выбрасывает здесь целые кипы газет.

Одним словом, место совсем культурное, напоминающее дачные места где-нибудь под Петербургом или Москвой.

Но если вы захотите нанять, копеек за сорок, одну из таратаек, тесно запружающих небольшой дворик вокзала, то она доставит вас, так сказать, «в глубь страны». Это будет прежде всего Раскатово, приютившееся в том

месте, где река, стесненная горами, делает крутой поворот. Раскатово уже значительно отзывается деревней. Из дачников здесь устраивается публика попроще, желающая хоть на лето избавиться от конкуренции костюмов и шляпок и поэтому установившая свои собственные летние законы: барышни гуляют здесь без зонтиков, в белых платочках на голове и часто босые, и купаются прямо с берега, вступая иногда в препирательства с деревенскими мальчишками, не признающими демаркационной полосы. Раскатовцы в большинстве «волгарят», то есть ходят летом в лоцманах, водоливах, помощниках капитанов или даже капитанами на буксирных пароходах... Когда, в праздник, здесь заведут песни и хороводы, то вы можете порой увидеть местного кавалера, в пиджаке и шляпе котелком, в глянцевитых новеньких калошах, надетых на сапоги бураками,—а вокруг него девицы в шелковых кофтах и с зонтиками чинно ходят с песней и величанием.

Одним словом, и здесь еще не мало культуры, хотя некоторая часть раскатовцев сеют и пашут, снимая для этого землю «волгарей». Но если, пройдя по широкой улице Раскатова, вы выйдете за околицу в противоположной стороне, то увидите поля с колыхающейся рожью, перелески и кусты, потом сосновый лесок по песчаным буграм, а за ним — сплошные нивы, покорно сгибающиеся под ветром. Среди этих нив, над широким прудом, засела деревенька Колотилово, с коренным пахарем, «крестьянином», как его зовут раскатовцы, нанимающие его на свои покосы. Себя, в отличие от пахарей, они называют «хозяевами» и «жителями».

II

В Раскатове проводил лето Иван Семенович Бухвостов, сотрудник одной местной и корреспондент нескольких столичных газет. Он удалился сюда еще в первый раз, по требованию докторов, так как начинало пошаливать сердце Человек он был городской по всем привычкам и вкусам, и деревня, даже такая, дачная, была для него новостью. Пока эта вся новизна была ему интересна, но особенно интересовали его «дали», с которыми

он не успел ознакомиться: убогие избы Колотилова за околицей и перелесками... а за рекой, на высоком берегу, среди беспорядочной зелени заманчиво выглядывавшие постройки почти запустелого монастыря. По праздникам оттуда доносился, впрочем, надтреснутый звон, а на перевозе можно было видеть простодушных и не всегда трезвых монахов. И Бухвостову казалось, что все это,— и околица, и перелески, и белые пятна монастырских зданий, и перевоз, нагруженный телегами и мужиками, и монахи, в потертых рясах, от которых одновременно несло ладаном и сивухой,— все проникнуто каким-то одним общим выражением... И это выражение было ново, загадочно и интересно. Хотелось разгадать его, как иногда хочется понять физиономию встреченного на большой дороге оригинального человека.

Лето стояло ведреное и знойное. Однажды, в самый полдень жаркого июльского дня, Иван Семенович сидел на скамейке у своей дачки, как вдруг над сосновым лесом в направлении деревни Колотилова показалась струя дыма. Она поднялась как-то внезапно, и Иван Семенович не успел еще отдать себе ясного отчета в ее значении, как огромный столб уже вился и клубился, казалось, совсем близко, вплоть за лесом, поднимаясь все выше и выше в раскаленной синеве неба и как будто заглядывая из-за леса в тихую улицу Раскатова.

Мирная деревенька закопошилась: вытащили из-под навеса пожарную «машину», мальчишки понеслись на выгон за пожарными лошадьми, какой-то бутуз бежал и падал, путаясь в хомуте и вожжах... Предполагалось, что пожар в Колотилове, а по некоторой междудеревенской конвенции у Раскатова с Колотиловым существовала, так сказать, пожарная взаимность. Минут через двадцать пожарная тройка уже лихо катила по дороге, обгоняя торопившихся баб. День был праздничный, нерабочий, бабы и девки разбрелись по осиннику за ягодами и грибами, и теперь зловещий столб выгонял их всех на дорогу. Они бежали, спотыкались, причитали и крестились, не зная еще, точно ли над ними разразилась беда или господь «посетил» кого-нибудь из соседей.

Бухвостов тоже, разумеется, встрепенулся: нужно было посмотреть деревенский пожар и, может быть, сообщить о нем в газету; да и вообще людям с пошали-

вающими сердцами не сидится, когда невдалеке происшествие. Он попытался было пристроиться к «машине», но она ускакала раньше, чем он добежал до нее. К счастию, в это самое время с вокзала вернулся Гаврил Пименович, хозяин его дачи, не успевший распрячь лошадь, когда произошла тревога,— и через несколько минут оба трусили по дороге вслед за машиной.

Однако по мере того, как тележка подвигалась к Колотилову, столб точно удалялся. Когда же они въехали в околицу, которую открыла для них целая стая деревенских ребят, то уже не было сомнения, что в Колотилове все благополучно. В деревне было тихо и пусто, а темный столб все так же медленно, молчаливо и зловеще клубился впереди, над зубчатою линией как будто приникшего к земле и побледневшего бора... Колокольцы раскатовской машины тренькали уже под самым лесом, но как-то нерешительно и вяло. Очевидно, машина была уже у пределов пожарной взаимности и помышляла о возвращении...

Улицы Колотилова будто вымело. Только из ближайшей избы, высунувшись в окно, глядела по направлению к пожару молодая баба, прикрыв глаза ладонью от солнца. Когда тележка поравнялась с нею, замедляя ход тяжеловатой лошади, Ивана Семеновича поразили странные звуки, несшиеся в открытое окно: какое-то ворчание, дикий рев, звериный вой, обрывки песни, грязные ругательства, и все это в сопровождении металлического лязгания, как будто от цепи... Казалось, за этой бревенчатой стеной кто-то доходил до последней степени исступления, неистовствовал и рвался, лязгая железом... А между тем баба совершенно спокойно глядела на далекий пожар, как будто у нее за спиной не происходило ничего, заслуживающего внимания.

— Что это такое? — спросил Бухвостов у Гаврил Пименовича, еще не отдавая себе ясного отчета, почему эта волна непонятных звуков прошла по нем такой острой дрожью... Мужик боязливо оглянулся и хлестнул лошаденку, торопясь поскорее проехать мимо.

— Гараська это... Не дай бог, сорвется еще. Видно, пожар зачуял... Помилуй, господи, как ежели сорвется.

— Кто сорвется, откуда?

— Да Гараська. Кому более! На чепи ведь он у них. Герасим-те.

Отъехав несколько саженей, он, видимо, успокоился и, вытянув лошаденку кнутом по заду, пояснил:

— На чепи, как же! Потому что, видите ли, он, Герасим то есть, не в себе, не в формальным, значит, рассудке...

И опять отъехав несколько саженей, он прибавил уже совсем спокойно, как о теме, исчерпанной до конца:

— Лет, никак, уже десять...

III

Темная полоса дыма, тихо клубившаяся за лесом, вдруг потеряла для Бухвостова прежний интерес и перестала казаться такой зловещей и значительной. Что значит пожар какой-нибудь избы, да еще среди белого дня и летом, когда вот тут, в нескольких саженях, в такой же деревенской избе много лет мечется на цепи живой человек,— и никому это не кажется странным... И никто не спешит на помощь, и баба, прикрывая рукой глаза от солнца, с ленивым любопытством следит за дальним пожаром и за фигурой случайного проезжего, даже не оборачиваясь на беснование прикованного человека. Сердце у него забилось тем особенным тревожным боем, который звал на немедленное вмешательство: выскочить из телеги, кого-то позвать, на кого-то накинуться, кого-то непременно обвинить и сразу, сию минуту, немедленно прекратить этот ужас...

Он протянул руку и тронул Гаврил Пименовича за плечо. Лошаденка перестала месить пыль, а старик повернул к нему свои густые нависшие брови, из-под которых вопросительно и недовольно глянули маленькие колющие глаза...

— Что такое? — спросил он...

Спокойная улица Колотилова, казалось, тоже спрашивала у Бухвостова: «Что такое?» и уже одним своим буднично-равнодушным видом производила на газетчика отрезвляющее впечатление... Кого он позовет и на кого накинется со своей новостью? Перед ним, в непосредственной близости, была спина раскатовца, запыленная,

с пропотевшими пятнами на лопатках... Далее мотался в пыли круп лошади, по сторонам в два порядка стояли новые бревенчатые избы (Колотилово недавно горело); между ними — бледные кудрявые ветлы и солидные темные осокори. Сзади в окне женщина провожала его равнодушным взглядом, а в промежутки между домами и ивами, с холмика, на котором лежало Колотилово, виднелись ржаные поля, покорно склонявшиеся под ветром...

Сердце у Бухвостова продолжало тревожно биться и звало на что-то, но обычные рефлексы во все вмешивающегося человека были как будто парализованы... Бухвостов с недоумением оглянулся, точно растерявшись и утратив какую-то руководящую нить к собственным ощущениям... И ему показалось, что на него глядит то самое, загадочное и затаенное, что он старался уловить в выражении всего этого пейзажа... Глядит, и под этим взглядом точно цепенеют его привычные чувства.

Между тем треньканье колокольцев становилось сильнее... Это раскатовцы возвращались из лесу с пожарной машиной на своей тройке, со звоном своих колокольцев и бубенцов. Скоро знойный воздух весь переполнился этими суетливыми и крикливыми звуками до такой степени, что Бухвостову хотелось заткнуть уши, а деревенька, казалось, еще смиреннее приникла к земле. Машина бойко промчалась по улицам Колотилова, и хозяин Бухвостова тоже стал повертывать свою лошадь.

— В Гнилицах горит, не иначе,— сказал он,— верст будет еще с десяток. Это из-за лесу кажет так, что близко... А оно, видишь ты, далеко!

Бухвостов не ответил, как будто не слыша в тоне Гаврил Пименовича нерешительного полувопроса. Он, пожалуй, непрочь был бы доставить барина и в Гнилицы, разумеется, за приличное вознаграждение. Но Бухвостов молча глядел на окно, в котором все еще виднелась женская фигура. «Машина» как раз поравнялась с этой избой. Дюжий парень из раскатовцев, правивший тройкой, повернул к ней потное, лоснившееся лицо и кинул какую-то шутку («непременно сальность»,— подумал, пожимаясь, Бухвостов). Баба засмеялась. Она была красивая, по-деревенски — «гладкая», но Бухвостову

было неприятно видеть, как на ее крепкозагорелом лице сверкнули белые зубы... А когда грохот и звон машины несколько удалился, на Бухвостова опять хлынула волна прежних звуков; лязгание цепи, вой, хохот и выкрикивание прикованного человека. Спина Гаврил Пименовича опять сжалась, и он поднял кнут с очевидным желанием нахлестать лошадь.

— Постой,— сказал вдруг седок, останавливая его руку...

— Что еще?

— Подожди здесь.

Бухвостов и не заметил, что говорит Гаврил Пименовичу «ты», чего, вообще говоря, не позволял себе ранее ни с кем. В голосе его, кроме того, звучала какая-то чуждая, почти начальственная нота... От раздражающего ли звона колокольцев, или от чего другого, только настроение Бухвостова резко изменилось: гипнотизирующее влияние смиренного «порядка» и волнующихся нив исчезло, он опять как будто нашел руководящую нить в своих ощущениях. И прежде всего очень рассердился...

На кого? На Гаврил Пименовича, не сразу остановившего лошадь, на глупого парня, с его лоснящимся лицом и, наверное, сальной остротой, на бабу, которая неприятно и вызывающе улыбалась парню на фоне этого ужаса, на тихую улицу, которая целые годы слушает вопли и скрежет прикованного человека... Ему казалось вообще, что он нашел или сейчас найдет виноватых и, значит, даст исход томительному и гнетущему ощущению, болевшему в душе и заставлявшему биться сердце.

Спрыгнув с телеги, он быстро обошел стену избы, вошел во двор и поднялся на лестницу. С улицы его провожал удивленный взор раскатовца.

Если бы Бухвостову пришлось сейчас же описывать для газеты то, что он увидел, то описание вышло бы очень неточно. С первой же минуты, как он вошел, что-то как будто ограничило поле его зрения, и в памяти сохранился только мутный фон с обычной обстановкой избы, режущий свет из окна и безумное лицо мужика с диким и точно насмешливым взглядом. Бухвостову казалось, что безумец протягивал руки ему навстречу. Впрочем, он заметил, что, кроме цепи, охватившей прикован-

ного человека в поясе, руки за спиной стянуты веревкой, так что могли двигаться только в локтях. Он глядел на Бухвостова острым, ироническим и пронзительным взглядом, в котором светилась злая радость и какое-то особенное, свое сознание, гордое, страдающее и торжествующее: казалось, сумасшедший ждал его давно, целые годы, и теперь знает, зачем он пришел и... что с ним нужно сделать... И то, что он сделает, будет ужасно...

— Не подходи, господин,— испуганно крикнула баба, повернувшаяся от окна, быстро соскакивая со скамьи... Сумасшедший с отвратительным рычаньем и лязгом цепи кинулся к ней, но она ловко увернулась и опять засмеялась...

Больной вдруг остановился, посмотрел на нее и на Бухвостова, сделал циничное предложение и опять забился на цепи, весь напрягаясь, с искаженным лицом и выпученными глазами...

В это время вошла другая женщина с охапкой дров. Бухвостов дал ей дорогу, точно оба расходились на краю пропасти. Один неосторожный шаг, и сумасшедший мог схватить ее за руку, за складку платья... Женщина бросила дрова у печки и выпрямилась.

Бухвостов понял сразу, что эта высокая, статная старуха — мать больного. И тут же он заметил, что на безумном надета чистая рубаха, волосы расчесаны и даже смочены квасом (день был праздничный).

— Давно это у вас? — спросил Бухвостов, опять почувствовавший растерянность и чтобы сказать что-нибудь.

— Десятый год маемся эдак... На Миколу зимнего будет десять.

Она говорила просто и спокойно. В глазах, окруженных сетью морщинок, но живых и выразительных, виднелось то глубокое и спокойное, давнее и давно побежденное страдание, какое бывает уделом только сильных душ. Бухвостов внезапно почувствовал к ней уважение, и в то же время весь его гнев обратился на него самого.

«О, ч-черт...— подумал он с приливом этой злобы...— Ворвался в чужой дом, неизвестно зачем... Как будто из простого любопытства... Точно в самом деле в деревне все можно...»

— Извините,— сказал он и, резко повернувшись, вышел из избы с крепко сжатыми губами и морщиной на лбу. Его проводили удивленные взгляды женщин и резкий хохот сумасшедшего. Он бился особенно сильно, и дробный, порывистый лязг железа точно гнался за Бухвостовым...

А на улице его опять встретил тот же особенный «взгляд пейзажа», пристальный, затаенный и загадочный... Он провожал его до дому и потом продолжал заглядывать в его окна сверху, через верхушки леса — беленькой часовенкой с заокской горы...

IV

Вечер после того дня был чудесный. Ущербленная луна стояла задумчивая над обрезом соснового бора, кинувшего с холма густую черную тень на половину раскатовской улицы. Очертания домов терялись на темном фоне леса, и лишь кое-где смутную темную массу пронизывали освещенные оконца... Лунный свет пересыпал все тонкой золотой пылью, скрадывавшей все резкие очертания, и в этой смеси робкого света и черных теней утопала деревенская улица и ряд летних дощатых кухонок, тянувшихся «для опасности от пожару» по самой ее середине, и кучки раскатовских обывателей, сидевших на скамейках у домов. И даже самые разговоры, журчавшие под покровом этого теплого золотистого сумрака, казалось, как-то расплывались и стушевывались. Чуялись где-то и говор, и движение, но где именно движутся и что именно говорят,— разбирать не хотелось...

Бухвостов сидел на бревне у своей дачи... Невдалеке от него поместились тоже на бревнах несколько раскатовских жителей, которые вели здесь свои раскатовские разговоры. Перед мужиками, не смея присесть в ряд с «хозяевами», стояли две женские фигуры в темных сарафанах. На Раскатове, как на большинстве приволжских сел, лежит печать старинного уклада. Баба берет свое в моленной и в доме; но на улице — обе женщины стояли, подперев щеки руками, точно изваяния, облитые скользящим и неопределенным лунным светом, и ни словом не вмешивались в беседу... Впрочем, даже в самом

молчании чувствовался глухой бабий протест против каких-то мужицких речей и предполагаемых или уже состоявшихся мужицких решений.

Бухвостов тоже с нетерпением и досадой ждал конца этих разговоров. «О, ч-черт»,— то и дело ворчал он про себя. Он собирался «хорошенько поговорить с господами раскатовскими мирянами».

Злобой раскатовского дня служил покос и расчеты по сенному делу, еще недавно очень интересовавшие Бухвостова. Обыкновенно раскатовские луга за Окой сдавались своим же «крестьянам», которые еще не бросили землю «для реки». Они частью косили сами, частью нанимали косцов «из числа золотой роты». Золотая рота портила луга неряшливой и поздней косьбой, и на этот раз «хозяева» наняли сами настоящих косцов из соседних деревень. Это обстоятельство вызывало необходимость новых сложных расчетов. Рабочих в лугах кормили «по череду»... Иван Максимов дал «своих» три рубля на задаток, Максим Иванов покупал в городе две косы да брусок. Все это теперь клалось на счеты, разверстывалось по известному деревенскому «равнению».

Пока дачники и дачницы гуляли, купались и играли в крокет, коренное Раскатово, казалось, превратилось в одну огромную счетную машину, туго, со скрипом и со всякими задержками подвигавшую к концу процесс «расчета». Два умные мужика, оба служившие не раз старостами и судьями, по целым часам, сидя на скамейке около единственной местной лавочки, прозванной дачниками «Мюр и Мерилизом» за свою универсальность,— щелкали счетами и выписывали каждому хозяину его расчет на особой бумажке. Получив листки, «хозяева» тотчас же уходили с ними в дома и там обмозговывали их совместно с бабами. Потом они возвращались опять к счетоводам, тыкали в бумажки заскорузлыми пальцами и предъявляли свои возражения. Счетная машина скрипела, и порой, вместо цифр, из нее вылетали совершенно неожиданные сюрпризы, не исключая даже упоминовения родителей.

Так это дело тянулось уже несколько дней. Сегодня расчеты кончались. Все более или менее поняли главное, более или менее подчинились «миру», более или менее

считали себя обиженными или прикидывались таковыми в мелочах.

В этот вечер только еще один старичок с резким протестующим голосом все бултыхался среди общего спокойствия, не признавая себя побежденным и убежденным. А так как сегодня он как раз был караульщиком, то среди тишины спокойного вечера — то и дело, то в одном, то в другом месте длинной улицы, вслед за стуканьем колотушки закипали громкие споры.

— Да пойми ты, наконец, садовая голова!..

— Чего понимать? Мы и то понимаем, небось... Вы-то понимаете ли?

— Да ведь он своих два с полтиной давал!

— Ну, дал... Мы, значит, не спорим, что не дал. А трюшница-те отколь влетела?

— Опять двадцать пять! Тебе было говорёно.

— Затвердила сорока Якова одно про всякова...

Старику отвечали лениво и неохотно: мнение «мира» сложилось, и на единственного спорщика махнули рукой. Поэтому он отчаянно загрохотал колотушкой и понес свой протест вдоль порядка, на другой конец деревни...

Как только строптивый старик окончательно удалился, Бухвостов подвинулся к сидевшим на бревне раскатовцам и сказал:

— Кончили, господа?

— Кончили, слава-те господи, Иван Семеныч...

— Вчистую. Разделились до остатнего.

— Можно теперь о другом поговорить?

— Поговори, Иван Семеныч, ничего,— сказал Савелий Иваныч, один из счетчиков,— мужик спокойный, уважающий себя и умный.

— Мы рады,— прибавил Гаврил Пименович,— умный человек слово скажет,— нам, дуракам, польза... Вот только,— прибавил он полузаискивающе, полушутливо,— чертыхаетесь вы... Это мы не любим...

— Ну, так скажите мне, господа жители,— не обратив внимания на слова своего хозяина, сказал Бухвостов,— зачем это у вас человек на цепи сидит?

— На чепи? — переспросил Савелий Иваныч.— Кто у нас на чепи, братцы? Кажись, этакого не бывало...

— Как можно, чтобы на чепи?

— Что вы это, Иван Семеныч,— укоризненно прибавил Савелий Иваныч,— еще, не дай бог, в газету напишете. Острамите нашу местность.

— А! это вот что, братцы,— торопливо смекнул Гаврил Пименович,— это он, значит, про колотиловского, Гараську...

— А! вот об ком! — засмеялся Савелий.— Так это в Колотилове. То-то я думаю: кто бы у нас на чепи... Будто никого нету...

— Так это же он не в себе...

— Не в полном разуме.

Бухвостов и не заметил, что он ставит в вину Раскатову то, что происходит в Колотилове. Как городскому жителю, деревня представлялась ему чем-то одним, общемужицким. Но для раскатовцев колотиловский Гараська был чужой... Их внимание лениво отрывалось от только что законченных «своих» дел...

— Да он теперь разве опять на чепи? — спросил кто-то, позевывая.

— Прежде ходил будто. Только разве когда заблажит.

— Эва! ходил! Когда это было,— еще до холеры! — сказал Савелий Иваныч.

Савелий бывал в волостных судьях и знал, что делается в волости.

— Да, годов восемь, гляди!

— Спохватился! — засмеялся Гаврил Пименович.

— Этакой же Чамра был еще в Гнилицах,— прибавил Савелий Иванович,— да в Ивановке Федотка.

— Мало ли...

— Отчего в больницу не отправляете? — желчно спросил Бухвостов.

— А кто платить за него станет? — спросил чей-то голос задорно.

— Первое дело — насчет платежу, — спокойно и с обычной разумной деловитостью пояснил Савелий.— А второе дело... Да вон, кажись, Григорий Семеныч дорогой едет. Он это все может объяснить в точности. Сам колотиловский... Григорий Семеныч, ты это?..

— Я! — ответил мужик с воза. Оставив смирную лошадь на середине широкой улицы, он подошел к бревнам и поклонился.

— Мир беседе... Надо что, аль так окликнули?

Бухвостов узнал его. Это был мясник, каждое утро объезжавший раскатовские дачи,— мужик солидный, державшийся с большим достоинством по отношению к господам и вследствие своей торговой практики выработавший себе особенный, не совсем мужицкий язык.

— Вот господин антиресуется насчет Герасима,— сказал Савелий, как показалось Бухвостову, с оттенком легкой насмешки.

Григорий Семеныч повернулся и, вглядевшись в Бухвостова, протянул ему руку:

— Что же именно может быть? Какой антирес?.. Не в своем разуме человек, или сказать: одержимый. Больше ничего...

— Да вот, говорят: как можете вы, колотиловские, на чепи человека держать?..

В голосе Савелия Ивановича насмешка пробилась яснее.

— В газету они напишут,— так, мол, как бы и нам, раскатовским, за вас не влетело...

— Насчет этого я вам могу ответ дать, потому что это дело мне известно. А насчет уголовной, например, ответственности или штрафу, то на этот счет не имеем беспокойства, потому что посадили его неисходно, без отпуску, по приказанию начальства. Как, значит, находит на него по внезапности и невозможно упредить...

— Значит, сейчас и на цепь? На всю жизнь? «Потому что находит по внезапности»...— желчно спросил Бухвостов. Его несколько раздражал насмешливый тон Савелия Ивановича, и, кроме того, ему показалось, что в лице колотиловца-мясника он нашел ответчика.

— Зачем сейчас? Терпели не малое время. Меня самого, как я старостой ходил, разов, как вам сказать... да разов с пять так колошматил, что не чаял я своей жизни сохранить. Грезиться мне по ночам стал, право.

Среди раскатовцев на бревне раздался благодушный смех, еще более раздраживший Бухвостова.

— Пригрезится как раз...

— Ежели, говоришь, колачивал, как не пригрезиться.

— Да как же! Потом на людей стал бесперечь кидаться. На перевозе было дудинского мужика чурбаком ушиб. Ну, все это мы, значит, терпели...

— Что поделаешь?

— Ничего не поделаешь, конечно. Он ведь тоже не повинен тому делу. Сколько раз миром толковали. Мол, он на малых детей не кидается, все только на больших. Ну, большой-то как уж нибудь постоит сам за себя, не подастся... Потерпим... А уж это после, значит, он непорядок сделал: к церкви верхом на чурбаке прикатил, да к самому крестному ходу. Народ за иконами идет, а он давай попа ругать скверно, да песни похабные запел. А на тот случай в церкви становой. «Вы бы, говорит, как-нибудь... Чтобы этого безобразия больше не было...» Ну, и посадили. Миром и ковать довелось.

— Ми-ром? — язвительно переспросил Бухвостов.

— Да, дело такое, сами понимаете, кому охота! Ну, миром-то оно складнее... Этак вот на пояс обруч железный набили, кузнец сковал, потом, значит, за кольцо, да чепью к стене... На грех он в ту пору опамятовался, значит, отошло от него... Плачет, не дается, бабы за ним... Ну, что делать станешь... Заковали. Так, с этих мест и живет неисходно... Когда, бывало, оклемается и опять ничего: сидит, работает, сапоги тачает. Даже еще хозяин в дому. Ну, только теперь редко... Так и не расковываем...

— Уж и хлыщут же его бабы-те... Бат-тюшки-светы! — сказал новый голос, с конца бревна.

Это говорил рыжий портной, человек в Раскатове пришлый. Родом он был из Владимирской губернии, живал во многих местах, много шатался по свету и, наконец, попав в Раскатово, женился здесь и остался. Но чувствовал себя здесь все-таки чужим и о раскатовских явлениях судил объективно, как бы со стороны. Бухвостову казалось, что этот рыжий пришлец, высокий, худой и желчный, сочувствует его обличительному настроению.

— Страсть как колотят... Жена с матерью возьмут по веревке, да с обеих сторон давай хлыстать... А он на чепи-те вертится, ничего не может сделать...

Бухвостов вздрогнул. Ему вспомнилась высокая старуха с печально спокойными глазами... Рассказ на всех тоже произвел впечатление.

— Да уж им попадись, подлым,— сказал кто-то...
— Они рады над мужиком сердце-то отвести.
— Эх, сорвался бы хоть раз, да хар-рошенько бы...
Но тут внезапно ожили два изваяния в темных сарафанах, стоявшие, как было сказано, невдалеке и до сих пор не принимавшие участия в общем разговоре. Видно, однако, и в них тоже накипало, и когда разговор коснулся бабьего дела, изваяния вдруг заговорили.
— Бабы, вишь, виноваты! — сказала одна, слегка отворачиваясь и как будто выражая желание уйти, чтобы не слушать глупых и несправедливых мужичьих речей.
— А то нет? — послышалось с бревна.
— Кого и обвиноватить вам, ежели не бабу,— задорно и звонко сказала другая и тоже выразила готовность удалиться, очевидно не надеясь переубедить мужиков. Но Бухвостов остановил обеих.
— Постойте,— сказал он.— По-вашему, значит, это хорошо: бить связанного беззащитного человека.
— Да ведь они когда его бьют-то, ты спроси... Нешто станут зря. Чай, одна-те мать ему рòдная.
— Ведь он заблажит,— горячо подхватила другая, выступая вперед,— дни, мотри, на два, на три. А то и на неделю. Спокою нет никому, рычит, кидается, чепью брязчит, то и гляди сорвется. Тут они и похлыщут, конечно...
— Нахлыщут, нахлыщут,— тогда уж он спать. Спит сутки, а то и двои,— опять ничего... А то нешто стали бы зря...
Бабы говорили горячо, с нотами женского сочувствия своему бабьему горю. Они, очевидно, ближе мужчин знали это дело, и их горячий протест произвел впечатление.
— Пожалуй, верно, Иван Семеныч,— сказал Савелий.— Потому иначе он не перестанет...
— Свезли бы в больницу,— сказал Бухвостов.— Там хоть не бьют...
— Где, поди, не бьют,— ответил Савелий с глубоким сомнением.
— Невозможно это...
— Насчет больницы, позвольте вам сказать,— как, значит, я был старостой,— сказал Григорий Семеныч своим убедительным голосом,— был он в больнице, в называемом старом корпусе. Так нешто же это можно срав-

нить, что, например, дома! Слыхали мы, конечно, что в бараках хорошо. Ну, что касающее мужика, то его в бараки не поместят... Там городские...

— Глупости! — сказал Бухвостов резко.

— Нет, не глупости. Был он, говорю, в старом корпусе, да они его взяли обратно. Пожалели, как свое, значит, как бы то ни было, родное. Потому что видели своими глазами, как их там щелучат. «Не надо этого, говорят, как ни биться нам, а не дадим этакое тиранство делать». Привезли обратно, я сейчас к ним, потому что не порядок, самовольство, конечно... «Ежели, говорю, вы стесняетесь насчет платежу, так еще, пожалуй, и не взыщут. А ежели станут взыскивать, я склоню общество, так чтобы миром платить. Потому что может он над вами что-нибудь сделать...» — «На это,— они говорят,— есть божия воля».— «Божия воля, это, говорю, конечно, справедливо. Ну, только за эту божию волю в ответе никто, а только староста! Он вот, как Чамра в Гнилицах, срубит тебя топором, а старосте это припишется к несмотрению...» Ну, однако, не отдали...

Водворилось молчание...

— А то — бабы! — нараспев и каким-то особенным голосом заговорила опять одна из женщин... Голос у нее стал вдруг звонким, нервным, «истошным». В нем слышалось причитание, закипало изболевшее бабье нутро...

— Она, Акулина-то — кака моло-одка была!.. Краса-а-вица, кровь с молоком... Ей бы за каким соколом быть... Насильно ведь за Герасима-те отдавали... Уж выла, выла, болезная...

— Все вы воете,— послышалось угрюмо и зло из кучи мужиков.— А чего ей выть-то было? Чай, он тогда здоровый был,— на свадьбе испортили... Тоже от вашей же сестры, от полюбовницы, пакость эта пошла...

— Ну, чего там на свадьбе... Чего говорить-то попустому,— вступился Савелий...— На сговоре — и то уже было приметно, что не в себе.

— Да он парнишкой еще блажил, род у них такой...

— Зачем же она пошла? — спросил Бухвостов и сразу понял, что сказал наивную глупость...

— Да ведь выдали, родимый, как не пойдешь,— сказала баба.

— За кого сироту и выдать-то,— подхватила другая тем же болезненно звенящим голосом...

— После сговору корову я ночью по лесу гнала, корова у меня потерялась... Только на вырубку-те вышла, батюшки-светы!.. Сидит кто-то на полянке, на пеньке— воет... С нами крестная сила. Глядь, ан это она, Акулина! «Что ты. говорю, девонька, Христос с тобою!..» — «Пропадай, говорит, моя головушка! Что за Гараську, что в омут...»

— Да, сирота была, верно...

— По принуждению, значит, опекунов и тому прочее подобное,— пояснил Бухвостову мясник Григорий Семенович,— у нас ведь не как в городах... Ну, однако, по домам пора. Прощайте когда...

Его телега расплылась мутным пятном в дальней перспективе улицы. Среди оставшихся некоторое время стояла тишина, полная мыслей, смутных и неясных, как эта ночь с ущербленной луной...

— И верно,— сказала баба, продолжая, очевидно, думать вслух о бабьей доле...— Кабы вера другая,— в омут головой много лучше...

— Что уж за жизнь... Много хуже Гараськиной. Потому — он без понятия...

— К печке пойдет, не остерегется,— он уж норовит ее сгрести...

— А ночи-те... господи, страсти какие. Зимой ночи темные, долгие... Не все керосин жечь...

Опять водворилось молчание...

— Ну, будем так говорить: сызмалетства!..— заговорил, тоже, очевидно, продолжая нить своих мыслей, мужской голос.—А в роду отчего: все то же самое, порча!

— Вот какие люди есть... Что надо: портют человека...

— Даже до седьмого колена.

— Да-а, есть это, есть,— с убеждением сказал Савелий Иванович, поворачиваясь к Бухвостову... И затем прибавил: — Прощайте, однако. Дома с ужином заждались...

Скоро на бревнах осталась одинокая фигура Бухвостова.

— О, ч-ч-черт! — вырвалось у него из переполненной груди...

V

Он знал, что ему не будет покоя. Хотя ночь была чудесная, такая, которая способна взять у человека все его невзгоды и заботы, усмирить тревогу в душе, покрыть всякую душевную боль дыханием своей спокойной красоты, но он чувствовал, что даже ей не победить неопределенной тревоги, которая торчала в нем настоящей занозой...

Он был встревожен и недоволен собой... Утром он видел этот ужас. А к вечеру... Дело было даже не в том, что он ничего еще не сделал. Но... что осталось от его недавнего определенного и острого чувства?.. Что-то неясное и смутное, как эта ночь с ее пугливыми шорохами. И в конце концов — закончилось «таинственной», безличной и неуловимой «порчей»...

Разумеется, если бы что-нибудь подобное он заметил в городе... Тогда бы он знал не только, что ему думать, но и что делать. Он поднял бы весь город на ноги. Телеграмма в столичные газеты... подхватывается всей печатью... «Человек на цепи!» «Человек на цепи в губернском городе!» «Человек, прикованный десять лет в конце XIX столетия!» Да, во всех этих фразах была какая-то ясная, определенная сила, «будящая активные рефлексы»... Бухвостову представилась у соответствующего дома толпа народа. Расторопные околоточные приглашают с тревожной сдержанностью:

— Расходитесь, господа, расходитесь... Ничего особенного...

Но даже по их лицам видно, что случилось именно особенное, небывалое, неблагополучное...

А здесь?.. Бухвостов сознавал, что здесь даже он чувствует как-то по-иному...

Прежде всего — «десять лет!»

Если десять лет человек сидит на цепи, почему скакать с этим известием именно сегодня, а не днем, не двумя, не неделею позже?.. «Что это? Бухвостов точно и сам с цепи сорвался...» Он видел ироническую умную улыбку, с какой редактор газеты произносит эту фразу.

Да, будь это в городе,— о, тогда другое дело... Его набат был бы именно непосредственным, негодующим,

беспокоящим, звонким. И редактор не сказал бы иронической фразы; торопиться пришлось бы уже затем, чтобы другие газеты не перехватили сенсационного известия... Заметка сдается в цензуру... В редакцию, конечно, последует запрос...

— Его превосходительство просит сотрудника NN, написавшего заметку, пожаловать к нему для объяснений.

— Человек на цепи! Что? Как? Где? На каком основании? Мы сейчас! Сию минуту! Мгновенно,— по телефону! В какой части? Участка? Квартал...

— Не в квартале... В деревне Колотилове...

— А! В деревне!.. Так бы и говорили сразу. Вы говорите, все-таки, десятый год?

Бухвостову представилась зевающая, успокоенная физиономия.

— Петр Иванович, нельзя ли все-таки навести справки? Они говорят: десять лет!

— Очень может быть,— сдержанно говорит Петр Иванович.— Губернская больница переполнена. Кроме того, неизлечимых не принимают и по закону... Можно, пожалуй, написать исправнику запрос...

— Да, да, напишите, пожалуйста. Что там у них такое?

Потом... Бухвостову представилась серая дорога, звон колокольцев, запыленная фигура в телеге и поля с ленивым шорохом хлебов. Дальше все как-то терялось, и воображение не подсказывало Бухвостову ничего более...

Все это он думал уже не на бревнах, в Раскатове, а далеко за деревней, среди спящих полей... Он и сам не заметил, как вышел за околицу, как пошел по дороге, и спохватился только у другой околицы.

Куда он пришел? Перед ним, выделяясь на темной траве, резко отсвечивал свежий сруб, с разбросанными кругом щепками. За околицей виднелась узкая улица. Над тесовыми крышами тихо колыхалась темная зелень старых высоких осокорей. Верхушка одного из них была совсем сухая и на ней виднелись грачиные гнезда. В листве стоял ласковый, тихий, баюкающий шорох.

Деревня уже спала, только в одном оконце, налево, виднелся огонь. Бухвостов вдруг узнал эту улицу, и

сруб, и грачиные гнезда. Все это он уже видел сегодня утром, только не обратил внимания на эти мелочи, занятый тем, что его более поразило. А вот это светящееся окно...

Он узнал его и резко остановился. Потом почти инстинктивно подошел ближе и стал в тени толстого осокоря.

Рама была отодвинута. Свет ярко и ровно падал на кусты в палисадничке... Сначала в избе стояла странная тишина. Потом тихо брякнула цепь, и усталый мужской голос сказал:

— Дай водицы испить... Господи, батюшка, царь небесный. Хоть бы уж смерть пришла, что ли...

— Молись, Гараня, молись, сынок... Нагрешил за день-то. Может, и впрямь услышит, смерть пошлет...

И, помолчав, женщина прибавила голосом, в котором слышались страдание и слезы:

— И меня бы заодно с тобою, сынок... На вот, испей кваску.

— А Акулина где? — спросил мужчина, глубоко вздыхая...

В это время из-за угла избы выбежала женская фигура, прислушалась, перевела дыхание после торопливого бега и, постояв немного, пошла в избу...

Цепь забрязчала беспокойно, и злой голос, в котором опять исчезли сознательные ноты, заревел:

— Где была?.. Сказывай сичас... Сука! Сука, су-ка!

— Где была, там нету,— ответила женщина с невольным задором...— Собирать ужин, что ли?

— Сука, сука...— говорил Герасим, почти задыхаясь, и слышно было, как он опять начинает метаться...

— Молчи, а ты, Гараня,— заговорила старуха...— Молчи ужо!.. А ты подь, Акулина, корову посмотри, заскучала что-то...

— И то пойти!..

Женщина опять выбежала на улицу. Насторожилась, прислушалась и нырнула в тень...

Бухвостов спохватился, что подслушивает у окна, и быстро отошел...

За околицу его проводила собачонка, долго и жалобно заливавшаяся, пока фигура незнакомого человека не потонула среди перелесков...

VI

Ночной караульщик, тот самый, который остался недоволен миром, долго и ожесточенно стучал колотушкой перед дачей Гаврил Пименовича, напоминая жильцу, что деревня давно спит, а у него в мезонине огонь. И Гаврил Пименович тоже долго не засыпал, тревожно прислушиваясь, как жилец мечется наверху по своей комнате...

— Вот навязался чадушко, прости господи,— ворчал он.— До всего, вишь, ему дело... Народ спит, а он на̀ поди! Ох-хо-хо... И все, гляди, чертыхается, всеё ноченьку... Бесстрашной...

Он зевнул, перекрестил рот и, наконец, задремал. На улице перед рассветом сгустился сумрак. Караульщик уселся на лавочке у палисадника Гаврил Пименовича, вытянул ноги и тоже задремал, не выпуская из рук трещотки.

Не спал один Бухвостов...

— Кто же, наконец, виноват? — спрашивал он себя в тоске, шагая из угла в угол и чувствуя, как его обступает кругом сплошная невинность... Не виновна деревня, миром приковавшая на цепь больного... Не все же Григорию Семеновичу терпеть побои и нести ответственность... Не виновата мать, у ней самой изболело сердце. Не виновата Акулина,— «дело ее молодое... и горькое...» Не виноваты врачи, земство, поля, перелески, бор, обступивший Раскатово, река, перевоз, мужики с телегами, монахи...

— О, ч-черт!

Он чувствовал, что эта ночь особенно для него мучительна и что ему никак не заснуть...

За окнами между тем становилось все светлее. Тихо загорелись верхушки бора, косые лучи побежали вдоль широкой росистой улицы, поблескивая на закрытых окнах. Деревня еще спала, только какая-то баба, зевая, гнала тоже будто дремлющую корову. Было спокойно, безмятежно и тихо. Монастырская башенка благодушно жмурилась под красноватыми лучами и заглядывала с горы на раскатовскую улицу и на спящего караульщика...

Вдруг караульщик вскочил. Над его головой раздался легкий треск внезапно открытого в мезонине окна.

В окно, как в раме, выглянуло желтое лицо странного пименовского жильца. Лицо было усталое, взъерошенное и злое. Он как-то пытливо посмотрел на улицу, на сосновый бор, на избушки с тихо загорающимися окнами, на гору с башенками в зелени...

— О, ч-черт! — простонал он.— Смиренье проклятое...

Ему показалось, что он понял, наконец, загадочное выражение раскатовского пейзажа.

Караульщик испуганно ударил в трещотку, но сейчас оборвал... Спохватившись, что уже белый день и стучит он «без дела»,— он угрюмо пошел вдоль порядка.

На другом конце пастух заиграл в рожок и медленно стал приближаться, гоня все увеличивающееся стадо. На середине улицы к нему подошел караульщик. К ним присоединилась баба, гнавшая корову. Стадо тихо побрело вперед, подымая легкую золотистую пыль, а трое людей стояли темным пятном среди улицы. Караульщик жаловался, слушатели часто оглядывались на окно Бухвостова с робкой и отчасти враждебной тревогой.

1898

С двух сторон

Рассказ моего знакомого

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Мне шел двадцатый год. Я был студентом Петровской академии и чувствовал себя необыкновенно счастливым.

Все из того времени вспоминается мне каким-то сверкающим и свежим. Здание академии среди парков и цветников, аудитории и музеи, старые «Ололыкинские номера» на Выселках, деревянные дачи в сосновых рощах, таинственные сходки на этих дачках или в Москве, молодой романтизм и пробуждение мысли...

Казалось,— нам предстоит что-то необыкновенное... Что именно, в точности неизвестно, но от этого все станут окончательно счастливы...

Была также и «она».

О любви не было еще речи. Было несколько сходок, на которых она тоже присутствовала, молчаливая, в дальнем уголке. Я заметил ее лицо с гладкой прической и прямым пробором, и мне было приятно, что ее глаза порой останавливались на мне. Однажды, когда разбиралось какое-то столкновение между товарищами по кружку и я заговорил по этому поводу,— я прочитал в ее глазах согласие и сочувствие. В следующий раз, когда я пришел на сходку где-то на Плющихе, она подошла ко мне первая и просто протянула руку.

— Здравствуйте...— И она назвала меня просто по фамилии. До этих пор я знал только ее лицо, выступавшее из-за других в дальнем углу. Теперь увидел ее фигуру. Она была высокая, с спокойными движеньями. У нее была пепельно-русая коса и темно-коричневое платье. Я был очень застенчив и робел перед женщинами. Сам я казался себе неинтересным и несуразным. Но на этот раз я почувствовал какую-то особенную простоту этого привета и тоже тепло и просто ответил на пожатье.

Никто нас не знакомил. Но мы уже бывали вместе после собраний в тесном дружеском кружке, и я видел, что между нами устанавливается какая-то внутренняя близость. Вскоре после этого она уехала на Волгу, где получила место кассирши на пароходе.

Кассиров на свете много, и никогда эта профессия не казалась мне особенно интересной. Просто выдает билеты и получает деньги. Но теперь, когда я представлял себе в этой роли высокую девушку в темном платье с спокойным вдумчивым взглядом, с длинной косой и кружевным воротничком вокруг шеи, то эта прозаическая профессия представлялась мне в особом свете. Быть может, думал я, в это самое время пароход несется по Волге, и она сидит на палубе с книгой на коленях. А мимо мелькают волжские горы.

Волги я еще ни разу не видел, но был влюблен в нее с юности за бурлаков Некрасова и за Стеньку Разина. И то обстоятельство, что она была именно на Волге, казалось мне особенно красивым и значительным.

Поздней осенью она опять вернется, и опять будет стоять в уголку, в накуренной комнате, и ее лицо с пепельными волосами, закрывающими часть лба и маленькие уши (я это успел заметить), будет светить мне сквозь табачный дым и шумные споры. И я представлял себе, как она опять протянет мне руку, скажет «здравствуйте» и назовет мою фамилию. И я непременно при случае спрошу у нее, что она видела на Волге...

Но в данное время ее не было в Москве, и это не мешало мне быть счастливым. Мы только что окончили практические работы по съемке, отдыхали до начала лекций, ходили пешком в Москву, читали и спорили.

II

Вспоминаю тогдашнее особенное настроение... Аромат юности.

Каждый возраст обладает своим собственным ароматом, который носится кругом, насыщает и переполняет для нас весь мир. В настоящем мы его обыкновенно не замечаем, именно потому, что он составляет постоянную атмосферу нашей души. Но стоит настоящему отодвинуться в прошлое, стоит нам войти в другую полосу жизни, и в памяти отлетевший жизненный колорит выступает так ощутительно, что мы удивляемся, как это мы не замечали тогда этой особенной атмосферы, не наслаждались ею в свое время сознательно и полно. А потом и новая полоса станет прошлым, и окажется, что в ней тоже было свое очарование.

Пока живо это «чувство прошлого» с его радостной печалью воспоминания,—это значит, что душа жива и жизнь не потеряла своего аромата...

В то время каждое новое впечатление и каждая новая мысль приобретали свою особенную неповторявшуюся окраску.

Читал я много и усваивал восприимчиво. Может быть, несколько односторонне... Перечитывая впоследствии тех же авторов, я находил много такого, что ранее проглядел; зато многое, что тогда светилось ярко, впоследствии потускнело. В каждой книге я быстро намечал выдающиеся пункты, своего рода вехи, на которых группировались воспоминания о прочитанном. Ирландцы,— говорит Бокль,— несвободны потому, что питаются картофелем. Их завоеватели питаются мясом. Мысль, что, быть может, тут зависимость и обратная,— ирландцы не имеют возможности есть мясо, потому что несвободны,— не приходила мне в голову. Выводы из афоризма Бокля были так наивно просты и так утешительны: накормите рабов, и они освободятся...

Другой любимый мой писатель был Фохт. Это был настоящий поэт материализма. В его «Зоологических очерках» природа жила такой яркой красивой жизнью, и, кроме того... он сменял микроскоп на ружье республиканского милиционера. Перевод этой книги, вышедшей в 60-х годах, был снабжен портретом автора, и

под ним стоял девиз: «Gegen Dummheit kämpften Götter selbst vergebens»*. Я срисовал портрет и повесил у себя над кроватью. К девизу я прибавил цитату: «Наше время ниспровергло противоположность между вещественным и нравственным и не признает более такого деления»... Точность и ясность материалистической мысли производила на меня впечатление прямо эстетическое. «Боги напрасно боролись с глупостью»... Но мне казалось, что это только потому, что у богов не было микроскопа. Фохты, вооруженные микроскопами, борются с глупостью не напрасно. Я тогда не знал, что и Фохта тогда уже обвиняли в метафизике. «Мысль есть выделение мозга, как желчь выделение печени». Ну, конечно... Тогда это мне казалось самоочевидным и окончательным. И главное, это меня необыкновенно радовало, хотя в то же время я страстно преклонялся перед мыслью.

Особенно усердным студентом я не был, но с увлечением слушал некоторых профессоров, особенно по физиологии растений и по зоологии. Меня не столько интересовали при этом «вредители растений» и средства борьбы с ними, сколько ощущения растений и загадочный мир низших животных. Постепенно упрощаясь, животный мир опускался в область мира растительного, растительный роднился с кристаллами. Тогда еще не был разрушен миф о первичной органической материи Геккеля. Где-то, на недоступных глубинах океана, залегает эта первобытная слизь, в которой среди глубокой тьмы и дремотного покоя творится тайна самозарождения жизни. Меня радовало, что элементарные материальные процессы, суммируясь, проникают в область моего чувства и мысли. В этом я видел освобождение от всяких мифологий...

Впоследствии мне было гораздо приятнее мое сознание переносить на всю первобытную природу...

III

Каникулы приходили к концу, скоро должны были начаться лекции. В воздухе чувствовались первые веяния осени. Вода в прудах потемнела, отяжелела. На

* *Даже боги напрасно боролись с глупостью (нем.).*

клумбах садовники заменяли ранние цветы более поздними. С деревьев кое-где срывались рано пожелтевшие листья и падали на землю, мелькая, как червонное золото, на фоне темных аллей. Поля тоже пожелтели кругом, и поезда железной дороги, пролегающей в полуторых верстах от академии, виднелись гораздо яснее и, казалось, проходили гораздо ближе, нежели летом.

Я занимал крайний номер в верхнем этаже казенного здания. Из моего окна была видна часть дороги. Поезд выходил из-за холмов, потом опять скрывался, и только белый султан пара несся над горизонтом. Затем он опять появлялся весь. Маленькие вагоны, точно игрушки, тянулись по профилю дороги. Мне видны были колеса, катившиеся по рельсам, и окна пассажирских вагонов сверкали на солнце. Потом белая лента пара вдруг разрывалась. Поезд нырял под мостик, втягивался в углубление и исчезал. Шум его стихал постепенно в направлении к Москве.

Мы с моим сожителем Титом отходили от окна и в ожидании, пока вскипит казенный куб для чая, ложились на постели и говорили в сумерках бог знает о чем, между тем как в наше окно лилась с полей вечерняя прохлада.

Или порой, перед вечером, мы отправлялись к платформе железной дороги, находившейся в конце прямой лиственничной аллейки, встречать следующий поезд. Курьерские поезда проносились мимо без остановки, пассажирские иной раз останавливались, и из них выходили служащие, жены профессоров, дачники или дачницы. И мне всегда казалось, что вдруг выйдет кто-нибудь интересный и необыкновенный. Может быть... она? Этого никак не могло случиться, но это не мешало неопределенному и радостному ожиданию... Редкие пассажиры уходили по аллее, а мы еще оставались. В будке сторожа вспыхивал огонек. Она была тесна, грязна и неудобна, и в ней ютилась целая семья. Я с негодованием думал о тех, кто «заставляет людей жить в таких ужасных условиях». Но в этих мыслях не было как-то ничего угнетающего... «Мы это скоро изменим»...

И меня более радовала эта перспектива светлого будущего, ожидающего, между прочим, и этого сторожа с его семьей, чем печалило их темное настоящее.

Тит был практик и очень добрый малый. Он редко забывал, отправляясь к платформе, захватить кусок булки, несколько кусков сахару или яблоко для детей сторожа... Их было много, и предстояло еще прибавление...

Затем в темноте мы тихо возвращались в свой номер. И опять я говорил, а Тит слушал.

Говорилось так хорошо... И вообще жилось недурно.

IV

Из тогдашних моих товарищей по академии некоторые приобрели впоследствии почетную известность. И не в одной только специальности: их имена стали известны в разных областях.

Однако... если бы тогда кто-нибудь раскрыл передо мною, выражаясь метафорически, «завесу будущего» и показал бы мне их теми, каковы они теперь, я был бы разочарован. Лично я не был ни заносчив, ни тщеславен. Я не мечтал ни о богатстве, ни о карьере, ни о славе. Вообще, право, я был юноша довольно скромный. Если у меня были преувеличенные ожидания и гордость, то относились они к «моему поколению». Мне казалось, что во всех нас есть какие-то зачатки, какие-то завязи новой и полной жизни.

Был тогда в академии некто Урманов. Он шел выше меня тремя курсами, и особенной близости между нами не было. Несмотря на это, а может быть именно потому, что не было близости, он служил для меня предметом особенного, отчасти романтического интереса. В то время среди студентов была целая группа архангельцев. Народ рослый, по большей части голубоглазый, флегматичный. Урманов был тоже «уроженец архангельских тундр». То есть собственно родился он в городе Архангельске, в семье незначительного «соляного чиновника», но не походил на других своих земляков; черноглазый, необыкновенно подвижной, он был экспансивен, как южанин. На сходках вспыхивал, как порох, и быстро предлагал самые крайние меры. И так же легко остывал. В лице его было что-то инородческое, но не северное. Считался он очень способным, рабогал при лаборатории одного из

профессоров. Мечты его раздваивались. Одновременно он увлекался революцией и готовился к кафедре. Революционные увлечения проявлялись вспышками, научные были более прочны. Другие его земляки, поступившие позже его, привезли с собой из Архангельска необыкновенное уважение к Урманову: на него в гимназии смотрели, как на будущую звезду.

В архангельском кружке был совсем юный поэт, приблизительно моего возраста или немного моложе. Он сочинил длинную поэму, героем которой был Урманов. Поэма несколько хромала относительно формы, но изобиловала картинами северной природы, «бытовым колоритом» и чисто романтическим полетом. Тут было «низко нависшее небо», «саван снегов», «убогие чумы». Дымок печально вьется над задумавшейся тундрой, олени пощипывают мох, откуда-то несется горловая заунывная песня самоеда. Тундра спит, как заколдованное царство, и сквозь дремоту ждет чего-то... Урманов учится в академии. Вооруженный знаниями, «с пламенной любовью к свободе» он возвратится на свою печальную родину, отвернувшись от соблазнов богатства, славы, женской любви. И тогда в тундре загорится весна, песня зазвенит ярче, самоед проснется к борьбе «за попранные в его лице права человека». Урманов объезжает дальние стойбища, собирает вокруг себя молодежь, говорит о «славном прошлом отцов и дедов» (поэт предполагал, что было такое прошлое и у самоедов), говорит им о том, что в великой России народ уже просыпается для борьбы с рабством и угнетением... Заканчивалась поэма следующей эффектной картиной: северное сияние слабо играет над бесконечной равниной. Снежный саван вспыхивает кое-где огненными искрами. Скрипит полоз нарты, олени бегут, пригнув ветвистые рога к спинам. То гонец самоед с полным сознанием своей миссии везет пламенные воззвания Урманова «к великому самоедскому народу». Затем следовал апофеоз братства племен и свободы.

Поэма требовала еще значительной отделки, но уже и в этом виде производила впечатление и доставила известность в студенческих кружках поэту, а еще более его герою. Я чувствовал большие недочеты и большую наивность этой «Урманиады», но все же Урманов представ-

лялся мне наиболее колоритной фигурой из всей студенческой массы, которая и вся-то казалась мне замечательной.

V

Каждый год с ранней весны на одной из дач поселялся отставной генерал, который в известный час в сопровождении лакея появлялся в академическом парке. Он старческой походкой прохаживался по главной аллее, часто присаживаясь на скамьях и греясь на солнце. Губы у него были широкие, несколько отвисшие и глаза чуть-чуть навыкате: в общем мы усматривали некоторое сходство с большой лягушкой. Мне почему-то казалось, что между этой фигурой и нами должен существовать инстинктивный антагонизм. В его взглядах, которыми он провожал мелькающие мимо фигуры студентов, мне чудилась раздражительная брюзгливость и досада. Как будто мы составляем лишь очень досадный придаток к хорошему дачному месту, ко всем этим аллеям и цветочным клумбам. Однажды, когда я с двумя товарищами проходил мимо него, не сразу заметив его присутствие, мне показалось, что он вдруг сделал какое-то резкое движение. Толстые губы зашевелились, и глаза выкатились, как будто старик хотел остановить нас... Зачем?.. Может быть, чтобы сделать строгий выговор за то, что мы молоды, что мы студенты, что мы наверное имеем «образ мыслей» и самым фактом своего существования выказываем неуважение к старым генералам. При этом высокий и тоже старый лакей с военной выправкой, стоявший сзади навытяжке, тоже, казалось, готов был двинуться за нами, исполняя какую-то генеральскую команду.

Но мы беззаботно прошли мимо. Эта полуразрушенная превосходительная фигура, в течение двух-трех последних лет аккуратно появлявшаяся в парке, пользовалась среди студентов значительною, хотя и не особенно лестною популярностью. Кто-то назвал его генералом Ферапонтьевым, и эта вымышленная фамилия так и осталась за ним. Хотя сама по себе она, по-видимому, не заключала ничего обидного, тем не менее употреблялась всегда с некоторым оттенком иронии. Это было выражение безмолвного и беспричинного антагонизма,

установившегося между дряхлым генералом и легкомысленною средой академической молодежи.

И вот однажды разнеслась сенсационная новость: генерал гуляет в сопровождении молодой и очень хорошенькой женщины...

Как-то раз, когда мы с Титом шли по главной аллее, генерал действительно вышел из боковой аллеи и пошел навстречу, опираясь на руку спутницы. Лакея не было. Пятна солнца и теней мелькали на серой тужурке генерала и на небольшой женской фигуре. Когда мы поравнялись с ними, генерал, как мне показалось, опять выпучил глаза, сказал что-то своей спутнице и зашевелил губами. Молодая женщина вскинула пенсне и посмотрела прямо на наши приближающиеся фигуры. Нам обоим стало неловко под этим красиво-беззастенчивым и как будто изучающим взглядом. В нем было что-то странное. Молодая женщина не просто смотрела. Казалось, она любопытно высматривала, изучала и оценивала нас с какой-то своей точки зрения. В первый еще раз я позавидовал Титу. Он всегда держал свой костюм в большом порядке, тогда как я был в этом отношении несколько беспечен. Скользнув по моей фигуре взглядом, в котором мне почудилась легкая усмешка, она несколько дольше остановила его на аккуратной фигуре Тита. Затем мы разминулись.

— Ну, брат... и дамочка!..— сказал Тит шепотом и почему-то ускоряя шаг...— Заметил ты?.. Как она смотрит?

И, отойдя незначительное расстояние, он вдруг прыснул своим звонким веселым смехом...

— А ты, брат, признайся, своей блузы и грязных сапогов сконфузился. Видишь преимущества приличной внешности...

Я, конечно, не признался, но Тит был прав. Пренебрежительный огонек, мелькнувший, как мне показалось, в глазах молодой женщины, был мне неприятен. Сама она оставила во мне странное впечатление: резкое, не совсем приятное, но вместе заманчиво-дразнящее...

Я не любил дам, одетых явно «по последней моде», а мода того времени внушала мне негодование. Мне кажется, мода явление не совсем случайное и каждая имеет свое выражение. Соответственно с этим меняется да-

же и выражение лиц. Лица открытые с высокими лбами и прямым взглядом в то время все чаще стали сменяться низкими лбами, с завитыми челками, слегка подведенными глазами. Вместо прямого и открытого женского взгляда становились «модными» взгляды наивные, беспомощные, как бы молящие о пощаде. При этом низко вырезанные лифы и узкие платья, совершенно мешавшие движениям... В то же самое время модные мужчины придавали себе вид победительный и наглый. Низкие лбы, выпученные глаза; челки на лбу; вороты рубах вырезаны широко, декольтируя шею, а отвороченные углы воротников торчат из-за ушей. Пиджаки нараспашку, руки за жилетом, походка развязная и с развалкой. Общий вид наглеца, отбросившего предрассудки и не дающего пощады.

Девушка или дама, сопровождавшая «генерала Ферапонтьева», была тоже одета по этой ненавистной мне моде. с некоторой даже утрировкой. Светло-серое платье было очень стянуто, низкие вырезы на груди и спине закрыты легким кружевом, длинный шлейф приходилось придерживать одной рукой. Она была маленького роста и казалась очень молодой, но серые глаза, представлявшиеся порой то темно-голубыми, то даже черными, глядели из-под очень широких полей шляпы так твердо и спокойно, что фигура не казалась незначительной. В этом взгляде было что-то холодное, сдержанное и как будто повелительное...

Через несколько дней я опять встретил ее. Мне приходилось принимать от Урманова студенческую кассу, и мы шли к нему на выселки по главной аллее парка, когда генерал с молодой дамой опять вышли из боковой аллеи. Поравнявшись с ними, Урманов не совсем решительно приподнял шляпу. Генерал повернулся, как будто с недоуменьем. Чтобы пропустить их, мы с Урмановым разошлись так, что они прошли в середине... Дама не заметила поклона Урманова. Оба они повернулись ко мне, и опять от ее холодного пытливого взгляда мне стало неловко.

— Вы знакомы с этой дамой? — спросил я у Урманова, когда мы прошли дальше.

— Д-да...— сказал он нерешительно, и на его впечатлительном лице появился чуть заметный нервный ру-

мянец.— Я встретил ее в Москве, в доме профессора N. Там было много народу...

И, пройдя еще несколько шагов, он спросил:

— Нравится она вам?

Он с любопытством ждал моего ответа.

— Я не люблю таких лиц,— сказал я.

— Каких?

— Холодных, что ли...

— Нет... у нее лицо не холодное,— произнес Урманов задумчиво.

— И притом,— продолжал я,— я не люблю еще модниц.

— Она и не модница,— продолжал Урманов с тем же выражением.— У профессора N она была одета совсем просто...

— Но теперь не просто... Даже шляпа в каких-то висюльках... А вам она нравится? — спросил я в свою очередь.

— Нравится,— просто сказал Урманов.— Она оригинальная, не похожая на других... Я не люблю стриженых.

Девушка, уехавшая на Волгу, не была стриженая, но это замечание Урманова прозвучало для меня неприятно.

— Стриженые лучше щеголих,— возразил я.

Урманов все с тем же несколько задумчивым видом, глядя куда-то в сторону, ответил:

— Она не щеголиха и не нигилистка. Это модное платье... Это она для отца. Она — дочь старого генерала...

Это показалось мне почему-то неожиданным, но я тотчас же решил, что это так и должно быть...

— Генеральская дочка,— сказал я с иронией...— Оно и видно.

Урманов живо поднял голову.

— Нет, послушайте, Потапов. Вы ошибаетесь,— сказал он.—Она не просто генеральская дочка... Ее история — особенная... Только, пожалуйста, пусть это останется между нами. Я слышал все это от жены профессора N и не хотел бы, чтобы это распространилось среди студентов. Она действительно дочь Ферапонтьева... То

есть, собственно, он не Ферапонтьев, а Салманов... Но она — американка...

— Как же это? — удивился я.

— Да... Это, конечно, оригинально. Она совершенно разошлась с отцом в убеждениях, сошлась с одним господином, тоже отказавшимся от аристократических предрассудков, и оба они уехали в Америку. Он основал какую-то контору в Бостоне... Что-то такое... какие-то изобретения... Но дело, собственно, не в конторе самой по себе... У них какие-то общие цели, какая-то идея, для которой прежде всего нужны средства... Вообще, подробностей я не знаю... Сначала дела шли хорошо, потом вышли неудачи. Дело полетит к черту, если не удастся достать денег...

— У отца?

— Да. Только уж это совсем между нами... Собственно, деньги у нее есть... Свои собственные, по завещанию матери. Но завещание как-то там обусловлено по настоянию генерала: деньги дочь получит по его личному распоряжению, или в случае его смерти... или наконец... свинья этакая! — по вступлении в законный брак в России.

— Что ж? Почему ей не выйти здесь за этого американца?

— Нельзя,— ответил Урманов, задумчиво ломая мимоходом зеленую ветку.— Он уже женат. Давайте присядем. С делом еще поспеем.

Мы были в конце аллеи и уселись в тени на скамейке. В другом конце дорожки генерал с дочерью повернули обратно, и опять пятна света мелькали на серой тужурке генерала и на светлой дамской фигуре... Они тихо приближались к нашему концу.

Я несколько пожалел, что мы остановились на их дороге... Я знал, что мне опять придется выдержать испытующий взгляд молодой женщины и укорять себя в малодушном стыде из-за своих запыленных сапог и блузы. Мне показалось, что Урманов, наоборот, остановился нарочно, в надежде на эту новую встречу с «оригинальной американкой». Он переменил тему разговора: заговорил вдруг довольно оживленно о кассе, о том, что он уже не считает себя студентом, что поэтому счел нужным отказаться от ведения кассы, но что товарищеские дела его

все-таки интересуют. Я отвечал, но чувствовал при этом, что оба мы говорим не так, как говорили бы, если бы из зеленой мглы аллей не подвигалась эта пара: генерал и его дочь.

Расстояние, между тем, уменьшалось... И, по мере того, как оно уменьшалось, мною овладевало странное ощущение. Я, не глядя на идущих, чувствовал их приближение, чувствовал пятна света и зеленых теней, пестревшие на светло-сером платье... Скоро ли они пройдут мимо? Кажется, я уже слышу шуршание шагов... Она опять будет рассматривать меня через свою лорнетку? Какие у нее глаза?.. Холодные, светло-серые? Или совсем глубокие, темные?.. Урманов тоже беспокоится?.. Что он говорит? Во всяком случае он не думает о том, что говорит. Он думает о том, что она не заметила его поклона и... и следует ли ему опять поклониться или не следует...

Шаги зашуршали совсем близко. И вдруг, не подымая глаз, я увидел, что белое дамское платье и серая тужурка генерала поворачиваются к нам. Я подумал, что они хотят сесть, и смущенно подвинулся. Урманов приподнялся и сделал два-три шага навстречу. Генерал остановился, дама, оставив его руку, шла дальше, прямо к нашей скамье. Кивнув Урманову головой, она прошла мимо него. Значит... ко мне?

Я поднял глаза. Небольшая фигурка вынырнула вся в освещенном месте и опять ступила в тень... Теперь она была совсем близко, и я видел одно ее лицо, вернее, одни ее глаза. Под широкими полями шляпы колебались на шелковинках небольшие белые шарики, и из-за них глядели два совершенно темных женских глаза, живые и глубокие, устремленные прямо на меня. Я уже сказал, что был очень застенчив, и невольно потупился... Шелковое платье... лорнетка на шнурке... маленькая светлая туфля с высоким каблуком — все это остановилось совсем близко...

— Извините... господин студент,— послышал я ее голос и поднял глаза.

Моя застенчивость очевидно поставила ее в некоторое затруднение. На одно мгновение она казалась тоже смущенной, и это удивительно изменило ее лицо. Оно было мягче, женственнее и лучше... Но затем на нем

опять проступила самоуверенность. Глаза посветлели; на губах пробежала усмешка.

— Извините, что мне приходится вывести вас из вашей задумчивости...— сказала она с веселой иронической ноткой в голосе.—Мой отец очень интересуется знать.. Ваша фамилия не Федотов?

И она посмотрела мне прямо в лицо, ожидая ответа, который очевидно должен был интересовать только генерала, а не ее. Глаза ее были теперь совершенно серые, холодные, чуть-чуть насмешливые. И мне показалось, что в них я читаю фразу: «Какой ты еще зеленый».

— Нет,— ответил я на вопрос.— Моя фамилия Потапов. Но у меня есть дядя, брат моей матери... действительно... Федотов.

— Слышишь, папа? — обернулась она к отцу и, подойдя близко, крикнула ему в ухо:— У господина Потапова есть дядя Федотов...

Генерал сделал несколько шагов, и на лице его проступила та самая гримаса, которая показалась мне такой презрительной и неприятной. Но теперь она мне такой уже не казалась...

— Степан Ильич?.. Гусар? — спросил он быстро.

— Да, Степан Ильич Федотов и, кажется, гусар.

— Друг мой... Товарищ детства... Давно смотрю на вас... Весь в дядю... Позвольте пожать руку...

Я смущенно протянул руку, и генерал слабо пожал ее мягкой дряблой рукой...

— Это вот моя дочь... Валя,— это племянник моего лучшего друга...

Дама тоже протянула руку, и ее взгляд повернулся к Урманову, который стоял рядом немым свидетелем этой сцены... Он слегка наклонился, и его вежливая сдержанность показалась мне очень изящной и красивой.

— Я имел удовольствие встречать вас у...— начал он...

В глазах молодой женщины мелькнул легкий испуг, потом они стали холодны и строги... Она сказала негромко, быстро и с таким выражением, как будто просто знакомилась с случайно встреченным человеком...

— При отце не надо упоминать фамилии профессора N и особенно его жены; на этот раз папа не расслы-

шал. Не удивляйтесь, господа... У меня есть свои, очень уважительные причины...

— Я их знаю,— тихо сказал Урманов.

Лицо ее дрогнуло и побледнело. Она кинула быстрый взгляд снизу вверх, немного испуганный, спрашивающий, просящий. Он мелькнул, как темная зарница, и лицо ее при этом опять совершенно изменилось. В нем не было ни холодности, ни самоуверенности, и глаза были не светло-серые, а глубокие и темные.

Затем она быстро повернулась к отцу.

— Папа! Я тоже встретила неожиданно брата моей близкой подруги... Позволь представить тебе... Это м-сье...

Она быстро, вопросительно и нетерпеливо взглянула на Урманова и повторила за ним:

— М-сье Урманов... Урманов, папа... Я от твоего имени приглашаю господина Потапова и господина Урманова к нам.

— Да, да, да...— сказал генерал быстро.—Конечно, молодой человек, навестите старика... Как же, как же... Федотов... Однокашники...

— Папа! И господина Урманова ты ведь приглашаешь тоже?

— Да-да... И вы тоже... господин Урманов?.. Урманова у нас не было... Был Гурьянов... Но, конечно... да, да... Приходите и вы вместе с Федотовым...

— Потаповым, папа...

— Что? А? Он Потапов?.. Да, да! Федотов — это его дядя. И он весь в дядю... А Потапов?.. Постойте. Да ведь я знаю и Потапова. У него была дочка красавица... Что?.. Как?.. Это твоя мать?.. Ах, милый мой мальчик... Ну, постой. Я тебя поцелую... Дай посмотреть... Молодец! Хоть в гвардию... Жаль, что не пошел по военной... Ну, ничего!

Он снисходительно потрепал меня по плечу и, видимо, был не прочь предаться дальнейшим воспоминаниям... Но дочь твердо прекратила его излияния. Она взяла отца под руку и сказала громко:

— Итак, господа, отец будет ждать вас запросто, в восемь часов вечера, в четверг... Дача такая-то... Это на шоссе. Слышишь, папа, эти господа будут у нас вечером в четверг.

И, кивнув нам головой, она повела старика вдоль аллеи по направлению к академии...

VI

Мы с Урмановым свернули по дорожке над прудом, направляясь по плотине. Урманов некоторое время шел молча, улыбаясь про себя. Он то брал меня под руку, то кидал ее. Вдруг, остановившись на дорожке, он спросил:

— Ну, что скажете теперь, Потапов? Какова американка? И теперь она вам не нравится?

Мои впечатления были довольно сильны, но не вполне определенны, и я ответил искренно:

— Не знаю... Я как-то не понимаю ее.

Он громко засмеялся.

— Молоды вы еще, Потапов, оттого и не понимаете. Уди-ви-тельная, прямо удивительная женщина. Как она ведет свою линию! Замечательно! Умна, как бесенок, тверда, как Наполеон... Хороша, как... Заметили вы ее взгляд?

— Холодный и... властный...

— Нет... Впрочем, да! Один холодный и властный. Это правда. А другой? Глубокий, женственный, просящий. Черт возьми! Понимаете ли вы, Потапов, что за такой взгляд можно отдать жизнь... Или вы и этого еще не понимаете?.. Ха-ха-ха...

Я был очень молод и во многих отношениях чувствовал себя еще почти мальчиком. Мне было лестно, что у меня с Урмановым идет такой разговор, но вместе с тем у меня были «твердые взгляды»... И я ответил:

— Есть много задач, которым можно посвятить жизнь гораздо более производительно...

— Да, да, конечно, конечно... — ответил Урманов рассеянно и затем прибавил: — И что это, черт возьми, за американец такой, хотел бы я знать.

Через полчаса, покончив несложное дело с студенческой кассой, я опять возвращался парком. Я был необыкновенно доволен своим настоящим вообще и нынешним днем в частности. Все было интересно и прекрасно. Так еще недавно я был школьник в захолустном городе. Иногда мне казалось, что я совсем взрослый, что я стал

взрослым еще в гимназии, когда стал читать умные книги и «вырабатывать убеждения». В другие минуты, наоборот, я все еще чувствовал себя мальчиком. Это были как бы рецидивы детства, и они меня очень огорчали. Сегодня я был решительно взрослый, серьезный молодой человек. Со мной познакомилась «американка». Я знаю ее интересную тайну, которая касается «фиктивного брака». Урманов говорил со мной почти как с сверстником... Открыл передо мной уголок своей души... Правда, воспоминание о той минуте, когда ко мне подошла «американка», не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Я вел себя, как самый зеленый гимназист... Мне надо было подняться навстречу неторопливо и свободно, с той изящной сдержанностью, как Урманов... На вопрос ответить так-то... Генералу теперь я бы сказал...

Одним словом, я прошел всю аллею и вел в воображении интереснейший разговор, как вдруг уже у самой академии услышал нервный стук шагов по камню и над балюстрадой, отделявшей академическую площадку от парка, увидел голову американки. После прогулок с отцом, которые имели характер каких-то парадных выходов, она по временам выходила одна, чтобы подышать на свободе. Она вышла из-за балюстрады и стала спускаться по широкой каменной лестнице. Молодая женщина была одета просто, в темное платье, и ее каблуки твердо и быстро стучали по камню...

Все мои умные разговоры сразу вспорхнули, как стая испуганных воробьев, и я опять почувствовал себя совершенно беспомощным, если бы она захотела подойти ко мне. Поэтому я свернул в сторону и сел на скамейку под нависшими ветвями. Она меня не заметила и, обойдя клумбу другой стороной, тоже села на скамью. Вынув из красивой сумочки письмо в очень большом конверте, она нетерпеливо разорвала его и стала читать при наступающем легком сумраке.

Дочитав, она нервно смяла конверт и спрятала в сумочку. Некоторое время она смотрела прямо перед собой, и брови ее были сжаты. Лицо казалось мне сухим, энергичным и опечаленным. Вдруг, резко поднявшись, она пошла по главной аллее... Через минуту, поднявшись в свою очередь, я увидел ее уже далеко... Мне инстинктивно захотелось пойти за ней... Это было невольное уча-

стие и любопытство. Но я, конечно, не пошел... Долго вечером в моем воображении стояла одинокая фигура опечаленной американки в темнеющих аллеях. «Должно быть, дурные вести из Америки»,— подумал я...

Через два дня, заглянув в вестибюль академии, где обыкновенно выставлялись письма, получаемые на имя студентов, я увидел небольшой конверт с моим адресом. В нем было написанное твердым круглым почерком приглашение:

«Генерал Григорий Николаевич Салманов, свидетельствуя свое почтение Гавриилу Петровичу Потапову, напоминает об его обещании посетить его в четверг такого-то числа, дача такая-то. Валентина С.». И внизу более торопливым почерком было прибавлено: «Ждем запросто к чаю. Валентина Салманова».

Я взглянул на витрину. Точь-в-точь такой же конверт был адресован Урманову.

С помощью Тита, который отнесся с несколько ироническим интересом к моему новому знакомству, мне удалось придать себе довольно приличный вид, и ровно в восемь часов я встретился с Урмановым у генеральской калитки. Тит, последовавший за мной на некотором расстоянии, прошел мимо и скроил уморительную гримасу, отчего мне стало неловко и смешно. Я готов был ретироваться, но было поздно: камердинер с военной выправкой уже почтительно открыл дверь, и мы вошли...

Когда я вернулся в двенадцатом часу в наш общий номер, Тит опять прыснул и стал расспрашивать: «Ну, что? Как сошел парадный визит? Как генерал? Чем угощали? О чем говорили?.. Отчего у тебя кислый вид?..» Я должен был признаться, что вечер прошел для меня довольно скучно. Старый генерал был приветлив, даже слишком. Он завладел мною целиком, много расспрашивал о дяде и отце, рассказывал военные анекдоты и в заключение усадил играть в шахматы.

— Пойдешь еще? — спросил Тит, смеясь.

— Старик взял с меня слово,— ответил я с кислым видом, снимая с себя парадный черный сюртук Тита.

Тит посмотрел на меня и видимо хотел что-то сказать. Я был очень дружен с Титом, и до сих пор у меня не было с ним никаких тайн. Но теперь мне пришлось бы умолчать о том, что Урманов весь вечер про-

вел с «американкой», что, кроме нас, был какой-то еще молодой человек аристократической наружности, друг детства Валентины Григорьевны, и что, пока я играл с генералом в шахматы, они втроем вели в другой комнате какой-то очень оживленный конспиративный разговор. Генерал был глуховат... Мне казалось, что я в этот вечер играл роль ширмы, не очень лестную для моего самолюбия.

Вообще разговаривать с Титом мне в этот раз не хотелось...

VII

Через несколько дней, после нескольких еще более или менее случайных встреч в парке, вышло как-то так, что я стал на генеральской даче почти своим человеком. Старик приглашал так радушно и настойчиво, что было неловко отказываться. При этом Валентина Григорьевна смотрела на меня своими «темными» просящими глазами, и я готов был согласиться с Урмановым, что против этого ее взгляда устоять довольно трудно. Впрочем, я в сущности ничего не имел против того, чтобы слегка участвовать, хотя бы и косвенно, в «американских делах» и устройстве «фиктивного брака»... Со мной приходил и Урманов.

Свободного времени у меня было много. Лекции еще не начинались. Физическая усталость от летних практических работ прошла, и я не знал порой, куда мне деваться от этой прекрасной осени, от своего досуга и от того смутного, приятного и вместе томительного ощущения, которое искало формы, тревожило и гнало куда-то, к неведомым опытам и приключениям.

В таком настроении целыми часами я бродил по закоулкам парка, вглядываясь в затянутые легкой дымкой чащи, просиживал с книгой у грота Иванова, стараясь разгадать мрачную драму нечаевского дела, или шел к железной дороге встречать перед вечером пассажирский поезд...

К платформе вела аллейка, прямая, как стрела, обсаженная в два ряда лиственницами, окаймлявшими боковые дорожки. Издали вся дорога казалась сплошным зеленым валом. Стоило пройти по ней несколько сажений, и тотчас же зелень скрывала академию, казенные

здания, ферму. Спереди и сзади виднелся только зеленый коридор, усыпанный щебнем и начинавшею опадать лиственничной хвоей. Лучи солнца играли переливами на щебне, на зелени, на стволах. Мягко и сочно шелестели мохнатые ветки, сильно уже тронутые, точно золотом, краснотой осени. Здесь я чувствовал себя совершенно уединенным и охотно давал волю смутным ощущениям, которые распускались в душе без помехи. Все, о чем так хорошо думалось и мечталось в другие минуты, тут, казалось, сливается в один стройный хор ощущений... молодость, ожидание, сила!.. А лучи сквозят и шевелятся и вблизи, и вдали, по аллее, так бесшумно, точно это тоже мечта. И чудится, будто что-то или кто-то мелькает в далекой перспективе, среди этой подвижной светотени...

Подойдя однажды к платформе, я увидел на ней Урманова. Он стоял на краю и смотрел по направлению к Москве. Полотно дороги лежало между откосами насыпи, пустынное, с двумя парами рельсов и линией телеграфных столбов. Взгляд убегал далеко вперед, за этими суживающимися полосками, которые терялись вдали, и над ними вился тот дымок или туман, по которому узнается присутствие невидного большого и шумного города.

— Что, виден поезд? — спросил у меня Урманов.— У вас глаза хорошие.

— Нет, не видать.

— А что это там... как будто?..

Эта узкая даль с дымкой на горизонте обманчива: если в нее вглядываться с ожиданием, она начинает шевелиться, и из нее развертываются какие-то очертания, пятна, предметы. Но я никого не ждал и потому ответил равнодушно:

— Это дым и туманы Москвы. А вы, видно, ждете кого-нибудь...

— Нет, я так... То есть, собственно говоря... Да, жду.

Он неловко замялся и заговорил о другом.

Разговор у нас не клеился. Урманов нетерпеливо шагал по платформе и то и дело взглядывал на дорогу. Наконец поезд появился темной точкой в колеблющейся дымке; точка эта исчезла, опять возникла и стала расти. Когда поезд был близко, сбоку появилась рука кондуктора с флагом, которым он махал машинисту. Значит,

предстояла остановка у платформы... Надвинулся локомотив, стуча и громыхая, прошел тендер, багажный вагон, еще два-три вагона. Потом вся эта громада, завладевшая тихою за минуту дорогою, остановилась, качнулась назад, заскрежетала, и из нее легко выпрыгнула Валентина Григорьевна Салманова. В течение нескольких дней ее не было видно; генерал гулял по парку в сопровождении лакея с военной выправкой.

Она остановилась и посмотрела на нас обоих.

Потом быстро подошла ко мне, протягивая руку... Глаза ее были совсем темные.

— Так значит,— начала она...— Господин Урманов уже сказал вам?..

Но в это время Урманов торопливо подошел к нам... Мне показалось, что он несколько смущен.

— Нет, я еще ничего не говорил Потапову... В этом не было надобности, так как... Есть некоторые неудобства, которые...

Она посмотрела на него задумчиво и сказала серьезно и несколько холодно:

— Но вы знаете... есть неудобства и с другой стороны... Вы это обдумали?

— Да,— ответил Урманов и затем прибавил как-то значительно: — Да, Валентина Григорьевна, я все решительно обдумал.

«Все решительно» он сказал с натиском.

Мне показалось, что в голосе его слышится странное волнение. Молодая женщина кинула на него быстрый взгляд, брови ее сдвинулись, и несколько секунд она обдумывала что-то, чертя концом зонтика по платформе... Потом она подняла голову, посмотрела мне прямо в лицо и сказала:

— Послушайте, Потапов... Господин Урманов должен был переговорить с вами... Он обещал мне это, но... не исполнил обещания. Поэтому я должна теперь говорить с вами без приготовлений... Вы знаете, что такое фиктивный брак? Знаете? Хорошо. У меня мало времени... Пойдем дальше. Вам уже исполнился двадцать один год? Нет? Это досадно, ну... Это можно уладить... Жениться вы, наверное, еще не собираетесь? Не думаете совсем? Ну, за это поручиться нельзя, но во всяком случае едва ли раньше, скажем... пяти лет. Так?.. Не пра-

вда ли?.. Теперь, самое существенное. Слушайте, очень важные причины заставляют меня прибегнуть к фиктивному браку... Мне нельзя ждать и двух недель, может быть, нельзя даже и этого.

По лицу ее прошла гримаса нетерпения и боли, но она тотчас же подавила ее и посмотрела на меня снизу вверх с улыбкой. Глаза ее мерцали темными огоньками...

— Что, если бы... Если бы вы согласились в эту неделю влюбиться в меня, а на следующей неделе попросили у генерала моей руки?.. Постойте... Он почти наверное согласится. Он только и говорит о том, как вы напоминаете его друга... И... и... одним словом,— вы его слабость...

Она говорила быстро, сдерживая волнение, и потом опять посмотрела на меня тем темным мерцающим взглядом, который я заметил еще в первую нашу встречу в парке.

Только там это была беспредметная боязнь, беспомощность, искание опоры, ни к кому не обращенная просьба... Теперь этим взглядом она смотрела прямо на меня...

Это было так неожиданно, что я совершенно смутился. Я должен жениться?.. Сейчас?.. Через две недели?.. Что скажут родители?.. Придется, конечно, без спросу... Потом я объясню матери... Отец, может быть, будет даже рад, но... но ведь это только фиктивно... Придется объяснять и это... Не поймет... рассердится... Ну... я не мальчик и имею право располагать собой... Осенью приедет девушка с Волги... Узнает новость... «Потапов женился»... Ей тоже можно будет объяснить... Ну, да, конечно...

Все это вихрем пронеслось в моей голове, и мне кажется, я готов был согласиться, но... пока я молчал,— вероятно, у меня был очень смешной и жалкий вид. Ее глаза, смотревшие с жгучим ожиданием, вдруг изменили свое выражение, и Валентина Григорьевна засмеялась... Смех был веселый, громкий и беззаботный.

— Бедный Потапов... Как он испугался,— сказала она как-то особенно ласково...— Не бойтесь, не бойтесь,— мы вас не женим так вдруг... и без вашего желания... Я только хочу сказать вам...

Лицо ее опять стало серьезно и холодно...

— Что жертва, которую я хотела просить у вас...



«В ПУСТЫННЫХ МЕСТАХ»



«С ДВУХ СТОРОН»

Конечно, она велика, но не так, как кажется с первого взгляда. По нашим законам, продолжительная безвестная отлучка одного из супругов снимает с другого всякие обязательства. А я месяца через два уеду в Америку, и там у меня другая фамилия. Ну, да это дело конченное...

Она повернулась к Урманову и взяла его под руку.

— Простите,— сказала она мягко,— вы совершенно правы... Это нельзя... Значит?..

Она вздохнула и несколько секунд опять, сдвинув брови, чертила что-то концом зонтика. Мы все трое стояли эти несколько секунд неподвижно на пустой темнеющей платформе. Потом она подняла голову и сказала:

— Мне остается только одно... Вам, Урманов, известно все?.. Все предусмотрено?.. Вы все взвесили?.. Вы не мальчик, а мужчина... Итак?..

— Да,— сказал Урманов кратко. И они двинулись по тропинке.

Может быть, это опять предчувствие задним числом... Может быть, мне просто хотелось разыграть самому интересную роль участника в фиктивном браке, только что-то будто толкнуло меня, и я сказал:

— Валентина Григорьевна... Все это так неожиданно... застигло меня врасплох... Теперь я обдумал и согласен.

Она оглянулась на меня и ласково кивнула головой:

— Я знаю, знаю... Но... это дело конченное... Пожалуйста... приходите к нам почаще. Это мне важно.

И они быстро поднялись на холмик и вошли в лиственничную аллейку. Урманов шел радостный, прямой и стройный. Она почти повисла у него на руке, маленькая, живая и гибкая, как змейка...

Я еще некоторое время оставался на платформе. Спускались сумерки. По линии, в направлении к Москве, виднелись огоньки. Целое созвездие огоньков мерцало неопределенно и смутно. Один передвигался — это шел товарный поезд. Беременная сторожиха выползла из будки. Больной ребенок был у нее на одной руке, сигнальный фонарь в другой... Заговорили рельсы, тихо, тонко, чуть слышно, как будто что-то переливалось под землей. Потом это перешло в клокотание, и через две минуты тяжелый поезд прогромыхал мимо платформы.

Баба ушла в будку. Тусклым светляком приполз сторож, возвращавшийся с линии. Он поставил фонарик на скамейку огнем к стенке и тоже скрылся в избушке. Огонь погас. На линии все стихло. Только огоньки по направлению к Москве тихо мерцали, смешиваясь и переливаясь.

На душе у меня были такие же синие сумерки, пронизанные живыми огоньками.

VIII

Я исполнил просьбу Валентины Григорьевны и вскоре пришел к генералу. По обыкновению, мы сели за шахматы, но генерал играл довольно рассеянно. На веранду из сада поднялись Урманов и Валентина Григорьевна и прошли через столовую во внутренние комнаты. Оттуда послышались звуки рояля... Генерал собрался сделать ход, поднял одну фигуру и задержал ее в воздухе. При этом он пытливо посмотрел на меня и сказал:

— Вот что... того... Вы сын моего друга... почти родственник... Скажите... вы товарищ этого... господина Урманова?

— Он уже почти кончил курс,— ответил я,— а я только перешел на второй...

— Да, да... конечно... Ну, все же вы знаете... Что он?.. Кажется, человек того... порядочный... На хорошей дороге... что?

— Его оставят при академии...

— Это что же значит?

— Он готовится к профессуре.

Генерал одобрительно мотнул головой. Звуки рояля стихли. Валентина Григорьевна заглянула в комнату и сказала:

— Папа, чай на столе...

— Хорошо, мы сейчас кончим.

Он спустил фигуру, которую держал в руке, и сказал:

— Шах королю...

— Я возьму королеву...

Генерал вдруг пришел в раздражение.

— А, черт... Я сдаюсь... Я сегодня не могу совсем играть... Не до игры... Так вы говорите?.. того... Мне

ведь не с кем посоветоваться... жена умерла... Если бы у меня был сын, тогда того... было бы просто: определил в полк, и кончено. А тут... дочь... Родных никого... Ну, что толковать! Пойдем пить чай...

Он поднялся все с тем же брюзгливым видом, и мы перешли в столовую. Валентина Григорьевна сидела за самоваром, Урманов около нее. Войдя в комнату, генерал остановился, как будто собрался сказать что-то... даже лицо его настроилось на торжественный лад, но затем он нахмурился, сел к столу и сказал:

— Ну, я того... согласен...

Всем стало вдруг отчего-то неловко... Урманов поднялся с места и поклонился генералу.

— Поверьте, Григорий Николаевич,— сказал он,— что я высоко ценю честь, которую...

Генерал, по-видимому, готов был выслушать со вниманием то, что он хотел сказать, но Валентина Григорьевна протянула полный стакан и сказала Урманову:

— Передайте, пожалуйста, отцу...

И потом прибавила:

— Спасибо, папа... Ты знаешь, я не люблю формальностей и чувствительностей.

Генерал рассердился... Ложечка в его руке задребезжала о края стакана.

— У нас все не по-людски... Того... сегодня я позвал Федотовых... Надо объявить... Не окруткой, того... выдаю дочь... Не круг ракитова куста... Прохор... приготовить шампанского...

Генерал сердился и был печален.

— Хорошо, папа, хорошо,— сказала Валентина Григорьевна...— Если хочешь, объявим...

Вскоре приехали Федотовы из Москвы и с ними какой-то приличный молодой человек с пробором посередине головы, троюродный племянник генерала.

Генерал торжественно с бокалом в руке объявил о помолвке. Все поздравляли... Валентина Григорьевна принимала поздравления очень спокойно.

Приличный молодой человек поцеловал у нее руку и сказал что-то тихо, с почтительным и отчасти шутливым видом. По-видимому, он знал все. Урманов покраснел и насупился...

Весть о помолвке Урманова быстро распространилась

в академической среде. Однажды Тит, который быстро узнавал все новости, спросил меня:

— Слушай, Потапыч, правда, что Урманов женится фиктивным браком?

Я замялся.

— Пустяки,— ответил я с неудовольствием.—И притом эта болтовня может повредить людям.

— Рассказывай,— упрямо сказал Тит...— У нее муж в Америке...

Однако, если слухи и были, то неопределенные и смутные. Урманов держал себя настоящим женихом, и теперь генерал ходил по парку втроем. А когда он уходил домой, то «жених с невестой» выходили еще, и их фигуры до поздних сумерек мелькали по аллеям и глухим тропинкам парка.

IX

Венчание происходило в нашей церкви. Народу было немного. Несколько академических дам, жен профессоров и служащих, несколько баб, кучка студентов в высоких сапогах и блузах и затем свидетели со стороны жениха и невесты. Шаферами со стороны Урманова были два студента старших курсов, со стороны невесты — высокий приличный кузен, во фраке. Он приехал в сопровождении двух молодых девушек, подружек невесты. Это были видимо люди ее прежнего круга, и приглашение их было уступкой генералу. Они держались с приличной степенью радушья, и во взглядах, какие порой молодые девушки кидали на жениха и шаферов, сквозило любопытство. Вторым шафером невесты был я, но мне не пришлось играть никакой роли. Приличный молодой человек держал венец, а я стоял с Титом поодаль...

Венчал академический священник, профессор богословия, человек умный и красноречивый. На своих лекциях он любил упоминать Конта и Дарвина, и его проповеди славились в Москве. Человек опытный и тактичный, он чувствовал, что не нужно излишней торжественности, и служил кратко. Обращаясь к жениху и невесте с несколькими словами, он все же сказал их с некоторой теплотой и в меру эффектно. В одном месте голос его даже слегка дрогнул (мы знали эту ноту по

патетическим заключениям лекций). Урманов показался мне при этом взволнованным. Лицо Валентины Григорьевны было спокойно и холодно. Когда их водили вокруг аналоя, один из шаферов, студент, наступил ей на шлейф. Она слегка повернулась и стала ждать. Но тот не заметил.

— Вы мне оборвете платье,— сказала она, спокойно улыбаясь.

Когда все кончилось и мы выходили из церкви, я услышал фразу, тихо произнесенную одним из студентов товарищу:

— Бедняга Урманов по уши влюблен в свою жену...

— Почему же бедняга? — спросил другой.— Дай бог всякому.

— Но... если это... фикция?..

— Ну, это пустое.

И уже на паперти студент наклонился к товарищу и докончил:

— Случилось мне невзначай натолкнуться на них в парке... Нет, батюшка, едва ли это фикция... А если и начиналось фикцией, то, кажется, у Урманова есть большие шансы.

После венчания в генеральской квартире приличный кузен сказал несколько слов, которые очень понравились генералу. Это было умно, и в словах слышался тонкий намек дружеской иронии, понятной только посвященным. Когда Валентина Григорьевна вышла, переодетая, из своей комнаты, он подошел к ней с бокалом и опять сказал ей тихонько что-то шутливо интимное. Валентина Григорьевна так же шутливо ударила его лорнеткой по руке... Урманов, разговаривавший в это время с товарищем, смотрел искоса и слегка тревожно в их сторону

Через полчаса молодые попрощались и уехали на несколько дней в «свадебную поездку». После них уехали и московские гости. Проводив их, генерал несколько минут еще стоял у калитки. За ним вытянулся старый слуга с военной выправкой, бывший много лет его денщиком.

— Ну, вот, брат,— сказал генерал...— И того... И окрутили.

Старик еще более выпрямился и ответил:

— Так точно, ваше превосходительство!

— Д-да! В наше, брат, время,— продолжал генерал, обращаясь сразу к старику и ко мне,— все это делалось по-иному... Что?.. А?.. После церкви — на колени перед родителями... Потом — дым коромыслом... Поздравления, звон бокалов... Молодежь... веселье.

Он замолчал, как бы вглядываясь во что-то далекое, и затем, вздохнув, прибавил:

— Что поделаешь, брат... Мир, того. . год от году меняется...

И старый слуга, держа руки по швам, ответил:

— Так точно, ваше превосходительство...

Этот краткий диалог показался мне довольно комичным. Я был неспособен в то время понять трагедию «старого мира». «Новый мир» поглощал все мое внимание.

Урмановы вернулись в конце недели, и опять их можно было видеть в парке то с генералом, то одних. Урманов имел вид необыкновенно счастливый, и все аллеи и уголки парка были, казалось, переполнены мельканием его счастья.

— Так и кажется,— шутил один из товарищей Урманова,— что в парке осенью вдруг защелкали соловьи.

Урмановы поселились на отдельной дачке в лесу...

Однажды мне случилось ехать в Москву в академической линейке-омнибусе. Я был один, но на дороге линейка вдруг остановилась. На шоссе по тропинке от лесных дач вышли Урмановы. Она радушно поздоровалась со мной и осталась стоять у дороги, а Урманов сел в линейку. И пока старое сооружение двигалось по шоссе, Валентина Григорьевна стояла белым пятном у леса и махала зонтиком. Урманов радостно отвечал. Когда дорожка скрылась за поворотом,— он озабоченно пошарил в кармане и вынул большой пакет, заадресованный круглым почерком Валентины Григорьевны. Глаза у меня были хорошие, и я невольно прочел на адресе: «Америка». Урманов спрятал его и достал другой поменьше. Лицо его стало озабоченно. На этом конверте тоже стояло слово «Америка», но почерк был Урманова...

«Цель фиктивного брака достигнута»,— подумал я.

Радость Урманова казалась мне великодушной и прекрасной... В тот же день под вечер я догнал их обоих в лиственничной аллее, вернувшись из Москвы по желез-

ной дороге. Они шли под руку. Он говорил ей что-то, наклоняясь, а она слушала с радостным и озаренным лицом. Она взглянула на меня приветливо, но не удерживала, когда я, раскланявшись, обогнал их. Мне показалось, что я прошел через какое-то светлое облако, и долго еще чувствовал легкое волнение от чужого, не совсем понятного мне счастья.

Вечером я долго разговаривал с Титом, но этого мне показалось мало. Я сел за письмо к товарищу, жившему в Киевской губернии. Так как он не знал никого из действующих лиц, то я свободно рассказал всю историю, как она мне представлялась. А рисовалась она мне вся в светлом облаке. Урманов — замечательный человек, американка — необыкновенная женщина. Он влюблен в нее,— это несомненно. От этого фиктивный брак казался мне еще интереснее. Вообще все мне казалось красиво, интересно, возвышенно и превосходно. Даже старый генерал... Я почти любил его за то, что он доставил в этой картине необходимую черту: старого деспота, без которого картина была бы неполна...

Кончив письмо, я еще долго стоял у окна, глядя в безлунную звездную ночь... По полотну бежал поезд, но ночной ветер относил звуки в другую сторону, и шума было не слышно. Только туманный отсвет от локомотива передвигался, то теряясь за насыпями, то выплывая фосфорическим пятном и по временам освещаясь огнями...

Ночной холод проник в наш номер и разбудил Тита. Он сердито поднялся на постели и сказал:

— Запри окно! Что ты, с ума сошел, что ли?..

Я запер окно, но, подойдя к Титу, сказал:

— Тит, несчастный! Ты боишься простудиться в такую ночь...

— Поди, поцелуй бабушку сторожа Кузьмича, если ты в таком восторге...— отвечал Тит.— А мне не мешай спать...

И оба мы захохотали...

X

Время шло. Студенты съезжались с каникул, дачи пустели, публика поредела. Генерал захворал и не показывался в парке. Я заходил к нему, но он не принимал.

Урмановы вели довольно общительный образ жизни, принимали у себя студентов, катались в лодке, по вечерам на прудах долго раздавалось пение. Она очень радушно играла роль хозяйки, и казалось, что инициатива этой общительности исходила от нее. Она звала меня, но я немного стеснялся. Их общество составляли «старые студенты»; я чувствовал себя несколько чужим и на время почти потерял их из виду...

Однажды под вечер я опять увидел их в парке на пристани у пруда. Валентина Григорьевна стояла, Урманов сидел на скамье. По-видимому, она приглашала его идти, он упрямился. Вид его показался мне странным: шляпа сдвинулась несколько на затылок, голова была закинута, на лице виднелось несвойственное ему выражение, делавшее его неприятным. Такое выражение я видел прежде один только раз, во время жаркого спора на сходке. Спорил с Урмановым человек несимпатичный, но умный и замечательно выдержанный. Урманов разгорячился. Видно было, что он переносит свою вражду к человеку на его аргументы. На этот раз противник был прав, и ему было легко опровергать доводы Урманова. Но, вместе с тем, было заметно, что он задевал в Урманове самолюбие, и это доставляло ему удовольствие. Несколько колкостей еще более раздражили Урманова. Казалось, в нем проснулся какой-то мелкий и злобный бесенок, дремавший в глубине симпатичной и пылкой натуры. Он не мог остановиться, отрицал очевидности, сознавал, что неправ, что все это сознают также, и от этого горячился еще больше. Аудитория, обыкновенно увлекавшаяся его пылом, теперь была против него, по ней то и дело перекатывался иронический смех, а в Урманове все больше освобождалось что-то злое, доводившее его до бессилия.

Несколько дней после этого он стыдился своей вспышки и казался подавленным. Теперь на его лице было то же выражение. Когда я приблизился, он смолк и посмотрел на меня в упор, но как будто не узнал и только выжидал, скоро ли я пройду мимо.

Мне стало неловко, и я ускорил шаги, слегка поклонившись. Урманов продолжал сидеть с руками в карманах. Валентина Григорьевна сдвинула брови, посмотрела на него внимательно и повернулась ко мне.

— Здравствуйте, Потапов,— сказала она, подавая мне руку...— Куда вы это?

— Так, никуда определенно...

— Ну, так проводите меня... И, может, зайдем к моему старику... Василий Парменович, вы пойдете?

Она спросила вполоборота, но ждала ответа внимательно.

— Нет, я останусь.

Она пошла вперед, и опять ее каблуки твердо и чеканно застучали по камням пристани.

Через день или два я шел с удочками на пруд. На пруде был небольшой островок и на нем две скамеечки для рыбной ловли. Пробираться туда надо было узкой тропочкой, кое-где через кочки. Поэтому ходили туда только рыболовы. Публика заходила редко.

Я уже подошел к тропинке и хотел свернуть на остров, как по дорожке появились Урмановы. Они горячо говорили о чем-то, и оба были взволнованы. Увидев меня, она как будто обрадовалась.

— Потапов, Потапов, постойте...

Я остановился.

— Куда вы это? С удочками? Возьмите нас... Где это?.. Здесь?.. И у вас две удочки? Вот как хорошо!.. Пойдем.

Мне показалось, что она с легким усилием выдернула свою руку из-под руки Урманова и пошла со мной по тропинке, ловко перепрыгивая с кочки на кочку. Подобрав юбки, она ловко и твердо прошла по дощечке, уселась на скамейку, размотала удочку и быстро закинула лёсу.

— Постойте, Валентина Григорьевна... Надо червяка...

Она протянула мне свою удочку. Я надел червяка и тоже закинул удочку.

Потянулись минуты. Пруд стоял гладкий, уже в тени. По временам что-то тихо всхлипывало между татарником... Бегали большие плавуны. Я следил не особенно внимательно, сознавая, что все это вышло как-то нарочито и искусственно. За своей спиной я чувствовал Урманова. И мне казалось, что он большой и темный.

— Берите, берите... Вы зеваете... У вас клюнула,— сказала вдруг тихо Валентина Григорьевна...— Ах, какой вы неловкий...

Казалось, она действительно увлечена ловлей. Я подсек слишком резко. Большая рыба мелькнула над водой, но сорвалась с крючка и упала обратно.

— Какая досада... вы плохой рыбак,— говорила она тихо и твердо.— Вот смотрите, как надо!..

Она тоже выдернула удочку, и небольшой карасик, описав в воздухе дугу, упал на берег.

— Снимите, пожалуйста,— сказала она Урманову.

— Скоро это кончится? — послышал я голос сзади...

— Вы снимете?

— Снял. Что с ним делать?

— Бросьте в воду...

Она опять закинула, и опять потянулось время. Мне был виден конец ее удочки, отражение в пруде и поплавок, окруженный кольцом точно расплавленного серебра на фоне темной глубины. Мой поплавок вздрагивал, колебался, исчезал из глаз, опять появлялся и опять уплывал куда-то далеко. Я испытывал странное напряженное состояние и сознавал, что оно происходит оттого, что рядом со мной сидит Валентина Григорьевна, а на берегу, у меня за спиной — Урманов. И что это между ними стоит то тяжелое и напряженное, что передается мне.

— Скоро это кончится? — спросил опять Урманов угрюмо и жестко.

— Не знаю,— ответила холодно Валентина Григорьевна...— Когда вы захотите...

— Я хочу... сейчас...

— Нет, вы сейчас еще не хотите,— ответила молодая женщина твердо.— Когда захотите, вы мне скажете.

— Странно,— пробормотал Урманов...

Опять шли минуты... Солнце совсем село, потянуло сыростью и прохладой, спускались сумерки...

— Валентина Григорьевна!..— Голос Урманова звучал мягкою печалью... Валентина Григорьевна прислушалась.

— Становится темно,— произнес я довольно жалобным тоном.

— Да? — переспросила Валентина Григорьевна.— Вам, бедненькому, надоело? Ну,— она вздохнула,— хорошо, пойдем!

Когда мы вышли из кустов на дорожку, она сказала:

— Дайте вашу руку. Не так. Вот как надо.

Над прудом кое-где стлался туман, и, когда мы вышли на большую дорожку, я удивился, как это еще за минуту мы могли видеть поплавки... Теперь у рыболовных скамеек было совсем темно. Какая-то водяная птица кричала на островке, где мы сидели за минуту, как будто спрашивая о чем-то из тьмы. Молодой серп луны поднимался, не светя, над лугами за плотиной.

Я чуть ли не в первый раз шел под руку с дамой. Сначала мне было неловко, и я не мог приноровить свою походку; но она шутливо и твердо помогла мне и, идя по аллее, я чувствовал себя уже гораздо свободнее. Наши шаги звучали согласно, отдаваясь под темным сводом лип. Она плотно прижалась к моему плечу, как будто ища защиты. Я чувствовал теплоту ее руки, прикосновение ее плеча, слышал ее дыхание.

В темной аллее ее лица совсем не было видно... Я вспоминал свое первое впечатление: холодный взгляд, повелительный и пытливый, выражение лица неприятное, властное и сухое... Потом мелькнуло другое выражение: женственное и трогательное, потом все спуталось в общем безличном обаянии женской близости,— близости любви и драмы... Я уже не различал, моя это драма или чужая... Мне начало казаться, что со мной идет другая, та, что на Волге...

Воображение стало работать быстро. *Ей* тоже понадобился фиктивный брак... С какой радостью стою я с ней перед аналоем... Теперь это она идет об руку со мною... Это у нас с ней была какая-то бурная сцена три дня назад на пристани. Теперь я овладел собой. Я говорю ей, что более она не услышит от меня ни одного слова, не увидит ни одного взгляда, который выдаст мои чувства. Я заставлю замолчать мое сердце, хотя бы оно разорвалось от боли... Она прижмется ко мне вот так... Она ценит мое великодушие... Голос ее дрожит и...

— Что вы молчите все? — сказала вдруг Валентина Григорьевна.— Здесь так темно и жутко. Потапов!.. Рас-

скажите мне что-нибудь о себе... У вас есть мать?.. Кто этот долговязый молодой человек, с которым вы часто гуляете? Как его зовут? Тит? Смешное имя. Он ваш приятель?.. хороший? Даже очень?.. Да у вас должно быть все хорошие? Весь мир... Он вас, кажется, зовет Потапычем? Потапыч! Мне это нравится. И вы мне нравитесь. И мне хочется знать о вас все... Вы мне расскажете? Да?.. Ах, милый Потапыч,— сказала она вдруг с шутливой ноткой в голосе, прижимаясь ко мне.— Зачем вы не захотели тогда жениться на мне... Вы были бы такой славный и наверное такой удобный муж.

И в аллее рассыпался ее звонкий смех...

— Ну, что же вы все-таки молчите? — сказала она опять через минуту и затормошила мою руку.— Отчего не отвечаете? Правду я говорю?.. Да?

— Что же мне говорить? — сказал я беспомощно.

— Да ведь я вас спрашиваю: вы были бы удобный муж? Ах, милый Потапыч, когда-нибудь... вы, конечно, тоже женитесь... Это очень трудная вещь, милый Потапыч, жениться. И главное, не считайте, что все дело в том, чтобы вас обвели вокруг аналоя... Да, да... Конечно, вы это знаете?.. И не придаете никакого значения пустому обряду?.. Ничего вы не знаете, милый Потапыч... Людям часто кажется, что они знают то, чего они совсем не знают... Ни себя, ни других, ни значения того или другого обряда...

— Зачем вы все это говорите? — сказал Урманов...— Потапов знает без вас, что дело совсем не в обряде...

— А в чем? — сухо спросила она.

— В чем? — Он помолчал и сказал глухо: — В десятом августа.

Я почувствовал вдруг, как рука ее дрогнула и прижалась к моей. Через минуту она опять заговорила, обращаясь ко мне. Но голос ее стал жестче.

— Милый Потапыч... Когда наступит ваше время... остерегайтесь всяких обязательств... Это тоже цепи... Помните одно: любовь свободна... И всего лучше разумная любовь по расчету... Да, да... Когда людей связывает общность мыслей, стремлений, целей...

— Любовь прохладная,— вставил Урманов.

— Да, при ней больше свободы и самоуважения... А если... если это будет «знойный ураган», в силу которого я, впрочем, не верю, то помните, милый Потапыч, урагану нельзя ставить обязательств...

В голосе зазвучали твердые ноты...

— Да, ни в чем! Ни в обряде, ни в обещании, ни в том, что вам подали повод надеяться... Раз вы заявите женщине ваше формальное право, это конец... Вместо любви... является...

— Что же? — сказал Урманов.— Договаривайте: Потапову это будет очень поучительно.

— Он догадается сам,— сказала Валентина Григорьевна сурово и жестко, и потом, как бы желая смягчить этот тон, она прижалась ко мне и сказала: — Вы такой хороший, Потапыч... Оставайтесь всегда таким... Я буду часто вспоминать вас таким, как вы теперь... Люди так меняются... С каждой минутой в человеке что-нибудь умирает и что-нибудь рождается.

Когда мы подошли к генеральской даче, дверь нам открыл камердинер с военной выправкой. Он снял с Валентины Григорьевны накидку, повесил ее на вешалку и затем сказал тоном доклада:

— Его превосходительство больны...

— Что такое? — живо спросила молодая женщина.

— Не могу знать, а только нездоровы сильно...

— Есть кто-нибудь?

— Марья Егоровна тут-с.

— Погодите, пожалуйста, может, что-нибудь понадобится,— сказала она нам и ушла в спальную генерала. В голосе ее слышалось беспокойство.

Через минуту она вышла и, развязывая ленты у шляпы, сказала:

— Ничего особенного, кажется легкая простуда... Доктор уже был и не нашел ничего опасного...

— Значит, мы вернемся? — сказал Урманов.

— Нет,— ответила Валентина Григорьевна, снимая шляпку.— Я все-таки останусь еще здесь... Нужен уход...

— Валентина Григорьевна... Мне нужно так много сказать вам...

Она посмотрела в сторону усталым и скучающим взглядом.

— В другой раз,— сказала она кратко.

XI

Дня через два мне сказали, что в приемной наших студенческих номеров меня ждет дама. Я догадался, что это, вероятно, Валентина Григорьевна, и скоро сбежал с лестницы. Она встала мне навстречу.

— Я хотела пройти к вам в номер, но меня не пустили. Простите, пожалуйста... вы мне очень нужны...

— Что-нибудь с генералом?

— Нет... Старик, правда, был плох... Но дело не в этом... Теперь ничего.

Она сдвинула брови, как когда-то на платформе, и сказала:

— Судьба уже впутала вас в эту историю... О, господи, как все это тяжело... Кажется, самая простая вещь... И...

Она осилила волнение, и лицо ее стало опять энергично.

— Вот что, голубчик Потапов. Сходите, пожалуйста, на нашу дачу... где Урманов, и передайте ему записку. Потом придете к нам. Звонить не надо. Дверь из садика будет открыта.

— Принести ответ?

— Ответ?.. Ну, одним словом, оттуда зайдите ко мне.

Она опустила вуаль и вышла. Лицо ее, несколько взволнованное и расстроенное в первые минуты, было под конец спокойно...

Дача Урманова была недалеко в лесу. Подходя к ней, я увидел в незавешенное венецианское окно Урманова. Он сидел за столом и писал что-то на больших листах. Он работал над диссертацией, о которой говорили в академии, как о значительном ученом труде. Лицо, освещенное лампой, было красиво и спокойно. Я невольно залюбовался на него. Я чувствовал, что люблю этого человека. За что? За все. За то, что он такой умный, горячий и красивый... Что он женился фиктивным браком на американке, что он ее любит, что он страдает, что борется со своим чувством и что я до известной степени причастен к этой красивой и интересной драме.

Подойдя к окну, я постучал в стекло. Урманов вздрогнул, вгляделся в темноту и распахнул окно.

— Что такое? — спросил он.— Это вы, Потапов? От Валентины Григорьевны? Войдите.

Я пошел кругом дачки. Он встретил меня в передней.

— Старик плох? — спросил он и стал снимать с вешалки пальто ..— Зовут?.. Надо к доктору? В аптеку?.. Еще за чем-нибудь?..

Только теперь я увидел, как сильно изменилось лицо Урманова. Черты обострились, глаза ввалились и сверкали сухим блеском. Я подал письмо. Он быстро разорвал конверт, прочел и сказал мне:

— Хорошо... Скажите, что вы передали.

Тон его показался мне странным. Уходя, я услышал, что он бормочет что-то, тоже незнакомым, странным голосом. Между прочим я расслышал слова: «удобный муж».

Все это было так необычно и непохоже на Урманова, которого я знал, что я шел по темной дорожке в полном недоумении. Вдруг сзади послышались быстрые шаги, и из темноты на меня налетел Урманов. Я вздрогнул... Мне вдруг показалось, что он бросился на меня. Но он только схватил меня за руку, выше локтя, и заговорил быстро, волнуясь и торопясь.

— Потапов, голубчик... Простите меня... Я оскорбил вас... И тогда тоже... Я не знаю, что со мной делается. Постойте, постойте...

Он глубоко перевел дух и сказал уже совершенно своим обычным голосом:

— Вас будут спрашивать. Скажите... что меня видели... Передали письмо.

Он опять глубоко вздохнул.

— Все будет так, как она пожелает... А того, что... Ну, вы понимаете... Этого говорить не надо. Вы мне обещаете?

— Напишите несколько слов... Я передам.

— Да, это будет всего лучше. Я сейчас... Вы тут пройдитесь немного.

Он быстро вбежал к себе, наскоро лихорадочно набросал письмо и отдал мне.

— Постойте, я пройдусь с вами,— сказал он.

Он взял меня под руку. Я не заметил сразу, что мы пошли по темным дорожкам не в ту сторону и через не-

сколько минут очутились в парке. Вечер был темный и прохладный, но спокойный. Деревья сливались в одну сплошную массу, по которой перебегали тихие шепоты. У берегов тонули темные очертания, на глади пруда виднелось скользящее пятно. Это была лодка. В ней чуть-чуть виднелись два силуэта. По-видимому, пловцам было хорошо в этой синей тьме с подымавшимся серпом луны и дремотой темных деревьев, тихо, невидимо ронявших свои листья...

Глубокий мужской голос запел песню... Кто был в лодке? Может быть, два студента, но мне казалось, что одна была женщина, что он поет только для нее и скупится посылать дальше задушевные ноты... Я не расслышал слов, не запомнил мотива и не знаю теперь, какая это была песня. Это была просто песня того вечера моей жизни, который не повторился более. Тут была печаль, и любовь, и трепетавшая где-то глубоко внутри радость от этой любви и печали... Я забылся в этом странном ощущении... Мне вдруг показалось, что в лодке Урмановы, как это бывало еще недавно... Должно быть, что-нибудь в этом роде показалось и Урманову. Он вдруг покинул мою руку и, не говоря ни слова, исчез в темноте...

Я остался один... От островка неслось чиликание ночной птицы, быть может той самой, которая спрашивала тогда о чем-то из темноты. Сердце мое было переполнено сознанием радости, глупой, как крик этой птицы. Я радовался этой сумрачной печали, и, если бы мне предложили сейчас поменяться с Урмановым, я бы охотно согласился...

— Как вы долго,— встретила меня Валентина Григорьевна у калитки своей дачи. Я отдал письмо, попрощался, избегая ее расспросов, и вернулся к себе. Тит спал, одетый, на кровати. В его руках были записки по химии, а на столе горела лампа Очевидно, он ждал меня, но я тихонько прошел через комнату, посмотрел минуту на милое утомленное лицо Тита и, раскрыв свое окно, сел у стола писать письмо. К храпу Тита примешался тотчас же шелест кустов и мечтательный лай собаки где-то далеко на Выселках. Письмо было опять к тому же товарищу в Киевскую губернию... Он не имел средств, чтобы ехать в столицу, и взял на год урок в ма-

леньком местечке... Впоследствии он говорил мне, что, читая эти мои письма, плакал от зависти в своей мурье и наговорил дерзостей своему принципалу, так что едва не лишился места. Помню, что на этот раз письмо мне сначала не давалось. Впечатления этого вечера врывались диссонансом в тот образ, который я себе составил об Урманове. Но потом все опять полилось стройно и великолепно...

Когда я кончал, ветер, ворвавшийся в окно, раскидал листки по полу. Тит проснулся и сел на постели. Лицо у него было сонное и кислое...

— Что? Поздно? — спросил он.

— Поздно...

— Какого же черта ты меня не разбудил?.. А ты все писал?

— Писал.

— Ковальскому? И все об американке?..

— Ты почему знаешь?

— Я, брат, прочитал первое твое послание,— сказал он бесцеремонно...— философия, Потапыч, и сантименты... И ты чуть не попался этой американке?.. Дураки вы все... Предложили бы мне... Я бы все это сделал просто... Только потребовал бы черную пару на свадьбу...

И опять мы оба засмеялись...

XII

Осень в этом году была поздняя. Листья совсем обвалились, а земля все еще дышала теплой сыростью. Последние, самые упорные дачники давно разъехались, оставив за собой все еще довольно теплые дни. Парк опустел, поредел и посветлел. Вся его листва лежала теперь красноватым ковром на земле, а между стволами носился сизоватый пар, пресыщенный пряным запахом прелых листьев и земли. С ветвей капли росы падали на землю, как слезы.

Лекции шли правильно Знакомство с новыми профессорами, новыми предметами, вообще начало курса имело для меня еще почти школьническую прелесть. Кроме того, в студенчестве начиналось новое движение, и мне казалось, что неопределенные надежды прини-

мали осязательные формы Несколько арестов в студенческой среде занимали всех и вызывали волнение.

Все это отодвинуло для меня драму Урманова. Генерал уехал, американка исчезла, и я ничего не знал о ней Урманова тоже не было видно.

Выпал первый снег. Он шел всю ночь, и наутро армия сторожей и рабочих разгребала лопатами проходы к академическим зданиям. В парке снег лежал ровным пологом, прикрывая клумбы, каменные ступени лестниц, дорожки. Кое-где торчали стебли поздних осенних цветов, комья снега, точно хлопья ваты, покрывали головки иззябших астр.

Но туманное небо, неожиданно вытряхнув эту массу снега, продолжало дышать на землю теплом. Снег быстро оседался и таял. Капало с деревьев, слышалось тихое журчание. Казалось, начинается снова весна.

В этот день я смотрел из окна чертежной на белый пустой парк, и вдруг мне показалось, что в глубине аллеи я вижу Урманова. Он шел по цельному снегу и остановился у одной скамейки. Я быстро схватил в вестибюле шляпу и выбежал Пробежав до половины аллеи, я увидел глубокий след, уходивший в сторону Ивановского грота. Никого не было видно, кругом лежал снег, чистый, нетронутый. Лишь кое-где виднелись оттиски вороньих лапок, да обломавшиеся от снега черные веточки пестрили белую поверхность темными черточками.

Было светло, молчаливо и пусто.

К следующему дню снег наполовину стаял. Кое-где проглянула черная земля, а к вечеру прихватило чуть-чуть изморозью. Воздух стал прозрачнее для света и звуков. Шум поездов несся так отчетливо и ясно, что, казалось, можно различить каждый удар поршней локомотива, а когда поезд выходил из лощины, то было видно мелькание колес. Он тянулся черной змеей над пестрыми полями, и под ним что-то бурлило, варилось и клокотало...

Стемнело, потом поля с пятнами снега покрыла ночь. Тит, по обыкновению долго засидевшийся за записками, прислушался и сказал:

— Потапыч... Слышишь, какой долгий свисток.

Он подошел к окну и открыл его. В комнату хлынул странный шум. Что-то скрежетало и визжало, как будто

под самыми нашими окнами... Потом послышался ряд толчков, шипение пара, который светился и пламенел в темноте.

— Поезд сошел с рельсов,— проговорил Тит равнодушно.— Как раз то же было прошлой осенью...

И он отошел от окна. Я еще некоторое время оставался. Поезд несколько раз часто и гулко пыхнул паром, точно затрепыхалась чудовищная металлическая птица, тронулся опять и побежал в темноту, отбивая по рельсам свою железную дробь. Влажный ветер стукнул нашею рамой, шевельнул голыми ветками кустов и понесся тоже в темноту...

Засыпая, я чувствовал легкое беспокойство. Мне казалось или кажется теперь, что воспоминание о скрежете железа пронизывало меня каким-то внутренним ознобом.

Но скоро я крепко заснул, не подозревая, что это был последний вечер моего восторженного юношеского настроения...

XIII

На следующее утро меня разбудил стук запираемой двери.

В комнате было темно, в окна глядела серая зимняя заря, а сквозь матовое стекло нашей двери просвечивал огонек свечки. Мне теперь кажется, что свечка заглядывала в комнату как-то значительно и осмысленно.

Огонек исчез. В коридоре послышались знакомые шаги коридорного Маркелыча. Из угла, где стояла кровать Тита, слышалась возня и вздохи. Тит одевался.

Я понял, что Маркелыч сообщил Титу какую-то новость. Все новости, случавшиеся вечером или за ночь, Тит всегда узнавал ранее всех, благодаря особому расположению Маркелыча, который уважал моего друга за его «простоту» и аккуратность. Я очень любил, проснувшись рано утром, слушать их простодушные беседы, в которых Тит с милой наивностью становился на уровень Маркелыча, выслушивая его новости и суждения и делясь с ним, в свою очередь, собственными соображениями, пускаясь порой и в научные толкования. Иной раз я не выдерживал и, «по младости», как говорил Марке-

лыч, начинал хохотать. К моему смеху добродушно присоединялся Тит, а Маркелыч сердито ворчал:

— Спроси, чему смеется... Сам не знает...

На этот раз, по вздохам и возне Тита, я понял, что он сильно озабочен. Я не видел его лица, и только его тощая, длинная фигура выделялась белесоватым пятном. Натянув сапоги, он вздохнул и с минуту сидел неподвижно. Потом опять вздохнул и закурил папиросу. Казалось, самый огонек, вспыхивавший в темноте, когда Тит затягивался, выражал тревогу и растерянность.

— Сегодня Маркелыч принес Тит Иванычу печальную новость,— сказал я шутливо.

— А? Ты слыхал?

— Нет, не слыхал, но ты вздыхаешь, точно перед экзаменом по геодезии.

Тит затянулся окурком папиросы так, что в мундштуке затрещало, и через минуту сказал:

— Это вчера кто-то бросился под поезд.

Я был настроен шутливо и глупо.

— Голубчик, Тит... Каждый день кто-нибудь умирает тем или другим способом... Закон природы .. В сущности, Титушка, что такое смерть?.. Порча очень сложной машины... Просто и не страшно...

— Очень близко. — пояснил Тит уныло.

— Это не меняет дела.

— Сам бросился.

Я тоже закурил папиросу, потянулся и продолжал донимать Тита рационализмом.

— Что ж, значит это акт добровольный. Знаешь, Тит... Если жизнь человеку стала неприятна, он всегда вправе избавиться от этой неприятности. Кто-то, кажется Тацит, рассказывает о древних скифах, живших, если не вру, у какого-то гиперборейского моря. Так вот, брат, когда эти гипербореи достигали преклонного возраста и уже не могли быть полезны обществу,— они просто входили в океан и умирали Попросту сказать, топились. Это рационально... Когда я состарюсь и увижу, что беру у жизни больше, чем даю... то и я...

— Не говори глупостей,— сказал Тит сердито... У него была старуха мать, которую он страстно любил.

Я засмеялся. Тит был мнителен и боялся мертвецов. Я «по младости» не имел еще настоящего понятия

о смерти... Я знал, что это закон природы, но внутренно, по чувству считал себя еще бессмертным. Кроме того, мой «трезвый образ мыслей» ставил меня выше суеверного страха. Я быстро бросил окурок папиросы, зажег свечку и стал одеваться.

— Тит, пойдем туда.

— Куда?

— К платформе...

— Какого черта ты там не видел?..

— Брось свои суеверия... Человек должен закалять свою душу против всяких резких впечатлений...

— Ну, иди, закаляй. А меня оставь в покое.

— Глупо, Титушка. Это не аргумент...

— Ну, я останусь дома без аргументов...

Я оделся и вышел...

На дворе меня охватил сырой холодок. Солнце еще только собиралось подняться где-то за облаками. Был тот неопределенный промежуток между ночью и зарей, когда свет смешан с тьмою и сон с пробуждением... И все кажется иным, необычным и странным.

Небо было сплошь затянуто облаками, но на выпуклых окнах академии играли синеватые отсветы зари. А в подвалах горели огоньки, такие же красные и маслянистые, как огни фонарей, которых еще не потушили. У церкви стоял городовой в тулупе и огромных калошах, зевал и ожидал смены. Сонный извозчик проехал мимо. Он, вероятно, привез загулявших в Москве студентов и теперь крепко спал в пролетке, между тем, как лошадь тихонько бежала по знакомой дороге. Откуда-то выбежала собака, пробежала через площадку, что-то разыскивая деловито и боязливо, и затем побежала к темным аллеям парка... Вид у нее был сосредоточенный и странный, и мне невольно вспомнились деревенские рассказы об оборотнях... «Переживания прошлых веков»,— мелькнуло у меня в голове...

Холодноватая сырость проникала под легкое пальто... «Не вернуться ли?..» Но я представил себе насмешливое лицо Тита и углубился в лиственничную аллею.

Утренний ветер шуршал обнаженными и обмерзшими ветвями. Я невольно вспомнил ее такой, какой она была летом, с пятнами света и тени, с фигурами Урманова и «американки» в перспективе... Мне казалось, что это

так давно... Надо будет разыскать Урманова... Положительно это его я видел в парке. Неужели он живет все на лесной дачке?.. Мне вспомнилось освещенное окно, свет лампы, склоненная над столом голова Урманова и красивая, буйная прядь черных волос, свесившаяся над его лбом...

На дорожке аллейки я увидел белый квадрат и, наклонившись, поднял оброненное кем-то письмо. Конверт был довольно большой и как будто знакомый. В углу виднелась продолговатая нерусская марка... Он был разорван, и из него выпало письмо. Совершенно безотчетно я наклонился опять и поднял листок... В аллейке, больше для порядка, чем для освещения, стояли три или четыре фонаря, светившие желтым пламенем. Подойдя к одному из них, я бросил взгляд на листок, и сразу меня поразило то обстоятельство, что в первой же строке я встретил свою фамилию:

«...— Потаповым... Это было бы гораздо лучше... Признайтесь: вы не вправе были это делать. Таким образом вы брали себе шанс, которого вам не имели в виду предоставить.

. .Вы пишете, что борьба за любовь есть закон природы, и предлагаете мне своего рода поединок... Вы приедете в Америку и привезете свою бурную страсть против моей прохладной, как вы называете, любви... Думаю, что это лишнее. Борьба за любовь... Да почему вы думаете, что я в свое время не боролся?.. Если же вам представляется, что каждый муж обязан отказываться от своего права, как только он будет вызван на поединок новым претендентом, то это — простите — закон прерии, где пасутся стада буйволов, а не человеческое общежитие. Наконец, высший закон общежития — свобода. И с вашим предложением вы должны были обратиться не ко мне, а к Валентине Григорьевне... Но...»

На этом кончалась страница, и только тут я спохватился, что читаю письмо, адресованное не мне. Поэтому я спрятал его в карман, решив сегодня же разыскать Урманова и передать ему конверт... Интерес к его драме ожил во мне с новой силой... Так вот что он предлагал!.. Имел ли он на это право или нет?.. Мне казалось, что имел... Крупный, отчетливый и прямой почерк его противника мне не нравился.

Охваченный течением этих мыслей, я чуть было не повернул обратно, к академии. Но платформа была близко: последние лиственницы аллейки уже махали по ветру своими ветками, и над обрезом холмика виднелась деревянная крыша беседки. Солнце всходило, но еще не вышло из-за туч, виднелось полотно дороги, на котором черная земля проглядывала сквозь талый снег, и две пары рельсов тянулись вдаль светлыми полосками... В беседке, закрытые от меня стеной, сидели два человека, и один говорил о чем-то негромко, ровно, бесстрастно. Другой слушал, подавая короткие реплики... Мне до сих пор чудится по временам этот бесстрастный голос... Третий мужик шел по рельсам, держа в руке какой-то черепок, и, по временам нагибаясь, подымал что-то, раскиданное по шпалам.

Я обошел беседку и подошел к разговаривавшим.

На полу беседки под навесом лежало что-то прикрытое рогожей. И еще что-то, тоже прикрытое, лежало на листе синей сахарной бумаги, на скамейке, на которой в летние дни садилась публика, ожидавшая поезда. Однажды я видел здесь Урмановых. Они сидели рядом. Оба были веселы и красивы. Он, сняв шляпу, проводил рукой по своим непокорным волосам, она что-то оживленно говорила ему.

Мужик подошел к скамейке и отдернул рогожу. Я не сразу понял, что он делает, и только смотрел, как он ссунул щепкой из черепка, который нес в руках, что-то сероватое, с красными прожилками... Оно шлепнулось как будто в чашку... Потом так же тщательно и равнодушно он сдвинул той же щепкой осколки костей и потом... еще кусок чего-то с прядью черных волос...

Я внезапно вздрогнул и,— не помню, как это случилось,— быстро подошел к другой рогоже, лежавшей на полу, и сдернул ее...

Следующих за этим секунд я совсем не помню. Были ли это секунды, или минуты, или часы, я не мог бы дать в этом отчета. Знаю только, что в это время что-то быстро повернулось во мне... Я вдруг вспомнил скрежет железа и чудовищные, как выстрелы, вздохи локомотива... Мне показалось, что я их слышу в эту минуту, и я невольно, предостерегающе громко крикнул:

— Урманов, Урманов!

Кто-то грубо схватил меня за плечо и оттолкнул назад.

— Не балуй, барчук,— гневно сказал мужик и опять покрыл «это» рогожей. Другой, с знакомым лицом дорожного сторожа, повернул меня и вывел из беседки... Я очнулся на платформе, посмотрел кругом и... засмеялся... Мне казалось, будто все, что я только что видел, было глупым и «стыдным» сном, будто я только что рассказал этот сон мужикам, и от этого мне было очень совестно...

— Смеется,— сказал один из мужиков, заглядывая мне прямо в глаза...

— Ну... видишь, повело его как... товарищ, видно,— сказал другой.— Ступай, барин, отседа... Делать тебе тут нечего. Иван, ты бы проводил, мне, вишь, некогда. Сейчас пройдет четвертый номер.

— Проводить, что ли?..— сказал рыжий в раздумье.

Но я отмахнулся и пошел по платформе. Из мглы выступали очертания поезда, и в рельсах начинало переливаться что-то тоненьким металлическим клокотанием... Я почти выбежал на холмик и вошел в аллею. Поезд прошумел и затих... Вскоре послышался его свисток с ближайшего полустанка. В это время я сидел на мокром откосе придорожной канавы и не помнил, как я сел, и сколько времени сидел, и как поднялся. Зубы мои стучали. Мне казалось, что внутри у меня холодно от вчерашнего железного скрежета.

— Что это с тобой, Потапыч? — спросил с беспокойством Тит, когда я вошел в номер.— На тебе нет лица... И ты весь дрожишь... Ах, Потапыч, Потапыч, напрасно, видно, храбрился... На вот, выпей чаю... Или, постой, я заварю лучше липового цвету... Вот, пей... Теперь раздевайся, сними сапоги, ляг в постель .. Да что это тебя так расстроило?

Я сжал зубы и ответил одним словом:

— Урманов...

По лицу Тита пробежала судорога... Черты его странно передернулись, но дальше я ничего не видел и не слышал. Я повалился на кровать и тотчас заснул странным, тяжелым, глубоким сном...

Впрочем, в моей памяти осталась, точно донесшаяся откуда-то издалека, фраза Тита:

— Ах, Гаврик, Гаврик. Вот до чего доводят все эти фиктивные браки, Америки и вообще философия...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Помню один день из моей детской жизни. Я был очень огорчен чем-то и лег днем на свою постель. Было около полудня, на дворе светило солнце, и надвигалась туча. Я как-то незаметно в огорчении заснул, сквозь сон слышал раскаты грома и проснулся, когда гроза и ливень прошли. Все было опять так же, как за полчаса перед тем, но я не узнавал того же самого дня. Мне казалось, что в моем времени произошел какой-то перерыв или, наоборот, оно прокатилось слишком быстро, как развернувшаяся пружина. Тот ли это день, та ли комната? Где я и кто я? Неужели я спал только полчаса?.. Или прошла ночь, настало утро, и оно застает меня в каком-то новом месте? Петух кричит на дворе, и голос у него басистый и мокрый. Лает собака, и лай напоминает что-то знакомое, бывшее давно... И детские голоса несутся откуда-то издалека, точно воспоминание о голосах, звучавших когда-то... И тот маленький человечек, который еще недавно ложился в мою постель,— я ли это, или кто-то другой, о котором я только помню?..

С таким же ощущением я проснулся теперь через несколько часов, и, должно быть, в моем взгляде было что-то необычное, потому что Тит, сидевший с записками за столом, встал и наклонился ко мне с беспокойством:

— Что с тобой?

— Решительно ничего,— ответил я,— но... мне не хочется говорить.

— Поспишь еще?

— Да.

Тит опять погрузился в записки и по своей еще школьной привычке закрыл уши. Его профиль рисовал-

ся на светлом фоне окна, а я смотрел на него и с удивлением спрашивал: кто это?

Я знал, что это Тит, знал внешнюю историю его жизни, знал, что он мой товарищ и друг, но все это мне известное все-таки не отвечало на вопрос. Я смотрел на него во все глаза и будто видел его впервые...

Профиль, резко выступавший в квадрате окна, стал расплываться. Что-то сделалось с моими глазами, и Тит вдруг стал близким и огромным. Потом явилось два Тита и два профиля в окне. Голова у меня кружилась... Я сделал усилие, и обычная фигура Тита оказалась одна и на месте. Но это меня не успокоило. Мгновение, и начались опять те же превращения...

«Что же правда? — думал я.— Может, это мне только кажется, что этот вот один Тит есть правда... Может их всегда два, и только в обычное время я этого не замечаю. . Потому что мне удобнее, чтобы Тит был один. При двух Титах неприятно кружится голова...»

«Галлюцинация,— подумал я вдруг, и это слово меня успокоило. Я сделал усилие, водворил образ Тита на место и закрыл глаза... Раскрыл .. Тит был один, голова кружилась меньше... Хорошо? Нет, я все-таки не знаю, кто это.

Я очень любил Тита, и еще недавно он казался мне понятным. В начале гимназического курса я привык смотреть на Тита с почтением: он был много старше меня и шел тремя или четырьмя классами выше. Но бедняга был очень туп, и год за годом я нагнал его в последних классах. Мне было странно, что мы стали равные и подружились. Тита все считали тупицей, но все его уважали. Учился он плохо, но был лучшим репетитором для малышей. Ему приходилось порой бегать к товарищам за разрешением простой задачи, и он с трудом усваивал решение. Но на следующий день его ученики отвечали превосходно. Он умел работать и умел заставить работать других.

Тит одолевал курс с величайшим трудом, и вся гимназия следила за этой драмой. Когда кончался какой-нибудь экзамен, все спрашивали: «А как Тит?» — и радовались, если дело шло благополучно. Все знали, что Тит «не способен к наукам», но когда нужно было «поправить отметки» отстающего малыша, то директор сове-

товал родителям отдать его Титу. Иногда он затруднялся вопросами мальчишек по тому или другому предмету, но родители очень часто прибегали к его советам в важных житейских делах. И он разрешал самые запутанные случаи просто и очень умно. Однажды, на уроке геометрии, сбитый с толку тем, что учитель повернул на чертеже треугольник острым углом книзу, тогда как в учебнике острый угол был кверху, Тит поднялся на носки и, вывернув голову, стал смотреть сверху вниз. Его долговязая фигура и странная попытка были так комичны, что все хохотали: ученики, учитель и сам Тит... Он был весел по природе, и сам умно и искренно смеялся над своей тупостью... И в то же время все чувствовали, что Тит один среди нас — серьезный человек. И это потому, что у него была задача в жизни. У него была мать, которую он страстно любил, и сестра, которую надо было вывести в люди. И он с ранних лет делал это дело с великими усильями. Это было драматично. И это все уважали.

Я тоже уважал Тита и нежно любил его. Я часто помогал ему в «сочинениях», и его «зубряжка» подавала повод к моим шуткам. Но я ничего не скрывал от Тита и слушал его советы в житейских делах. Я уже говорил о том, как я собирался облагодетельствовать семью дорожного сторожа в будущем Меня глубоко трогало то, что Тит, не вдаваясь «в философию», часто носил им сахар и булки, о чем я как-то забывал...

Поэтому всегда с личностью Тита у меня связывалось особенное чувство: в нем было и представление о его смешной тупости, и преклонение перед его практическим умом и узкой, но деятельной добротой. Тут была улыбка и нежность, юмор и уважение...

Теперь я смотрел на Тита и испытывал только сухой остов этих ощущений. Он сидел, наклонясь, и, закрыв уши, тихо зубрил про себя. Шея у него была длинная и сухая. По мере того, как он зубрил, тихонько произнося слова, одно из сухожилий двигалось, как будто принимало участие в учении... И ничего больше не было. Я не «ощущал» Тита, того Тита, каким он был для меня вчера...

Вот он сидит и работает... Запечатлевает в своем мозгу черточки и знаки... И мне невольно вспомнилось, что

я так же над столом видел Урманова... Он был, наоборот, очень способен... О его работе, если она осталась, будут говорить... Тит зубрит. Урманов творил... И это оттого, что у Тита в мозгу недостает чего-то... Чего-то, что вчера лежало, разбрызганное на рельсах, и что мужик собирал мокрой щепочкой в грязный черепок... Каково оно, то, что создает мысли: белое или красноватое?.. Склизкое... Там было разбрызгано все... И восторженность, и экспансивность, и «идеи», которые воспевал наивный поэт, и любовь, которой я так любовался... Все, все... «Мысль — выделение мозга»... Я посмотрел на эти слова под портретом Фохта, и, вместо восторга, от них по мне прошла дрожь... Бедный Тит... Его мозг «выделяет плохо». Я представил себе, как вяло перебегают мысли Тита в том беловатом студенистом веществе, которое находится под его узким черепом. И вздрогнул от отвращения... Потом представил себе, как быстро и отчетливо перебегали они под черепом Урманова, и опять вздрогнул .. Черная прядь волос, освещенная светом лампы... Это красота... Та же прядь, там на рельсах... Да, там лежало все это: и любовь, и ревность, и восторг, и отчаяние... Котел разбит, содержимое перемешано в некотором беспорядке, рычаги и шестерни раскиданы врозь... Это и значит, что Урманов умер... И вот смерть... И вот жизнь... Что-то движется, ползает, просачивается по физическим законам. Это жизнь... Навешивайте на нее какие угодно украшения... Остановите движение — смерть! Одевайте ее красивым трауром, мистическими и грандиозными вымыслами... Что касается меня, то для меня не было теперь ни красоты, ни траура... Я вижу обе стороны медали сведенными в одно... Просто, ясно и отвратительно...

II

Тит перестал писать, взглянул на часы и принялся укладывать тетради.

— Который час? — спросил я.

Тит вздрогнул от неожиданности и обернулся.

— А! Ты не спишь? Два часа, сейчас пятая лекция. Пойдешь?

— Пожалуй.

Я поднялся вяло: не хотелось идти и не хотелось оставаться.

— Что там такое сегодня? — спросил я.

— Лекция братушки.

— А!

— Как ты думаешь: будут ему свистать или нет?

Я посмотрел на Тита с удивлением. Его вопрос напомнил мне о чем-то, происходившем тоже будто давно, перед грозой или во сне. Действительно, кто-то рассказывал о профессоре Белйчке предосудительные вещи, и вчера еще я сам горячился по этому поводу. Но теперь я равнодушно зевнул.

— А черт его знает...

Тит удивился и пытливо посмотрел на меня.

— Ты здоров?

— Что мне делается?..

— А ты бы посмотрел на себя утром... Желтый, глаза, как у сумасшедшего... Да и сейчас еще смотришь нехорошо. Останься дома...

— Пойду...

Я действительно чувствовал себя нехорошо. На душе было тошно, хотелось что-то выкинуть, от чего-то избавиться... Что это? — задал я себе вопрос, остановившись посередине комнаты под беспокойным взглядом Тита... Да я знаю: это скрежет железа и то, что было там, на платформе. Но мне уже от этого не освободиться. Этот знобящий скрежет проник мне глубоко в душу и раздавил в ней что-то.

Мне рассказывали незадолго перед тем, что горничная у моих знакомых, обтирая окна снаружи, упала с третьего этажа. По странной случайности, она стала прямо на ноги и даже пошла сама в дом. На вопрос, что с ней, она спокойно отвечала: «Ничего решительно». Но к вечеру она умерла: оказалось, что-то оборвалось у нее внутри.

Мне вспомнился этот случай. Со мной тоже «ничего», и тоже оборвалось что-то важное, без чего как будто нельзя жить...

Тит по-своему объяснил мою внезапную задумчивость и сказал:

— Да, брат... Бедный Урманов.. Вот чем кончилось!..

Я удивился. «Бедный»? Почему?

Тит удивился в свою очередь:

— Да ведь это же Урманов... там... Уже все знают.

— Ну, так что же? Кто ж теперь бедный? Ведь Урманова нет... Ты, значит, жалеешь то, чего нет.

— Но еще вчера был... живой.

— Кто был?..

— Урманов...

— Ах да... Ты вот о чем... Ну да, конечно, был живой.

Я все-таки не чувствовал жалости. Когда я старался представить себе живого Урманова, то восстановлял его образ из того, что видел у рельсов. Живое оно теперь было для меня так же противно... Ну да... Допустим, что кто-то опять починил машину, шестерни ходят в порядке. Что из этого?..

— Знаешь, Тит,— сказал я серьезно.— Это я выдумал Урманова. Урманова не было... Понимаешь: не было вовсе...

— Ну да, брат,— ответил Тит также серьезно,— я всегда говорил тебе: ты идеализируешь людей...

Я пожал плечами. Ах, это все не то. Тит хочет сказать, что я приписал Урманову свойства, которых у него лично не было, но которые могли быть у других. А я чувствовал, что их вообще нет. Нет чувства, нет красоты, нет любви, нет самоотвержения... все это выдумки. Что же есть?.. Есть железный скрежет мертвой природы, наполняющий вселенную, от которого идет этот мертвящий душевный холод. А под ним — *это*... До сих пор я спал и видел во сне свой выдуманный мир. Так иногда мы слушаем во сне чудные стихи, от которых душа пламенеет восторгом, но стоит проснуться, и в памяти остаются только обрывки, без склада и смысла... Вот и я теперь проснулся и вижу, что сочиненная мною поэма была глупее Урманиады наивного поэтика...

— Ну, пойдем на лекцию!

III

У церкви стоял, как и утром, городовой в тулупе и огромных валенках. Все — и площадка, и здание, и небо, было точь-в-точь как и утром, и это возбуждало досаду.

Все как будто нарочно лезло в глаза, чтобы напомнить, что с того утреннего часа не прошло и суток. Между тем, я знал про себя, что с тех пор прошла целая вечность...

— Вам письмо...

Академический швейцар подал мне письмо, которое я тотчас же наскоро вскрыл... Это был ответ товарища, которому я писал о своих впечатлениях... Что такое я там писал?.. Да!.. Как глупо!.. Он сгорает от зависти, что ему приходится жить в темной трущобе, тогда как на свете есть такие райские места, такие интересные ситуации, такие замечательные люди...

Дурак отвечает идиоту...

Я сунул смятое письмо в карман, и, должно быть, последнюю фразу я произнес громко. Швейцар посмотрел на меня с удивлением, а с верхней площадки лестницы наклонился суб-инспектор.

— Т-с-с!..— прошептал он.

Маленький толстый старичок, с бритым и смешным лицом, казался встревоженным. Из ближайшей аудитории слышался ровный голос лектора, а из дальнего конца коридора несся смешанный гул; суб-инспектор с тревогой наставлял привычное ухо, прислушиваясь к этому шуму; опытный человек уловил в нем особый оттенок: если каждый из сотни молодых голосов повысится против обычного на терцию, общий говор аудитории напоминает растревоженный улей.

Старик подошел ко мне и взял меня под руку, все наставляя ухо и тревожно оборачиваясь в сторону первой аудитории. Он знал когда-то моего отца и был ко мне расположен, как земляк к земляку. Мы не раз с ним беседовали. Старик почему-то любил именно при мне вспоминать свои молодые годы. Он учился когда-то в горы-горецком земледельческом институте и уже оканчивал курс, когда случилась какая-то история. Он был депутатом от студентов, и его («времена были строгие») отдали в солдаты. Потом он служил писцом в какой-то канцелярии, женился, бедствовал... «Молодые увлечения» давно забылись. Теперь директор академии, его старый товарищ, доставил ему место суб-инспектора... Старик страшно трусил, чтобы не потерять его, либеральничал перед студентами и... чутко наставлял уши... Я с большим интересом относился к его рассказам и прежде «чувствовал»

его личную драму, как чувствовал драму моего Тита. Судьба матери, жены, детей — вот что заставляло старика тревожиться и тащить тяжелую лямку. «Ах, трудно ладить с молодежью,— скажу вам одному откровенно,— говаривал он, вздыхая...— Вы думаете, я не понимаю?.. Все понимаю... Молодые стремленья. Сам пострадал когда-то...»

Теперь он имел вид озабоченный и официальный.

— Здравствуйте, господин Потапов,— сказал он.— Что там у вас такое?

— Ничего особенного,— ответил я.— Впрочем... Урманов бросился под поезд...

Он сделал огорченное лицо...

— Да, да... Конечно. Я знаю... Огромное несчастье... Надежда академии... И такая ужасная смерть. Но... послушайте...

Он взял меня под руку и, наклоняя коротко обстриженную голову на толстой негнущейся шее, спросил:

— Неужели же и в этом виноваты профессора или администрация?

— Конечно, нет.

— А между тем...

Он опять беспокойно наставил уши.

— Слышите?.. Слышите, какой шум?

Аудитория гудела... Из общего шума выносились отдельные звонкие голоса.

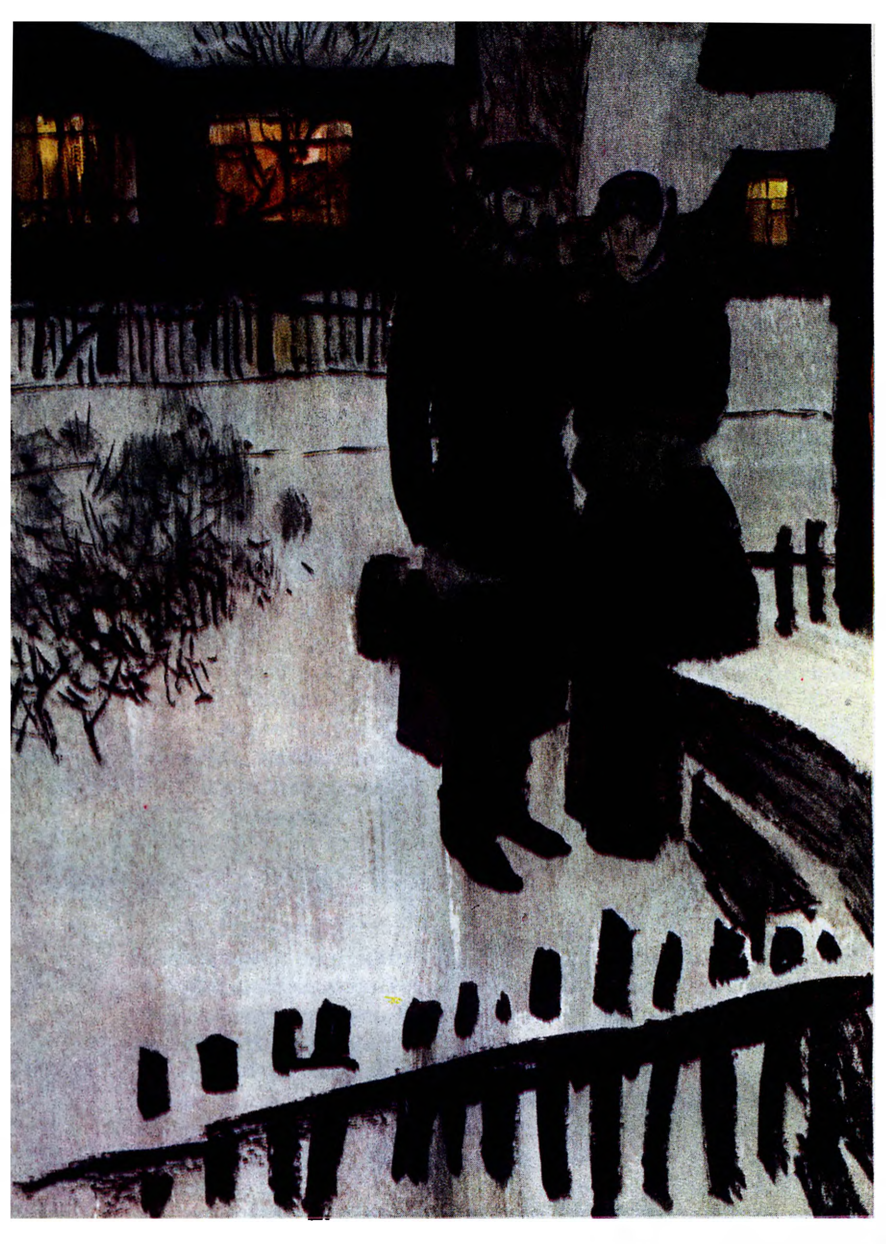
— Да, шумят,— сказал я равнодушно.

— Послушайте, Потапов...— Голос старика стал задушевным и вкрадчиво мягким.— Мы с вами земляки... Я знал ваших родителей. Превосходные люди... Будьте со мной откровенны. Скажите, что вы там затеваете? Из-за чего это волнение?

Я усмехнулся. Наивный старик во имя знакомства с моими родителями предлагал мне, в сущности, стать доносчиком. Теперь я понял некоторые его намеки и наивные подходы, с которыми он обращался уже несколько дней... Если бы самая мысль об этом пришла мне вчера, она вызвала бы во мне сильнейшее негодование, и могла бы вспыхнуть история, очень неприятная и для него, и для меня. Но теперь никакого негодования не было. Вошло что-то, сравнявшее для меня шумящих молодых



«С ДВУХ СТОРОН»



«С ДВУХ СТОРОН»

людей с этим старым наивным сыщиком. Я только пожал плечами.

— Какое мне дело до всего этого? — сказал я просто...— Впрочем, вы можете не беспокоиться. Все-таки они волнуются больше оттого, что с одним из них вышла эта неприятная случайность.

Он бросил мою руку, и в его глазах мелькнул злой огонек.

— Что вы меня за дурака считаете, что ли?.. Неприятная случайность... Чеха вы собираетесь освистать, а не неприятная случайность... Вы не хотите быть со мной дружески откровенным...

— Знаете что,— сказал я вяло...— Если бы я захотел быть с вами откровенным, я бы знал, что вам сказать на ваше предложение. Но мне лень... Впрочем... Я все-таки сказал вам правду... Вы были когда-нибудь на бойне?

Он вскинул на меня свои заплывшие глазки с тревожным недоумением...

— Мне случилось раз... И когда убьют одного быка, другие отчего-то беспокоятся и волнуются... Инстинкт... бессмысленный, но нужный в интересах борьбы за существование...

Старик отодвинулся от меня, и даже губы его, полные и немного смешные, тревожно вытянулись. В это время на площадке лестницы появилась лысая голова и полное упитанное лицо профессора Белйчки. Суб-инспектор побежал ему навстречу и стал что-то тихо и очень дипломатически объяснять... Чех даже не остановился, чтобы его выслушать, а продолжал идти все тем же ровным, почти размеренным шагом, пока суб-инспектор не забежал вперед, загородив ему дорогу. Я усмехнулся и вошел в аудиторию.

Здесь ко мне сейчас же бросилось несколько человек, закидавших меня беспорядочными нервными расспросами. Одни торопливо спрашивали, что я знаю об Урманове, другие перебивали и говорили о чехе... А я смотрел на всех и чувствовал на своем лице какую-то странную, точно чужую для меня, улыбку. Да... еще вчера они вправе были ожидать, что я внесу во все это кипение свою собственную долю. Но теперь я потерял способность понимать и чувствовать это знакомое возбуждение. Я видел только взмахивающие руки, раскрывающиеся

рты, красные лица... И смеялся той же чуждой мне улыбкой.

К моему удовольствию, дверь аудитории раскрылась и на пороге появилась невозмутимая фигура Белйчки. Мне бросилось как-то особенно резко в глаза его упитанное белое лицо с отчетливым густым, точно очерченным румянцем на пухлых щеках. «Обилие жировых отложений,— мелькнуло у меня в голове,— и... значительная пигментация...» За дверью на мгновение мелькнула тревожная круглая фигура в вицмундире, и дверь тотчас же закрылась. Белйчка спокойным уверенным шагом поднялся на кафедру, переждал полминуты, пока студенты рассаживались по местам, потом сел, и сразу с кафедры полился его ровный, бесстрастный голос.

«Голос тоже масляный и жирный,— подумал я.— Как будто жировые отложения и в голосовых связках...»

— В прошлую лекцию, милостивые государи, мы остановились на taeniadae...

Чех был превосходный лектор, но теперь я не восхищался его искусством... Недавно про Белйчку пошли темные слухи: говорили о каком-то совершенно мракобесном проекте, который не мог даже рассчитывать тогда на практическое применение и имел лишь целью заявить перед кем следует об усердии и благонамеренности его автора. Говорили еще кое-что, но все это были одни темные толки: достоверно никто из студентов не знал ничего, протоколы заседаний хранились в тайне, а профессора молчали. Слухи эти пошли от Урманова, который был уже довольно близок к профессорской среде, но, по своей экспансивности, смотрел на многое глазами студентов. В последнее время слухи получили некоторое подтверждение. Говорили об осторожных доносах на некоторых любимых профессоров. Это возбуждало пылкое негодование, но и споры... Большинство допускало достоверность слухов. Другие стояли еще за чеха [1].

Но и к этому я относился теперь равнодушно. Я только наблюдал спокойствие и уверенность, с каким чех

---

[1] Так как и место действия, и время довольно определенны, то считаю нужным сделать категорическую оговорку, что личность, о которой идет речь, *совершенно вымышленная*. Чеха-профессора никогда, сколько мне известно, в академии не было.

начал свою лекцию. Он знал о смерти Урманова. Знал о возбуждении против него лично, но он начал с того самого места, на котором остановился в прошлый раз, как будто ничего не случилось. «Наука идет своим путем» — это была его любимая фраза. И только раз, в самом начале лекции, он приподнял пушистые длинные ресницы, и из-под них блеснул осторожно-внимательный, быстро изучающий взгляд, как у спокойного крупного зверя, предвидящего опасность... Но тотчас же ресницы закрылись, взгляд настороженного зверя потух... И опять ровно лился его сочный баритон.

— ...Таким образом, пузырчатое животное описываемой разновидности представляется нам простым мешком, лишенным самых элементарных органов. Поселяясь в желудке высшего животного, оно является окруженным со всех сторон питательной средой...

— Питательной средой, господа,— задумчиво и както особенно вкусно повторил чех, приподнимая кверху глаза и как бы ища на потолке лучших и еще более вкусных слов.

— ...Существование, которое, с точки зрения животной экономии, должно быть признано идеальным. Ибо получать от природы возможно более при возможно меньшей затрате энергии,— не в этом ли состоит основной принцип приспособления... А приспособление, господа,— закон жизни...

Лектор опять остановился, и его быстрый взгляд обежал аудиторию. По ней пронесся легкий шепот, выражавший возбуждение интереса. Подобные легкие экскурсии от сухого изложения в область общих идей всегда производят освежающее впечатление. «Тоже приспособляется к аудитории»,— мелькнула у меня мгновенная мысль.

Затем голос Белйчки полился еще ровнее, точно струя масла. Совершенно незаметно, постепенными взмахами закругленных периодов, он подымался все выше, оставляя к концу лекции частные факты и переходя к широким обобщениям. Он действительно, кажется, любил науку, много работал и теперь сам увлекся своим изложением. Глаза его уже не сходили с потолка, обороты стали еще плавнее, в голосе все чаще проглядывали эти особенные, вкусные ноты.

Со стен смотрели картины, изображающие раскрытые желудки, разрезы кишок и пузыри, «ведущие благополучные существования». Два скелета по обе стороны кафедры стояли, вытянув руки книзу, изнеможенно подогнув колени, свесив набок черепа и, казалось, слушали со вниманием, как в изложении профессора рушились одна за другой перегородки, отделяющие традиционные «царства», и простой всасывающий пузырь занимал подобающее место среди других благополучных существований...

Аудитория давно была увлечена. Я оглянулся назад и увидел ряды внимательных лиц и глаза с расширенными зрачками... Очевидно, меж двух увлечений — научной мыслью и пылким негодованием — настроение молодежи влилось в первое русло; чех овладевал не только вниманием, но и сердцами аудитории.

Я чувствовал себя вне обоих увлечений. Мое настроение шло своим особенным путем, оторванным и чуждым настроениям молодой толпы товарищей. Меня почти гипнотизировал жирный баритон профессора. Он удивительно гармонировал, как мне казалось, с содержанием лекции, вернее, с теми клочками ее, которые ярко западали в мой мозг. Я смотрел на Белйчку, не сводя глаз. Да, да, да... Именно этим убедительно сочным голосом следует говорить об «идеально благополучных» пузырях. И именно такой голос должен быть у человека, знающего эти истины... Да, это истина... Вот формула жизни ясная, простая, убедительная до очевидности. Только... Чем он так доволен? Чему он так очевидно радуется, и отчего сверкают глаза у этих молодых людей?.. Что тут может радовать? Против чего тут негодовать?..

И опять с моими глазами сделалось что-то, как утром, когда я смотрел на Тита. Фигура Белйчки то приближалась, то удалялась, странно расплываясь и меняя очертания... Довольное, упитанное лицо, с «жировыми отложениями и пигментацией...» Одно только это лицо, плавающее в сочных звуках собственного голоса... Еще минута, и вместо лица — благополучный пузырь, ведущий «идеальное» существование... И вдруг это созерцание прервалось железным скрежетом, холодящим душу и вызывающим содрогание.

Я встал, не дождавшись конца лекции, и вышел. И почти тотчас же раздался оглушительный дружный гром аплодисментов. Он встревожил старика суб-инспектора, который семенил с вытянутым лицом к первой аудитории. Но, разобрав, в чем дело, он перевел дух и сказал с облегчением:

— Ну, вот, ну, вот, слава богу. Немного поаплодировать, — это все-таки лучше...

А я остановился с чувством тупого удивления; все теперь точно застигало меня врасплох... Ну, да... конечно. Это они аплодируют Белйчке. Еще вчера я бы аплодировал так же... Или, быть может, страстно противился бы аплодисментам... Теперь я был в стороне .. Я не восторгался и не негодовал. Я прислушивался к тому, что происходило в моей душе...

У крыльца стояла линейка, ожидавшая трех часов и конца лекций, чтобы отправиться в Москву. Я сошел со ступенек и сел в линейку. Только отъехав на некоторое расстояние, я вдруг вспомнил, что мне совсем не надо в Москву. Тогда я соскочил на ходу. На меня посмотрели с удивлением, но мне было безразлично. Я оказался как раз у дорожки, где когда-то видел Урмановых вместе .. Куда же мне идти? Да, я вышел с последней лекции... Значит, нужно идти в столовую...

IV

За буфетом, у входа в столовую, как всегда, стояла молоденькая немочка. Она дружески улыбнулась, кивнув хорошенькою, почти еще детскою головкой, и протянула мне обеденный билет. Я ответил на поклон и даже, кажется, повторил на лице веселую улыбку, которой ежедневно обменивался с нею. Но вдруг мне пришло в голову, что цвет ее лица совершенно такой же, как у профессора Белйчки. слишком белый и слишком розовый. Я взглянул пристально. Фрейлейн сразу как-то потупилась под моим взглядом, и все лицо ее, даже тонкие, немного оттопыренные ушки зарделись пунцовым румянцем. Из кухни несся густой запах капусты и котлет.

«Ресторанная красота, расцветающая среди питательных запахов. Тоже вполне благополучное существование...» — подумал я и с этой мыслью вошел в столовую.

Господин Шмит, отец девушки, толстый немец, с головой, суживающейся кверху, и с оттопыренными ушами, как у дочери, наливал какому-то студенту суп с таким снисходительно величавым видом, как будто оказывал этим благодеяние на всю жизнь.

Все мы, конечно, были знакомы господину Шмиту. Он был истинный артист своего дела и знал студентов не только по фамилиям, но и по степени их аппетита и по их вкусам. Меня всегда забавляло странное сходство толстого и некрасивого немца с его субтильной и хорошенькой дочкой. Когда он смеялся, широкий рот раскрывался до ушей, и он становился похож на толстую лягушку... Девушка казалась мне теперь маленьким головастиком...

— Добрый день, господин Потапов... Теперь мы сам будем обедайт с большой апетит,— сказал господин Шмит, кланяясь мне и улыбаясь самым благосклонным образом. Эту фразу он произносил под конец обеда почти ежедневно, желая, вероятно, примером своего аппетита и видом своей сытой фигуры внушить хорошую идею о доброкачественности продуктов.

— Егор! поставь мой прибор рядом с господин Потапов.

Егор поставил тарелки, подал суп и откупоренную бутылку пива. Господин Шмит принялся за обед с видом необыкновенного довольства. Через несколько минут в тарелке ничего не было: господин Шмит отломил кусок булки, обтер им засаленные губы и тотчас же отправил в рот. Затем он посмотрел на меня, прищурив один глаз, улыбнулся с лукавым торжеством и отпил сразу полкружки пива. Господин Шмит щеголял своеобразной гастрономической эстетикой, внушавшей зрителю невольный аппетит.

— Что вы делаете, господин Потапов? — сказал он вдруг довольно строго.— Вы смотрите на другой человек, как другой человек кушает, а ваш суп стынет.

И, точно учитель, желающий смягчить выговор шуткой, он прибавил мягче:

— Машин надо смазывайт... не правда ли, это так?..

— Да, господин Шмит, именно так: машину надо смазывать,— подтвердил я, принимаясь за ложку.

— Студент должен это делать особенно,— глубокомысленно сказал господин Шмит.— Не правда ли? это так?

— Почему же, господин Шмит, студент особенно?

— Живот пустой — голова не работает... Голова не работает, кушать нечего...

Господин Шмит залился веселым смехом, допил залпом свою кружку и обтер пену.

Я слушал эти афоризмы и смотрел на артистические приемы господина Шмита так, как будто все это были для меня новые откровения... Но когда я сам поднес ложку к губам,— жир, плававший на поверхности полной тарелки, вызвал во мне какое-то содрогание. Я беспомощно положил ложку.

— Ну? — спросил с беспокойным участием господин Шмит...— Мой суп — плохой суп?..

— Нет, господин Шмит,— ответил я,— но я что-то... не могу.

— Не могу кушать? Что значит не могу?.. Это значит, вы нездоровы. Минна, господин Потапов нездоров. Дай сейчас одну рюмку водки и одну щепотку перец. Мы сейчас будем репарировать машин господин Потапова.

Я наскоро и с легким содроганием поблагодарил господина Шмита и его дочку, собиравшихся не на шутку заняться починкой моей машины собственными средствами, и вышел из столовой.

Кучка студентов, вероятно засидевшихся в аудитории за продолжением споров о Белйчке, спешно торопилась в столовую, все еще громко разговаривая. Я знал, что они сейчас накинутся на меня, и нарочно свернул в сторону к парку.

В парке было тихо и пусто. Деревья стояли безлистые, сонные. Кое-где из-под талого снега проглядывали гниющие листья... Это зрелище тихого умирания природы меня успокаивало. В разложении павшего листа, в грустно поникшей желтой траве, в легком прелом запахе, который стоял в воздухе, не было ничего оскорбляющего и бередящего мои теперешние ощущения. Я ходил до утомления, до темноты, вслушиваясь, как где-то каплют слезы с деревьев, как шуршат, расправляясь, отсыревшие на земле ветки, вглядываясь, как сумерки закутывают все кругом, как ночь покрывает всю эту печаль умираю-

щей или дремлющей природы своей целомудренной темнотой.

В номера я вернулся поздно. Тит спал, не погасив лампу, нарочно для меня. В лампе, вероятно, испортилась горелка: газ просачивался в какое-то отверстие, и от этого в тишине нашего номера слышалось тоненькое, тягучее шипение, которому Тит вторил мерным носовым свистом. Большой шкаф и полки с книгами, казалось мне, прислушиваются в каком-то насмешливо-сдержанном молчании к этому нелепому и ненужному свисту. Ноющий и жалкий писк лампочки раздражал меня гораздо менее, чем звуки, исходившие от моего приятеля. Я лег и, закрывшись, стал дремать.

Но вдруг я вскочил в ужасе. Мне отчетливо послышался скрежет машины, частые толчки, как будто на гигантском катке катали белье... Казалось, я должен опять крикнуть что-то Урманову... Поэтому я быстро подбежал к окну и распахнул его... Ночь была тихая. Все кругом спало в серой тьме, и только по железной дороге ровно катился поезд, то скрываясь за откосами, то смутно светясь клочками пара. Рокочущий шум то прерывался, то опять усиливался и, наконец, совершенно стих...

Когда я закрыл окно, мне стало страшно. Кругом — только машины. Разбуженный моими шагами и стуком окна, Тит сел на постели, обвел комнату бессмысленным взглядом, опять упал на спину и стал всхрапывать... И опять раздался тонкий писк лампы. Сопение Тита казалось мне бессмысленным и мертвым... В тягучем пении лампы слышалось, наоборот, загадочное выражение...

Когда-то в детстве мир был для меня населен таинственными духами, и по ночам я дрожал от суеверного ужаса. Теперь мой ужас был глубже и холоднее. Нет ничего, ничего!.. Ночь, шкафы, темные углы и серые стены... Темные окна и ветер в трубе... Машина, называемая лампой, пищит о чем-то, точно комар над ухом, так жалобно, что мне хочется плакать. Машина, называемая Титом, всхрапывает и свистит ноздрями так бессмысленно, что ее хочется разбить... А машина, которую я называю я, лежит без движения, без мысли, чувствуя только, что то, холодное, склизкое, ужасное и отвратительное, что запало в душу утром, стало мною самим,

центром моих ощущений. И все, что я ни ощущаю в себе, все только *оно*, и нет во мне ничего больше...

Холодно, пусто, мертво...

Так кончился этот первый день моего нового настроения. А наутро я опять проснулся как будто успокоившимся, но все же с сознанием, что это настроение заняло еще некоторое пространство в душе.

Следующие дни мне вспоминаются в тумане, без света и теней, точно осенние сумерки...

V

— Не пойдем ли сегодня на сходку? — спросил у меня Тит, как-то отвернувшись в сторону.

— Зачем? — спросил я.

— Да ведь ты же ходил прежде... А сегодня *вопрос* очень интересный.

Слово «вопрос» Тит произнес с какой-то неловкостью, как человек, сознающий, что в его устах оно звучит натянуто и странно.

— Да, я прежде ходил, а теперь считаю лишним. А вот *ты* прежде мало интересовался «вопросами»... А теперь заинтересовался?

Тит посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. Это был безмолвный диалог.

Тит спрашивал у меня: неужели я не понимаю, что он любит меня и пугается моего отчуждения от всего, что интересовало меня прежде; что в его упоминании о «вопросах» сказались именно эта любовь и эта боязнь, что, наконец, я отвечаю ему холодно и незаслуженно жестко?

Я понимал глубоко-трогательное значение этого взгляда, но у меня не нашлось ответа. Где-то глубоко, откуда-то издалека шевельнулся неясный намек, но... я отвернулся.

Лицо Тита потемнело...

— Послушай, Потапов,— сказал он сердитым голосом.— С *тех* пор ты стал все равно, как цепная собака...

Я смотрел на его неприятно злое лицо и думал:

«Вот он какой... Тот раз он двоился в моих глазах... Теперь двоится в моем представлении. Который Тит настоящий?»

И я все смотрел на Тита любопытно и пытливо. От этого взгляда лицо Тита все более темнело, становилось суше и неприятнее. Он нахлобучил на голову картуз, надел пальто, расшвырял на столе мои книги, взял из них сборник журнальных статей Варфоломея Зайцева, который недавно купил для меня же, и, сунув его под мышку, вышел, не оглядываясь, из номера.

Он имел вид человека, неожиданно для самого себя пустившегося в самое отчаянное предприятие.

В этот день в первый раз Тит ораторствовал на сходке. Ночью он пришел позже меня, лицо его было темно-красное, и он производил впечатление выпившего, хотя никогда не пил ни капли водки. Подойдя к моей кровати, он постоял надо мной, как будто желая рассказать о чем-то, но потом быстро отвернулся и лег на свою постель. Ночью он спал беспокойно и как-то жалобно стонал... А на следующий день в академии много говорили о неожиданном ораторском выступлении Тита и много смеялись над его цитатами из Зайцева...

В молчаливом взгляде Тита я прочитал укоризну... Я понял, что чем-то оттолкнул моего друга, но у меня не нашлось нужного движения души, чтобы заровнять образующуюся трещину.

Мой внутренний взгляд в эти дни был прикован к тому серому пятну, которое стало центром моих настроений. Беспрестанно, даже в то время, когда, казалось, я ни о чем не думал, оно разрасталось в душе, занимая все больше места. Все жизненные явления я относил к этому основному впечатлению. Теперь я с чрезвычайной легкостью различал худшие проявления человеческой природы. В поступках и словах — пошлость и своекорыстие, в побуждениях — самое несложное, простое, животное. И я умел подчеркнуть это какой-нибудь одной, вскользь брошенной фразой, иногда одним словом, иной раз даже взглядом. Представление мое о людях становилось глубоко циничным. Женщины, встречая мой пристальный взгляд, смущались и краснели. Ничего специфически грязного я при этом не думал; я только видел то склизко-серое, которое одно определяло для меня человеческую природу.

От этого вокруг меня образовалась пустота. Товарищеская среда недоумевала. Ранее она меня знала и

любила. Я горячо откликался на все ее волнения, и меня привыкли «чувствовать» именно таким: волнующимся, отзывчивым на всякое дело, которое я считал справедливым. У меня были союзники и противники. И я был в союзе или в борьбе среди того маленького мирка, который учился, думал, волновался и спорил вокруг академии.

Теперь эта связь резко разорвалась. Вскоре после лекции Белйчки меня встретил студент Крестовоздвиженский, бывший семинарист, говоривший на о, смотревший на все очень определенно — прямолинейно и просто.

— Слушайте, Потапов,— сказал он,— что вы скажете про Белйчку? До сих пор мне не удалось еще слышать вашего мнения. Эта овация, на мой взгляд, совершенный позор...

Я посмотрел на него рассеянным взглядом и сказал:

— По-моему, Белйчка совершенно прав.

— То есть... Как это прав? Вы считаете, что все, что говорил про него покойный Урманов,— выдумка?.. А я считаю, что все это совершенная правда... Конечно, я понимаю: все-таки нужны конкретные факты... Ну и тому подобное... Вы тоже скажете, что еще нельзя выражать порицание...

Он пытливо посмотрел на меня. Еще недавно мы были с ним если не друзьями, то все же близки...

— Да... Вот многие говорят, что надо подождать ясных доказательств... Ну, а аплодировать можно и без доказательств?.. Свидетельство умершего товарища... этот в известном смысле голос из-за могилы...

Он волновался, и его громкий, грубоватый голос дрожал.

— Между тем... разве вы не понимаете? Этой овацией вперед решен вопрос в пользу Белйчки.

— Позвольте...— сказал я. Я хотел ответить, что прежде всего я вовсе не аплодировал Белйчке, но Крестовоздвиженский уже не слушал. Он продолжал возбужденно говорить о том, что видит в этом эпизоде своего рода тяжбу между памятью Урманова и подлецом, который...

Вокруг нас собиралась кучка студентов, внимательно слушавших этот односторонний диалог. Здесь были противники Белйчки, как и Крестовоздвиженский, которые

считали, что я должен быть на их стороне, и удивлялись, что я как будто возражаю. Были и другие, которые теперь считали меня своим неожиданным союзником, и тоже не понимали, почему это случилось?..

Я сознавал, что это общее недоразумение... Когда я говорил, что Белйчка прав,— я разумел совсем не то, что они. Моя мысль шла непонятными для них, как бы подземными ходами, и я чувствовал, что, если я ее выскажу,— это объединит против меня и тех, и других... Я представил себе неожиданность, растерянность, недоумение. Может быть негодование, может быть споры, а может быть простое пренебрежение к непонятной точке зрения... Поэтому я сказал только:

— Вы, Крестовоздвиженский, теряете слова попусту. Я не аплодировал Белйчке... Но...

— Но? — переспросил Крестовоздвиженский, вглядываясь с ожиданием в мое лицо...

— Но голосов из-за могилы не бывает ни в каком смысле... И я не понимаю, о какой тяжбе вы говорите?

Широкое лицо Крестовоздвиженского внезапно покраснело, а небольшие глаза сверкнули гневом... «Как у быка, которого подразнили красной суконкой»,— мелькнуло у меня в голове. Я смотрел на него, и он смотрел на меня, а кругом стояло несколько товарищей, которые не могли дать себе отчета, о чем мы собственно спорим. Крестовоздвиженский, несколько озадаченный моим ответом, сначала повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился и сказал с натиском и с большой выразительностью:

— Хорошо... Пусть так. Но, может быть, вы вспомните, что говорит Писарев: скептицизм, доведенный дальше известного предела, становится подлостью...

Кучка студентов замерла при этом резком оскорблении. Но меня оно не задело. Я только пожал плечами и повернулся спиной...

Трещина между мною и моими товарищами залегала все глубже. Прежде я ценил в Крестовоздвиженском его прямоту, грубую непосредственность и какое-то непосредственное чутье правды. Мне казалось, что он чаще других и скорее меня находит направление, в котором лежит истина, не умея доказать ее. Поэтому его последняя фраза, сказанная с грубой и взволнованной экспрес-

сией, залегла все-таки у меня в душе... Скептицизм?.. Разве то, что теперь во мне, скептицизм? Но я не сомневаюсь, я так *ощущаю*.

Войдя в свой номер, я взглянул на портрет Фохта... «Наше время ниспровергло разницу между вещественным и нравственным и не признает более такого деления...» Ну, вот. И они не признают такого деления... Только они этому радуются... Они не видели того «вещественного», что так неожиданно явилось мне там, на рельсах. Ну, да. Разделения нет! И вещественное, и нравственное лежало там в грязном черепке... Они этого не чувствуют, а я чувствую в себе, в них, во всей жизни...

Возрастающее отчуждение мне было больно. Я жалел о том времени, когда я мог жить с товарищами общей жизнью Но истина,— говорил я себе,— есть истина, то есть нечто объективное, от чего можно отвернуться лишь на время. Все равно она напомнит о себе этим душевным холодом и скрежетом. От нее не уйдешь, и отворачиваться от нее нечестно.

С этими мыслями я шел по аллее парка без цели и не давая себе отчета, куда иду. Я очнулся около пруда и вдруг остановился, пораженный ясной, как мне казалось, мыслью...

Солнце садилось в синюю тучу, тронув ее края косыми лучами. Мне вспомнилось вдруг, что однажды тут вот, на скамье, сидели Урмановы и оба смотрели на закат, который тогда был горячее и ярче. Края облаков горели пурпуром и золотом, остальная масса синела той смутною синевой, в которой только угадываются, то развертываясь, то утопая, какие-то формы... Облака это, или леса, или странные животные?.. Я тогда унес в душе два человеческих лица, озаренные и мечтательные, как это облако. И я шел навстречу ему, с его золотыми краями и смутной глубиной... Роман Урмановых казался мне таким же золотым и таким же смутным... Что это будет? Спустится ночь, и туча, быть может, раскинется широко по всему небу, и в темноте засверкают зарницы, и гром раскатится над темными полями... Или облако унесется далее, вслед за убегающим днем, и будет так же сверкать на чужом дальнем горизонте, и на него будут смотреть другие глаза, и в чьей-то душе зародятся такие

же мечты... А здесь будет молчаливая, полная грусти ночь? Но что бы то ни было,— оно мне казалось тогда прекрасно, как эти золотые края и как эта синяя глубина..

Теперь я стоял на этой же дорожке, около памятной скамейки, пораженный внезапною мыслью... «Как это ясно,— думал я,— как поразительно ясно!»

Ничего этого нет! Ни золота, ни отблесков, ни глубокой мечтательной синевы, порождающей обманчивые образы и грезы. Стоит приблизиться к этому облаку, войти в него, и тотчас же исчезнет вся эта мишура.. Останется то, что есть на самом деле: бесчисленное множество водяных пузырьков, холодная, пронизывающая, слякотная сырость, покрывающая огромные пространства, мертвая, невыразительная, бесцветная. И от времени до времени ее прорезывает бессмысленный, страшный и такой же холодный скрежет...

Этот образ на время совершенно завладел моим воображением.

Еще недавно я так же смотрел на жизнь, как на это облако, из обманчивого далека. Жизнь сверкала для меня золотом и багрянцами, как декорации фальшивой пьесы. Теперь часто где-нибудь в парке, еще полном воспоминаниями, или в лиственничной аллейке, или на платформе железной дороги я переживал все это по-иному, с изнанки... Валентине Григорьевне и ее американскому сожителю понадобились деньги. Старый генерал не давал. Он хотел выдать ее законным браком по своему выбору. Пришлось обмануть старого генерала. У «американки» сильный характер и два взгляда. Один холодный и жесткий. Другой влекущий, обещающий, манящий и трогательный. Это ее оружие в борьбе за существование. С его помощью она искала себе фиктивного мужа. Я тоже чувствовал на себе силу этого взгляда. Урманов отдался ему беззаветно... Если бы люди смотрели на все это проще... Если бы они знали, что правда только в физиологии,— все это обошлось бы много дешевле. Но люди опутали физиологию бутафорскими украшениями... И вот...

Шаг за шагом я обнажал таким образом всю жизнь, разлагая ее. После разложения я рассматривал остаток и, понятно, не находил того, что видел ранее... На по-

сторонний взгляд могло показаться, что я совершенно здоров. Я вел обычный образ жизни, ходил на лекции, в столовую, в лабораторию... Ездил в Москву, и даже попрежнему мы с Титом ходили к полустанку. Меня влекло туда, и Тит следовал за мной с безотчетной тревогой. Только прежних бесед не было. Я молчал, Тит шагал также в угрюмом молчании. Я не звал Тита и порой уходил один. Зачем? Только затем, чтобы посмотреть еще раз, как колеса вагонов плотно прижимаются к рельсам. А кругом скучно свистел в проволоке ветер, порой вьюга шипела в щелях беседки, телеграфные столбы стонали от внутреннего озноба, и с откоса глядел грустный огонек сторожевой избушки... И по-прежнему оттуда выходил сторож, и его огонек, как светляк, ползал по шпалам. По-прежнему поезда встречала сторожиха, и ветер трепал одежду на ее большом животе, а за подол держались озябшие дети. Когда Тит бывал со мною, он подзывал детишек и наделял их скромными гостинцами, но я уже не мечтал о том, что мы скоро сделаем и эту семью счастливой. Что такое счастье?.. Пустое слово... Жизнь для самых якобы счастливых — только обман. Стоит ли думать о мелких деталях, когда вся картина фальшива и не стоит внимания...

Порой мне невольно вспоминался Лермонтов:

> А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
> Такая пустая и глупая шутка!..

Нет, это еще слишком красиво. Лермонтов не мог чувствовать всей правды, и его «холодное вниманье» было для меня слишком эффектно...

Порой я подолгу засиживался в беседке. Ноги у меня коченели, пальцы рук теряли способность сгибаться; ощущение холода пронизывало меня насквозь, смешиваясь с тем внутренним холодом, который лежал в глубине души. Зубы стучали, весь я дрожал, съеживался и казался себе таким маленьким, жалким и ничтожным, как последняя озябшая собачонка. И когда я в эти минуты вспоминал о прежних гордых мечтах, то в темной беседке я слышал свой собственный смех, такой странный и жалкий, что мне становилось жутко: казалось, кто-то другой смеется здесь надо мною...

Однажды, когда я забылся таким образом, в беседку вошел встревоженный Тит. Я понял: он боялся за меня. Он думал, что меня «тянет» к рельсам, и не решался высказать это прямо.

— Нет, брат, этого нет,— сказал я, вставая ему навстречу.

— Чего?

— Ну, ты знаешь... Конечно,— ничего удивительного не было бы. Жизнь, Титушка, «как посмотришь с холодным вниманьем...»

В это время подошел пассажирский поезд. Он на минуту остановился; темные фигуры вышли на другом конце платформы и пошли куда-то в темноту вдоль полотна. Поезд двинулся далее. Свет из окон полз по платформе полосами. Какие-то китайские тени мелькали в окнах, проносились и исчезали. Из вагонов третьего класса несся заглушенный шум, обрывки песен, гармония. За поездом осталась полоска отвратительного аммиачного запаха ..

— Пахнет человеком,— сказал я Титу, когда поезд исчез. И потом, положив ему руку на плечо, я сказал: — Это, брат, своего рода прообраз. Жизнь... Можно ехать в духоте и вони дальше, или идти, как вон те фигуры, в темноту и холод... Или, как Урманов,— остаться на рельсах.

— Ах, Потапыч,— с тоской сказал Тит.

— Не беспокойся, Титушка. Я не делаю выбора. По-моему, все одинаково скверно. Смерть, брат,— вывод из жизни. Прежде она мне часто казалась прекрасна... Теперь... Ну, пойдем...

Тит глубоко вздохнул и опять сказал фразу, которую я уже раз слышал сквозь сон:

— Ах, Потапыч, Потапыч! Вот до чего доводит философия...

— То есть понимание,— хочешь ты сказать,— возразил я.— Это, брат, штука не произвольная... Попробуй вот, нарочно, скажи себе мысленно «дважды два» и запрети мозгу ответить «четыре». Если бы тебе грозили смертью,— все-таки не удержаться. Мозг сам скажет «четыре» с точностью машины... Помнишь Галилея? У него требовали, чтобы он отрекся от истины, которая для него была очевидна. И он согласился. Это, брат, пустяки гово-

рят историки... самоотверженное служение истине и прочее. Старый трус пошел на все унижения и торжественно отрекся. А потом у него вырвалось непроизвольным рефлексом: e pur si muove...* То есть дважды два — четыре... И, конечно, это в нем говорила не «любовь к истине», а непроизвольный рефлекс мозговой машины, то есть, в сущности, брат, простая физиология...

Я говорил больше для себя, не заботясь о том, как поймет меня слушатель. Но на этот раз Тит сказал очень решительно:

— Дважды два, Потапыч, действительно четыре... А ты городишь какую-то чепуху...

— Нет, Титушка, к сожалению, это не чепуха. Помнишь Пятницкого?

Пятницкий был наш учитель. Он был немного смешон, и жена изменила ему с офицером. Он покушался на самоубийство и потом объяснял товарищам, что стрелялся собственно не оттого, что изменила именно его Параша, а оттого, что «все, все они одинаковы»...

— Ну, помню... Так что же? — сказал Тит.

— А то, Титушка. Нам мало знать, что около нас благополучно... Понимаешь... хочется верить, что и все хорошо, близко, далеко... в бесконечности... времени и пространства.

— Это пустяки,— сказал Тит.— Это опять философия.

— Погоди... Я постараюсь тебе объяснить. Приятно тебе было бы жить в доме, где все валится, гниет и плесневеет? Ты знаешь: тебя-то еще не придавит, но самое ощущение этого разрушения... это, брат, смертная тоска... Теперь представь себе, что кто-нибудь доказал ясно, как дважды два, что весь наш мир, как старая развалина, одряхлел, заболел, кряхтит и скоро свалится, ну, скажем, этак через двести — триста лет... Правда, тебе стало бы очень скучно?.. А между тем, что тебе за дело до того, что будет через триста лет? И все-таки руки опустились бы... Люди стали бы сходить с ума... Понимаешь, Титушка, что я говорю... Хочется жить и умирать в хорошем, светлом и прочном доме... В хорошем мире, в хорошей вселенной, где все осмысленно, где дышит разум и прав-

* а все-таки она вертится (*итал.*).

да .. Тогда стоит достигать чего-нибудь... Я думаю: вот это справедливо. И я хочу, понимаешь ты, хочу страстно, неудержимо, чтобы то, что я считаю справедливым, было... чтобы где-то рядом, близко, далеко, в самой бесконечности двигалось с бесконечною силой то, что движется во мне, как слабая искорка... Правда, красота, добро, любовь... Как бы их ни называть... Ну, одним словом, то, что светит в душе, от чего сильнее бьется сердце... Понимаешь ты меня?..

— Ну-у...— сказал Тит, и я почувствовал в темноте, что Тит смотрит на меня с глубоким вниманием...

— Ну, этого всего... нет... все бутафория, декорация... Это облако, позолоченное солнцем... А внутри...

И я развил перед ним овладевший мной образ. И, пока мы медленно шли по темной дорожке и я говорил,— Тит шагал с молчаливым вниманием. Когда мы были уже у ворот и нам вблизи засветили окна «казенных» номеров,— Тит замедлил шаги и сказал:

— Не хочется, просто, возвращаться к себе... Ах, Гаврик,— прежняя твоя философия была гораздо приятнее...

— Что делать, Титушка... Ты же смеялся над моим «идеализмом». То было дважды два пять или много больше... А это — как раз дважды два четыре...

В первый раз с того времени я говорил с Титом откровенно. Он был этому рад, но радость была скучная. А мне стало как будто легче.

VI

Были несколько лиц, которых я не решался еще затронуть своим циническим анализом

Одним из них был профессор Изборский.

Однажды я вошел в музей, где он занимался со студентами по физиологии растений. Стены были увешаны таблицами. В ряде рисунков был изображен гетевский метаморфоз. Изображения клеточек, разрезы стеблей, формы листьев... Все это было отчетливо, красиво и както чисто. Меня не оскорбляла и не наводила на обычные мысли идея живого растения... Только остатки насекомого в чашечке мухоловки издали напомнили ряд неприятных ощущений. В общем я все-таки относился снисходи-

тельно к попыткам растений приобщиться к процессу жизни...

Профессор Изборский был очень худощав, с тонким, выразительным лицом и прекрасными, большими серыми глазами. Они постоянно лучились каким-то особенным, подвижным, перебегающим блеском. И в них рядом с мыслью светилась привлекательная, почти детская наивность.

Когда я вошел в музей, профессора Изборского окружала кучка студентов. Изборский был высок, и его глаза то и дело сверкали над головами молодежи. Рядом с ним стоял Крестовоздвиженский, и они о чем-то спорили. Студент нападал. Профессор защищался. Студенты, по крайней мере те, кто вмешивался изредка в спор, были на стороне Крестовоздвиженского. Я не сразу вслушался, что говорил Крестовоздвиженский, и стал рассматривать таблицы в ожидании предстоявшей лекции.

— Да... профессор,— мы тоже ценим науку,— говорил Крестовоздвиженский своим грубовато-искренним голосом,— но мы не забываем, что в то время, как интеллигенция красуется на солнце, там, где-нибудь в глубине шахт, роются люди... Вот именно, как говорит Некрасов: предоставив почтительно нам погружаться в искусства, в науки...

Изборский сделал порывистое движение, как будто хотел возразить, но вдруг спохватился, взглянул на часы и сказал:

— Господа... Пора начинать лекцию...

Действительно, небольшая аудитория в музее уже была полна. Изборский с внешней стороны не был хорошим лектором. Порой он заикался, подыскивал слова. Но даже в эти минуты его наивные глаза сверкали таким внутренним интересом к предмету, что внимание аудитории не ослабевало. Когда же Изборский касался предметов, ему особенно интересных, его речь становилась красивой и даже плавной. Он находил обороты и образы, которые двумя-тремя чертами связывали специальный предмет с областью широких общих идей...

Главный предмет, которым Изборский занимался специально, была роль хлорофилла в жизни растения. И теперь на столе перед ним стоял небольшой прибор, с несколькими трубками, расположенными по радиусам.

В центре этого прибора профессор поместил спрепарированную часть листа. Видны были органы дыхания, устьица и зерна хлорофилла — этой зеленой крови растений. Этот прибор и опыты, которые Изборскому удалось произвести с его помощью, доставили ему почетную известность в научном мире. В поле зрения, доступная вооруженному взгляду, раскрылась таинственная работа солнечной энергии в зеленом зернышке хлорофилла.

В этот день Изборский был особенно в ударе. Шаг за шагом, ясно, отчетливо, осязательно он изобразил все фазы мирового процесса, в котором совершается взаимодействие животного и растительного царств. И вдруг, без эффекта, естественно и просто он перешел к предмету недавнего спора со студентами... Зернышко хлорофилла совершает великую работу .. Оно в листе. Лист красуется и трепещет на воздухе, залитый потоками света, в то время, когда корни роются глубоко в темных глубинах земли. Но роль листа не украшение, не простая эстетика растения. В нем начало всей экономии живой природы. Это он ловит солнечную энергию, он распределяет ее от верхушечной почки до концов корневых мочек... И когда он красуется в лучах солнца, когда он трепещет под дыханием ветра, в это самое время он работает в великой мастерской, где энергия солнечного луча как бы перековывается в первичную энергию жизни...

И, озаряя аудиторию своими одушевленными и наивными глазами,— он закончил сравнением Крылова в басне «Листья и корни». Да, люди науки могут без оговорки принять это ироническое сравнение. Если они листва народа, то мы видим, какова действительная роль этой листвы. Общественные формы эволюционируют. Просвещение перестанет когда-нибудь быть привилегией. Но,— каковы бы ни были эти новые формы — знание, наука, искусство, основные задачи интеллигенции останутся всегда важнейшим из жизненных процессов отдельного человека и всей нации...

Когда он смолк, некоторое время в аудитории стояла глубокая тишина. И вдруг вся она задрожала от бурных рукоплесканий. Молодежь восторженно приветствовала своего оппонента...

Изборский уехал в Москву, где у него была лекция в университете. В музее долго еще обсуждалась его лекция,

а я уходил с нее с смутными ощущениями. «Да,— думалось мне,— это очень интересно: и лекция, и профессор... Но... что это вносит в мой спор с жизнью?.. Он начинается как раз там, где предмет Изборского останавливается... Жизнь становится противна именно там, где начинается животное...»

Но все же передо мной в тяжелые минуты вставали глаза Изборского, глубокие, умные и детски наивные... Да, он много думал не над одними специальными вопросами. Глаза мудреца и ребенка... Но, если они могут так ясно смотреть на мир, то это оттого, что он не «увидел» того, что я увидел. Увидеть — значит не только отразить в уме известный зрительный образ и найти для него название. Это значит пустить его так, как я его пустил в свою душу...

И много раз после этого я хотел подойти к Изборскому и сказать ему все то, что, мне казалось, я знаю... Но, странно: каждый раз мне становилось отчего-то совестно и стыдно...

VII

Был и еще человек, которого я не решался затронуть своим анализом.

Это была девушка с Волги...

Я просто обходил ее в своих мыслях, но ее образ стоял в моей душе где-то в стороне, так что я чувствовал его присутствие. Я только боялся взглянуть на него ближе, хотя и знал, что когда-нибудь это придется сделать... И тогда, быть может, серое пятно расползется и займет уже всю мою душу без остатка.

— Тебе письмо,— сказал как-то Тит.— Но не в академии. Придется сходить в отделение...

Я не пошел... Одним вечером, когда я опять сидел в беседке платформы, пассажирский поезд, шедший из Москвы, стал замедлять ход. Опять замелькали освещенные окна, послышалось жужжание замкнутой вагонной жизни. Но когда поезд тронулся, на платформе осталась одинокая женская фигура...

Во мне что-то дрогнуло. Если это она, то ее появление застает меня врасплох... На нее упала полоса света

из окна последнего вагона. Я узнал ее: да, это была девушка с Волги.

По-видимому, она ждала, что ее встретят, и оглядывалась по сторонам. Поезд таял в темноте, красная звездочка в конце его становилась все меньше. Кругом было пусто. А я сидел в глубине беседки, боясь пошевелиться.

Девушка положила небольшой чемодан на платформу и быстро прошла через полотно дороги на противоположный откос, к будке сторожа. Я на мгновение потерял ее из виду, и затем ее тонкая фигура показалась в приотворенной двери.

— Здравствуй, Григорьевна,— крикнула она в сторожку.— Жива, что ли?

— Ась?.. Кто там? — отозвалась сторожиха.

— Я это, знакомая... Не признала, что ль?

Дверь закрылась, но через минуту в ней опять появились две женские фигуры.

— И то, не признала,— говорила сторожиха приветливо.— Ишь, высока была, еще выросла будто... Что ты поздно, и одна-одинешенька? Ведь темно.

— Ничего, Григорьевна. Я думала, человек тут один выйдет. Писала я ему .. Ну, что у вас нового? Ванюшка как? Жив?

— Чего ему делается? Хошь бы прибрал господь... А новости у нас плохие... Этто человек под поезд бросился... Неприятности... Стрелочник, мол, недоглядел. А как тут доглядишь... Вот тут и еще один все шатается... На грех мастера нет... Что с ним сделаешь? Не прогонишь...

— Да, да, я знаю! Мне писали... Ну, Григорьевна, прощай... Я пойду...

— Да как же ты это, милая? Чемодан еще с тобой... Да темень, да жуть...

— Да, жутковато,— сказала девушка, оглядываясь,— особенно после того, что ты напомнила...

— Ах, милая... Поверишь, и мне-то все чудится... А то обожди!.. Семеныч хоть бы до ворот провел, а там у тебя в академии дружков много... Доведут и до Выселок.

— Нет, ничего, пойду! Меня никто не обидит. Я удачливая, Григорьевна, меня никогда не обижают.

— Ну, иди со Христом. И верно: за што тебя, экую, обидеть...

Эти знакомые мне слова («я удачливая»), сопровождаемые знакомым смехом, я услышал уже с вершины холмика. Девушка, быстро подняв небольшой чемоданчик, бодро прошла мимо беседки и пошла по дорожке. Я прижался в темный угол.

Зачем я сделал это,— не знаю. Мне показалось, что бессознательное ожидание чего-то, которое я здесь смутно испытывал, было именно ожидание этой минуты. И еще мне казалось, что я знал, что она приедет сегодня. Письмо, которое я не потрудился взять из отделения... во всякое другое время я догадался бы, что это от нее... В нем, конечно, сообщалось об ее приезде, и теперь, оглядываясь на пустой платформе, она, может быть... ждала именно меня...

Но меня — того, которого она знала, который угадал бы ее приезд и пошел бы ей навстречу, не было. Живая связь невысказанного взаимного понимания между нами прекратилась, как прекратилась она с товарищеской средой. Правда, воспоминание о ней лежало где-то глубоко на дне души, вместе с другими все еще дорогими образами. Но я чувствовал, что это только до времени, что настанет минута, когда и эти представления станут на суд моего нового настроения...

Очень может быть, что я дрожал в своем углу от неясного сознания всего этого. Может быть, кроме того, мне не хотелось появиться перед ней, такой живой и бодрой, продрогшим, съежившимся, с самочувствием жалкой собачонки. Как бы то ни было, я дал ей уйти и только тогда пошел за нею.

Но тут мне стало досадно на себя. Отчего я сразу не подошел к ней? Зачем скрылся и теперь крадусь по следам, как вор, в темноте? Чего же мне стыдиться? Что я сделал дурного? Откуда этот стыд собственного существования? Если это боязнь показать то серое, грязное пятно, которое залегло у меня в душе... то почему же я стыжусь сознания истины?..

Нет,— все равно... Я догоню ее и подойду к ней! И я быстро шел по знакомой дорожке. От движения мне ста-

ло теплее и легче. Мне казалось, что уже давно я не ходил так легко и бодро...

Но вдруг я вздрогнул от неожиданности и остановился, как вкопанный. Я думал, что девушка ушла далеко. Оказалось, что чемодан был слишком тяжел для нее. Она поставила свою ношу в стороне от дорожки и села на чемодан отдохнуть. Таким образом я неожиданно очутился лицом к лицу с ней. Несколько секунд мы простояли молча...

— Здравствуйте, Федосья Степановна,— сказал я, протягивая ей руку...

— Ах, это вы! Голубчик, Гаврик...

Она не заметила, что я назвал ее по имени-отчеству. У нас в кружке все, даже не особенно близко знакомые, звали друг друга просто по фамилиям и даже уменьшительными именами. Ее звали уменьшительно Досей. До своего отъезда она звала меня просто Потапов... Теперь назвала Гавриком. Значит, у нее сближение продолжалось за время разлуки... Для меня оно прервалось.

— Голубчик, Гаврик, как вы меня испугали.

И, схватив мою руку обеими своими руками, она радостно затрясла ее.

— Ну, вот, я ведь знала, что вы выйдете! Ведь вы получили мое письмо?.. Да, конечно! Я его нарочно послала заказным. Мне хотелось, чтобы встретили меня именно вы... Так много есть рассказать. Столько нового, какие интересные встречи... Как хорошо, как хорошо! Ну, а что у вас?.. Об Урманове я уже знаю... Бедный! Я его не знала. Кажется, такой красивый, брюнет?.. Но прежде всего,— что у Соколовых?

Соколовы были гражданские супруги. Он — немолодой сравнительно, очень добродушный студент, товарищ Преображенского. Она — малообразованная женщина с круглым веснушчатым лицом и с прямыми, черными, подстриженными в скобку волосами. Дося была с ними очень дружна и часто останавливалась у них.

Я замялся и не ответил на ее вопрос. В последнее время я совсем не видал Соколовых и не знал, что делается в кружке. Девушка вдруг перестала закидывать меня торопливыми вопросами и как будто вглядывалась в темноте. Я поднял ее чемодан, и мы пошли по дорожке.

— Знаете что,— сказала она вдруг, слегка дрогнувшим голосом.— Вы какой-то странный...

Я улыбнулся и подумал, что, к счастью, она не может видеть эту кривую улыбку...

— Нет, странный, странный,— подтвердила она.— Появились бог знает откуда... Ничего не говорите, не отвечаете на вопросы.

— Ну, на вопросы-то вы мне сами не даете ответить.

— Нет, как-то... не то вы говорите,— грустно сказала девушка и потом опять оживилась.— Ну, да завтра я все узнаю. Я здесь проживу недели две.

— А после?

— После?.. Но разве вы не знаете?.. Я ведь вам писала... Разве... разве вы не получили письма?.. А я так много вам написала... И так хотелось, чтобы вы прочли это.

— Я не получил письма.

— Значит, потерялось на почте?..

— Нет... Оно, вероятно, лежит в отделении... Я не знал, что это от вас.

— Не знали? И не могли догадаться, что я напишу?.. И письмо лежит столько дней?.. А я думала... Я *так* это писала... что думала...

Она тряхнула головой и сказала:

— Ну... поговорим после... Теперь трудно...

— Отчего же трудно? Оттого... что я странный?..— спросил я с невольной горечью...

— Д-да... Оттого, что вы странный. И оттого, что письмо осталось на почте... Этот огонек в крайнем окне, это в вашем номере?

— Да,— ответил я и прибавил: — Я все-таки очень рад, что иду с вами.

— «Все-таки»? Что это вы говорите?

— Говорю, что рад, что иду с вами... Это действительно так...

— Разве... Разве это нужно говорить?.. Да еще как-то так... особенно...

Она смолкла и шла задумавшись... Я тоже молчал, чувствуя, что на душе у меня жутко. Сначала мне казалось, что среди этой темноты, как исключение, я возьму у минуты хоть иллюзию радостной встречи до завтраш-

него дня, когда опять начнется моя «трезвая правда». Но я чувствовал, что и темнота не покрыла того, что́ я желал бы скрыть хоть на время. Мои кривые улыбки были не видны, но все же вот она почуяла во мне «странность». И правда: так ли бы мы встретились, то ли бы я говорил, если бы ничего не случилось?

— Ну, хорошо. Пойдемте молча,— сказал я, опять чувствуя, что этого тоже лучше бы не говорить.

Мы прошли мимо академии, потом по плотине и пошли к небольшой дачке, стоявшей особняком среди молодого ельника. В комнатке топилась печка, горела лампа, и в окно виднелись три фигуры.

— Теперь до свидания,— сказал я, останавливаясь и передавая чемодан.

— Как... вы не зайдете?

— Нет, вы уж одни...

— Что-нибудь... вышло у вас с Соколовыми?

— Кажется, ничего особенного.

Она как-то печально помолчала и потом сказала:

— Они ведь очень хорошие люди...

— Я знаю...

Она остановилась, хотела сказать еще что-то, но потом взяла у меня чемодан и молча протянула руку.

Я не почувствовал ее пожатия. Я задержал ее руку на одну секунду в своей, и мне казалось, что она чуть-чуть вздрогнула, как будто ожидая, чтобы ответить крепко и тепло на мое крепкое пожатие. Но эта секунда прошла, ее рука выскользнула из моей, и она тихо сказала:

— Прощайте...

— Прощайте... Федосья Степановна...

Еще несколько мгновений, и в комнатке сквозь окно я увидел оживленное движение встречи. Соколов, сутулый, широкоплечий брюнет, размашисто поднялся со стула и обнял вошедшую. Из соседней комнаты выбежала его жена и, отряхивая назад свои жидкие волосы, повисла у нее на шее. Серяков, молодой студент из кружка, к которому прежде принадлежал и я, сначала немного нерешительно подал руку, но потом лицо его расцвело улыбкой, и он тоже поцеловался с девушкой.

Я невольно остановился у палисадника, чтобы взглянуть на нее при свете. Все та же... Те же пепельные густые волосы, закрывающие часть лба и маленькие уши,

та же длинная коса, тот же спокойный, теперь засиявший радостью взгляд и та же простая уверенность движений... После оживления первых минут Дося, скидая шубку с серым воротником и дорожную сумку, очевидно, предложила какой-то вопрос, сразу вызвавший особенное настроение во всей компании. «Обо мне»,— догадался я. Соколов присел к открытой печурке и стал угрюмо мешать угли кочергой. Его жена заговорила что-то быстро и оживленно...

Я знал, что̀ она рассказывает. Тит передал мне толки, которые ходили обо мне среди студентов. «Американка» околдовала меня и Урманова. Урманов стал ее фиктивным мужем, но она интересовалась мной. Урманов был готов к предвиденной разлуке, но не мог вынести моего соперничества и успеха. Теперь я не могу забыть все это: и «американку», и урмановскую трагедию, происшедшую отчасти по моей вине .. Я разошелся с Крестовоздвиженским, когда он упомянул об Урманове, и вообще я очень изменился. Соколова, пожалуй, прибавит еще, что я «изменил прежним убеждениям» и отвернулся от товарищей...

Соколова была человек простой, прямолинейный и не особенно тактичный .. Однажды она прямо заговорила со мной о том, что я поступаю плохо, считаю себя выше других и смотрю на всех такими взглядами, что ее, например, это смущает. Каждое ее слово отзывалось во мне резко, точно кто водил ножом по стеклу.

— Надеюсь, вы не подозреваете во мне донжуанских намерений,— сказал я, не желая даже сказать дерзость. Соколова страшно обиделась.

Я с любопытством смотрел на лицо девушки при этих рассказах. Оно оставалось так же спокойно... Когда Соколова выбежала в переднюю к закипевшему самовару, Дося подошла к окну. Я вовремя отодвинулся в тень. Между окном и девушкой стоял столик и лампа, и мне была видна каждая черточка ее лица. Руками она бессознательно заплетала конец распустившейся косы и смотрела в темноту. И во всем лице, особенно в глазах, было выражение, которое запало мне глубоко в душу...

«Это она грустит обо мне,— подумал я,— о том, кто был и которого нет... Что такое — печаль?.. Какое-то изменение в мозгу?..»

Соколова внесла самовар. Все уселись к столу. Девушка заговорила о чем-то весело и с большим одушевлением.

Я чувствовал особенное волнение и опять пытался объяснить его по-своему... Где его источник? У нее толстая пепельная коса.. У первой девушки, в которую я был по-детски влюблен, была тоже пепельная коса... И она так красиво рисовалась на темном платье.. И у нее тоже были серые глаза... Очевидно, я не могу равнодушно видеть пепельную косу в сочетании с серыми глазами...

Я отошел от окна и пошел вдоль улицы. Навстречу, шумно разговаривая, шла кучка студентов. Один голос я узнал сразу. Это был голос Чернова, моего товарища еще по гимназии. Он был баловень богатой семьи и бил горничных по щекам плохо вычищенными сапогами. К концу гимназического курса он круто изменился, увлекся новыми течениями, преувеличивал внешний демократизм и разделял самые крайние идеи. Я не мог забыть горничных и плохо верил искренности его увлечений. Многим эта искренность внушала тоже сомнение. Но Дося верила ему, и за это Чернов платил ей горячей привязанностью.

Студенты шли быстро, и внезапное мое появление их удивило.

— Это вы, Потапов? — спросил Чернов.— Откуда?

Я затруднился ответом.

— Откуда я,— все равно... А вы, конечно, к Соколовым?.. Там приехала Федосья Степановна...

— Дося? — радостно вскрикнул Чернов...— А тут уже говорили... будто она арестована. Постойте! Да откуда же она явилась? Мы сейчас из Москвы. В дилижансе ее не было.

— С железной дороги...

— Ну, что она?.. Что же вы ничего не расскажете...

— Что̀ она,— не знаю, как и вообще не знаю, что такое тот или другой человек... А поздоровела очень. И коса выросла еще толще.

Мне показалось, что студенты переглянулись в темноте Через минуту вся кучка ввалилась в дачку Соколовых, и я представлял себе, как они все целуются с Досей. Мне вспомнилось, что, кажется, в преданности Чернова

была не одна благодарность, и с этой мыслью я пошел дальше...

И вдруг мне ясно, как в освещенной рамке, представилось лицо девушки, глядящее в темноту с таким невольно захватывающим выражением.. И рядом с скрытой последовательностью грезы или сновиденья — я увидел лучащийся взгляд Изборского... Я пожал плечами .. Мне вспомнился Базаров.

— Проштудируй анатомию глаза,— говорит он Кирсанову...— Ты найдешь разные части органа зрения... Но где ты откроешь «божественное выражение»?..

Да, несколько более влаги придает глазам блеск или туманит их... Физическое сжатие мускулов или их дрожание под влиянием того или другого раздражения...

Но глаза все продолжали смотреть на меня из света в темноту, волнуя и напоминая о чем-то.

Я глубоко вздохнул... Я сильно устал и чувствовал боязнь перед своими мыслями. Однажды, еще ребенком, когда я безотчетно верил и молился, случилось мне проснуться с ощущением безотчетного страха такою же темною ночью, как и эта ночь. В комнате не было света, и я казался себе затерянным в беспредельной темноте, наполненной неведомыми призраками. Чтобы отогнать страх, мне захотелось прочитать молитву, но вдруг в середине ее замешалось постороннее слово, другое... Я начал опять с первого слова, но, дойдя до прежнего места, опять невольно сбился. Так повторилось несколько раз. Сначала это была простая бессмыслица, но понемногу я с ужасом заметил, что, вместо ничего не значащих посторонних слов, теперь идут на ум наивные, детские кощунства. Я «ругал» бога так, как мог ругать сверстника или младшего брата. Тогда я понял, что это бес мешает мне молиться, что он стал между богом и мною. Мне казалось, что я никогда не дождусь конца этой беспредельной ночи...

Теперь у меня не было уже и следов детского суеверия, но страх был сильнее. Я шел в темноте, по плотине. По сторонам стояли корявые ветлы, налево темнело болото с еле мерцающими пятнами снега... Где-то сочилась струйка воды, вдалеке глухо, чуть слышно шумел поезд... И я чувствовал, что так же тихо и угрюмо просачивают-

ся в моей голове темные мысли... И я не мог отогнать их. . Я шел быстро, убегая от серого пятна, которое носил в себе... Еще несколько минут, и я кощунственно посягну на чистые человеческие образы, хранящиеся в последних закоулках души. И если я разложу их так, как разлагал до сих пор все,— то серое пятно, без формы и содержания, склизкое, с червеобразными движениями, загрязнит всю душу без остатка... И тогда будет только туманная, гадкая, бездушная мгла без формы и содержания... Как та, что стоит над этим болотом...

Меня это пугало... Сердце у меня стучало, как будто кто-то схватывал его невидимой рукой... Порой издалека глядели на меня человеческие глаза, полные грусти, одушевления, сочувствия и мысли, всего, что я считал в те минуты обманом...

Тит только что вернулся откуда-то, где опять вел горячие споры. Говорили о лекции Изборского. Одни доказывали, что преступно заниматься наукой, пока она является чужеядным растением на теле бедствующего народа... Другие отстаивали точку зрения Изборского. Тит вмешался горячо и внезапно. В его уме, конечно, при этом главное место занимала личная задача его жизни, которую он пытался обобщить. Поэтому его аргументация оказалась неожиданной даже для его союзников. На него наступали, требуя более ясного изложения. Когда же он увидел, что на него нападают те, кого он считал союзниками, то он пришел в исступление и на все отвечал одной фразой:

— Врете, врете!.. Все вы врете...

Он попытался рассказать мне содержание спора, но я слушал плохо.

Он перестал рассказывать и принялся кипятить на машинке липовый цвет.

— На вот, выпей... Будет философствовать. Спи!..

Позднею ночью я вдруг проснулся... Тит, раздетый, со свечой в руке, стоял над моей постелью и внимательно смотрел на меня. И в его глазах виднелась забота и нежность, от которых мне стало беспокойно и больно...

— Ложь, всё глупости,— сказал я, отворачиваясь...

Я чувствовал, что со мною происходит что-то необычное. Я давно потерял прежний молодой сон. Голова ра-

ботала быстро, ворочая все те же мысли вокруг основного ощущения, сердце принималось биться тревожно и часто... Мне все хотелось освободиться от чего-то, но это что-то навязчиво, почти стихийно овладевало мною, как пятно сырости на пропускной бумаге..

Теперь, с возвращением Доси, для меня наступили трудные дни. Я боялся себя, боялся дать волю кощунственному анализу, которым я уже не владел, а он овладевал мною. Чтобы заглушить свои мысли, я искал усталости, изнеможения, физического забытья и шатался целые дни. Заметив, что мои посещения платформы возбуждают тревогу сторожа и сторожихи, я стал ходить по окрестностям, но все-таки меня бессознательно тянуло к железной дороге с лязгающими и громыхающими поездами. Ноги ломило, все тело было разбито, но голова горела, и физическая усталость не подавляла лихорадочно работавшей мысли.

VIII

Однажды, проходя по плотине, я услыхал за собою торопливые шаги и, оглянувшись, увидел Соколову. Она куда-то быстро бежала, с сбившимся платком и растрепанными волосами. Заметив, что, кроме меня, никого нет на плотине, я остановился с некоторым недоумением.

— Постойте,— запыхавшись, сказала она,— вот вам письмо.

Я взял из ее рук небольшую записку. Она была от Доси и состояла из нескольких слов, торопливо набросанных карандашом.

«Вы не показываетесь. Сейчас увидела вас из окна... Приходите завтра вечером на дачу Иванова. Будет интересно, и мне нужно увидеть вас. Дося».

Я прочел записку и почти машинально ответил:

— Хорошо.

Соколова, несколько отдышавшаяся и успевшая поправить платок, сделала мне реверанс, над которым в другое время я непременно бы расхохотался.

— Хорошо,— передразнила она...— Так, значит, и прикажете доложить? Хорошо?

— Так и доложите,— ответил я, как автомат.

Соколова посмотрела на меня внимательно своими маленькими глазками...

— Батюшки,— сказала она, качая головой. .— Что-то уж слишком важно. Ваш папаша полковник или генерал?.. Вы уж не думаете ли, что я бежала, как дура, из сочувствия к вам?.. Мне наплевать... Я это из-за Доси...

— Благодарю вас, Катерина Филипповна,— сказал я просто и с внезапной искренностью.

Этот неожиданный тон удивил Соколову. Она опять посмотрела на меня своими некрасивыми честными глазами и сказала в раздумье:

— Черт вас разберет... То ли ты ломаешься, парень, то ли бесишься с жиру... Заставить бы тебя пахать землю, што ли, или бы молотить спозаранку до вечерней зари, небось, дурь-то эту вашу интеллигентскую живо бы вышибло... Так придешь, што ль?

— Куда?

— Да што ты это, очумел в самом-то деле?.. На дачу Иванова!..

— На дачу Иванова... приду.

— Ну, и ладно.

Она пошла по плотине, а я провожал ее глазами, пока она не повернула... И повторял про себя: на дачу Иванова... Да, да, на дачу Иванова...

Дача, куда меня звала Дося, была в лесу, направо от московского шоссе, недалеко от бывшей дачки Урмановых. Дача была большая, но в ней зимой жили только два студента, занимавшие две комнаты. Она была в стороне и представляла то удобство, что в случае надобности жильцы открывали другие комнаты, и тогда помещалось сколько угодно народу. Там часто происходили наши тайные собрания.

Я давно уже не бывал на них. Еще до катастрофы в настроении студенчества происходила значительная перемена Вопросы о народе, о долге интеллигенции перед трудящейся массой из области теории переходили в практику. Часть студентов бросали музеи и лекции и учились у слесарей или сапожников. Чисто студенческие интересы как будто стушевывались, споры становились более определенны. Казалось, молодой шум, оживление и энтузиазм вливаются в определенное русло...

Как-то, тоже еще до катастрофы, я шел по одной из московских улиц. Навстречу мне шли трое рабочих, с дорожными мешками и деревянными ящиками, какие носят с собой плотники. Из ящиков видны были ручки топоров и концы длинных рубанков. Невдалеке была церковь. Двое остановились и, сняв картузы, стали креститься, третий стоял в стороне и ждал, пока они кончат. В наружности этого третьего мне показалось что-то знакомое. Я вгляделся Да, это не ошибка: в третьем плотнике я узнал студента политехника, которого встречал на наших собраниях. Он посмотрел мне прямо в лицо, делая вид, что совершенно не узнает меня. Затем все трое двинулись дальше, и, пока они не исчезли за углом, я провожал их удивленным и восторженным взглядом.

Итак... начинается... Великий исход молодых сил из привилегированных классов навстречу народу, навстречу новой истории... И целый рой впечатлений и мыслей поднялся в моей голове над этим эпизодом, как рой золотых пчел в солнечном освещении... Когда, вернувшись, я рассказал о своей встрече ближайшим товарищам, это вызвало живые разговоры. Итак, N уже выбрал свою дорогу. Готов ли он? Готовы ли мы или не готовы? Что именно мы понесем народу?..

Теперь отголоски этих недавних разговоров доносились до меня, как и всё, точно издалека...

Всё это разные течения жизни. А для меня самая жизнь, в ее основной формуле, потеряла всякий интерес...

IX

На дачу Иванова вела лесная тропинка, которую сплошь занесло снегом. Из-за стволов и сугробов кое-где мерцали одинокие огоньки... Несколько минут назад мне пришлось пройти мимо бывшей генеральской дачи, теперь я подходил к бывшей дачке Урмановых. От обеих на меня повеяло холодом и тупой печалью. Я подошел к палисаднику и взглянул в окно, в котором видел Урманова. Черные стекла были обведены белой рамкой снега... Я стоял, вспоминал и думал...

Прошла группа студентов, другая... Я опомнился и пошел за ними к огоньку Ивановской дачи... В щели ставень просачивался свет...

На крыльце несколько студентов топали, сбрасывая налипший снег, но говорили тихо и конспиративно. Не доходя до этого крыльца, я остановился в нерешительности и оглянулся... Идти ли? Ведь настоящая правда — там, у этого домика, занесенного снегом, к которому никто не проложил следа... Что, если мне пройти туда, войти в ту комнату, сесть к тому столу... И додумать все до конца. Все, что подскажет мне мертвое и холодное молчание и одиночество...

Но я подошел к крыльцу Ивановской дачи в то самое время, как туда подходили три или четыре человека. Они посмотрели на меня, казалось, как-то особенно, и мы вошли вместе...

В сенях было натоптано снегом и навалены кучи платьев. Несколько студентов устроились на этих кучах и зашипели на нас, когда мы вошли. В большой гостиной рядом кто-то читал грубоватым семинарским голосом, влагая в это чтение много внимания и убедительности. Гостиная была полна: из Москвы приехали студенты университета, политехники, курсистки. Было накурено, душно, одна лампа давала мало свету...

— Здравствуйте, Потапов.

От одного из косяков отделилась высокая фигура девушки. Да, это так... Все как прежде... И даже прежнее чувство шевельнулось в душе.

— Пойдем в комнату хозяев... Там все хорошо слышно.

Она взяла меня за руку и повела за собой через узенький коридор в спальню хозяев. Здесь были Соколов, Соколова и Чернов. Соколов сидел на кровати, сложив руки ладонями и повернув к открытым дверям свое грубоватое серьезное лицо. Соколова кинула на Досю вопросительный и беспокойный взгляд, Чернов сидел на подоконнике, рядом с молоденьким студентом Кучиным.

— Сядем вот тут,—сказала Дося.— Вы сильно опоздали.. Отчего? Впрочем, лучше теперь молчите.

И она стала слушать чтение. Лицо ее выразило глубокое, сосредоточенное и углубленное внимание. Так слушают в церкви. Глядя на ее внимательное лицо, на полураскрывшиеся губы, я понял, что для нее тут не простое любопытство, что это дело ее определяющейся веры.

В чем же эта вера? Что ее так захватывает? Я делал усилие вслушаться, но не мог: чтение было для меня только звуками, монотонными и разрозненными, и мое внимание отмечало семинарскую интонацию чтеца. Я мог еще чувствовать близость Доси, но все остальное казалось мне заглушенным и далеким.

Чтение смолкло. В комнате послышалось легкое движение, потом настала тишина. Ждали, что заговорит кто-нибудь из тех, кого привыкли слушать, но никто не начинал... Дося вопросительно смотрела на меня.

И вдруг раздался голос Тита. Он начал с какой-то цитаты из Зайцева, которая, по-видимому, не имела никакой связи с тем, что читалось. Среди слушателей водворялось недоумение.

— Что такое? К чему это он? — спрашивали приехавшие из Москвы.

— Тит! Довольно! — закричал кто-то из петровцев.

— Исчезни, Тит,— крикнул своим резким голосом Чернов.

— Постойте, дайте ему сказать. . Может, и в дело,— поддержал москвич, читавший статью.

Тит заговорил опять, и опять это вызвало только недоумение Я один понимал ход его мысли. Он, как и я, почти не слыхал того, что читалось. Он стал ходить на собрания из-за меня и боролся с тем, что, по его мнению, меня губило. Поэтому он говорил о необходимости науки, под которой разумел науку академическую, и когда говорил о долге, то опять разумел «свой долг», свою задачу жизни, связанную с дипломом... Неожиданно для меня он говорил очень бойко и с воодушевлением. Но он совершенно не представлял себе слушателей, и слушатели не понимали его исходных пунктов .. Поэтому между ним и аудиторией не было никакого соприкосновения Не с чем было ни соглашаться, ни спорить.

— Ну, будет, Тит,— сказал Соколов с серьезным спокойствием.— Сказал уже. Дай другим.

Но Тит чувствовал, что он не убедил никого, значит нужно, чтобы ему дали продолжать... Он апеллировал к свободе слова. Подымался шум.

— Не надо! Не надо!

— Отзвонил... Долой с колокольни...

— Тит! Умри!. — еще раз прорезался басок Чернова.

Тит что-то кричал, шум усиливался, слышался смех и школьнические выходки. Собрание очевидно расстраивалось. Москвичи и кое-кто из местных стали расходиться. Несколько человек из кружка прошли в ту комнату, где мы сидели...

— Собрание сорвано,— сказал с досадой Крестовоздвиженский, входя в комнату.

— Каждый раз такая история,— сказал кто-то другой.— Этот Тит точно с цепи сорвался...

— И черт его знает, что с ним сделалось. Парень был простяк... хороший парень, а тут на тебе вот. Какая-то систематическая обструкция.

— Э, господа! Тит это не от себя,— отозвался вдруг сидевший на подоконнике рядом с Черновым Кучин.

Кучин был глуповатый и наивный, но очень искренний и пылкий юноша. Он был проникнут каким-то фанатическим благоговением ко всему, что открывалось перед его младенческим взором, и ему казалось, что все «темные силы» ополчаются в эту минуту со всех сторон на затерявшуюся в сугробах дачку, чтобы задавить зародыш нового мира...

— Что такое? Кто мешает? Что за ерунда? — послышались вопросы. Петровцы один за другим входили в небольшую комнату...

— Нет, верно. И я знаю, кто это... Это все Потапов!.. Изменник честным убеждениям...

Мое имя раздалось так неожиданно, что на мгновение в комнате все стихло. Соколов, продолжавший сидеть все в той же позе, с руками, сложенными на коленях, угрюмо и серьезно потупился; Крестовоздвиженский смотрел на Кучина с удивлением и ожиданием. Мы с ним не были особенно близки, но между нами рождалась прежде некоторая симпатия. Теперь он смотрел на меня с холодным недоумением. Лица Доси я не видел, но чувствовал, что оно побледнело и что ее глаза обращены ко мне. Но меня охватило какое-то усталое равнодушие к происходящему, как будто все это касалось не меня, а кого-то другого.

— Верно! — резко выкрикнул вдруг Чернов и порывисто вскочил с места...— Да, да. Потапов способен на все. даже... даже подглядывать в окна...

— Чернов... Не сметь! — почти задыхаясь, крикнула около меня Дося. Чернов обернулся с злым лицом и хотел сказать еще что-то. Но Соколова торопливо подошла к нему и насильно отбросила его на прежнее место.

— Сид-ди, тебе говорят!.. Экой какой, право...

Чернов проворчал что-то и смолк. Дося встала против меня и глухо, страдающим голосом, сказала:

— Потапов... Господи! Да что же вы молчите. Ведь вы... ведь я вас знаю, господи! Знаю, знаю...

Я посмотрел на нее, стараясь понять, что она требует. Да... Она говорит, что знает меня, и хочет, чтобы я говорил... Говорить так трудно. Но... Она требует... И, с усилием, без одушевления, глядя на нее, я заговорил:

— Чернов не прав. Он в вас влюблен и ревнует. Вы это знаете? Да? На него, как и на меня, действует пепельная коса и серые глаза... Если бы волосы у вас были прямые и остриженные, как у Катерины Филипповны.. Что вы так смотрите на меня? Кучин дурачок. И это вы знаете... Это все знают, товарищи... Но у него есть смутное сознание правды... Потому что он искренний. Он говорил, что это я виноват в выступлениях Тита... Будто я научаю его срывать собрания?.. Это пустяки... Я не научаю... Но все-таки в словах Кучина есть правда. Тит тупица, но он умный. У него своя линия... У вас своя... И вы друг друга не понимаете, потому что ходите в потемках. Я... я один вижу и понимаю все...

Я вдруг поднялся с места... Мне показалось, что в мозгу у меня загорелась какая-то лампочка, которая осветила самые дальние его закоулки. Мне стало легко и больно... Боль стояла где-то сзади, а легкость заставляла меня говорить. И я говорил неторопливо, отчетливо и ясно. Говорил все, что передумал за последние дни, что проходило у меня в голове в сумерках у платформы и на темных дорожках парка, что шепнуло мне урмановское слепое окно за час перед тем. Я говорил, и мысли одни за другими выплывали из глубины мозга, входили в освещенное пространство и вспыхивали новым светом. Все, что я читал прежде, все, что узнавал с такой наивной радостью, все свои и чужие материалистические мысли о мире, о людях, о себе самом, все это проходило через освещенную полосу, и по мере того, как мысли и образы

приходили, вспыхивали и уступали место другим,— я чувствовал, что из-за них подымается все яснее, выступает все ближе то серое, ужасно безжизненное или ужасно живое, что лежало в глубине всех моих представлений и чего я так боялся. Вот я стою здесь перед нею... Еще минута — и этот поток мыслей, несущий меня с собою, принесет меня и всех туда, к этому мертвому ужасу... Мне слышалось тихое зловещее клокотание, точно что переливается под землей... И вместе с этим клокотанием усиливалась боль... В голове что-то ворочалось тяжело, катилось и грохотало. И вместе с этим рос ужас. Еще немного — и страшный, холодящий мертвый скрежет прорежет воздух. Но поток несет меня, и я еще успею сказать...

В глазах у меня стало темнеть, но слова все еще шли с языка, и мысли летели вперед, вспыхивая и угасая, так что я более не поспевал за ними и остановился.

У самого моего лица мелькнуло лицо девушки с глубоко тоскующим взглядом.

— Будет, довольно... Бога ради... Все это неправда, все это не вы, не вы... Я знаю, знаю!..

Все потемнело... В сознании остался еще на время глубокий, милый печальный взгляд... Рядом засветились прекрасные наивные глаза Изборского. Потом лицо Тита... И все погасло среди оглушающего грохота... Я упал, потеряв сознание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

— Да... все это... было...

Это были первые слова, которые я произнес после болезни.

Я очнулся ранним и свежим зимним утром. Тит сидел у стола и что-то читал. Я долго смотрел на него, на его лицо, склоненное на руки, внимательное, доброе и умное. С таким выражением Тит никогда не читал записки. Так он читал только письма сестры и матери. Все лицо его светилось тогда каким-то внутренним светом. Потом он поднял глаза на меня. В них был тот же свет.

В ту минуту мне казалось, что я весь занят этими ощущениями. За окном на ветках виднелись хлопья сне-

га, освещенные желтыми лучами солнца. Золотисто-желтая полоса ярко била в окна и играла на чайнике, который (я знал это) только что принес Маркелыч. Маркелыча сейчас не было, но я чувствовал его недавнее присутствие и разговор с Титом.

Дверь открылась. Вошел Соколов, стараясь ступать осторожно, а за ним фельдшер. Они пошептались о чем-то с Титом. Соколов ушел, фельдшер остался. Я смотрел на все это прищуренными глазами и, казалось, ни о чем не думал, ощущая только желтую полосу света из окна, блики на чайнике и светящееся лицо Тита.

Шагая на цыпочках, Тит подошел ко мне. На ногах у него были блестящие туфли. «Тит разорился на туфли»,— мелькнуло у меня в голове, но, когда Тит склонился к изголовью, заглядывая в мои полузакрытые глаза, я сказал неожиданно для себя:

— Да... все, все это было.

— Что было? — спросил Тит...

«Он считает, что я в бреду»,— догадался я по лицу Тита и пояснил:

— Урманов и... и.. еще что-то... Изборский?..

— Не думай об этом.

— Я не думаю. Оно как-то. . думается само. Все время... Потому что было... И то... тоже было?

— Что ты хочешь сказать?

Я сделал усилие, но почувствовал боль головы и слабость. Мне стало обидно, что я не могу чего-то объяснить Титу. Боль усилилась. Я забылся.

Когда я очнулся опять, у моей постели сидела Соколова. Тит только что вошел со двора и принес с собою холодок и запах снега. Я подозвал его и опять прошептал:

— Я хотел бы знать...

Но Соколова остановила меня решительно и резко:

— Нечего тут знать... Молчите... Лежи, паренек, смирно.

Впрочем, я все равно не мог бы еще объяснить, что мне нужно. В голове моей ворочался хаос образов и мыслей. То, что было с Урмановым, я помнил. Но мне казалось, что еще до моего забытья или уже во время болезни я узнал еще что-то, имеющее отношение к тому же пред-

мету. Мне только надо вспомнить... Может, после этого не будет того, что было. . Так мне одно время казалось в бреду... Нет, это было и останется навсегда... Но было еще что-то важное и нужное... Когда я старался вспомнить, в воображении почему-то вставали глаза Изборского, лицо Доси и что-то еще на заднем фоне сознания... Когда я смотрел, как Тит читал письмо матери, мне казалось, что и это имеет отношение к тому, что надо вспомнить. Случайные мысли, неясные впечатления бежали чередой. Голова кружилась. Я забывался...

Позднею ночью я опять проснулся. На кровати Тита спал кто-то другой, а Тит без сюртука, в очках сидел у стола и писал. «Отвечает матери»,— решил я сразу. Не было ни ясного дня, ни освещенных хлопьев снега за окном. Тит сидел под абажуром тусклой лампы, но лицо его опять светилось, и опять он умиленно улыбался. После катастрофы у меня явилась какая-то особенная наивность. Все привычное, о чем никогда не думалось, подавало повод к неожиданным ощущеньям и мыслям, даже процесс еды в демонстрации господина Шмита. Это продолжалось и теперь. Я смотрел на пишущего Тита и удивлялся.

...Странно... Вот Тит получил листок бумаги и на нем ряды черных строчек... Где-то далеко, в захолустном городке Воронежской губернии, их выводила старушка, в старомодном чепце, портрет которой висит над кроватью Тита. Она запечатала письмо и послала на почту. За тысячу верст оттуда наш верзила почтальон доставляет его Титу... И на листке сохранилась улыбка старушки. Тит раскрывает листок, и лицо его светится ответной улыбкой.

Эта мысль показалась мне очень важной и растрогала меня до слез... Это оттого, что письмо имеет для Тита выражение... В нем отразился образ человека, которого он знает и любит...

— Я вас знаю... знаю...— Кто это говорил мне и когда?.. И что это значит?.. И какое отношение это имеет к письму Тита?

— Тит,— позвал я тихо.

Тит подошел и наклонился надо мной.

— Повернись к лампе, чтобы были видны твои глаза.

Тит беспокойно взглянул на меня, но повернулся

к свету и снял очки. Глаза у него были близорукие и теперь глядели с недоумением.

— Нет, у тебя глаза лучше, когда ты пишешь письмо матери...

Тит обрадовался.

— Ты, значит, не бредишь... А я думал, что ты опять...

— Нет, Титушка, только мне нужно вспомнить... Садись, пожалуйста... Пиши опять.

— Не вспоминай, Потапыч... Спи... Может, тебе мешает лампа?

— Нет, Титушка... Пожалуйста, пожалуйста, пиши.

Тит уселся, обмакнул перо и опять наклонился к листку. И тотчас же в лице его произошла перемена. Все черты стали другими, морщинки на лбу разгладились, а в углах глаз, наоборот, обозначились яснее. Что-то неуловимое засмеялось под белокурыми усами, близорукие глаза светились и улыбались из-за очков... «Как будто кто-то сидящий внутри Тита дернул какие-то веревочки»,— подумал я... Вот теперь я опять чувствую моего прежнего Тита... Вот он — под лампой, мой прежний Тит, тупой к наукам, умный в жизни, добрый, заботливый, деятельно нежный...

...Ну, а тот Тит, что бесновался на собраниях? Он мне приснился? Нет, кажется, он был тоже... Только это был не совсем Тит... Теперь он стал самим собою?.. Что же это значит: стать самим собой? Значит, найти вот это, что внутри и что управляет выражением... Кучин сказал, что это я сделал Тита другим, не настоящим... Или он не говорил этого?.. Впрочем, это ведь правда... Как же это вышло?..

...Началось там... на рельсах... Урманов...

Я заметался. Тит опять бросился ко мне.

— Нет, ничего, ничего,— успокоил я его,— только кружится голова, и я не могу вспомнить... Погоди... Скажи мне: когда я был болен, сюда приходила Дося?

— Да, приходила.

— И говорила мне: «Я вас знаю, знаю...»

— Нет, этого, кажется, не говорила.

— Нет, говорила... Ты, верно, не помнишь... Да? Ты мог забыть?

— Конечно, мог.

— Соколов тоже приходил? И сидел, сложа руки на коленях.. И потом мешал в печке... И видно было, что он меня осуждает... И... это ему грустно...

— Что ты это, Потапыч?

— Нет. Я знаю,— это было. А Крестовоздвиженский?

Тит замялся.

— Он, видишь ли... уехал.

— А Изборский?

— Вот Изборский заходил два раза ..

— И много говорил?.. И спорил со мною .. И тоже меня осуждал...

— Да что ты фантазируешь? Он просто приходил справиться о здоровье.

— Значит... Я это видел во сне. И лицо Доси в окне... И лампа...

Я схватил его за руку и сказал:

— Ты слышишь: ведь это шумит поезд... Правда?

— Да, правда.

— Видишь: я, значит, не в бреду. И то, о чем я говорю, было. И лицо Доси в окне .. И то, что говорил Изборский. Видишь ли, Урманов,— это навсегда... Этого нельзя изменить... Это бессмысленно, и нельзя узнать, зачем это.. это было, и это была смерть... И я там, на рельсах, заразился смертью. А смерть — разложение, и я стал разлагать все: тебя, Белйчку, Шмита, себя.. Досю... Нет, ее не смел, и Изборского тоже... А жизнь в ощущении и в сознании, то есть в целом. И оно тоже есть... Я его сейчас видел... в тебе... Есть и любовь, и стремленье к правде. . Откуда они?.. Это тоже неизвестно... Они в целом... Они также слагаются и разлагаются... Но тогда. . все в мире понимаешь, Титушка, все трепещет возможностями сознания и чувства... Разлагаясь, они растворяются в природе... Слагаясь, дают целый мир чувства и мысли... Постой, ради бога, не перебивай... Я сейчас кончу... И если наш вещественный мир — пылинка перед бесконечностью других миров, то и мир нашего сознания такая же пылинка перед возможными формами мирового сознания .. Понимаешь, Титушка, какая это радость .. Какая огромная радость!.. Мы живем в водовороте бесконечного чувства и мысли...

— Потапыч, голубчик... Опять эта проклятая философия!..

И опять это восклицание Тита донеслось до меня будто издалека. Мой бедный больной мозг не вынес прилива охватившей меня бурной радости, и я впал в рецидив горячки.

Но натура у меня была крепкая, и это было уже ненадолго. Дня через три я опять пришел в сознание и уже был спокоен. Тит так отчаянно махал руками всякий раз, когда я пытался заговорить с ним, что я целые часы лежал молча, и мои мысли приняли теперь менее отвлеченное направление.

На третий день я подозвал Тита и попросил его принести из почтового отделения лежащее там письмо на мое имя. Он сходил, но, вернувшись, сказал, что письма ему не выдали, так как нужна доверенность. Еще через день после короткого разговора, не имевшего никакого отношения к «философии», я сказал:

— Ну, Тит, давай письмо.

— Какое письмо? Я же говорил тебе...

— Не ври, Тит. Письмо у тебя в столе...

Тит, конечно, почесался и отдал письмо. Я знал: оно было с Волги.

Содержание его было радостно и наивно. Девушка делилась своими впечатлениями. Это было время, когда в Саратовской губернии расселилась по большим селам и глухим деревням группа интеллигентной молодежи в качестве учителей, писарей, кузнецов Были сочувствующие из земства и даже священники. Девушка встретилась с некоторыми членами кружка в Саратове, и ей казалось, что на Волге зарождается новая жизнь...

Несколько небольших грамматических ошибок наивно глядели с этих строк, написанных твердым, хотя не вполне установившимся почерком Но под конец письмо, сохраняя свою наивность, становилось выразительным и поэтичным. Девушка писала его ночью у раскрытого окна каюты, и, когда она отрывала глаза от листка, перед ней в светлом тумане проплывали волжские горы и буераки, на которые молодежь нашего поколения смотрела сквозь такую же мечтательно романтическую дымку... Там, за этими горами раскинулась неведомая нам жизнь

огромного загадочного народа... О чем вздыхает раскольник в глухом скиту?.. Из-за чего волнуются по деревням крестьяне?.. К какой старой воле стремятся казаки на бывшем Яике?.. И нам казалось, что эти стремленья совпадают с нашими мечтами о свободе...

Дочитав до конца, я глубоко задумался. Письмо лежало так долго... Что, если оно было вскрыто?.. И что это? Новое облако с раззолоченными краями? Далекая обманчивая иллюзия, которая вблизи раскинется холодною мглой или грозовой тучей?..

Все равно! Это — жизнь. Из облаков идут дожди, которые поят землю, а грозы очищают воздух...

Я вскочил на ноги, испугав Тита... Жить, жить. .

1888—1914

Не страшное

Из записок репортера. Этюд.

I

«Двадцатому будьте в N-ске. Сессия окружного суда. Подробности письмом. Редакция».

Я посмотрел на часы, потом справился в путеводителе. У меня была надежда, что я уже не попаду к ночному поезду на станцию железной дороги, расположенную верстах в десяти от города, где я только что закончил другое редакционное поручение. В уме мелькал лаконически деловой ответ: «Телеграмма запоздала, двадцатому не могу». К сожалению, однако, путеводитель и часы говорили другое: у меня было три часа на сборы и на путь до станции. Этого было достаточно.

Около одиннадцати часов теплого летнего вечера извозчик доставил меня к загородному вокзалу, светившему издалека своими огнями. Я приехал как раз вовремя: поезд стоял у платформы.

Прямо против входа оказался вагон с открытыми окнами. В нем было довольно просторно, и какие-то господа интеллигентного вида играли в карты. Я догадался, что это члены суда, едущие на сессию, и решил искать место в другом вагоне. Это оказалось нелегко, но, наконец, место нашлось. Поезд уже трогался, когда я, с легким багажом в руках, вошел в купе второго класса, занятое тремя пассажирами.

Я уселся у окна, в которое веяло свежестью лунной ночи, и скоро мимо меня понеслись концы шпал, откосы, гудящие мостки, будки, луга, залитые белым светом луны,— точно уносимые назад быстрым потоком. Я чувствовал усталость и печаль. Думалось, что вот так же быстро бежит моя жизнь от мостка к мостку, от станции к станции, от города к городу, от пожара к выездной сессии... и что об этом никоим образом нельзя написать в газетном отчете, которого ждет от меня редакция А то, что я напишу завтра, будет сухо и едва ли кому интересно.

Мысли были невеселые. Я отряхнулся от них и стал слушать разговор соседей.

II

Ближайший мой сосед беззаботно спал, предоставив мне устраиваться, как знаю, у него в ногах. Напротив один пассажир тоже лежал, другой сидел у окна... Они продолжали разговор, начатый ранее...

— Положим,— говорил лежащий,— я тоже человек без суеверий... Однако все-таки. (он сладко и протяжно зевнул) нельзя отрицать, что есть еще много, так сказать... ну одним словом — непознанного, что ли... Ну, положим, мужики .. деревенское невежество и суеверие. Но ведь вот — газета...

— Ну, что ж, газета. То суеверие мужицкое, а это газетное... Мужику, по простоте, является примитивный черт, с рогами там, огонь из пасти. И он дрожит... Для газетчика это уже фигура из балета...

Господин, допускавший, что есть «много непознанного», опять зевнул.

— Да,— сказал он несколько докторально,— это правда: страхи исчезают с развитием культуры и образованности...

Его собеседник помолчал и потом сказал задумчиво:

— Исчезают?.. А помните у Толстого: Анне Карениной и Вронскому снится один и тот же сон: мужик, обыкновенный мастеровой человек «работает в железе» и говорит по-французски... И оба просыпаются в ужасе... Что тут страшного? Конечно, немного странно, что мужик говорит по-французски Однако допустимо... И все-таки

в данной-то комбинации житейских обстоятельств от этой ничем не угрожающей картины веет ужасом... Или вот еще у Достоевского в братьях Карамазовых... там есть наш городской черт... Помните, конечно...

— Н-нет, не помню... Я ведь, Павел Семенович, преподаватель математики...

— А, да... Извините... я думал... Ну, я напомню: это, говорит, был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен лет уже не молодых, с проседью там, что ли, в волосах и в стриженой бородке клином... Белье, длинный галстук, в виде шарфа, все, говорит, было так, как у всех шиковатых джентльменов, но только белье грязновато, а галстук потертый. Словом — «вид порядочности при весьма слабых карманных средствах»...

— Ну, какой же это черт? Просто проходимец, каких много,— сказал математик...

— То-то вот и есть, что много... Это и страшно... И именно потому страшно, что так обыкновенно: и галстучек, и манишка, и сюртучок... Только что потертые, а то бы совсем, как и мы с вами...

— Ну, это что-то, Павел Семеныч... это, извините, какая-то у вас странная философия...

Математик слегка как будто обиделся. Павел Семенович повернулся к свету, и мне стало ясно видно его широкое лицо с прямыми бровями и серыми задумчивыми глазами под крутым лбом.

Оба помолчали. Некоторое время слышался торопливый стук поезда. Но затем Павел Семенович заговорил опять своим ровным голосом.

— На N-ской станции подошел я, знаете, к локомотиву. Машинист человек отчасти знакомый... Хронически сонный субъект, даже глаза опухшие.

— Да? — спросил собеседник равнодушно и не скрывая этого равнодушия.

— Положительно... Явление, конечно, естественное. Тридцать шесть часов не спал.

— М-м-да-а... Это много. .

— Я вот и думаю: мы заснем .. Поезд летит на всех парах... А правит им человек некоторым образом совершенно осовелый...

Собеседник слегка завозился на своем месте...

— Да, вы вот с какой стороны!.. Действительно, черт возьми... Вы бы заявили начальнику станции...

— Что тут заявлять... Засмеется! Дело самое обыкновенное, даже можно сказать — система. В Петербурге в каком-нибудь управлении сидит господин... И перед ним таблицы. в таблицах — цифры. Приход... Расход... И в одной графе расхода есть машинисты. Жалованье — столько-то. Поверстных столько-то. Поверстные — это пробег поездов,— цифра полезная, доходная, твердая, подлежащая увеличению. А вот жалованье людям — это уже минус... Вот этот человек и ломает голову: взять меньше машинистов, а пробег оставить тот же... Если даже немного увеличить... Происходит, так сказать, стихийная игра цифр... И занимается ею самый обыкновенный господин... И сюртучок на нем, и галстучек, и вид полной порядочности... Товарищ хороший, семьянин прекрасный... Деточек любит, жене к празднику сувенирчики дарит... И дело его самое безобидное: простейшие задачи решает. А в результате сон у людей убывает... И по полям и равнинам нашего любезного отечества в этакие вот лунные ночи мчатся вот этакие же поезда, и с локомотива глядят вперед полусонные, запухшие глаза человека, ответственного за сотни жизней... Минута дремоты...

Ноги математика, одетые в клетчатые брюки, зашевелились; он поднялся с своего места в тени и сел на скамейке... Его полное маловыразительное лицо с толстыми подстриженными усами было встревожено.

— Ну вас, ей-богу, с вашим карканьем,— сказал он с неудовольствием.. — И как это у вас, черт возьми, ощутительно выходит .. Только что хотел заснуть...

Павел Семенович с удивлением посмотрел на него.

— Да нет, что вы это? — сказал он.. — Бог с вами!.. Доедем, бог даст, благополучно. Я ведь только к тому, что вот как оно перемешано· страшное и обычное... Экономия — обыкновеннейшее житейское дело... А около нее где-то смерть .. И даже подлежит учету по теории вероятностей...

Математик, все еще огорченный, вынул портсигар и сказал, закуривая:

— Нет, это вы верно; действительно, черт его знает: заснет, каналья, и как раз. . Скоты эти железнодорож-

ники.. Однако давайте о чем-нибудь другом. К черту все эти страхи... Итак, вы все еще процветаете в Тиходоле?.. Давно что-то застряли...

— Да,— ответил немного сконфуженный Павел Семенович...— Такой уж, знаете, город несчастный... Точно в яму какую проваливаешься. Учитель, судебный следователь, акцизный... Как попал сюда, так будто и забыли про тебя и из списков живущих вычеркнули...

— Да, да... Действительно, город, черт его знает. Глухой какой-то... Даже клуба нет. И грязь невылазная.

— Клуб теперь, положим, есть... И мостовые кое-где завелись... Освещение тоже, особенно в центре... Я, положим, живу на окраине, так мало этими удобствами пользуюсь...

— А вы где, собственно, живете?

— В доме Будникова, на слободке...

— Будников? Семен Николаевич? Представьте, ведь и я жил в этих же местах: у отца Полидорова... С Будниковым встречался, как же! Прекрасный господин, с образованием и, кажется, немного даже того... с идеями?..

— Да, с некоторыми странностями...

— Нет, что же?.. Я говорю: с идеями. А странности... Какие же? Кажется, ничего особенного.

— Вот именно: особенного ничего, а все-таки... Ценные бумаги, например, хранил в тюфяке...

— Ну, я этого не знал. А так, при встречах производил отличное впечатление. Свежее такое, оригинальное... Домовладелец и вдруг — сам живет в двух комнатках, без прислуги. Впрочем... постойте... Было, помнится, что-то вроде дворника...

— Это, верно, Гаврило...

— Именно, именно Гаврило. Низкорослый такой, белобрысый? Да? Ну, вот... Помню,— приятно было смотреть на его рожу: добродушнейшее этакое мурло... Бывало думаю: в хозяина и работник... Ну, что он? Все такой же?..

Павел Семенович некоторое время молчал. Потом посмотрел на собеседника каким-то помутневшим взглядом и сказал:

— Д-да... Вы правы... И это было действительно так... И Семен Николаевич... И Гаврило... И оба они вместе...

— Ну, да! Я ведь помню. .

— Именно свежий был человек для нашего города... Образованный, независимый, с идеями... Был в университете, только не кончил из-за какой-то истории.. Сам он мне говорил, будто влюбился несчастливо. «Сердце, говорит, у меня разбито». С другой стороны, мне известно, что он переписывался с каким-то приятелем в местах весьма отдаленных. Значит, было назади что-то такое... Отец у него, говорили, ростовщичеством занимался, хотя не особенно злостно. Так с сыном у него из-за этого ссора некоторая вышла. Молодой студент не одобрял и не прикасался к его деньгам, перебиваясь грошовыми уроками... Ну, когда отец умер — Семен Николаевич приехал, вступил во владение наследством. Говорил кое-кому: «Не для себя... Считаю это долгом всему обществу...» Потом... дела-то оказались запутанными... Дома там, земля, долгосрочные контракты, тяжба какая-то... Разбирался он во всем этом год, другой, третий, а там и втянулся. Многие еще помнили, как он говорил: «Только бы тяжбу закончить с этими подлецами да дела устроить... Дня в этой проклятой трущобе не останусь...» Ну, одним словом,— история обычная... Учитель у нас один, зоолог, поступая к нам в гимназию, так прямо и говорил: только бы, говорит, диссертацию написать, и вон из этого болота!

— А, это Каллистов! Ну, что же? — спросил живо математик. Рассказчик только махнул рукой.

— До сих пор все пишет. Женился. Третьим бог благословляет. . Ну, вот так же и Семен Николаевич Будников — все свою, так сказать, жизненную диссертацию писал. Началось, кажется, с того, что увлекся тяжбой. Отзывы эти, протесты, кассации, вся эта игра... И все сам писал, почти не советуясь с адвокатами. Потом,— пока что — новый дом стал строить. Когда я с ним познакомился, он был уже благополучным среднего возраста холостяком, с румяным лицом и приятной этакой, спокойной, солидной и сочной речью. И уже тогда были маленькие странности. Приходил иногда ко мне, главным образом в сроки уплаты за квартиру... Мы эти сроки пригнали к двадцатому. Ну, значит, двадцатого он и приходил в восемь часов вечера и выпивал у меня два стакана чаю с ромом. Не больше, но и не меньше. На

каждый стакан по две ложечки рому и по сухарю. Я привык смотреть на это, как бы на некоторую прибавку к квартирной плате. И у других квартирантов бывало то же,—у кого с ромом, у кого без рому. Сроки найма были всё различные, квартир в четырех его домах (один в городе довольно большой) было около двадцати... Итого сорок стаканов чаю... Впоследствии оказалось, что это входило в его бюджет и вписывалось в книги... Иной раз так и стояло: «Не застал такого-то, деньги он принес сам на следующий день. В расход сверх сметы два стакана чаю...»

— Неужели? — засмеялся Петр Петрович.— Вот не думал никак! Откуда же вы узнали?

— Пришлось, по одному случаю. Да, это, конечно, черта тоже неожиданная, и, вероятно, в ваше время ее еще не было. Ну, а позже стало заметно. Даже обыватели стали поговаривать: дескать господин Будников человек с расчетцем. Говорилось это благодушно, даже с одобрением. Это как будто роднило Будникова со средой... Понимаете? Явилась в непонятном человеке какая-то ниточка своя, бытовая так сказать, понятная... Ну, и стала эта черта все более обозначаться. Считалось, например, что господин Будников не держит почти прислуги: Гаврило был дворником того дома, где была и моя квартира; чистил некоторым жильцам платье, ставил самовары, бегал на побегушках. И бывало так, что хозяин и работник сидят рядышком и чистят сапоги: дворник жильцам, Будников себе. ...Но потом господин Будников завел лошадь. Без особенной нужды. Маленькая роскошь: ездил он раза два в неделю на загородный хутор. Остальное время лошадь была свободна. У Гаврилы тоже не все время было занято... Ну, и вышло естественным образом, что лошадь перешла на попечение Гаврилы, и он с нею стал выезжать на биржу. Гаврило против этой комбинации, по-видимому, ничего не имел, так как неустанный труд считал своими приятным назначением. Есть, знаете, своего рода талантливость на все, и я думал иной раз, что Гаврило своего рода гений в области мускульного труда... В движениях легкость, беструдность какая-то неутомимая... Иной раз даже ночью... не спится бывало. Взглянешь в окно: метет мой Гаврило улицу или там канавки подчищает. Это значит — лег спать и вдруг вспом-

нил: не успел за другими делами мостки дочистить... Идет и чистит. И была в этом положительно какая-то своя красота...

— Да, да! — сказал математик.— Вы очень верно изобразили этого человека. Вспоминаю именно, что на него вообще было приятно смотреть, благообразие какое-то.

— Душевное равновесие всегда красиво, а он исполнял свое назначение, не углубляясь в характер своих отношений к хозяину... И это тоже было приятное зрелище, то есть их взаимные отношения. Один красиво играет мускулами. Другой придает этой игре смысл и разумную целесообразность... Увидел, что время не заполнено,— и нашел новое применение... Своего рода гармония интересов, почти идиллия... Чуть свет — Гаврило уж на работе. Господин Будников вставал тоже рано. Они здоровались с очевидным взаимным расположением. Потом господин Будников или работал в саду, или обходил свое «хозяйство», разбросанное в городе: беднота-то поднимается рано, он и заходил утром в квартирки, занятые беднотой... Потом возвращался и говорил:

— Ну, ты теперь, Гаврилушко, запрягай, пожалуй, а я за тебя тут дочищу... Как раз чиновники в канцелярии идут. Может, кто и попадется...

Себя он считал в то время не то толстовцем, не то... опростившимся, что ли... Часто заговаривал о ненормальности нашей жизни, о необходимости отдать долг трудящемуся народу, о пользе физического труда. «Работаю вот,— говорил он, когда кто-нибудь заставал его за топором или лопатой.— Помогаю ближнему дворнику трудом своим». И трудно было разобрать в его тоне: ирония это или серьезно... В середине дня Гаврило возвращался и ставил лошадь в конюшню, а господин Будников опять отправлялся по хозяйству, делал жильцам вежливые замечания за изломанный палисадник или обитую детскими мячами штукатурку... Возвращался он порой с каким-нибудь нищим, а то и двумя. Они, значит, попросили на улице милостыню, а он предложил «трудовую помощь»... Ну, конечно, попрошайки обращались в постыдное бегство, а господин Будников с особенным удовольствием продолжал работать один или с Гаврилой. Вскоре его узнали все нищие в городе и только кланялись с до-

бродушной улыбкой, а денег не просили. «Как это вы, друзья мои, не понимаете своей пользы»,— назидательно говорил господин Будников. И надо сказать, что этот «трудовой» образ жизни ему лично приносил очевидную пользу: румянец у него был прямо завидный, ровный этакой, с здоровым загаром. Выражение лица всегда спокойное, уравновешенное, почти как у Гаврилы... И вот тоже... ничего ведь в этом не было ни зловещего, ни странного.

— Ну, вы опять свернули на прежнее! — сказал математик, подымаясь и похлопывая собеседника по плечу...— Конечно, ничего страшного... А между прочим, я выйду на этой станции... Восемь минут.

Поезд замедлил ход, потом остановился.

III

Павел Семенович, оставшийся вдруг без слушателя, оглянулся несколько растерянно... Через некоторое время взгляд его серых глаз встретился с моим. В глубине этого взгляда светилась какая-то упорная мысль, точно у маниака...

— Вы... понимаете? — спросил он просто, не смущаясь тем, что говорит с незнакомым человеком...

— Кажется, понимаю,— ответил я...

— Ну, вот-вот,— сказал он с удовлетворением, потом стал продолжать просто, как будто не замечая смены слушателя...

— Был у меня, знаете, товарищ школьный... Некто Калугин, Василий Петрович. Был он захвачен тогдашними течениями в молодости.. а человек был своеобразный. Говорил мало. Больше слушал, что говорили другие, и наблюдал, как они суетились, пытаясь, как говорится, повернуть колесо истории. Но в самом молчании чувствовалось восхищение и преданность... И пришел он к заключению: «Все это хорошо и чрезвычайно благородно, но нет рычага. А рычаг — деньги. За эти дела, говорит, нечего и приниматься без ста тысяч». И успел, знаете, убедить в этом еще несколько товарищей, которые и составили маленький кружок, накопителей, что ли... Ну,— из кружка, положим, ничего не вышло: кто

просто отстал, кого судьба зашвырнула далеко от источников добывания. А он, Василий Петрович,— выдержал и достиг. Человек был без блеска, но с большим характером, такие в деловых сферах очень ценятся. Поступил для начала в одно учреждение на Волге. Не то, знаете ли, банк, не то касса ссуд. Для великой цели не пренебрег он и этим учреждением и сразу, как говорится, вдохнул в него новую жизнь. Года через три получал уже тысяч что-то около шести... Тогда он поставил задачу в таком виде: пятью двадцать — сто! На себя, значит, и на прочее — тысяча в год. Пять тысяч на великое дело. «Через двадцать лет — рычаг готов»... И что вы думаете: достиг. Правда, нужен был характер — прямо самоотверженный. И система!.. Во-первых, во избежание всяких глупых случайностей,— «на время» отошел от прежних товарищей... тех, которые голыми руками за колеса истории хватаются. «У меня, дескать, своя задача... Неблагонадежность там... случайное письмецо... сделайте одолжение, не надо»... И это тоже выдержал. Вообще всю жизнь приспособил, все подробности рассчитал. Ничего — кроме накопления. Вставал ежедневно не то что в семь часов, как Будников, а в семь часов без тринадцати минут, Секунда в секунду! От личной жизни отказался... Было у него до того времени увлечение одно: сошелся с одной девушкой и тоже на свободных началах. Дали взаимно слово «не связывать друг друга». Ну, да ведь это глупые фразы: ребеночек-то никому слова не давал... Явился на свет и потребовал свое... Она и рада... А он насупился. Так как, говорит, эта неприятная случайность может повториться, и принимая, говорит, в соображение мою великую цель, то я, говорит, намерен воспользоваться свободой. На ребеночка я, говорит, хотя и в ущерб великой цели... такую-то сумму... Женщина была тоже с характером: денег не взяла ни копейки, захватила ребеночка — и прощайте — навсегда... Как он чувствовал себя после этого — неизвестно, но накоплению отдался без помехи... И вот, после разных удач и неудач, через двадцать лет, проснувшись по обыкновению в семь часов без тринадцати минут,— он поздравил себя с успехом: сто тысяч собраны. На службу явился в обычное время, вошел в кабинет своих принципалов и говорит: «Через два месяца я ухожу». Те и рот разинули. «Да что вы, бог

с вами! Может быть, прибавить жалованье? Или процент с дохода?» Нет! Сказал, как отрезал, и через два месяца был в Москве на прежней жизненной точке... И в кармане сто тысяч.

— О-го! — сказал Петр Петрович, вернувшийся в эту минуту из буфета...— Это у Будникова, что ли?

— Нет,— ответил Павел Семенович.— Это я о другом...

— А! О другом? Ну, все равно... Продолжайте о ста тысячах... Это уже, надеюсь, не страшно?..

В его голосе звучала легкая насмешка. Павел Семенович посмотрел на него с наивным удивлением и повернулся ко мне.

— Да, так вот... Приехал он в Москву, то есть, понимаете: к своему прошлому... Думал — жизнь будет его ждать, пока он выполнит великую задачу накопления... И явится он в тот же Газетный переулок, и там застанет те же споры и тех же людей, и так же будут они хвататься голыми руками за колеса истории... Тут он им свой рычаг... «Извольте! У вас великие идеи... А вот мой вклад для осуществления»... Глядь, а предлагать-то уже и некому: в Газетном переулке другие люди, и говорят по-другому. Прежние или погибли под колесами истории, или отстали... Жизнь— это ведь поезд... Отлучился со станции на время, глядь — поезда уже и не видно... А порой не застанешь и станции... Понимаете вы, милостивый государь, какая это трагедия?..

— Ну, сделайте одолжение,— сказал Петр Петрович.— Сто тысяч! Свободен!.. Многие согласятся на этакую трагедию...

— Да?.. Но ведь человек-то, я вам говорю, был искренний.

— Ну, и что же?

— Да вот... Бродил он среди старых и новых знакомых, все своего поезда разыскивал... Тоску на всех навел... То, для чего отдал жизнь и свою, и чужую — уже непонятно: кажется, что там одна пальба идет... а для чего — неизвестно. А то, что понятно,— разные почтенные дела, вроде «народного дома», или газеты, или «идейное книгоиздательство» его, семидесятника, не удовлетворяет... На это он готов, пожалуй, отдать... проценты с капитала...

— Ну, что ж,— шесть процентов, при скромных потребностях... Жить можно! И даже можно часть отдать на доброе дело...

— Да... конечно... Но если взять исходную точку... Ведь это был подвиг... Люди отдавали жизни, и он жизнь отдал... И не только свою... Неужели это можно сделать для одних процентов... А на подвиг-то уже не хватает стимула... Одним словом, в один прекрасный день нашли его в одиноком номере гостиницы — с пулей во лбу... И деньги рассовал кое-как, наскоро и невнимательно... Накануне еще я его видел в одном обществе. Никто в нем ничего особенного не замечал. Здоровались и проходили мимо, почтенный, дескать, человек. С характером, и намерения наилучшие. Скучный только необыкновенно!

— Гм, да! — сказал математик,— бывают и этакие чудаки.— И он стал укладываться. Лицо его с толстыми подстриженными усами опять потонуло в тени, а наружи были видны ноги в клетчатых брюках.. .— По-моему,— сказал он из своего угла,— уж Будников интереснее... Вы про него не досказали...

— Да... я ведь... извините,— к тому и случай этот привел... Сидел я как-то недавно всю ночь... Переписку Будникова с его этим «отдаленным» приятелем читал. Поверите: оторваться не мог... и представить невозможно, что это писал тот же Семен Николаевич Будников, который у меня чай с ромом пил, Гаврилу на биржу посылал и душа которого незаметным образом, почти на моих глазах, в этом вот нашем дворике выдохлась и опустела... И осталась без всякой, так сказать... ну, одним словом, без всякой святыни...

IV

Он остановился и посмотрел на меня застенчивым и вопросительным взглядом, почувствовав как будто, что у него вырвалось слово, не совсем обычное для вагонного разговора. И он почти вздрогнул, когда математик, выпустив из своего темного угла густой клуб дыма, сказал.

— А вы, Павел Семеныч, я вижу, такой же чудак, право!.. Удивительно! У одного — сто тысяч... Стрелять-

ся! Другой живет себе на всей, как говорится, своей воле: здоров, румян... Спокоен духом... Обеспечен... Вам и это странно?.. Ей-богу, это невозможно... Ну, спокойной ночи... Пора спать. Ничего, ничего!.. Вы мне разговором не мешаете... Я не стану слушать...

Он повернулся к стенке.

Павел Семенович стыдливо и вопросительно взглянул на меня наивными серыми глазами и заговорил тише...

— Есть в Тиходоле улица, называется Болотная. Уже при мне на ней построили дом... Новый, из свежего леса.. В первый год так и сверкал он, даже глаз резал этой своей свежестью. Потом очень быстро стал покрываться этим особенным бытовым налетом, этими мхами да лишаями и так слился с общим тоном старых сараев и заборов — не отличить. А теперь уже говорят, что там завелись привидения... Так вот и о господине Будникове вдруг стали говорить, что он ограбил одну женщину...

— Ну, это, как хотите, глупости! — отозвался математик.— Никогда не поверю, чтобы Будников был грабитель... Пустили какую-нибудь глупую сплетню.

Павел Семенович улыбнулся грустной и немного растерянной улыбкой:

— Вот именно. Какой грабитель!.. Грабитель — слово такое. определенное! А тут вышла просто некоторая житейская... запутанность, что ли, с расплывчатыми очертаниями... Видите... Должен сказать, что уже после вас в последние годы поселились во дворе мать с дочерью... Женщины были простые, очень бедные, и господин Будников относился к ним покровительственно и великодушно: задолжали они что-то много, и он,— очень аккуратный насчет платы,— тут терпел и даже иной раз помогал деньгами. На доктора там, улучшенное питание для больной. Потом старушка умерла, и осталась эта Елена круглой сиротой... Господин Будников и тут оказал большое участие: отвел ей уютный уголок, хлопотал насчет работы: шила она, кое-как перебивалась... Потом стала вроде экономки у господина Будникова, а там... начали поговаривать, что отношения их стали гораздо ближе...

— А-а...— произнес математик.— Это уж действительно без меня... И красивая?

— Да, пожалуй, красивая, полная, с плавными этакими движениями и покорными глазами. Говорили, что глупа. Но если и так, то ведь глупость женская бывает порой особенная... Тут и наивность, и какая-то дремлющая невинность души. Положение свое она чувствовала очень сильно. Как это говорится у Успенского, кажется,— вся была во стыду... Пробовал господин Будников учить ее, подымать, так сказать, до своего уровня. Она оказалась неспособна. Сидит, бывало, над книжкой, водит по-детски указкой, и лицо по-детски напряженное. А при Будникове вся как-то сожмется и оглупеет. Охладел он к этим занятиям, а потом и к Елене, тем более, что возникли некоторые другие виды. А было, должно быть, время, когда он ее начинал любить. Были, вероятно, и обещания какие-нибудь. Одним словом,— доставался ему этот разрыв не так уж легко,— совесть, что ли, была задета... только он старался смягчить разрыв. И между прочим вздумал ей подарить билет внутреннего займа... Призвал ее однажды, вынул три билета, разложил на столе, разгладил рукой и говорит:

— Смотри, Елена. Вот на каждую эту бумажку можно выиграть двести тысяч. Понимаешь?

Она, конечно, понимает плохо. Воображения не хватает на этакую сумму. А он продолжает:

— Ну, вот, говорит,— одну я дарю тебе. Сама бумажка стоит, говорит, триста шестьдесят пять рублей, но ты ее не продавай... Ну, возьми своей рукой на счастье...

Она не берет, жмется, точно боится. «Ну, хорошо,— говорит господин Будников.— Дай сюда руку. Вот, пусть это будет твоя бумага...» Взял один из этих билетов и провел ее рукой две черты карандашом, резко этак, с нажимом. Видно, что намерение было у человека твердое... Отдал бесповоротно, со всеми, так сказать, последствиями. «Видишь,— говорит,— это на твое счастье, и если выиграешь двести тысяч,— тоже твои будут...» И положил опять в стол. А у нее из-за пазухи вынул ладонку и положил туда бумажку с номером билета.

— Ну, и что же? — спросил математик..

— Ну, и вот... Нужно же было случиться, что... работает там эта машина в Петербурге, выкидывает, знаете,

номер за номером. Берут их, кажется, детскими руками... И один из этих билетов выигрывает...

— Двести тысяч? — живо спросил математик, очевидно забывший о сне.

— Двести не двести, а семьдесят пять... Смотрит господин Будников в марте месяце тиражную таблицу и видит: стоит крупный выигрыш против его номера. Нуль, опять нуль... триста восемнадцать и тридцать два. И вдруг вспоминает, что один билет подарил Елене... Он хорошо помнит, что две черты поставил на первом. У него три подряд: триста семнадцать, триста восемнадцать и триста девятнадцать. Значит, триста семнадцатый... Достает билеты, смотрит: две черты стоят на триста восемнадцатом. Выиграла-то Елена...

— Ах, черт возьми,— воскликнул математик и слегка приподнялся.— Вот это штука!

— Да, именно штука. И даже довольно глупая. Черты попали на этот номер, когда он думал, что дарит другой... Ошибка, механический промах руки, пустая случайность... И из-за этой случайности Елена, глупая женщина, которая ничего не понимает и не сумеет даже распорядиться деньгами, возьмет у него... именно у него, у господина Будникова, отымет, так сказать, крупную сумму! Ведь это нелепость, не правда ли? У него и образование, и цели, или там были когда-то цели... Ну, и опять могут быть. Он эти деньги, может быть, на добрые дела назначит. Опять напишет своему этому приятелю, попросит у него совета... А она — что такое? Животное с округленными формами и красивыми глазами, в которых даже и не разберешь хорошенько, что в них: глупость теленка или невинность младенца, еще, так сказать, не проснувшегося к сознательной жизни... Вы понимаете?.. Ведь это так натурально... Каждый на месте Будникова... вы... я... вот Петр Петрович почувствовал бы приблизительно то же...

Со стороны Петра Петровича послышался какой-то не совсем внятный звук, который можно было истолковать различно.

— Нет? — сказал Павел Семеныч.— Ну, извините... Говорю о себе... Мысли или, вернее, поползновения, что ли, такие у меня были бы, может быть, где-то там, в подсознательной, как говорится, сфере... Потому что... созна-

ние и все эти сдерживающие силы, это ведь как земная кора: тонкая пленка, под которой ходят и переливаются чисто эгоистические первобытные, животные побуждения... Найдут место послабее и...

— Ну хорошо, хорошо,— с снисходительной усмешкой сказал Петр Петрович, и мне показалось, что он подмигнул мне из своего темного угла...— Вернемся к Будникову. Что же он? Отдал — и кончено?..

— Да, по-видимому, так он и хотел разрешить этот вопрос, и так как, кажется, боялся немного себя, то в тот же день призвал к себе Елену и поздравил ее с выигрышем. И тут же, при сем случае, желая воспользоваться, так сказать, благоприятными условиями, намекнул: вот, дескать, когда мы разойдемся, ты обеспечена. И при этом все время сердился...

— За что же сердился?..

— Я думаю, за то и сердился, что вот ты какая дура. Если бы тогда сама выбрала,— наверное, взяла бы не тот номер. А теперь из-за твоей глупости какая история вышла. Порядочный и умный человек какой суммы лишается. Так я, по крайней мере, представляю себе по рассказу Елены... «Все, говорит, бегали из угла в угол и сердились на меня. .»

— Ну, а она что же? Обрадовалась, конечно?

— Н-нет... Спужалась, говорит, очень, и ударила из нее слеза. Он сердится, а она плачет, и от этого он еще больше сердится.

— Действительно, дура!..

— Д-да... Я уже докладывал: умной ее не считаю, но в слезах этих... Нет, это была не глупость... И когда мне после рассказывала... дошла до этого места, взглянула на меня своими чистыми, птичьими глазами и вся всколыхнулась от плача... И вот теперь я не могу забыть этих глаз... Глупость-то, может быть, и глупость. То есть нет ни ясности сознания, ни отчета в положении вещей. Но было что-то в этих голубых глазах, особенно в самой глубине... точно мерцал в них какой-то правильный инстинкт... Эти ее глупые слезы были, может быть, единственным правильным, настоящим, пожалуй... позволю себе сказать,— самым умным во всей этой запутанной истории... Где-то тут недалеко скрывался выход, точно потайная дверка. .

— Ну, хорошо, хорошо... Дальше-то что же?

— А дальше... Господин Будников посмотрел на глупую женщину долго и внимательно, потом подсел к ней, потом обнял, а потом... в первый раз после значительного охлаждения приказал ей не уходить к себе, а остаться ночевать у него...

И пошло это так на некоторое время. Елена расцвела... Любовь ее тоже была «глупая», то есть очень непосредственная. Сначала,— сама мне говорила,— господин Будников был ей противен. Потом, когда уже взял ее,— точно, говорит, присушил. У таких непосредственных женских натур нет разделения, так сказать, чувства и факта. С какого конца ни затронь,— весь этот комплекс действует нераздельно... Опять вернулся к ней, значит, опять полюбил... Две недели она так сияла радостью и красотой, что все, кто в это время смотрел на нее,— тоже заражались безотчетной радостью... Только недели через две господин Будников опять охладел... И потянулась у нас на дворе слякоть какая-то... У Елены глаза наплаканы... Соседки судачат, жалеют, господин Будников сумрачен... Две-то черты эти прошли глубоко по душе обоих. А тут еще и третий под них подвернулся... Дворник Гаврило...

— Гм!.. Целая история,— сказал Петр Петрович, опять подымаясь с места и садясь рядом с Павлом Семенычем.— Он-то при чем?.. Тоже узнал о выигрыше?

— Ничего он не знал. Я о нем уже говорил. Существо, бесхитростнее которого трудно представить,— прямо райская непосредственность... Иной раз он представлялся мне даже не человеком, а... как бы сказать... простым собранием мускулов, отчасти сознающих свое бытие. Все в нем было слажено хорошо, гармонично, правильно, и все в постоянном действии. И при этом два добрых человеческих глаза смотрели на весь мир с точки зрения своего физического и морального, так сказать, равновесия. Порой в этих глазах светилось, пожалуй, любопытство и... такое бессознательное превосходство, что прямо бывало завидно. Порой мне даже казалось, что если не сам Гаврила, то *что-то* в нем отлично понимает и господина Будникова, и меня, и Елену... Понимает и улыбается именно потому, что понимает...

И вдруг этот человек тоже помутился... Началось это с той поры, как Будников сошелся с Еленой вторично и опять бросил... Для него она стала брошенная «барская барыня», существо, особого почтения не внушающее, и очень вероятно, что первые его авансы выразились как-нибудь просто, по-деревенски. Но она встретила эти авансы с глубокой враждой и гневом. Тогда Гаврило «задумался», то есть стал плохо есть, уставать за работой, похудел, вообще стал сохнуть...

Так это тянулось осень и зиму. Будников окончательно охладел к Елене; она чувствовала себя оскорбленной и считала, что он над ней «надсмеялся»... У Гаврилы несколько испортился характер, и во взаимных отношениях его и Будникова исчезла прежняя гармония... А билет с двумя чертами лежал в столе, и, казалось, все о нем забыли...

Подошла среди такой ситуации и весна... На время я потерял из виду всю эту маленькую драму, которая разыгрывалась у меня на глазах... Подошли у меня и экзамены, уставал я сильно, даже сон потерял. Чуть задремлешь,— вдруг будто толкнет кто-то,— сна как не бывало. Зажжешь свечу,— на столе тетрадки лежат,— и станешь править... А там и солнце всходит... Выйдешь на крылечко, смотришь на спящую улицу, на деревья в саду... По улице сонный извозчик проедет, в саду деревья чуть трепыхаются, будто вздрагивают от утреннего озноба... Позавидуешь извозчику, позавидуешь даже деревьям... Покоя хочется и этой сосредоточенной бессознательной жизни... Потом пойдешь в сад... Сядешь на скамейку и, случится,— задремлешь, пока солнце в глаза не ударит. Скамейка такая была у стенки конюшни в укромном уголочке. Солнце как раз в семь часов на нее светило,— проснешься, чаю наскоро выпьешь — и в класс

Вот однажды вышел я на заре и задремал на этой скамейке. Проснулся вдруг, точно кто разбудил. Солнце недавно поднялось и на скамейке еще тень. Что такое, думаю... Отчего бы мне так внезапно проснуться? И вдруг слышу у Гаврилы в конюшне голос Елены. Хотел я встать и уйти: подслушивать я не охотник, да и неприятно показалось столь простое разрешение Елениной драмы. Но пока спросонок-то собрался встать,— разго-

вор продолжался, а затем уж я и не ушел... Прямо заслушался.

— Ну, вот и пришла,—сказала Елена...—Что вам?

И потом вдруг, с глубокой такой, ну просто захватывающей тоской прибавила:

— Измучил ты меня...

И так она это сказала... с таким искренним душевным стоном. И на «ты»... Прежде всегда, да и после—все «вы» ему говорила, а тут... вся изболевшая стыдом и любовью женская душа зазвучала — просто, без условностей, беззаветно...

— И вы меня, Елена Петровна, измучили,— ответил Гаврило.— Мочи моей нет. Сохну. Не работается, куска, говорит, не съем...

— Что ж теперь,— говорит Елена,— будет?

— Да, что! — говорит,— жениться на тебе, видно.

На некоторое время оба замолчали. Елена, кажется, тихонько плакала. И все в этом молчании было удивительно ясно, просто, без всяких недомолвок. Вот, дескать, какое положение: ты мне, конечно, не пара. Я вот поработал бы тут на Будникова, сколько полагается для моих целей, и пошел в деревню, поставил бы хозяйство, женился, взял бы честную девушку... И все это теперь пошло прахом: приходится поневоле брать тебя, какая есть...

— Потерянная я...— сказала Елена тихо...

— Что ж, Елена Петровна,— ответил Гаврило с какой-то угрюмою лаской.— Не посмотрю я на это, что вы сами себя потеряли... Все одно... Не житье мне... Постыло все... Кусок в рот не идет. Силы нет...

Елена заплакала сильнее... Плач был хороший. Мне казалось — болящий, но исцеляющий. Гаврило сказал строго:

— Ну, что уж... будет... Пойдешь, что ли?..

Елена, видимо, сделала усилие, сдержала слезы и на повторенный вопрос ответила:

— А бога вы, Гаврило Степаныч, побоитесь?

— Чего это? — говорит Гаврило.

— Попрекать не станете?

— Нет,— говорит.— Попрекать не стану. И другим в обиду не дам. А ты вот сама побожись, что баловство бросишь... Навсегда... Я тебе поверю...

Стало тихо. Я не слышал, что ответила Елена, представляю себе только, что она, должно быть, повернулась на восток, а может, и иконка в каморке была... И перекрестилась... После этого она вдруг обхватила его голову руками, и я услышал поцелуй. И тотчас же Елена выбежала из каморки, метнулась было к дому, но потом вдруг остановилась, открыла калитку и вошла в сад...

И тут увидела меня... Но это ее нисколько не смутило. Она подошла, остановилась, посмотрела на меня счастливыми глазами и сказала:

— А ты все гуляешь по зорям... Эх ты, сердешный...

И вдруг, переполненная вся этим своим чувством, подошла ко мне, взяла руками за плечи, бесцеремонно встряхнула меня, посмотрела в глаза и засмеялась... И так это просто вышло. Она поняла, что я все слышал, и ничего в этом не видела дурного... Только когда Гаврило вышел с метлой и тоже направился в сад, она вдруг вся зарделась и быстро пробежала мимо него. Гаврило посмотрел ей вслед с спокойной радостью, потом его взгляд упал на меня. Он поклонился с прежней стихийной благосклонностью и принялся мести дорожку. И опять была в нем та же красивая и беструдная игра мускулов, здоровых и свободных... И помню: как раз в эту минуту в монастыре ударили к ранней заутрене,— дело было в воскресенье. Гаврило остановился в широком просвете аллеи, снял шапку и, придержав метлу на левой руке, правой стал креститься. И показалось мне это необыкновенно светло и красиво. Стоит человек в центре своего светлого мира, где все у него устроено хорошо, то есть все эти отношения — и с землей, и с небом... Одним словом, такое это было успокоительное зрелище, что я пришел к себе в комнату и в первый раз после многих беспокойных ночей заснул, как убитый... Есть что-то в хорошем человеческом счастии исцеляющее и выпрямляющее душу. И мне, знаете, приходит иной раз в голову, что, собственно говоря, все мы обязаны быть здоровыми и счастливыми, потому что... видите ли... счастье — это высшая степень душевного здоровья. А здоровье заразительно, как и болезнь... Мы, так сказать, открыты со всех сторон: и солнцу, и ветру, и чужим настроениям. В нас входят дру-

гие, и мы входим в других, сами этого не замечая... И вот почему...

Павел Семенович вдруг остановился, почувствовав на себе пристально насмешливый взгляд Петра Петровича.

— Да, да!.. Извините,— сказал он,— у меня это действительно несколько туманно.

— Есть немножко... Лучше уж рассказывайте дальше. Без философии...

— ...Разбудил меня уже господин Будников. Это было как раз двадцатое. Пришел он, как всегда, и, как всегда, выпил два стакана чаю с ромом, но я видел, что господин Будников сильно не в духе и даже нервничает... И я невольно поставил это в связь с утренним эпизодом.

И некоторое время он все был не в духе. Все во дворе замечали, что между хозяином и работником идет что-то неладное и... непростое. Гаврило хотел уходить. Будников не отпускал, хотя при этом часто говорил мне, что в Гавриле он разочаровался. Однажды я шел по дорожке сада и увидел, как они оба стояли у калитки и разговаривали о чем-то. Будников был возбужден, Гаврило спокоен. Он стоял в свободной позе, глядя на свою лопату, которой постукивал в землю. Было видно, что он твердо стоит на чем-то, а господина Будникова это выводит из себя... И еще мне показалось, что предмет разговора устанавливает между ними какое-то странное равенство...

— Это, голубчик, дело, конечно, ваше,— говорил господин Будников...— Он заметил меня, но не счел нужным прекратить разговор. Говорил язвительно и с горечью...— Да-с... Вы человек свободный... Но только, имейте в виду, Гаврило Степаныч... ежели у вас есть какие-нибудь утилитарные виды... Я с своей стороны, конечно, очень скромную сумму...

Господин Будников не умел говорить просто и иностранные слова употреблял даже в разговоре с Гаврилой... Гаврило посмотрел на него спокойно и ответил:

— Ничего нам не надо... Нам хватит своего.

Господин Будников кинул на него настороженный взгляд и сказал:

— Ну, хорошо. Помните! А затем... вот я уеду в Петербург по делу... Делайте, как хотите.

Гаврило поклонился и сказал:

— Покорно благодарим...

— Извините-с...— с оттенком иронической меланхолии сказал господин Будников.— Я на благодарность не рассчитываю.

И вышел из сада, хлопнув калиткой.

Во дворе он остановился, подождал меня и, взяв под руку, пошел к нашему крыльцу. По дороге и сидя у меня на крылечке, говорил что-то запутанное и невнятное. Он не скрывает, что питал некоторое чувство к некоторой женщине. И это чувство может быть «живо под пеплом»... С другой стороны, мечтал о слиянии и возможности дружбы с меньшим братом. И хотя то и другое чувства послужили источником разочарования, но он с своей стороны что-то докажет, и все что-то увидят... Но, вообще говоря, великодушие, как и тонкие чувства, свойственны только высококультурным людям...

Он нервничал, и под несколько деланным пафосом мне слышались ноты искреннего огорчения и волнения.

Впоследствии я имел случай ознакомиться с его дневником. Там были отдельные странички в форме как бы писем к этому его отдаленному другу... Писем он, кажется, давно не посылал, но эти странички были точно просветы среди сумеречной обыденщины. И под тем приблизительно числом, когда происходил разговор с Гаврилой, стояло горячее излияние. Он сообщал всю эту историю с Еленой и писал, что ошибся, что любит ее и теперь... И что сделает еще один опыт... И кончалось это внезапным лирическим порывом: ты, дескать, далекий друг, не сомневаешься, конечно, что я выполню то, что считаю долгом великодушия...

И вот однажды, отправив Гаврилу с лошадью за город, господин Будников подошел к флигельку, где попрежнему жила Елена.

— Елена! Вы бы пришли ко мне. Убрать кое-что надо...

Несколько дней перед этим он был особенно задумчив и торжествен, а теперь оделся попараднее, подошел к флигелю и вошел в комнату Елены, не стесняясь любопытными взглядами.

Никто тогда не знал, что происходило в ее комнате, но через полчаса господин Будников вышел оттуда прямой, чопорный и как будто растерянный. И все стали говорить, что господин Будников делал Елене форменное предложение и — Елена отвергла...

После этого он уехал в Петербург, где у него была тяжба в сенате. Он ее проиграл, а когда вернулся, то Гаврило и Елена были уже обвенчаны...

V

Впечатление все это произвело на него сильное, как будто совершился некоторый душевный переворот. Особенно поразило его одно на вид незначительное обстоятельство. Прежде каждую весну в палисадничке у окон господина Будникова цвели цветы. Это было у них с Еленой общее и составляло признанную статью расхода: семена, лейка, кузнецу за ремонт лопаты... С ранней весны Елена возится, бывало, в этом цветнике, радостная и оживленная, и господин Будников, тоже радостный, принимал в этом участие. Теперь флигелек опустел, цветник заглох, окна господина Будникова как будто ослепли... А у другого флигелька, где жил теперь Гаврило с женой, все зацвело и распустилось. Точно символ. Когда господин Будников вернулся с вокзала и кинул взгляд на этот неожиданный контраст,— лицо его передернулось и на некоторое время он потерял свой обычный величавый вид. И мне вдруг стало его жалко. Я вышел и пригласил его к себе. Он долго сидел у меня, рассказывая свои столичные впечатления,— фразисто, пространно и неискренно. И все время чувствовалось, что в душе господина Будникова происходит что-то далекое от столичных впечатлений.

Потом понемногу все как будто вошло в колею. Господин Будников так же ездил два раза в неделю на загородный хутор, ходил в определенные дни по квартирантам, готовил себе обед на керосинке. Только в дневнике стало больше разных пустяков: например, он стал записывать, сколько шагов он делает ежедневно и, кажется, высчитывал по этим записям выносливость и стоимость подметок.

А еще через некоторое время последовала новая перемена: господин Будников почувствовал склонность к религии.

Помню, как-то был осенний вечер... Из тех тихих вечеров, когда природа особенно внятно трогает душу. На небе звезды будто шевелятся этак и шепчутся, а на земле свет и тени... Городок у нас, знаете сами — тихий и весь в зелени. Выйдешь, бывало, вечерком и сядешь на крылечке у себя. И у других домов, вдоль улицы, кто на скамеечке у ворот, кто на завалинке, кто просто на травке... Шепчутся где-то люди о своем, деревья о своем—и стоит какой-то невнятный шорох. Ну, и в душе тоже шепчет что-то... Перебираешь невольно всю свою жизнь. Что было и что осталось, куда пришел и что еще будет дальше? И зачем все... и какой, знаете ли, смысл твоей жизни в общей, так сказать, экономии природы, где эти звезды утопают, без числа, без предела... Горят и светятся... и говорят что-то душе. Иной раз и грустно, и глубоко, и тихо... Кажется, как будто не туда направляешься, куда надо. И начинаешь угадывать что-то там, высоко... И хочешь убежать от этой укоряющей красоты, от этого великого покоя со своим смятением и хочешь слиться с ними... А уйти некуда... Войдешь в кабинет, посмотришь при лампе на эту свою обстановку... учебники... тетрадки с ученическими письменными ответами... И спрашиваешь: где тут живое-то?..

Петр Петрович пробормотал что-то, и рассказчик опять спохватился.

— Так вот... В этаком состоянии сижу на крылечке и думаю: «Вот люди от вечерни идут... Что же? Находят они в этом свое отношение к бесконечному?.. Или только привычка, пустой автоматизм?» И так хочется, чтобы это было настоящее. И вдруг вижу: отделяется от идущих одна тень и подходит ко мне. Оказывается — это господин Будников. Тоже от вечерни. И садится рядом.

И я чувствую, что господин Будников ждет: дескать — спроси у меня — зачем я стал посещать церковь. Все не бывал и к религии относился иронически, а теперь вдруг стал посещать богослужения. И меня это действительно интересовало, да и так, откровенность

под влиянием этого вечера нашла... Отчего, думаю, не сказать, что вот, дескать, у меня на душе сумрак какой...

— Вот, говорю, Семен Николаевич... Смотрю я на небо и вот что думаю...

Покачал он головой и говорит:

— Мучился и я этим... и страдал. И вот, как вы же — не видел выхода. А выход — вот он, под руками...

И жестом указывает в сторону, где белеется за деревьями церковь...

— Нас, говорит, интеллигентных людей, пугает, что это, так сказать, дорога избитая, банальность... А между тем,— стоит отбросить гордость и слиться... или, как это Толстой когда-то выразился,— прикоснуться к общей чаше, растворить свои искания в смиренной общей вере... перестать осуждать основы жизни... Как Антей, так сказать, прикоснуться к общей матери...

И так он это сказал как-то вкусно. Голос такой сочный, журчащий, точно басок в архиерейском хоре. Говорю вам искренно: я даже позавидовал. Ведь действительно: кругом тишина и благодать... Стоит, как говорит господин Будников, слиться, и у меня тоже все эти трещинки в душе затянет, как маслом. И сразу найдется потерянный смысл. Я вот спрашиваю себя: зачем тетрадки? А зачем все это вот, вся эта тихая жизнь?.. Почему вот тот сапожник идет такой торжественный и довольный?.. Или вон Михайло не ищет никакого особенного смысла, а плывет в общем потоке жизни, то есть в ее общем значении и общем смысле. Придут люди раз в неделю в это беленькое здание, так приветливо выглядывающее из зелени, побудут некоторое время в общении с какой-то тайной,— и, смотришь, запасаются на всю неделю ощущением смысла... А ведь для многих жизнь гораздо тяжелее моей...

И вот теперь господин Будников... Неужели и он нашел для себя это и разрешил свои смятения... Хотел было спросить, но тут мимо прошел сначала наш священник. Господин Будников с ним раскланялся, и он ответил приветливо. И на меня посмотрел тоже с вопросительной благосклонностью.. Будников вот обратился, может быть, дескать, и еще одного заблудшего приведет... Я тоже ответил на поклон особенно как-то тепло и благо-

дарно и опять хотел спросить у господина Будникова, но тут появилось еще новое лицо, уже совершенно другого настроения...

VI

Павел Семенович несколько задумался и потом спросил у Петра Петровича:

— Учился при вас некто Рогов?

— Рогов .. Не припомню... Столько их училось...

— Этот был заметный, и об нем приходилось часто разговаривать в совете... Судьба его была особенная... Видите ли. Отец этого мальчика был злодей старого закала, ябедник, пьяница и сутяга, гонимый новыми временами, как волк охотниками. Тип, так сказать, запоздалый. Способности недюжинные, а не приспособился к новым порядкам. И коротал он свои последние дни среди невзгод, нищеты и пьянства. И все ему казалось, что судьба к нему несправедлива: люди умеют устроиться отлично, а он при том же, по его мнению, образе действий — грязен, голоден и гоним... И представьте, что у этого человека — семья... Жена и сынишка...

Жена — существо безответное, уничтоженное им в полном смысле слова, за исключением одного угла души. Когда дело касалось сына,— в этой, как будто совсем опустошенной, душе открывалась какая-то дверка, точно не сдавшаяся цитадель в занятом неприятелями городе, и оттуда выступало вдруг столько женского героизма, что порой старый буян и пьяница поджимал хвост. Таким образом, бог уж ее знает какой ценой, но ей удалось все-таки дать сыну образование. Поступив в Тиходол учителем, я застал этого юношу в последних классах. Мальчик был застенчивый, скромный на вид, поведения тихого. Только в глазах было что-то такое, странно сдержанное, возбуждавшее, пожалуй, некоторую тревогу: какой-то особенный огонек, точно блеск, беспокойное внутреннее горение. Худощавый, тонкое лицо всегда бледно, и копна буйных волос над крутым лбом. Учился отлично, с товарищами знался мало, отца, кажется, ненавидел, мать обожал почти болезненно...

Теперь .. извините. . Придется мне несколько слов сказать о себе... Иначе — останется многое непонятно

в дальнейшем... Я тогда учительствовал еще первые годы и переживал особенное настроение... На призвание свое смотрел возвышенно и, так сказать, идеально. Товарищи представлялись мне какой-то священной ратью, ну, там... гимназия эта — чуть не храм... Молодежь это чувствует и ценит... И бежит на этот огонек со всей непосредственностью и со всеми своими запросами... А ведь это и есть живая душа нашего дела... Что толку, если он придет к тебе, застегнувши вместе с мундиром на все пуговицы и свою юную душонку. С своими вопросами и заблужденьями он мне, учителю, нужнее... Да и я ему нужнее, пока сам ищу и учусь... При некоторой искренности бери их прямо руками...

Рассказчик помолчал и продолжал тихо:

— И было это у меня когда-то... Сблизился я тогда крепко с несколькими мальчиками своих классов, в том числе и с Роговым... Книги свои давал, сходились ко мне. Ну, там, за самоварчиком, запросто, задушевно, понимаете... Вспоминаю об этом, как о празднике жизни... Журнал иной раз свежий откроешь, толки, рассуждения, споры. Слушаю, не вмешиваюсь сначала, как они колобродят тут, путаются, потом разъяснишь — осторожно, но с увлечением... А там, глядишь, иной раз родилась мысленка, другая — иной раз он уж тебя самого царапнет, довольно остро... И чувствуешь: надо держаться начеку, надо самому думать и учиться. И растешь вместе с ними... И живешь...

Недолго только шло это у нас. Как-то раз призывает меня директор для конфиденциальной беседы... Ну, вы знаете сами... Теперь эти «внеклассные» влияния руководителей юношества покровительством не пользуются. А уж журналы!.. Директор, вы его знаете,—Николай Платонович Попов,— деликатный человек... Он только намекнул и затем сделал вид, что ему, в сущности, ничего не известно... Я было погорячился, сначала даже отказался подчиниться, апеллируя к высшему пониманию своих обязанностей. А потом... вижу, что ничего не поделаешь. Главное—не обо мне одном и речь-то идет: на мальчиках отражается... Трудно было и тяжело, а главное — стыдно, вот что всего хуже. Что я мог сказать своим молодым собеседникам? Чем объяснить? Исполняю приказание, явно бессмысленное и оскорбительное, и только! Это

был для меня первый удар жизни, и я тогда не заметил, что удар-то, пожалуй, был смертельный...

Подчинился я и прекратил свои вечерние беседы. По совести скажу, что думал больше о них. Ну, молодежь-то, знаете, не так легко подчиняется в этих случаях и не все в них понимает. Однажды вечером — шасть ко мне этот Рогов с товарищем... Тайным образом. Лица возбужденные, глаза горят и глядят как-то этак особенно... Ну, я этот способ сношений отклонил. «Нет, говорю, господа, лучше это оставить». Вижу, что мальчики вспыхнули оба... Рогов этот заговорил что-то, да только спазма схватила горло, а глаза стали вдруг злые... Но я нашел себе оправдание: за них я, особенно за Рогова и за мать его, боялся... Ведь если бы открылись наши конспирации, пожалуй, вся его карьера и весь материнский героизм — пошли бы насмарку. Так я и отступил тогда... в первый раз...

Старался зато уроки сделать как можно интереснее. Вечера у меня остались свободные... Скучно. Привыкать ведь уже начал к своему молодому кружку. А тут — пусто. Ну, я за книги. Работал, как вол, и все бывало прикидываешь в воображении: вот это должно их заинтересовать, вот это будет ново, а это ответит на такие-то запросы... Читаю, роюсь в книгах, коллекционирую все интересное, оживляющее, раздвигающее казенные стены и казенную сушь учебников... И все с живой мыслью о недавних собеседниках... И кажется — выходило что-то... Помню, что класс весь иной раз замирал, умы вспыхивали... Но тут вдруг стал директор ходить на уроки. Придет, сядет, слушает, молчит... Знаете сами, как это делается. Как будто и ничего, а ведь и класс, и сам я чувствую, что это уже не урок, а своего рода дознание... Потом на стороне — деликатные вопросы: вот это, собственно, вы, позвольте узнать, откуда почерпнули? Из какого утвержденного учебника? И в какой мере, по вашему мнению, это соответствует программе?

...Ну, не стану распространяться... Так, одним словом, огонь этот понемногу во мне угасал... Класс стал именно классом: живые лица стали отдаляться все больше, отошли в туман какой-то... прикосновение умственное утратилось. Отметки... планы... перечисление стилистических красот живого произведения. В данном произведении две-

надцать красот. Красота первая, красота вторая... Ну, и так далее... Соответственно требованиям программы... То есть, понимаете, и не заметил, как пошла и у меня та же будниковская бухгалтерия.

Как бы там ни было, кончил этот юноша курс гимназии и уехал в столицу... Однако в университет поступить сразу не удалось. Это было уже время этих секретных аттестаций... Может, и мои чтения тут были в игре. Одним словом — год у него пропал. Матери-то он написал, что поступил и даже — что получает стипендию, а в действительности перебивался кое-как, бедствовал и, вероятно, озлоблялся. Потом как-то все-таки стал выбиваться на дорогу. Но тут вдруг и настигни его горе: мать умерла, не дождавшись. С тех пор, как сын уехал, таяла все... Исчезла, так сказать, с горизонта путеводная звезда всей ее жизни — ну, и сила сопротивления тоже исчезла. Исчахла, знаете ли, как-то быстро, даже как будто с удовольствием. «Я, говорит, Ване теперь уже не нужна... На дорогу, слава тебе господи, вывела. Теперь и сам пойдет». Сказала: «Ныне отпущаеши...» — и умерла. А вскоре после этого и почтенного родителя в канаве нашли... И остался мой Рогов круглым сиротой...

Однако старушка-то, видно, поторопилась: теперь-то она, может, всего нужнее была сыну. Учился он, правда, хорошо и даже как-то страстно, так сказать, без оглядки, будто торопился к чему-то. А как получил известие о смерти матери,—в душе-то, видно, оборвалось что-то... Очевидно, и она для него, в свою очередь, была единственной мечтой в жизни. Вот, дескать, кончу, стану на ноги и восстановлю нарушенную справедливость: мать, наконец, хоть на закате узнает, что есть еще благость господня и любовь, и благодарность... Хоть на год, хоть на месяц, хоть на неделю... Пусть хоть на миг один, да чтоб сердце радостью вспыхнуло и оттаяло. И вдруг—вместо всего могила... Обрыв — и кончено! И никакой уже благодарности не надо, и ничего уже ни вернуть, ни исправить нельзя... Да, чтоб выдержать такое испытание без надлома, нужна сила... нужна вера в общий смысл жизни... Чтобы и это казалось не одной глупой случайностью...

Ну, он и не выдержал. Опоры не было... Оступился, закрутил и стал вином заливать ядовитое чувство оскорбления и несправедливости судьбы... А там и пошло. Экзамены бросил,—дескать, теперь не для кого дипломы добывать... И понесло его случайными течениями, как лодку, брошенную на реке... Заявился опять в нашем городе... Может быть, думал зачалиться как-нибудь за материнскую могилку... Да ведь что тут могила поможет... Если бы в ней отыскался смысл какой-нибудь, тогда, конечно, другое дело... А так... взял в суде свидетельство «на право хождения» по делам и вступил на отцовскую дорожку. Жизнь повел беспутную, время проводил в кабаках, с голытьбой, и брал дела самого рискованного свойства. Год такой жизни,— и выработался в пьяного и дерзкого буяна, анфан-терибля всего нашего мирного городка, грозу мирных граждан. И откуда-то, черт его знает, в этом застенчивом юноше объявилась вдруг наглость, а с нею и остроумие просто дьявольское: все в городе его боялись... Замечательно, что редкий городок на Руси обходится без своего Рогова. Своего рода должность, полагающаяся по штату. Тихо это всюду, мирная дремота, идиллическое спокойствие, господин Будников по улицам ходит, прямой, величавый, собственные шаги считает. По вечерам — особенно в праздники, шорохи эти поэтические, а тут где-нибудь ухает кабак вроде нашего «на Ярах», и бурлит какая-нибудь безобразная, изболевшая и одичавшая душа... А около нее, конечно, сателлиты. Это уже, так сказать, в порядке вещей, необходимый аксессуар глухих провинциальных углов.

Первое время после своего появления Рогов иногда встречался со мною... Робко поклонится и отойдет к стороне, особенно когда пьян. Раз, встретившись, я заговорил с ним и пригласил его к себе. Пришел... трезвый, серьезный, даже застенчивый... по старой памяти, что ли... Только — как-то у нас не склеилось. Встало между нами воспоминание: я — молодой учитель со свежею верой в свое призвание, с живым чувством и словом. Он — юноша, еще чистый, благоговеющий перед моим нравственным авторитетом... Теперь он — Ванька Рогов, тиходольский дебошир и ходатай по сомнительным делам... А я... Ну, одним словом — точно стена какая-то стоит между нами и разъединяет: о главном, о том, что всего важ-

нее,—не говорим. Чувствую, что надо бы разрушить какую-то перегородку, сказать ему что-то такое, что проникло бы в эту душу и взяло бы ее, как когда-то... И он, вижу, сам ждет как будто со страхом: вдруг ты за это, за самое больное-то все-таки схватишь... В глазах и боль, и ожидание... А у меня силы для этого нет. Оборвалась... еще, кажется, тогда, давно, когда в первый раз со стыдом пришлось отступить...

Так мне и пришлось наблюдать, в качестве, так сказать, сочувствующего свидетеля, как опускался этот юноша на глазах, пошлел, спивался, грязнел... Обнаглел, стыд стал терять, потом слышу: Рогов вымогает и попрошайничает по мелочам. Дела берет плохие: ходит по самой, так сказать, границе между просто предосудительным и уголовным. Да ходит ловко, как акробат, и над всеми смеется. Года в два-три уже совершенно определился. Фигура мрачная, грязноватая и чрезвычайно неприятная.

Ко мне иной раз стал уже заходить пьяный... И странно: в этом виде мне с ним стало как будто легче... Задача, что ли, упростилась, стала очевидна его вина, и мораль давалась легче. Помню, как-то после одной его выходки, до очевидности скверной, говорю я ему:

— Так и так, Рогов, нехорошо.

Он сначала сжался было, глаза отвел, как бы боясь нравственного удара, а после тряхнул лохмами и посмотрел мне прямо в глаза, видимо, призывая на помощь свою наглость.

— Почему бы, говорит, Павел Семенович, нехорошо?

— Нечестно, говорю.

— Ну, знаете ли, говорит, это ведь только замена одного спорного термина другим, не менее спорным. То было нехорошо, а теперь стало нечестно. А у меня, говорит, на этот счет своя теория выработалась. Честность и другое тому подобное есть не что иное, как десерт. Десерт же, как известно, подается после обеда. А если нет обеда,— какая же, говорит, надобность в десерте?..

— Но припомните, говорю, Рогов, отчего у вас нет обеда... Учились вы хорошо, были уже на дороге и вдруг уклонились с пути...

Самому мне в эту минуту показалось это соображение не только убедительным, но даже неопровержимым... А он посмотрел на меня, засмеялся и говорит:

— Вы, говорит, в последнее время, кажется, на биллиарде стали иногда вечерами поигрывать?

— Ну, что ж, говорю, играю... для отдыха.

— Клапштос, говорит, знаете?

— И клапштос знаю.— А клапштос, как вам известно, удар этакой особенный, парадоксальный. От этого удара шар сначала идет вперед, а потом вдруг как бы произвольно откатывается назад... На первый взгляд непонятно и как бы противно законам движения, но в сущности просто.

— Ну, так вот, по-вашему, говорит, это что же: шар свою волю обнаруживает? Нет?.. Просто борются два различных движения... Одно действует сначала, другое берет верх после... Ну, так видите ли, говорит,— мамаша моя шла всю жизнь прямым путем, а папаша, как вам хорошо известно, вертелся волчком. Вот и я сначала шел прямо, пока хватало мамашиных импульсов... А потом, знаете, и сам хорошенько оглянуться не успел, как уж меня завертело по-отцовскому... Вот вам и вся моя биография...

И так это он сказал искренно как-то и безнадежно. Опустил голову, закрыл лицо кудрями, потом посмотрел на меня, и опять мне стало жутко. Боль в глазах. Видали вы когда-нибудь у животных, когда им очень больно?.. Собака,— на что ласковая тварь,— а и та в это время хозяина укусить готова.

— Что же, говорит... Кто тут, по-вашему, виноват?

— Не знаю, говорю, Рогов. Я вам, конечно, не судья... Да и не в виновности дело.

— Не в виновности, так в чем же? По-моему, тот виноват, кто меня клапштосом в жизнь пустил... Значит, судить некому. Вот я и двигаюсь клапштосом по жизненному полю... Исполняю волю пославшего... Так-то вот, говорит, голубчик Павел Семенович... Не найдется ли у вас около двугривенного этак серебром?.. Тоска палит, залить надо...

В первый раз он у меня тогда двугривенный попросил, и я сразу почувствовал, что бывшая между нами прегра-

да разрушена. Что он и меня теперь может оскорбить, как и всех...

И мне захотелось защититься.

— Нет, говорю, Рогов. Двугривенного я вам не дам... Так,— хотите приходить,— приходите. Я рад... А этого не нужно.

Опустил он свою лохматую голову, посидел и говорит глухо:

— Да, Павел Семенович. Простите меня. Я и без двугривенного стану приходить. Все-таки посидишь с вами, как будто легче и точно минус какой из обычного угара...

Посидел опять. Помолчали мы оба тяжело и напряженно. Потом он опять говорит:

— Было время... надеялся я много от вас получить... Вы сами не знаете, что вы для меня значили. Вот и теперь иной раз тянет к вам. Ждешь чего-то. Да нет... бесполезно... Клапштос — и кончено.

— Извините, говорю, Рогов. Но вы положительно злоупотребляете этим биллиардным сравнением. Ведь вы не костяной шар, а живой человек.

— И поэтому, говорит, чувствую... Шар-то,— куда его ни загони,— в лузу ли, в лужу ли, ему, костяному дураку, все равно... А человеку, почтеннейший Павел Семенович, в луже тяжело... Вы думаете, кто-нибудь сознательно и по доброй воле откажется от десерта?.. Не отказался бы и я... Человек я, как говорится, с рефлексом. Вижу и обсуждаю свою траекторию до конца... Скоро ведь стану свинья свиньей и уже беспросветно. Вот порой и думается: а ведь, может быть... как-нибудь.. где-нибудь... какая-нибудь... точка опоры, что ли .. ведь вот порой задевает еще что-то... настоящее... И есть оно где-то, наверное, настоящее-то?.. Есть ведь, Павел Семенович?

— Есть, говорю, конечно, есть.

— Ну, вот, говорит, как вы это искренно сказали. Да, должно быть, действительно есть... Так где же оно? Ну, извините, я вам не хочу ловушки ставить... Не знаете вы этого и сами. Искали когда-то, да бросили... Вот поэтому-то я только двугривенный у вас и прошу. Да еще иногда, спасибо, посижу, будто у огонька... Человек вы

все-таки с душой... Иной, может быть, сумел бы и больше взять у вас...

— Так что же, послушайте,— говорю я ему.— Придумайте: не могу ли быть вам, действительно, полезен.— И чувствую: подается в нем что-то... растроганность какая-то почувствовалась, наглости нет... Задумался, опустил голову.

— Нет, говорит, не выйдет. И не вы, голубчик, виноваты. А потому, что... я да все мы такие... очень требовательны. Сами, как свиньи, в грязи валяемся, а с других требуем, чтобы те, кто руку протянуть хочет, сами были чище снега... Много, голубчик, силы надо. Не хватит ее у вас... Буря нужна, понимаете ли... Чтобы дохнуло огнем... Ну, тогда и чудеса бывают... А вы... Вы на меня не сердитесь?..

— Что же, говорю, на что сердиться?

Замолчали мы оба тогда. Я не нашел, что сказать ему, а он опять стал ходить, но понемногу опять стал возвращаться к прежнему тону. Придет, сядет, и перегаром от него несет. В следующую субботу пришел таким же образом и сел рядом на крыльце... Как раз опять к вечерне ударили. И через короткое время выходит из ворот господин Будников. Щеголеватый, прямой, как всегда, и во всей фигуре довольство... Так от него и разит сознанием исполняемого долга.

Помню, что и на меня тогда его появление подействовало неприятно, а у Рогова даже лицо вдруг изменилось... Схватился с места, стал в театральную позу, шляпу с головы снял и говорит:

— Господину Будникову, Семену Николаевичу, к вечерне шествующу — от Ваньки Рогова нижайшее почтение.

И потом отвел шляпу широким этаким жестом и запел из известного романса:

Сам не в си-лах я боль-ше моли-и-иться.
Пам-мались, милай друк, за м-миня. .

Передернуло меня это гаерство... Чувствую, что и мне Будников неприятен, но все-таки... Оскорбляет человека в таком чувстве, которое во всяком случае и со всякой точки зрения заслуживает полного уважения. А тут вско-

ре из калитки вышла и Елена и тоже в церковь идет. Он и к ней:

> Офелия! О, нимфа! Помяни
> Меня в твоих святых молитвах.

Это меня уже окончательно рассердило. Елена сжалась вся под наглым взглядом и наглыми, хоть и не понятными ей словами, опустила голову и скоро-скоро пошла к церкви.

— Послушайте, говорю, Рогов. Как вам не стыдно! И притом должен вам сказать... если хотите ко мне ходить, то попрошу вас покорно вести себя приличнее...

Повернулся он ко мне... и вижу, в глазах особенное выражение — злой боли: укусить собирается ..

Захотелось мне несколько смягчить эту свою резкость. И говорю:

— Ведь вот вы, Рогов, не знаете ни этих людей, ни их отношений, а позволяете себе оскорблять...

Он посмотрел на меня насмешливо и говорит:

— Это вы не насчет ли идиллии? Добродетельный господин Будников устроил счастье двух сердец. А вот, кстати, и Гаврюшенька.

И действительно, Гаврило как раз вышел из ворот. Рогов как-то противно подмигнул ему.

— Поздравляю, говорит, Гаврюшенька... с барскими отопочками. . Умница! Узнал, видно, где раки зимуют?.. В случае надобности, говорит, можешь рассчитывать на мои юридические познания...

Да, удивительное дело, как эти циники узнают иные вещи. По-видимому, Рогов тогда уже знал все и, вероятно, заподозрил Гаврилу в корыстных видах...

Подошел к нему и хлопнул по плечу... Тот озлился вдруг и сильно оттолкнул Рогова. Рогов чуть не упал, засмеялся и с преувеличенной развязностью пошел по панели. Поравнявшись со мной, он остановился и говорит:

— Вот что, почтеннейший Павел Семенович... Давно хотел у вас спросить: не читали ли вы... есть у Ксенофонта... разговор Алкивиада с Периклом... Если не читали,— положительно рекомендую. Хоть и на мертвом языке, а поучительно.

И пошел, напевая скверную песенку. А я через некоторое время разыскал этот диалог. Что, думаю, он хотел сказать...

Тяжелая, знаете ли, штука, но сильная. Дело собственно приблизительно вот в чем. Приходит как-то к Периклу юный Алкивиад... Перикл, представьте себе, к этому времени уже почтенный человек, окруженный общим почетом, ну, там... прошлые заслуги и некоторый ореол добродетели... И, вероятно, уже брюшко и прочее. Ну, а Алкивиад — повеса, безобразник, кутила, с девочками афинскими скандалы всякие устраивает, собакам, как известно, хвосты рубил... И насчет добродетели человек мало сведущий. Ну, так вот приходит к Периклу этот порочный молодой человек и говорит: «Послушай, Перикл. Вот ты человек, полный, можно сказать, добродетели до самых макушек. А я вот путаюсь без дороги и о безделья даже вот столбы выворачиваю. Сограждане недовольны. Научи ты меня добродетели и разреши сомнения. Я буду спрашивать, а ты мне, говорит, разъясняй все по порядку». Ну, Перикл, разумеется, согласен, даже, пожалуй, рад: отчего не разъяснить молодому человеку? Может быть, и остепенится.— Хорошо, говорит, спрашивай.— Тот и спрашивает: «Что такое добродетель? И как ей научиться?» Перикл, конечно, только усмехнулся: — Чти, говорит, богов, исполняй законы и вся недолга. Законы соблюдать есть первейшая обязанность гражданина и человека.— «Ну, вот, отлично,— отвечает ему юноша.— Теперь скажи, пожалуйста, какие законы я должен исполнять: дурные или хорошие?» Тот немного даже обиделся. Да ведь закон,— значит, дескать, хорош. Что же тут толковать? «Нет,— говорит Алкивиад,— постой, не сердись...» А уж у них, знаете ли, в это время в Афинах все эти, так сказать, основоначала замутились несколько... партии, борьба, одни других грабят, остракизмы эти, своего рода ссылка административным порядком... узурпаторы пошли; временщики там... чуть замешательство,— уж он выскочил и свой закон написал, для собственного употребления или там для кумовей и приятелей. Боги старые сконфузились, оракулы бормочут невесть что, совсем не к делу. Одним словом, ясное-то в жизни стало уже неясно: равновесия нет, всеми признанная правда затерялась... Обновление нужно. Тучи кругом заволокли небо, и путеводные звезды, бог их знает, где они?.. Так вот Алкивиад и спрашивает: «Какие же, говорит, законы надо исполнять: которые

предписывают хорошее или дурное?» — Конечно, говорит, хорошее.— «Ну, а по чему же мне, говорит, узнать, какие хорошие? По какому, так сказать, признаку?» — А ты, говорит, исполняй всякие; закон, говорит, на то и пишется...— «Значит, и те, какие введены насилием тиранов?» — Ну, этих, пожалуй, и не надо... Только, говорит, законные, так сказать, законы.— «Ну, хорошо. Если, например, меньшинство насилует большинство в свою явную пользу, таких законов не надо?» — Пожалуй, не надо.— «А если большинство явно насилует меньшинство, противно всякой правде?..» Видите, куда этот юноша гнет: внешних признаков ему не надо, а покажи так, чтобы душой почувствовать общественную правду, высшую, так сказать, правду жизни, святыню... Ну, а Перикл-то, понимаете, уж и не того... И не то, что Перикл,— весь строй жизни стоит на рабстве, на сознанной неправде... религия выдохлась, недавняя святыня, освящавшая каждый шаг, каждое движение, весь строй, все людские отношения — уж ее люди не чувствуют... Ну, Перикл туда-сюда... самому-то перед собой не хочется признать, что уже ихние законные законы выдохлись... Он этак снисходительно потрепал беспутного юношу по плечу и говорит: — Да, да! говорит, ты, конечно... мальчик с головой... Мы, говорит, и сами в прежнее время этакие же трудные вопросы разрешали...— Ну, Алкивиад видит, что уж Перикл — так сказать, признанный авторитет — одними пустяками отделывается, живого-то в нем эти противоречия не задевают,— и махнул рукой. «Жалко, говорит, почтенный человек, что я с тобой не был знаком в то время... А теперь пойду от скуки опять столбы выворачивать...»

Вот этот анекдот Рогов и поднес мне, своему бывшему учителю...

VII

Рассказчик остановился. Поезд замедлял ход, подходя к какой-то станции. Петр Петрович протянул руку и, сняв с крючка синюю фуражку с кокардой, сказал:

— Пойти опять в буфет... Признаться, почтеннейший Павел Семенович, не понимаю я, к чему все это клонит... Это, извините, даже и не философия, а бог знает к чему. Начали про Будникова. Ну, это пожалуй: человек все-таки знакомый... Потом этот, черт его знает, Рогов, прохвост какой-то отпетый, а тут уже, не угодно ли, и Ксенофонт, и Алкивиад... хвосты собакам рубит... Черт знает что: какое мне, позвольте спросить, до всего этого дело?.. Нет, как хотите... Лучше пойду вторично водку пить...

Он надел фуражку и, придерживаясь за стенки от толчков останавливающегося поезда, вышел из вагона. Но в это время на другой верхней скамейке зашевелился четвертый пассажир. Он лежал в тени, по временам курил и проявлял признаки внимания к рассказу. Теперь он сошел с своей скамьи и, сев рядом с нами, сказал:

— Извините, не имею чести быть знакомым, но... я слышал поневоле ваш рассказ, и мне было бы интересно... Так что, если вы ничего не имеете против...

Павел Семенович посмотрел в лицо нового собеседника. Это был культурный человек, одетый аккуратно, с умными глазами, твердо глядевшими из-под золотых очков, которые он прилаживал обеими руками...

— Да? — сказал Павел Семенович...— Вы, значит, тоже слышали...

— Да, слышал. И меня интересует... ваша точка зрения, которая, признаюсь, мне не вполне ясна...

— Да?.. Действительно, может быть, я не вполне ясно это... Я хотел сказать... что в сущности все так связано... И эта взаимная связь...

— Налагает общую ответственность?

В лице Павла Семеновича блеснуло радостное оживление.

— Вот! Вы, значит, поняли? Именно — общую... Не перед Иваном или Петром... Все, так сказать, переплетается... Один по неаккуратности бросит апельсинную корку... другой споткнулся и, глядишь,— сломал ногу.

Новый собеседник слушал с спокойным вниманием. Но в это время в вагон вошел опять Петр Петрович, который ошибся станцией, и, окинув обоих несколько

ироническим взглядом, сказал, вешая на крючок фуражку:

— Ну, вот, теперь — не угодно ли — корка!

— Нет, Петр Петрович,— сказал Павел Семенович серьезно.— Вы это напрасно так... Тут, конечно, вопрос, так сказать...

— У вас, я знаю, всё вопросы, в самых простых вещах...— сказал Петр Петрович.— Не стесняйтесь, пожалуйста. У вас есть достаточно слушателей

— Да, пожалуйста,— подтвердил господин в золотых очках.

— Извольте... Я охотно, тем более, что все это мне, все равно, не дает покоя... Я остановился на...?

— Вы остановились,— насмешливо помог ему Петр Петрович,— на Алкивиаде... История, так сказать, древняя. Теперь последуют средние века...

Павел Семенович не обратил внимания на соль этой остроты и обратился к новому собеседнику:

— Да, так видите ли. Дело находится в таком положении: Гаврило женился, живет себе... В столе у господина Будникова лежит билет с двумя чертами... ходят об этом нехорошие слухи и, как всегда, в преувеличенном виде. И не знает об них один только Гаврило,— работает себе по-прежнему, лезет, так сказать, из кожи, старается... Мускульная эта симфония в полном ходу, глаза так и лучатся общим довольством и благорасположением...

И вдруг однажды натыкается на него в этакую минуту Рогов. Шел по панели мимо двора, остановился, подумал о чем-то и подозвал Гаврилу.

Ну, тот русский человек, добродушный... Не так давно толкался, а тут забыл. «Чего, говорит, тебе?» — Поди сюда, дело до тебя. Спасибо скажешь.

Признаться, что-то толкнуло меня. Хотел подозвать к себе этого Рогова и, чувствуя, что затевает он скверность,— остановить его. Но это было уже после Алкивиада... вообще, не надеялся я уже на себя. Так и остался у окна. Гляжу,— оставил Гаврило лопату, подошел и стал слушать. Сначала в лице его видно было только недоумение, отчасти даже пренебрежение. Но потом все с тем же видом колебания он отвязал фартук, пошел к себе во флигелек, надел картуз и вышел к Рогову... И потом

они вместе пошли по улице и свернули к береговому откосу... А через минуту вышла к ворогам Елена, стала у калитки и долго смотрела вслед двум удалявшимся фигурам... И в глазах у нее были печаль и испуг...

И действительно, с этого самого дня характер у Гаврилы круто как-то изменился. Вернулся он несколько как будто пьяный... Может быть, от водки, а может быть, и от огромности непосильного бремени, которое вдруг навалил на него Рогов... Во-первых, и сумма совершенно подавляющая: гора денег, превышающая самую его способность счета. И погом — источник этого богатства, возвращающий невольно мысли к прошлому Елены. Наконец — недоумение, почему Елена ему ничего об этом не сказала, и отсюда. может быть, нехорошие подозрения... В общем, разумеется, полный душевный сумбур... Две черточки, которые господин Будников провел на билетах,— по душе Гаврилы прошли, очевидно, всего глубже и больнее... Ну, соскочил простодушный человек со своего центра. Вся эта симфония непосредственности и труда внезапно оборвалась... Заметался мой Гаврило беспорядочно, как отравленный...

И начало его ломать... Сначала все ходил угрюмый, с каким-то потемневшим лицом. Работа у него стала валиться из рук: то топор швырнет, то лопату сломает Совершенно как хорошо пущенная машина, в которую вдруг сунули бревно... Когда же Будников удивленно и кротко стал делать ему вполне резонные замечания, что ведь вот лопата стоит денег и что он вынужден будет вычесть у Гаврилы из жалованья,— то этот кроткий прежде человек отвечал невнятными и нерезонными грубостями... А у Елены глаза все заплаканные...

Потом Гаврило уже формально запил, стал пропадать, и преимущественным местопребыванием его стал довольно грязный вертеп «Яры» на берегу, на песках, недалеко от пристани... Домишко этакой небольшой, деревянный, с мезонином, темный, покосившийся в одну сторону и подпертый бревнами. С берегового откоса можно было видеть его: все, бывало, по вечерам два оконца и дверь открытая светятся, какой-то бубен ухал, и пиликало что-то для увеселения публики... А по временам неслись смешанные крики — не то песни, не то драка и

караул. Вообще — вечное беспокойство и как будто угроза. Антитеза дремлющей обывательской жизни... Бурлаки с нашей скромной и по большей части бездействующей пристани, рабочие с кирпичных заводов, как кроты, копавшиеся в мокрой глине, профессиональные нищие... одним словом, народ бездомный, несчастный, беспутный и злой Даже и пролетариат-то попорядочнее избегал этого кабака. И вот, в него-то именно и втянул Рогов Гаврилу. А за Гаврилой узнала дорогу в «Яры» и Елена, собственно для того, чтобы мужа оттуда вытаскивать...

Делала она это как-то удивительно покорно, безропотно и, право, даже красиво. Раз иду с уроков, вхожу в калитку, глядь, Елена бежит навстречу, наскоро платок на голове повязывает.

— Куда вы, говорю, Елена?

Застыдилась немного.

— Не видали вы,— спрашивает,— Гаврило Степаныч в ту сторону прошли?..

— Кажется, говорю, пошел .. Да вам-то бы, Елена, туда, пожалуй, и не дорога.

Хотел даже удержать ее .. Но она сердито метнулась мимо и, кажется, с некоторою гордостью кинула на ходу, что, дескать, Гаврило Степаныч — ей муж, а она ему жена законная... А через полчаса гляжу,— ведет Гаврилу Степаныча под руку. Тот упирается, но идет и только смотрит перед собой тусклым, оловянным и непонимающим взглядом. И все-таки идет. У самой калитки уперся вдруг ногами, оттолкнул ее руку и уставился в нее... Лицо темное, и в оловянных глазах злая решимость...

— Ты, говорит, кто?.. Говори: кто ты? А?

Она стоит, опустивши руки, убитая какая-то. Вспомнилось мне то весеннее утро и их взаимные клятвы: «А вы, Гаврило Степаныч, бога не забудете?..» И стало мне страшно: забудет, думаю, и именно вот сейчас... сию минуту и забудет... Но вдруг луч некоторого сознания мелькнул в бессмысленном лице, и он как будто проглотил что-то. Не сказал ни слова и молча пошел к себе... И она пошла за ним, испуганная, почтительная и покорная ..

И все так пошло: мигнет Рогов Гавриле, он исчезнет со двора и забурлит. Власть какую-то приобрел этот

человек над Гаврилой, а Елена ее оспаривала... покорно, почтительно, робко, но настойчиво. Вероятно, считала всю эту историю наказанием, посланным ей для искупления «греха». Осунулась, приятная полнота исчезла, глаза впали... Но зато, глядя на них, я бы теперь никак не решился назвать их глупыми. Страдание всегда удивительно умно, даже у птицы... В вертепы является, мужа пьяного выводит, смеются над ней на улице, грубо задевают...— у нее за себя стыда ни капли... Только иной раз скажет шепотком: «Нехорошо, Гаврило Степаныч, люди на вас смотрят...»

Однажды при этаком же вот случае, когда она привела его из «Яров», он вырвался из ее рук, кинулся к дверям Будникова и стал бешено колотить в них ногой. Елена как-то вся помертвела и, будто не в силах подойти к нему, глядела только, как человек в кошмаре, когда к нему приближается что-то давно ожидаемое и страшное, против чего нельзя уже бороться... Но тут вдруг дверь открылась, и на пороге появился господин Будников... Спокойный, даже величавый, с чувством полного превосходства. Я даже, правду сказать, несколько удивился... Как бы ни было, все-таки положение щекотливое. Подробностей я еще тогда не знал, но все-таки чувствовалась некоторая нечистота и неаккуратность... И вдруг ясность взгляда, спокойствие, достоинство. И не то чтобы притворство. Нет,— заметно это было бы... Просто — полная невозмутимость...

— Что, говорит, тебе, Гаврило, нужно? Зачем стучишь ногой? Не знаешь, как надо позвонить... Вот видишь: звонок...

И показывает ручку звонка. Гаврило посмотрел на ручку и растерялся... Действительно, дескать, ручка и, значит, ногой совершенно-таки незачем... А господин Будников с верхней ступеньки продолжает:

— И вообще, говорит, что ты о себе думаешь и что тебе, поте-рян-ному человеку, от меня нужно? Что, обидел я тебя, поступал с тобой неправильно, жалованье хоть на день один задержал? Ну, вот ты стучал ногой... Хорошо. Вот я к тебе вышел... Что же тебе надо?

Гаврило — ни слова...

— Ну, так вот, говорит, я тебе скажу с своей стороны: лопата опять сломана, панель не подметена, лошадь

не напоена до сих пор... Лошадь бессловесная, ничего сказать не может... но, при всем том, она живая и чувствует... Слышишь, ржет вот...

Этот аргумент подавил Гаврилу до такой степени, что он, побежденный совершенно и окончательно, повернулся и... отправился прямо в конюшню. И через минуту, даже как будто не пьяный, повел в поводу лошадь к водопою... А господин Будников спокойно запер ключом свою дверь и пошел со двора. Проходя мимо моего палисадника и догадываясь, что я все видел, он остановился и, грустно покачав головой, сказал:

— Да вот, толкуют: народ, народ... не угодно ли полюбоваться...

VIII

Скандалы эти стали уже обращать внимание. Заговорили в городе. Судили, конечно, разно. Одни стояли за Будникова. Стоит ли верить слухам? Да и ничего ведь, в сущности, неизвестно. Какие-то, с одной стороны, глухие толки, а с другой — явные скандалы и безобразное нарушение общественной тишины... Но было и другое мнение. Люди низшего звания сочувствовали Гавриле. Должно быть, представлялось им, что господин Будников, умный и сильный, похитил у Гаврилы какое-то право вроде талисмана, что ли, и теперь колдует каким-то образом, чтобы этот талисман потерял свою силу... И вот десятки глаз поворачиваются к окнам господина Будникова и смотрят на него, когда он проходит, прямой и спокойный, как будто не замечая, что за ним тянется это облако недоумения, подозрения, осуждения, вопроса... вообще, греха. И в каждом взгляде отражается нехорошая мысль, и в каждом сердце шевельнется нехорошее чувство... Это ведь своего рода темная туча... Сотни одинаковых душевных движений, спутанных, неясных, но злых... И все направляются к одному центру...

А Будников, надо заметить, был до известной степени популярный и прежде пользовался общей благосклонностью... Даже Рогов, когда случалось ему проходить мимо нашего двора, завидя господина Будникова с лопатой или граблями, прежде остановится, бывало, и скажет:

— Господин Будников, Семен Николаевич, труждается... Трудивыйся да яст.

Или:

— Господин Будников помогает ближнему дворнику трудами рук своих. Похвально!

И пройдет дальше, как мимо явления безразличного или даже приятно развлекающего...

А тут все это окрасилось иначе... У меня даже физическое ощущение какое-то являлось... вроде кошмара. Как будто эти две черты... или что-то в личности господина Будникова пропитали собою всю атмосферу... Даже, представьте, почти до галлюцинации... Идешь в гимназию или из гимназии... Высчитываешь в уме отметки... И покажется вдруг, что это господин Будников идет за тебя этим размеренным шагом, довольный от сознания исполненного долга... Или задаешь урок, или читаешь необходимую нотацию и слышишь, ну вот просто-таки слышишь эти будниковские нотки в своем голосе... когда он нищим внушает трудовые правила, или читает Гавриле мораль по поводу сломанной лопаты, или мне самому советует «отбросить гордыню и смириться»...

Да, есть в этом обыденном, в этой смиренной и спокойной на вид жизни благодатных уголков свой ужас.. специфический, так сказать, не сразу заметный, серый. Где тут, собственно, злодеи, где жертвы, где правая сторона, где неправая?.. И так хочется, чтобы проник в этот туман хоть луч правды живой, безотносительной, не на чертах карандашом основанной, действительно разрешающей всю эту путаницу настоящей, о которой догадывается даже Рогов... Вы меня понимаете?

— Кажется, понимаю,— серьезно сказал господин в очках.

— Господин Будников тоже, кажется, начал ощущать, что около него неладно что-то. И заметался, но, как это часто бывает, метнулся не туда, где настоящий выход.. Пришел раз ко мне в обычный срок, двадцатого Ну, разумеется, я, как всегда, угощаю чаем... Выпил, как обыкновенно, только вид не совсем обыкновенный. Не то грустный, не то торжественный. Кончил деловой визит, деньги тщательно уложил в книжечку, отметил... и все не уходит... Начал говорить обиняками... вообще о ненормальности жизни, в частности о своем одиночестве,

о какой-то ошибке, происшедшей от предрассудка и гордости... Потом свел на Елену и Гаврилу. Гаврила оказался полным негодяем, а Елена ошиблась и теперь глубоко несчастна... И он чувствует себя виновным, что выдал ее, но исправить это нелегко... И деньгами исправить всего труднее... Что значат деньги в руках пьяницы?.. И так далее, все обиняками, из которых, однако, под конец мне стало ясно, что господин Будников желает повернуть всю эту запутанность к исходному, так сказать, пункту, то есть развести Елену с Гаврилой и жениться на ней самому... Тогда, значит, две черты сами собой уничтожаются и исчезают... По-видимому, он уже успел посоветоваться об этом кое с кем и в том числе с о. Николаем... Теперь решил посоветоваться еще со мною...

— А что же,— говорю,— Елену вы об этом спросили?

— Нет,— говорит,— не спрашивал еще.. Я к ней... может быть, вы изволили заметить, даже не подхожу, чтобы не было никаких поводов... Но я знаю, что ей нужно... И не имею оснований сомневаться...

Попробовал я представить с своей стороны некоторые соображения, но господин Будников не стал слушать... Быстро попрощался и ушел... Как будто опасаясь за цельность этой своей системы действий...

А через некоторое время начали, в отсутствие Гаврилы, шастать к Елене какие-то старушки с погоста, а к Будникову какие-то консисторские субъекты. Раза два, под вечер, гляжу: идет от Будникова и Рогов... Вот оно, думаю, что: молодой-то мой человек дошел уже до своего предела, и теперь понятно, зачем он спаивает Гаврилу: подготовляет нужную для господина Будникова бракоразводную обстановочку...

И показалось мне все это, в целом, до такой степени безобразным и безвыходным, что я задумал переменить квартиру, чтобы просто-напросто уйти от этого всего.. Бессонница замучила... Опять по саду шатаюсь. И однажды застаю в нем Елену. Лежит на той самой скамейке, где я сидел в то утро, весной... А теперь осень... Умирает это все, обнажается... Осень ведь большой циник... Ветер треплет опавшие листья, смеется... Лежат они на грязной, мокрой земле. А на мокрой скамейке лежит женщина лицом книзу и плачет... так и бьет всю ее

плачем... Впоследствии я узнал: комбинация господина Будникова, разумеется, была совершенно неосуществима. Услыхав об этом предположении, она только всплеснула руками: «Пусть, говорит, подо мной земля провалится, пусть высохну, как щепка... Ну, и так далее... Лучше заройте меня живую в землю вместе с Гаврилом Степановичем...» А Гаврило Степаныч и дома уж не ночует. И угасает недавнее чистое счастье, а она и понять не может, в чем дело, и не умеет себя отстоять. Билет... две черты... кумушки с паперти, Будников, Рогов. А она глупа и покорна, и боится, что над ней сделают что-то без ее воли...

Подошел было я к ней... хотел как-нибудь утешить. Но когда дотронулся до нее и под рукой затрепетало это бабье тело... таким оно мне показалось тогда глупым, что я даже содрогнулся, точно от бессильной жалости...

И ушел... Забыл все, и захотелось мне все бросить и отгородиться от всего. Идет мимо господин Будников .. Пусть идет... Рогов делает гадости... Пусть делает! Глупая Елена пьяного мужа ведет... Пусть ведет... какое мне дело? И кому попадет билет с двумя чертами, и кому эти глупые черты дадут умное право... не все ли равно?.. Все разрознено, все случайно, все бессвязно, бессмысленно и гнусно...

IX

Павел Семенович остановился и стал глядеть в окно, как будто забыл о рассказе...

— Ну, что же, чем же все-таки кончилось? — осторожно спросил новый слушатель.

— Кончилось?..— очнулся рассказчик.— Конечно, все на свете чем-нибудь кончается. И это кончилось глупо и просто. Однажды ночью... звонок ко мне. Резкий, тревожный, нервный... Вскочил я в испуге, туфли надел... выхожу на крыльцо... никого. Только показалось мне, что Рогов за углом мелькнул. Ну, думаю: шел мимо пьяный и злой и захотел лишний раз досадить мне... Напомнить, что вот я сплю, а он, Ванечка Рогов, любимый ученик, на улице дебоширит и хочет об этом довести до моего

сведения. Запер я дверь, лег опять, засыпать начал. Вдруг — опять звонок. Я не встаю. Пускай, думаю... Только опять звонок, и в другой раз, в третий... Нет, думаю, тут, видно, что-то другое. Накинул опять пальто. Отворяю дверь. Стоит ночной сторож. Борода в инее. «Пожалуйте», говорит.

— Куда, говорю, что ты, братец?

— К Семену Николаевичу, говорит, к господину Будникову... У них... неприятность...

Я как-то так, не понимая ничего, машинально оделся, иду. Ночь светлая, холодно, поздно... У господина Будникова в окнах огни, на улице где-то свистки... ночное движение... Подымаюсь по лесенке, вхожу. И первое, что мне кинулось в глаза,— было лицо Семена Николаевича, господина Будникова... Только не прежнего, а совсем нового. Лежит на подушке и смотрит куда-то, в какое-то пространство неведомое... Странно так... Остановился я на пороге и подумал: «Как же это? Такой был знакомый человек и вдруг... совсем другой...» Совсем не тот, который приходил раз в месяц и выпивал два стакана чаю. И не тот, который хлопотал о разводе Елены, а некто, занятый другими мыслями. Лежит неподвижно, важный, и на нас ни на кого не глядит и видит, как будто, совсем другое... И никого не боится, и всех судит: и себя, то есть прежнего Семена Николаевича, и Гаврилу, и Елену, и Рогова, и... ну, и меня тоже... И так это, понимаете, стало мне ясно...

А затем я увидел Гаврилу. Стоит у окна, в углу, жалкий, но спокойный. И так как я многое в ту минуту понимал как-то сразу, то я подошел к нему и говорю:

— Ты это сделал?

— Так точно, говорит, Павел Семеныч. Я-с.

— Как же ты решился?

— Не знаю, Павел Семеныч...

Потом я уже заметил доктора, который сказал мне, что всякая помощь бесполезна... Потом приходили, приезжали, входили, сидели и писали протоколы... И так мне показалось тогда странно, что молодой следователь, такой аккуратный человек и такой уверенный, распорядился не отпускать Гаврилу и Елену и производит какие-то розыски... И помню, как он усмехнулся, когда я спросил: зачем это? Вопрос, конечно, странный, но тогда мне

казалось, что все это не нужно... И когда стали уводить Гаврилу и Елену, я как-то невольно поднялся с своего места и спрашиваю: «И меня тоже?» После явились слухи, будто у меня не все в порядке. Но это неверно. Никогда так ясно не было в голове... Следователь удивился. «Если смею, говорит, посоветовать, то — вам надо воды выпить и успокоиться».— «А Елена, спрашиваю, зачем?» — «Будем, говорит, надеяться, что все разъяснится в благоприятном для нее смысле, но теперь... при первоначальном дознании... печальная обязанность.. » А мне все кажется, что делает он не то...

Увели их, а я пошел к себе и сел на крыльце. Было холодно... Ночь была ясная, осенняя, спокойная, с белым и чистым инеем... В небе звезды мерцают и шепчут. И так много во всем какого-то особенного смысла... Вот прямо слышишь таинственный шепот, только разобрать не можешь... Не то какая-то далекая тревога, не то спокойное и близкое участие...

Я как-то вовсе не удивился, когда ко мне тихонько подошел Рогов и робко сел на крыльце рядом. И долго сидел молча... И я даже не помню, говорил ли он что-нибудь, но я знал все... Он не думал об убийстве. Он хотел по-своему «выиграть у господина Будникова дело Елены». Для этого нужно было овладеть билетом, на котором, как он полагал, была передаточная надпись... И ему нравилась эта остроумная комбинация: овладеть незаконными путями доказательством законного права. Видел в этом нечто даже юмористическое... Незаконное овладение законными доказательствами в виде предполагаемой передаточной надписи... Для этого он и втерся к Будникову в доверенность по бракоразводному делу... Разведал все в квартире и послал одного из своих послушных клиентов из «Яров» с приказом захватить намеченную шкатулку. А Гаврило должен был открыть дверь господина Будникова вторым ключом, которого, по странной оплошности, Будников у него не отнял. Но Гаврило, вместо того чтобы остаться у дверей, пошел сразу наверх. И мне казалось, что я сам видел, как он шел тяжелой походкой, с омраченной головой, с темною враждой в душе... И как он встал на пороге, и как господин Будников проснулся и, должно быть, даже не испугался, а все вдруг понял...

А у меня в голове все стоял тот момент из прошлого, когда в мою квартиру такой же светлой ночью прибежали два гимназиста, а я стоял перед ними, охваченный стыдом и бессилием... И как у одного впервые вспыхнул в глазах огонь... злой и насмешливый...

И показалось мне, что я сейчас разгадаю что-то такое, что должно объединить все это: и эти высокие мерцающие звезды, и этот живой шорох ветра в ветвях, и мои воспоминания, и то, что случилось... В юности это ощущение бывало у меня часто... Когда свежий ум искал разгадки всех вопросов и большой правды. И когда казалось иной раз, что вот-вот уже стоишь у порога и что все становится ясно... А потом все исчезает.

Сидели мы долго. Потом Рогов встал.

— Что же вы теперь? — спросил я.

— Не знаю,— ответил он,— что тут нужно... Но пока, кажется мне, надо идти туда, где теперь Гаврило и Елена...

А сам стоит... Так как многое понимал я тогда яснее, чем обыкновенно, то и тут понял, что он ждет, чтобы я протянул ему руку. Я протянул, и он вдруг припал к ней, страстно и долго...

А потом оторвался и пошел... прямо по улице. А я смотрел ему вслед, пока была видна тонкая фигура моего бывшего ученика...

Некоторое время в купе стояло молчание, нарушаемое только клокотанием поезда, сквозь которое доносился протяжный свисток. Хлопнула дверь, по коридору прошел кондуктор, объявляя на ходу:

— Станция Н-ск. Десять минут.

Павел Семенович торопливо встал, взял в руки небольшой чемоданчик и, кивнув с какою-то грустною лаской своим собеседникам, вышел из вагона на площадку. Я тоже стал собирать свой багаж, так же как и господин в золотых очках. Петр Петрович оставался один в купе. Посмотрев вслед Павлу Семеновичу, когда за ним закрылась дверь, он улыбнулся господину в золотых очках, покачал головой и, помотав пальцем около своего лба, сказал:

— Всегда был чудак... А теперь, кажется, не все дома. Слышал я, что службу он бросил. Бегает по частным урокам...

Господин в золотых очках пристально посмотрел на него, но ничего не сказал.

Мы вышли.

Дело с точки зрения репортажа оказалось мало интересным. Присяжные оправдали Гаврилу (Елену не судили), а Рогова признали виновным в подстрекательстве, но заслуживающим снисхождения. Председателю много раз пришлось останавливать свидетеля Павла Семеновича Падорина, бывшего учителя, то и дело уклонявшегося от фактических показаний в сторону отвлеченных и не идущих к делу рассуждений...

1903

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

СТАРЫЙ ЗВОНАРЬ

Впервые — в газете «Волжский вестник», 1885, № 118 от 26 мая

Рассказ пользовался большим успехом у современных читателей и неоднократно переиздавался.

В 1910 году А. М. Горький писал И. Л. Френкелю, будущему поэту, тогда семилетнему ребенку: «...А еще, Илюша, есть превосходнейший писатель Владимир Короленко, и я советую тебе: попроси папу, пусть он прочитает вслух для тебя маленький рассказ Короленко «Старый звонарь».

В архиве писателя сохранился оттиск рассказа для издания «Задруга», Петроград—Москва, 1918, с авторской правкой. Эта правка учтена в тексте настоящего издания.

Стр. 8. *Тропарь поют!* — Тропарь — церковное песнопение в честь какого-либо святого или праздника.

ЗА ИКОНОЙ

Впервые — в журнале «Северный Вестник», 1887, № 9, с подзаголовком «Этнографические наброски с натуры». Написан в июле 1887 года.

Рассказ открывает цикл произведений Короленко, материалом для которых послужили его подлинные впечатления от странствований по Нижегородской губернии в годы жизни в Нижнем Новгороде (1885—1895)

С. В. Короленко, дочь писателя, в своей книге об отце вспоминает: «Приезд в Нижний Новгород после многих лет ссылки воз-

вратил писателя к литературной среде, но заставил его отдалиться от общения с народной жизнью, которое стало для него необходимостью. Отец всеми силами старался преодолеть этот разрыв, и потому его кабинетная работа и общественная деятельность постоянно прерывались путешествиями, которые он совершал пешком, с котомкой за плечами, и лишь иногда на лодке по любимым рекам — Волге, Ветлуге и Керженцу. Идя в толпе за иконой, толкаясь среди паломников на Светлояре, переходя из дома в дом в кустарном селе Павлове, он выносил из своих походов наброски в записных книжках, содержавшие материалы к его дальнейшим работам» (С. В. Короленко «10 лет в провинции», изд. «Удмуртия», Ижевск, 1966, стр. 84—85).

В июне 1887 года Короленко вместе с толпой богомольцев совершил паломничество в Оранский монастырь, находившийся в пятидесяти верстах от Нижнего Новгорода. Из этого монастыря каждое лето в Нижний приносили «чудотворную» икону, встречать и провожать которую собирались огромные толпы народа.

Короленко писал жене об этом путешествии: «Вообще, не жалею о мозолях и трудах, принятых мною «гля бога» и для литературы...» (июнь 1887 г.).

Результатом этого пешеходного путешествия в Оранки явились два рассказа «За иконой» и «Птицы небесные», объединенные как общностью темы, так и единством авторского замысла.

Спутником Короленко в его путешествии был писатель и публицист Ангел Иванович Богданович, живший в то время в Нижнем Новгороде под надзором полиции.

Т. А. Богданович позже вспоминала, что «...близкие смеялись над А. И., что именно его изобразил В. Г. в лице Андрея Ивановича в «Птицах небесных» и «За иконой». Правда, и сам В. Г. не отрицал, что при создании образа Андрея Ивановича у него вставали в памяти некоторые черты характера А. И. Богдановича, так же как и фигура одного глазовского сапожника, его учителя в сапожном ремесле» («В. Г. Короленко в воспоминаниях современников», М., ГИХЛ, 1962, стр. 101).

Готовя рассказ «За иконой» для второго тома своих «Очерков и рассказов» (СПБ., 1893), Короленко включил вновь написанный эпизод с кликушей, отражающий, по мысли писателя, некоторые особенности народной психологии.

Стр. 13. *...отряд монастырских клирошанок.*— Клирошанка — монастырская послушница, поющая на клиросе — месте в церкви для певцов. *...среди рясофорных стариц...*— то есть монахинь (рясофорный — имеющий право носить рясу). *...в конических шлыках...*— Шлык — здесь монашеский головной убор.

Стр. 19. *Золоторотец* — босяк, оборванец.

Стр. 43. *Никонова вера у вас...*— см. в наст. томе комментарий к очеркам «В пустынных местах».

Стр. 47. *Беспоповцы* — одна из раскольничьих сект, не признававших «Никонову веру». *...провалиться сквозь землю, как Содому...*— по библейскому сказанию, древнееврейские города Содом и Гоморра были разрушены за грехи своих жителей землетрясением.

Стр. 50. *...на радениях...*— Радение — обряд в некоторых религиозных сектах, во время которого верующие усиленными тело-

движениями приводят себя в состояние религиозного экстаза, фанатического исступления.

ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1889, №№ 224, 229, 233, 236. Написан в 1889 году.

Рассказ «Птицы небесные» построен на том же художественном материале, что и рассказ «За иконой», и идейно-тематически тесно с ним связан.

Центральной фигурой «Птиц небесных» является странник, выведенный под именем Автономова. Выразительный образ этого странника родился в результате подлинной дорожной встречи писателя.

Т. А. Богданович вспоминает, что из своего оранского путешествия Короленко привел с собой «очень колоритного, но и весьма неудобного в общежитии странника Алмазова, который дал ему обильный материал для фигуры Автономова в «Птицах небесных» («В. Г. Короленко в воспоминаниях современников», стр. 101).

О том, как произошло это любопытное знакомство, Короленко рассказал в письме к жене в июне 1887 года: «...Побыли в Оранках, помолились владычице, пошатались. Тут-то я и высмотрел своего странника и затем, устроив правильную ловлю, поймал его на обратном пути. Он, мошенник, еще задал нам не мало труда. Начались интересные разговоры, мне все хотелось допросить его по возможности, чтобы добиться ответов на некоторые вопросы, а он намекает, не договаривает и дует себе вперед да вперед». При расставании, пишет Короленко, «я его снарядил в сравнительно приличные одеяния, а он мне на память оставил кое-что из своих страннических риз. Половину, по требованию мамаши, я уже стащил в помойную яму, а шапку и главное — ряску монашеского покроя оставил и по временам, надевая на себя,— привожу в восторг всех своим истинно благочестивым видом».

Стр. 61. *...судьбу обреченной Ниневии.*— Н и н е́ в и я — древний город в Сев. Месопотамии, взятый и разрушенный в 612 году до н. э. мидийским царем Киаксаром.

Стр. 68. *...как тень Банко...*— из трагедии Шекспира «Макбет».

Стр. 86. *Шишига* — нечистая сила, сатана, бес.

В ПУСТЫННЫХ МЕСТАХ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1890, №№ 211, 223, 234, 253, 255, 262, 269, 297, 335, 353.

Из переписки В. Г. Короленко с редакцией «Русских ведомостей» видно, что очерки печатались в газете со значительными цензурными купюрами.

В 1914 году очерки появились в переработанном виде в «Русском богатстве» (кн. 5, 6) и в этой же измененной редакции были включены Короленко в Полное собрание сочинений 1914 года.

Очерки навеяны впечатлениями от экскурсии по глухим местам

Нижегородской губернии, совершенной Короленко в июле 1890 года вместе с двумя спутниками, племянниками жены — Василием и Сергеем Чесноковыми.

Сначала на пароходе по Волге и вверх по Ветлуге, потом пешком на озеро Светлояр и оттуда на лодке вниз по Керженцу опять до Волги — таким был маршрут путешествия. От этой поездки у писателя сохранился дорожный альбом, страницы которого заполнены записями самого различного содержания: здесь и колоритные местные слова и выражения, и обрывки разговоров со встреченными людьми, и описание пути, и наброски отдельных сцен, впоследствии почти целиком включенные в текст очерков. Кроме записей, в альбоме встречаются и рисунки: карандашные наброски речных видов, зарисовки отдельных лиц, изображение озера Светлояра.

По приезде в Нижний Новгород Короленко пишет восемь очерков и рассказов под общим названием «В пустынных местах», используя все эти материалы.

Цикл «В пустынных местах» тесно примыкает к ряду других произведений Короленко конца 80-х—начала 90-х годов, созданных под впечатлением путешествий по глухим уголкам Нижегородской губернии, и образует вместе с ними особую группу произведений, так называемых «волжских» рассказов.

«В пустынных местах», «За иконой», «Птицы небесные», «Река играет» — все эти «волжские» очерки и рассказы проникнуты ощущением красоты русской земли, полны поэзией органической близости человека к природе.

Своеобразным лейтмотивом этих произведений может служить собственное признание Короленко «Я люблю проселочные дороги, тихо плетущуюся лошадку, наивный разговор ямщика под шум березок, захолустные. лесом поросшие речки... Меня всегда тянет на уездные тракты и проселки, по которым так привольно, так мягко идти с котомочкой за спиной, или к мелким речкам с их тихой красой, с их лесами и неожиданностями».

Однако объединяет упомянутые рассказы не только их особый поэтический тон; общим является также и идейный замысел Короленко, которого в этих произведениях прежде всего интересуют различные проявления народного мировоззрения, психологии, морали... Короленко и отправляется по Керженцу, на Светлояр — в эти места, овеянные легендами и преданиями, чтобы приблизиться к самым истокам духовной жизни народа. «.. Мне... захотелось посетить эти тихие лесные пустыни, где над светлым озером дремлет мечта народа о взыскуемом невидимом граде, где вьется в дремучих лесах темный Керженец, с умершими и умирающими скитами...»

Керженские «скиты» — поселения раскольников-старообрядцев, скрывавшихся в глухих лесах от преследований царского правительства, появились еще в середине XVII века, с которого и ведет свое начало русский «раскол» — своеобразное религиозно-общественное движение, направленное против официальной церкви. «Раскол» возник, когда патриарх Никон при поддержке царя Алексея Михайловича, приступил к исправлению богослужебных книг и церковных обрядов в соответствии с греческой православной тради-

цией. Противники Никона обвинили его в отступлении от старой истинной веры. Борьба «никониан» и «староверов» (раскольников) приняла резкие формы и охватила различные слои русского общества, в том числе и значительную часть крестьянства, для которого «раскол» был формой социального протеста.

Царское правительство жестоко преследовало старообрядцев, разрушая скиты и молельни.

С конца XVIII века социальные мотивы крестьянского раскола стали постепенно отходить на задний план, уступая место религиозному фанатизму.

Короленко посетил керженские скиты уже в период их угасания, их «последних дней» и собственными глазами мог наблюдать результаты той эволюции, которую претерпело русское старообрядчество.

Вторая глава «Очерков» посвящена озеру Светлояру, давно уже интересовавшему писателя. Он побывал на Светлояре четыре раза: в июне 1888 года, ровно через год, в июне 1889 года, июльское путешествие 1890 года — третье, последний раз Короленко ездил на Светлояр уже из Полтавы летом 1905 года.

Светлояр привлекал писателя прежде всего как место, освященное народным преданием, древней поэтической легендой о «невидимом граде Китеже», будто бы находящемся на его дне. По преданию, град Китеж скрылся, по молитве жителей, под водою в тот момент, когда к нему подступал Батый с войском В «невидимом граде» продолжается прежняя благочестивая жизнь. Из глубин озера доносится звон колоколов, слышать который дано, однако, лишь немногим «праведникам».

Короленко побывал на озере и в обычные будние дни, любуясь озером «в тишине его поэтического одиночества», и в дни особенно большого стечения богомольцев, имея возможность слышать бесконечные споры о вере, которые велись старообрядцами разных толков и оттенков.

«В этой наивной толпе,— писал он в своей записной книжке во время посещения озера в июне 1889 года,— живо убеждение, что где-то среди этой свалки живет в мистическом покое и смиренной тайне полная, цельная, единая спасающая истина. Какой-нибудь начетчик принес ее с Урени в котомке, в старой книге; или звучит она в гнусавом и проникновенном пении беспоповцев, или в младенческом лепете под высокой сосной, или, наконец, она таится в голове смиренно молчащего сермяжника с тонкими и вдумчивыми чертами...» (В. Г. Короленко «Записные книжки (1880—1900)», ГИХЛ, М., 1935, стр. 144).

Это «убеждение» Короленко находил не только в той массе богомольцев, что приходила на берега Светлояра, но и у «лесных людей», вроде медвежатника Аксена. Оно было для Короленко важной составной частью народного миросозерцания. Однако в силу отсталости народного быта, влияния религиозной схоластики поиски истины, поиски идеала народной массой часто принимали, как это показывает Короленко, уродливые формы, обращались в прошлое. Поэтому он и писал в рассказе «Река играет» о том гнетущем впечатлении, которое произвели на него прения старообрядцев у озера Светлояр.

Стр. 98. *Бимс* — поперечная балка, поддерживающая палубу.

Стр. 101. *Разоренные умелой рукой литератора-чиновника П. И. Мельникова, который очень хорошо описывал их, но разрушал еще лучше...* — П. И. Мельников (Андрей Печерский) (1819—1883) — писатель, историк и этнограф, автор известных романов о русском старообрядчестве «В лесах» и «На горах», а также «Писем о расколе». В течение долгих лет своей государственной службы активно участвовал в преследовании раскольников, особенно в период николаевской реакции, когда они подвергались жесточайшему гонению.

Стр. 102. *Записано А. С. Гацискам.* — А. С. Гацискнй (1838—1893) — писатель, этнограф, председатель Нижегородской ученой архивной комиссии, один из зачинателей нижегородского краеведения.

Стр. 107. *...у киловязов...* — Киловяз — знахарь.

Стр. 110. *Мглонно* — мглисто.

Стр. 127. *...стихиру поют ..* — Стихира — церковное песнопение.

Стр. 133. *Снял... воды в коргома.* — В аренду.

Стр. 158. *...из каршей...* — Карша — здесь замытое в песке под водою дерево, опасное для рыболовов и судов.

Стр. 162. *Скуфейка* — головной убор, знак отличия белого духовенства.

Стр. 165. *Во времена соловецкого стояния...* — Имеется в виду осада царскими стрельцами Соловецкого монастыря, не хотевшего принимать нововведения патриарха Никона. Осада длилась около восьми лет. В 1676 году монастырь пал, защитники его частью были казнены, частью разосланы по тюрьмам.

Стр. 170. *Кобел* — коряга, пень.

Стр. 176. *...среди... суводей...* — Суводь — водоворот, омут.

Стр. 178. *...для расчистки палом лесной кулиги. .* — Кулига — расчищенная от леса для земледелия поляна.

Стр. 179. *...в чапыге...* — в заросли, в кустарнике. *...лутоху... срежь...* — Лутоха — липа с ободранным лыком.

Стр. 180. *...о бортях...* — Борть — улей в виде дупла или выдолбленного чурбана.

...не гари, не рамени... — Гарь — горелый лес. Рамень — бор. Обычно здесь растут нужные для пчел цветы.

Стр. 189 *..в пехтерь ..* — Пехтерь — кошель, корзина.

Стр. 192. *Вадья* — озерко, колодец в болоте; окошко в трясине.

Стр. 194. *...за ухожьями лесной пчелы ,* — Ухожье — пчельник, пасека.

РЕКА ИГРАЕТ

Впервые — в сборнике «Помощь голодающим», изданном в 1892 году газетой «Русские ведомости». Написан осенью 1891 года.

Рассказ «Река играет» навеян тем же кругом впечатлений, что и очерки «В пустынных местах». В «Записной книжке 1890 г» встречается имя Тюлина — ветлужского перевозчика, впоследствии героя рассказа.

Впервые Короленко познакомился с Тюлиным в июне 1889 года во время своего второго путешествия к Светлояру. Переправляясь через Ветлугу на обратном пути со Светлояра, он на себе испытал последствия тюлинской беспечности В дорожном альбоме писателя есть страницы, посвященные этой рискованной переправе, а также записи разговоров с Тюлиным, наброски отдельных сценок и т. д. Уже здесь, в этих беглых путевых набросках, довольно выпукло проступает колоритная тюлинская фигура. Впоследствии записи были обработаны для рассказа «Река играет».

В рассказе Короленко сохраняет многие реальные черты облика Тюлина; не меняет он и его фамилии.

«...Не мог придумать никакой другой подходящей фамилии, не мог ни единого звука изменить в фамилии. Закроешь глаза — так и слышишь, как по реке издалека несется. «Тю-у-у-у-ли-и-ин!..»

В. В. Вересаев вспоминал об огромной популярности рассказа «Река играет»: «На Ветлуге рассказ Короленко быстро стал известен, и пароходы останавливались у описанного перевоза, чтоб дать возможность пассажирам посмотреть на прославившегося Тюлина. Он знает, что его пропечатали. Когда ему прочли рассказ Короленко, он, помолчав, поглядел в сторону и, подумав, сказал.

— Так ведь меня же в тот раз не били!

— Если бы я знал,— прибавил Короленко,— что рассказ дойдет до него, я, конечно, переменил бы фамилию» («Короленко в воспоминаниях современников», стр. 317).

Рассказ вызвал при своем появлении горячие споры. Среди народников, как писал Горький, образ Тюлина вызвал неприятие и даже раздражение: «Я вращался тогда в кругу «радикалов», как именовали себя остатки народников, и в этом кругу творчество Короленко не пользовалось симпатиями... Находились люди, которым казалось, что новый подход к изображению народа в рассказах «За иконой», «Река играет» изобличает в авторе вреднейший скептицизм... Раздражал Тюлин, герой рассказа «На реке» <то есть рассказа «Река играет»>, человек. несомненно всем хорошо знакомый в жизни, но совершенно непохожий на обычного литературного мужичка, на Поликушку, дядю Миная и других излюбленных интеллигентом идеалистов, страстотерпцев, мучеников и правдолюбов, которыми литература густо населила нищие и грязные деревни. Не похож был лентяй-ветлужанин на литературного мужичка и в то же время убийственно похож вообще на русского человека, героя на час, в котором активное отношение к жизни пробуждается только в моменты крайней опасности и на краткий срок.

Очень помню горячие споры о Тюлине — настоящий это мужик или выдумка сочинителя?» («Короленко в воспоминаниях современников», стр. 115).

Горький увидел в тюлинской способности «взыграть» залог народной активности, сметающей «мертвую старину».

Стр. 202. *«Все это было когда-то, но только не помню когда..»* — из стихотворения А. К. Толстого «По гребле неровной и тряской».

Стр. 207. *Чегень* — шест на плотах, предназначенный для упора на мелях.

Стр. 209. *Огрудок* — груда камней на дне реки.

Стр. 221. *...около австрийского священника...* — Австрийскими назывались старообрядческие попы и епископы, посвященные в свой сан старообрядческим митрополитом, который жил в Белой Кринице в Буковине, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи

Стр. 225. *...пуритане и индепенденты времен Кромвеля.* — Пуритане — участники религиозного движения в Англии. Индепенденты — сторонники наиболее радикального течения среди пуритан. Оливер Кромвель (1599—1658) — лидер партии индепендентов, сыгравшей огромную роль в английской революции XVII века.

НА ЗАТМЕНИИ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1887, № 224, от 16 августа с подзаголовком «Эскизы с натуры».

В августе 1887 года Короленко ездил в г. Юрьевец, Костромской губернии, где наблюдал солнечное затмение.

Свои впечатления от поездки он передал в рассказе «На затмении».

В 1893 году, готовя рассказ для второго тома своих «Очерков и рассказов», Короленко вносит в него значительные исправления и дополнения, в частности включает в текст символически звучащие строки из стихотворения Н. В. Берга, журналиста и переводчика (1824—1884):

«На святой Руси петухи кричат,
Скоро будет день на святой Руси...»

Стр. 239. *...некогда заниматься кабалистическими соображениями...* — таинственными, загадочными.

Стр. 244. *...ревностного адепта* — приверженца, сторонника.

«БОЖИЙ ГОРОДОК»

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1894, № 215, от 6 августа с подзаголовком «Эскиз из дорожного альбома».

В основу очерка положены впечатления Короленко, вынесенные им из посещения в июне 1890 года Арзамаса.

На Тихоновской горе, что неподалеку от города, писатель видел необычные, в виде маленьких каменных избушек строения, прозванные в народе «божьими домиками».

С этими домиками были связаны народные легенды и исторические воспоминания.

В записной книжке Короленко сделал две зарисовки «божьего домика»: внутренний его вид, во всех подробностях, и внешний, с надписью: «Божий домик» (Арзамас, 13 июня 1890 г.) — «Место

казни разинцев в Арзамасе». В той же книжке записаны две народные легенды. о жертвах помещика Салтыкова, будто бы похороненных на месте «божьих домиков», и о погибших от кровавой царской расправы бунтовщиках-разинцах.

«Которое из этих преданий правдиво,— пишет Короленко,— сказать трудно. Только какая-то мрачная драма, поразившая сильно воображение предков нынешнего Арзамаса, видимо, дремлет на этом месте, покрытом странными и необычными постройками. » (В. Г. Короленко «Записные книжки (1880—1900)», стр. 161).

Характерно, что в настоящем очерке «божьи домики» связываются не только с именем Разина, но и с именами других знаменитых крестьянских вождей — Булавина и Пугачева. Для Короленко это свято хранимые народом символические памятники погибшим за народную долю.

Стр. 247. *Булавин Кондратий Афанасьевич* (род. ок. 1660 г.— ум. в 1708 г.) — казачий сотник, руководитель антифеодального крестьянско-казацкого восстания 1707—1708 годов, охватившего южную часть России от Днепра до Волги. Восстание вспыхнуло в ответ на попытку Петра I вернуть с Дона беглых людей, скрывавшихся от непомерных царских налогов и гнета крепостничества.

Стр. 248. *...по словам очевидца-современника, приведенным у Соловьева...*— См. С. М. Соловьев «История России с древнейших времен».

В ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1896, № 2, с подзаголовком «Эпизод из ненаписанного романа».

В архиве Короленко сохранилась тетрадь с черновым наброском, датированным «12 июня» <1890>, заключающим в себе описание пути по арзамасскому тракту в знойный летний день и записи рассказов ямщика из времен крепостного права. Этот набросок явился в результате впечатлений Короленко от совершенного им накануне (11 июня) переезда на лошадях из Нижнего Новгорода в Арзамас, откуда начал он свое пешеходное путешествие по окрестным монастырям.

Впоследствии эти первоначальные записи послужили материалом для рассказа «В облачный день», основная работа над которым пала на середину 90-х годов.

Это были годы разгула крепостнической реакции, усиления всякого рода административных беззаконий, правительственного произвола, полного отхода дворянства от либерализма прежних лет.

В дневниковых записях Короленко середины 90-х годов находим едкие, саркастические замечания в адрес земских начальников, их хищничества и полной бесконтрольности; в публицистических статьях и очерках приводятся подлинные факты различного рода произвола властей.

Все эти реальные приметы времени встречаются и в «Облачном дне»: они сказались в описании «карьеры» помещика Липовато-

ва, и «деятельности» молодого земского начальника Смурыгина, и «реформ» Заливного...

Создав в рассказе сатирическую, в духе Салтыкова-Щедрина, картину разложения русского дворянства, Короленко в то же время сумел передать и ощущение назревающего общественного подъема, признаки которого он видит прежде всего в росте революционных настроений в крестьянстве.

«Если бы кто-нибудь из высших представителей,— записывает он в своем дневнике 20 декабря 1894 года, — сумел внимательно вглядеться в так называемые «бунты» и «сопротивления властям» и собрал бы официальные сведения по этому предмету, то мог бы точно установить следующее явление, заметное уже и на глазомер. Количество таких бунтов, падавшее со времени освобождения крестьян и приблизительно до половины 70-х годов,— с этого времени, наоборот, растет количественно и качественно с угрожающею силою» (В Г. Короленко «Дневник», т. II, ГИЗ Украины, 1926, стр. 322—323)

Носителем революционных настроений крестьянства выступает в рассказе ямщик Силуян, говорящий как бы от лица народа.

Стр. 264. ..*в этом протесте нотаблей.*— Нотабли—почетные лица (франц.— notables).

Стр. 267. «*Но и под снегом иногда бежит кипучая вода*»—строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек».

Стр. 287. ..*Убежала с ремонтером...*—Ремонтер — офицер, закупающий лошадей (франц — remonte — пополнение армии лошадьми).

ПО «НОВОЙ» РУССКОЙ ДОРОГЕ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1895, №№ 36 и 42 от 5 и 11 февраля под названием «Движение открыто» (С натуры).

В очерке отразились впечатления Короленко от поездки по «новой» железной дороге из Свияжска в Алатырь.

В 1918 году, готовя очерк для 10-го тома Полного собрания сочинений, Короленко внес в него значительные изменения, заново написал конец. Однако в новом, переработанном виде очерк опубликован не был, так как том из печати не вышел.

Впервые очерк во второй редакции по сохранившейся верстке 10-го тома был напечатан в 1962 году в журнале «Наш современник» № 3.

СМИРЕННЫЕ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1899. № 1 с подзаголовком «Картинка с натуры».

Написан в июле—августе 1898 года на даче в деревне Растяпино под Нижним Новгородом.

Чехов назвал это произведение Короленко «чудесным рассказом» (А. П. Чехов. Полное собр. соч. и писем, ГИХЛ, 1949, т. XVIII, стр. 104).

Рассказ представляет собою, по сути дела, художественно обработанную «корреспонденцию» о реальном случае, свидетелем которого был писатель. В Раскатове — дачном поселке — месте действия легко угадывается Растяпино, где жил тогда Короленко.

В «Дневнике» Короленко за 1898 год под датой «30 августа» находим следующую запись: «Был у сумасшедшего на цепи» («Дневник», т. III, ГИЗ Украины, 1927, стр. 395).

Об этом же факте посещения писателем прикованного к цепи душевнобольного крестьянина вспоминала племянница В. Г. Короленко М. Н. Лошкарева. «Помню, как вместе с дядей Володей ходили в недалекую деревню Колодкино, где в одной из изб много лет содержался прикованный к цепи, помешанный крестьянин. Мрачный, заросший густым лесом спутанных волос, он производил очень тяжелое впечатление. Не решаясь войти в избу, мы со страхом заглядывали в окна, пока дядя разговаривал с его родными. Впоследствии дядя описал его в рассказе «Смиренные» («В. Г. Короленко в воспоминаниях современников», стр. 243).

Ф. Д. Батюшков в книге «В. Г. Короленко как человек и писатель» («Задруга», М., 1922, стр. 72) вспоминал, что этот рассказ Короленко был с большим сочувствием встречен революционно настроенной молодежью.

Стр. 318. *...лавочки, прозванной дачниками «Мюр и Мерилизом».* — «М ю р и М е р и л и з» — торговая фирма, владевшая универсальными магазинами.

С ДВУХ СТОРОН

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1888, №№ 11 и 12, под заголовком «Рассказ о двух настроениях».

Писался рассказ, как о том свидетельствуют пометы на рукописях, с 26 сентября по 6 декабря 1888 года. В первоначальной редакции рассказу предшествовало вступление, в котором описывалось чтение в небольшом кружке слушателей «новейшего романа одного из корифеев современной французской литературы», то есть литературы натурализма.

Рассказ можно назвать автобиографическим, поскольку в нем отразились реальные впечатления и воспоминания Короленко о годах его учения в Петровской земледельческой академии (1874—1875). Определенная часть молодежи, связанная с освободительным движением, уже чувствовала неудовлетворенность того объяснения природы и человека, которое давалось рационалистическим и естественнонаучным материализмом и было характерно для передовой мысли предшествующего десятилетия. Психологически это могло выразиться, как показал Короленко, в мучительной смене «двух настроеиий».

Вместе с тем изображенное в рассказе «настроение» студента Потапова, непосредственно вызванное трагической смертью близкого человека, очень остро переживалось самим Короленко осенью 1888 года, когда умерла его четырехлетняя племянница. 17 сентя-

бря писатель записал в «Дневнике»: «Мы гордо отбросили все предания, всю веру, все утешения, которые предлагает нам темный эмпирический опыт миллионов поколений, и встаем дерзко навстречу роковым вопросам одни или почти одни со своими собственными, на свой страх выработанными взглядами на жизнь, смерть, вечность. В этом есть своя доля величия. Но как часто мы оказываемся детски слабы и падаем под бременем отчаяния от темноты, которая грозно глядит на нас *«оттуда»*... («Дневник», т. I, ГИЗ Украины, 1925, стр. 161).

Современная критика уловила также в рассказе «действительное отражение господствующего настроения» «нашего времени» («Неделя», 1889, № 5), того настроения, о котором сам Короленко писал в начале девяностых годов, в воспоминаниях о Чернышевском «...мы пережили за это время (с начала шестидесятых годов.—С. С.) целое столетие опыта, разочарований, разбитых утопий и пришли к излишнему неверию в тот самый разум, перед которым преклонялись вначале». Это «настроение» характеризовалось и в опущенном «вступлении» к рассказу (см. выше) «...все отвратительно, отвратителен человек, весь мир, одним словом, все... значит и сама эта правда (т. е. «правда литературы натурализма».— *С С.*). И невольно думается: а ну его... все к черту, и эту правду — тоже к черту!..».

Рассказ «С двух сторон», по-видимому, уже тогда, когда писался, не удовлетворял Короленко. Во всяком случае, готовя позднее к печати третий том «Очерков и рассказов», Короленко решил воздержаться от перепечатки рассказа, считая, что он «нуждается в полной переработке» (из письма к И. И. Юхневу от 16 января 1893). Решение не перепечатывать рассказ до его переработки могло также явиться следствием ряда неблагоприятных отзывов современной критики.

Работа Короленко осенью 1888 года над рассказом «С двух сторон» прерывалась для завершения двух других рассказов — «Ночью» и «На Волге». Смысл этих произведений, а также рассказа «Тени» выражался, как писал об этом Короленко В. Н. Григорьеву 15 сентября 1903 года, в той главной для писателя мысли, что «за ближайшим достижимым» — «не стена, а бесконечность». «Я только верю,— сказано далее в этом же письме в разъяснение идеи названных произведений,— что впереди будет все светлее, что *стремиться и достигать стóит*, что, кроме нашего маленького смысла, есть еще бесконечно большой смысл, который, однако, преломляется в наших капельках смысла и в наших стремлениях. И я думаю, что эта вера нисколько не глупее и не ниже пессимизма. Но, кроме этого, я еще убежден, что тот же великий смысл и стремление к бесконечному отражаются также и в наших попытках ставить и решать все новые конечные задачи — правды человеческих отношений».

Переработка рассказа в 1914 году для Полного собрания сочинений[1] была подчинена углублению этой идеи, усилению оптимистической темы преодоления трагического «настроения». Этому слу-

[1] Эта редакция появилась в журнале «Русские записки», 1914, № 1 (ноябрь).

жило, например, введение образа профессора Изборского (прототипом которого был великий русский ученый К. А. Тимирязев), а также новая разработка финала рассказа, открывавшего выход из сферы личных, субъективных настроений в мир народной жизни.

Стр. 332. *...за бурлаков Некрасова...*—Образы бурлаков появляются в нескольких поэмах и стихотворениях Н. А. Некрасова, например, «На Волге», «Размышления у парадного подъезда».

Стр. 333. *Ирландцы,— говорит Бокль,— несвободны потому, что питаются картофелем.* — Из популярной в шестидесятых—семидесятых годах в демократической среде книги английского историка Генри Томаса Бокля (1821—1862) «История цивилизации в Англии».

..Фохт... поэт материализма... сменял микроскоп на ружье республиканского милиционера.—Карл Фохт (1817—1895)—немецкий естествоиспытатель, активный участник революции 1848 года в Германии.

Стр. 334. *...миф о первичной органической материи Геккеля.*— Речь идет о теории великого немецкого биолога Эрнста Геккеля.

Стр. 341. *Я не люблю стриженых.*— Представительницы демократической молодежи шестидесятых — семидесятых годов были подчеркнуто непритязательны в одежде, носили короткие прически, почему и получили прозвище «стриженых».

Стр. 349. *...просиживал... у грота Иванова, стараясь разгадать мрачную драму нечаевского дела ..*— Анархист С. Г. Нечаев, руководитель подпольной организации «Народная расправа», вместе с четырьмя другими участниками организации убил в 1869 году за «отступничество» студента Иванова. Убийство было совершено в гроте парка Петровской земледельческой академии.

Стр. 394. *...сборник журнальных статей Варфоломея Зайцева.*— Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882) — публицист и литературный критик, пропагандист естественнонаучных знаний.

Стр. 399. *А жизнь, как посмотришь* и т. д.—не совсем точная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно...» (1840).

Стр. 402. *...гетевский метаморфоз...*—В трактате «Метаморфоз растений» великий немецкий поэт и естествоиспытатель И.-В. Гете устанавливал изменчивость растений и их органов

Стр. 413. *Мне вспомнился Базаров.*— Герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862) Базаров говорит: «Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?» (гл. VII).

НЕ СТРАШНОЕ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1903, № 2.

Короленко работал над рассказом с перерывами в течение двух лет. Первые сведения о начале работы находим в письме к Ф. Д. Батюшкову от 22 февраля 1901 года.

«Начал нечто странное и для самого себя неожиданное (из соврем. жизни и не Сибирь) На март едва ли поспею, да и не тороплюсь».

Работа очень увлекла Короленко, и 10 марта того же года он сообщает Батюшкову о том, что рассказ подвигается к концу «...Кончаю рассказ (листа в три). Заглавие (пока) «Не страшное» (из подслушанных разговоров)... Не знаю, что выходит, но меня захватило сильно». В том же письме писатель формулирует основную идею рассказа: «Не страшное» — это то обыкновенное, повседневное, к чему мы все присмотрелись и притерпелись и в чем разве какая-нибудь кричащая случайность вскрывает для нас трагическую и действительно «страшную» сущность».

Более подробно о замысле и теме произведения Короленко рассказал два года спустя, 5 февраля 1903 года, в письме к П. С. Ивановской: «...Рассказ странный, не в обычном моем роде, но захватил меня сильно, и работаю я над ним долго, потому что не хочется вставлять ни одной строчки «от себя» Ведется он (наполовину) от лица некоторого чудака, который меня интересует не меньше, чем то, о чем он рассказывает. Тема — бессмысленная сутолока жизни и предчувствие или ощущение, что смысл есть, огромный, общий смысл всей жизни, во всей ее совокупности, и его надо искать. Не знаю, что из этого у меня вышло, знаю только, что это, может быть, самое задушевное, что я писал до сих пор...»

С. В. Короленко в своей «Книге об отце» (изд-во «Удмуртия», Ижевск, 1968, стр. 54) также отмечает, что именно этот рассказ особенно волновал Короленко.

Характерно, что писатель очень тесно связывал тему идеи «Не страшного» с животрепещущей современностью.

То застойное, «бессвязное» и «гнусное» существование, опустошавшее душу и порождавшее в огромном количестве Будниковых и Роговых, та «бессмысленная сутолока жизни» с ее «специфическим ужасом», о которых писал Короленко, воспринимались им как следствие реакционной политики царского правительства, прилагавшего все усилия к тому, чтобы парализовать какую бы то ни было общественную жизнь, задушить даже самое минимальное проявление живой мысли.

Мыслящие умы искали выхода из тупика, в который зашла тогдашняя российская жизнь. И вот эти настроения крайней неудовлетворенности существующим, мучительных поисков «общего смысла жизни» определяют атмосферу рассказа Короленко, являются лейтмотивом духовных поисков его героя — учителя Падорина.

Сам автор писал об этом поиске «общего смысла жизни» П С. Ивановской в письме от 5 февраля 1903 года. «Ощущение это, по моему мнению, разлито теперь в воздухе. ...Чувство, побуждающее искать широких мировых формул,— я считаю нормальным, неистребимым и подлежащим бесконечной эволюции. ...В рассказе Вы этих рассуждений не найдете. Это только — его психологическая подкладка. Я думаю, что лучше ясно поставить вопрос, чем давать на него туманные и неясные решения...»

Вопросы, поставленные Короленко в «Не страшном»,— важнейшие вопросы тогдашней русской жизни, возникшие в преддверии революции 1905 года.

Стр. 453. *Антей*—в древнегреч. мифологии герой, который черпал свою огромную силу в прикосновении к земле.

Стр. 458. *...выработался в пьяного и дерзкого буяна, анфан-терибля...*— анфан-терибль (франц. enfant terrible) — сорванец.

Стр. 463. *«Офелия! О нимфа! Помяни меня в твоих святых молитвах...»* — слова Гамлета из 3-го действия трагедии Шекспира «Гамлет».

Стр. 463. *...у Ксенофонта.*— Ксенофонт — древнегреческий историк, живший в V—IV вв. до н. э.

Стр. 473. *Консисторские субъекты*—служащие консистории—учреждения по церковным делам при архиерее, без разрешения которого не могло быть произведено расторжение брака.

С. Селиванова

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

В. Г. КОРОЛЕНКО
Собрание сочинений
в шести томах.
Том III.

Редактор тома
С. Д. Селиванова.

Оформление художника
Р. Г. Алеева.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 18/IX 1970 г.
Подписано к печати 16/III 1971 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108¹/₃₂
Объем 26,46 усл. печ. л. 27,18 уч.-изд. л.
Тираж 375 000 экз. Изд. № 490. Зак. № 3041.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ГСП.
улица «Правды», 24.

Индекс 70679


90 коп.